

Антология современного рассказа, или Истории конца века
Новая проза

Антология современного рассказа,

или Истории конца века



Новая проза



**АНТОЛОГИЯ
СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА,
ИЛИ
ИСТОРИИ КОНЦА ВЕКА**

Москва
Издательство АСТ
«Астрель» • «Олимп»
2000

УДК УДК 820/89-32
ББК 84(2Рос-Рус)6
А72

Составитель *А. А. Михайлов*

Художественное оформление
Н. А. Осадченко

А72 **Антология** современного рассказа, или Истории конца века. — М.: «Издательство Астрель», «Издательство «Олимп», 2000. — 448 с.

ISBN 5-271-00373-6 («Издательство Астрель»)

ISBN 5-8195-0110-1 («Издательство «Олимп»)

Впервые под одной обложкой собраны рассказы лучших молодых писателей конца столетия.

Их имена уже стали популярны, многие являются обладателями престижных литературных премий, у некоторых вышли отдельные книги.

УДК 820/89-32
ББК 84(2Рос-Рус)6

© «Издательство Астрель», 2000
© «Издательство «Олимп», 2000
© «Соло», 2000

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В этих рассказах, которые были написаны в веке двадцатом, есть тем не менее все, что будет отличать новую русскую прозу в веке наступающем, двадцать первом. Дело в том, что все собранные под этой обложкой авторы только начали печататься в конце века, в девяностые годы, значит, будущее русской литературы — это они и есть. А публиковались эти рассказы в разных номерах одного и того же издания — журнала литературных дебютов «СОЛО». Именно в нем появлялись и продолжают появляться самые неожиданные, самые яркие имена и тексты.

В конце века журнал «СОЛО» ввел в большую литературу целый ряд теперь уже известных писателей, финалистов различных «букеров» и «антибукеров», обладателей иных премий. Но, конечно, дело не в премиях: они-то, как правило, достаются тем, кто продолжает писать по инерции, оглядываясь на собственные вчерашние успехи. Будущее же литературы, как это и было всегда, находится в руках непризнанных одиночек, тех самых, на первый взгляд, безумных графоманов с горящими глазами, от которых шарахаются сотрудники редакций и издательств. Именно таких, никому не нужных и не известных литераторов-одиночек и печатает на своих страницах журнал «СОЛО», знакомый теперь уже всякому начинающему писателю.

В этой своеобразной антологии, посвященной десятилетию существования журнала «СОЛО», предпринята попытка собрать если не лучшее, то наиболее заметное из всего напечатанного на его страницах. Перечитывая сейчас эти произведения, собранные вместе, видишь, какой разнообразной и насыщенной получилась биография как журнала, так и самого жанра рассказа в конце века. Есть надежда, что и читателю книги предстоит испытать подобное ощущение.

Александр Михайлов,
главный редактор журнала «СОЛО»

МАРИНА И АЛЕКСЕЙ

(Военно-половой роман)

Марина Б., 26 лет от роду, была одной из тех, кого принято называть «женщины-военнослужащие». Будучи замужем за офицером, она продолжала службу в третьем по счету гарнизоне, куда ее супруга забрасывала судьба в виде приказов вышестоящих начальников. Марина, постоянно осваивавшая все новые воинские специальности, уже успела побывать и поварихой, и медсестрой, и телефонисткой. В последней части (обозначим ее как Н-ская) понадобились рисовальщицы секретных планов в чине старшины.

Что касается Маринино мужа — 28-летнего капитана-танкиста Алексея Б., — то это был грамотный офицер с неплохими шансами на будущее. При всех его очевидных достоинствах, отраженных в многочисленных характеристиках, между нами говоря, был он несколько безволен и наивен, что ли... Впрочем, его личные недостатки давали ценимые Родиной и обществом качества — исполнительность и веру в правду.

Чета Б. жила внешне дружно, спокойно и, хотя не имела детей, во внерабочее время являла собой образец обывательских добродетелей с поправкой на наши реалии.

Новым местом службы Алексей был доволен. Часть дислоцировалась в черте большого города, и располагался в ней штаб крупной дивизии. Солдат здесь было немного; соответственно, место считалось довольно

спокойным. Алексей поначалу даже заскучал. Едва ли не самым сильным потрясением являлись периодические наезды сюда проверяющих. Больше других боялись полковника по фамилии Копец, который курировал подобные соединения и отвечал за них перед командованием округа. Поговаривали, сей почтенный муж давно мечтал о генеральских погонах и вроде бы даже успел заказать себе новый китель и штаны с лампасами, как вдруг — будто сглазил! — лежавший до той поры спокойно в одном из складов Н-ской части рельс упал прямо на солдатскую голову, чем вызвал упреки в нарушении техники безопасности сверху донизу...

Полковник Копец понимал, конечно, что «с кем не бывает», но был неумолим. Прогуливаясь по проштрафившейся части, он безжалостно вскрывал недостатки, чем приводил в полуобморочное состояние командира. От напасти не помогало и народное средство — хлебосольство. После очередного визита куратора начпрод сажал солдат на перловку. Впрочем, на спиртное сбрасывались офицеры и прапорщики.

Между тем семья Б. служила на новом месте уже больше двух месяцев и пока в глаза не видела Копеца. Настала уж весна, пробудив непонятные надежды. Даже собачки, коих прикармливал местный слесарь, бодро лаяли и, казалось, чему-то радовались. Но, сколь веревочке ни виться...

— К нам едет Купец! — как заправский актер провозгласил командир части, собрав офицерский состав. Фамилию Копец коверкали меж собой не только из издевательских соображений. Были и другие причины. Во-первых, ненасытно-объемное чрево начальника. Во-вторых, слово «копец» в русском сознании неизменно ассоциируется со смертью... Зато всем ясно, что такое купец и как с ним обходиться.

Начпрод доложил о наличии продуктов, замполит — о «культурной программе». Пока все шло неплохо, но нужно было «думать и еще раз думать» — так выразился командир.

Копец приехал на следующий день в обед. К тому времени в офицерскую столовую со всей части снесли горшки с цветами, повесили чистые занавески, подключили новенький телевизор. Со стены грозно, но в

душе миролюбиво озирали окрестности три богатыря, выписанные кистью начальника клуба.

Меню дорогого гостя в тот день состояло из: трех салатов, селедки «под шубой», болгарских маринованных огурчиков, супа харчо, люля-кебабов, жареных куриных окорочков. Кроме того, на белоснежной скатерти по-доброму блестел графинчик с водочкой, а на десерт подали компот без брома и чай с лимоном. Все это разновкусие разносила Марина Б. в накрахмаленном кокошнике, стоявшая в тот день в наряде по столовой.

А, надо заметить, Марина являла собой тот тип русской красавицы, что, несколько утрировав, запечатлел художник Кустодиев. Большие небесного цвета глаза, кокетливые ямочки на румяных щеках, пышные формы. К тому же, Марина Б. была природной блондинкой...

Лицо Копца расцвело, он удачно острил и кривлялся. Марина смеялась. В такие минуты куратор сам себе нравился. Отобедав, он в прекрасном расположении духа удалился почивать в гостиницу-общезитие.

Оживление начальника не ускользнуло от внимания командира части. После обеда он вызвал Марину к себе. В непринужденной обстановке, за чашкой кофе, опытный администратор, суровый и самолюбивый мужик, по-отечески осведомился о проблемах военнослужащей, обещал помощь и внимание. Посетовал на бедственное положение армии и крутой нрав «полковника Копец», отметив при этом, что он — эрудированный руководитель и порядочный офицер. В конце монолога, самодостаточного произведения театрального искусства, командир понадеялся на понимание старшиной Мариной Б. стоящих перед частью и армией в целом задач и попросил собеседницу держаться на службе, чтобы занести Копцу ужин.

Марина оказалась женщиной «с понятием» и почти сразу согласилась. Ближе к отбою, когда по замыслу организаторов куратор должен был проснуться и проголодаться, женщина, прихватив корзину со снедью, отправилась в гостиницу.

Открывший ей грузный мужчина в защитного цвета рубашке оказался несколько иным, чем был на обеде. Марине сначала казалось, что он похож на товарища

Саахова из «Кавказской пленницы», потом — на певца Шуфутинского, но без бороды. В целом же суетливо-вежливый и смеющийся «через раз» Копец оставил хорошее впечатление. Полковник предложил женщине кофе, та, не желая обижать хозяина, согласилась. К кофе был коньяк. После анекдота о бывшем начштабе округа открыли бутылочку шампанского. Телевизор пел про «душу глазастую», а разговор перетекал от звезд эстрады к морю, французским винам, цветам, детям, бренности жизни... Копец, положив свою тяжелую руку на плечо Марины, затуманенным взором смотрел на четыре опорожненные бутылки...

В то самое время командир, прогуливаясь по своим владениям, изредка поглядывал на светящиеся окна гостиницы. Внезапно погас свет; сердце старого служаки на мгновение остановилось.

Вскоре началась и благополучно завершилась весенняя проверка — два раза в год такие «маленькие войны» округ устраивает всякому подразделению. Нская часть получила оценку «хорошо», а полковник Копец — генерал-майора. Марина уже не просиживала целыми днями над секретными планами: раз в месяц она постригала командира и, разумеется, вела «культ-массовую работу» с Копцом. Последний стал заглядывать в часть несколько чаще прежнего, но его визиты уже не вызвали былого ажиотажа. В глазах окружающих Марина стала едва ли не «влиятельным политиком». Впрочем, интриги — обычное явление в любом здоровом коллективе — находились вне сферы ее интересов. Правда, более в силу безмятежного характера, нежели, к примеру, ума. За это достоинство Марину как бы и уважали. Хотя и не все.

Пожалуй, единственным человеком, находившимся в неведении относительно происходящего, был, как ни удивительно, муж Марины. Но чем дальше в лес, тем больше загадок подбрасывала действительность Алексею. Он стал замечать смешки за спиной, а молчаливое сожаление на лицах боевых товарищей подчас приводило его в замешательство. Апогея сомнения достигли в тот момент, когда, сидя в кабинке казарменного туалета, капитан услышал, как солдаты забавлялись циничным обсуждением его законной супруги. Имя Копца всплывало в том разговоре. И все же на

серьезный обмен мнениями с Мариной Алексей не решался.

Он стал чаще обычного задерживаться на службе, общаясь с прапорщиками за стаканом водки. Как-то, будучи дежурным по части, Алексей увлекся и выпил больше обычного, после чего завалился спать. Среди ночи, однако, пришлось проснуться от невыносимого воя уличных собак. Капитана мутило, а заснуть вновь не получалось. Тогда офицер, не ведая, что творит, достал пистолет и дважды выстрелил в форточку. Поднялся шум, прибежал караул, и на следующее утро командир знал в общих чертах о случившемся. После этого происшествия решено было откомандировать капитана Б. «на пару месяцев» в другое подразделение дивизии.

Накануне отправки атмосфера в семье Б. накалилась. Обсуждался вопрос, ехать ли вместе с мужем Марине. Та наотрез отказалась, чем косвенно подтвердила подозрения супруга. Следствием раздора явился уход Марины на ночлег к соседке. Алексей же, изрядно «надравшись», проснулся на следующее утро сидящим за кухонным столом. Так как на машину, уходящую в дальний гарнизон, капитан уже опоздал, то добираться пришлось на электричке, а далее — попутным транспортом...

Вот уж кто был по-настоящему раздосадован появлением «фаворитки», так это 24-летняя прапорщица Лена Ш. Она служила в части уже третий год и на былом безрыбье купалась в лучах славы как местная секс-бомба.

В один из летних дней генерал Копец прибыл «на комиссию» вместе с довольно молодым, но очень солидным полковником. С Копцом они общались на равных, и командир части одинаково «старался» перед обоими. А мужики-то приехали расслабиться...

Вечером, как полагается, приятели «культурно посидели» в столовой, съездили в баньку и закрылись «в номерах». Командирский «уазик» дважды отправлялся в ночной город за спиртным и сигаретами, и один раз — за Мариной Б. и Леной Ш.

Прапорщица до появления «высочки» знавала Копца. Когда ее поднял с постели командирский водитель, ей на время почудилось, что все опять будет

как прежде. Разочарование было сильным и породило обостренное чувство соперничества...

Не особенно заботясь о «своем» полковнике, Лена предавалась пороку с каким-то иступлением. Она безбожно мешала водку с шампанским, хохотала, много курила и поистине звериным криком обозначала моменты экстаза.

В половине четвертого полковник поднялся с постели и позвонил, чтобы принесли еды. Через пять минут прибежал сонный солдат, но тут же проснулся, увидев лежащую в абсолютной наготе Лену Ш.

— Ты бы хоть прикрылась, — безнадежно заметил полковник.

— А перед кем мне прикрываться? Перед этим... солдатом, что ли? — вызывающе поинтересовалась она.

После очередной порции алкоголя прапорщице Ш. сделалось не по себе. Это расстроило окружного начальника, который уехал рано утром, оставив Лену просыпаться одну в похмелье и угрызениях совести...

Вскоре проверка склада, где хозяйствовала Лена Ш., выявила недостачу девяти ОЗК. Выговор занесли в учетную карточку. Портили нервы Ш. и солдаты, наглее обычного рассматривавшие ее, сопровождая взгляды сальными улыбочками.

А начальники тем временем радовались: их подразделение вышло на первое место в округе, командира хвалили на военсовете, и многие офицеры получили очередные звания.

Многие, но не капитан Б. Последние месяцы дали Алексею Б. возможность хорошенько подумать о жизни. Несколько раз он инкогнито появлялся в городе и, в общем, знал о положении дел. В отсутствие жены несчастный перерыл всю их квартиру в поисках компромата. Найди Алексей хоть что-нибудь, он бы, глядишь, и успокоился. Но все было тщетно.

В один из приездов Алексей, узнав, что Марина уехала якобы на учения, решил во что бы то ни стало дождаться ее и наконец расставить все точки над «i». Тоскуя и выпивая, офицер проводил время в пустой квартире и под вечер третьего дня вышел на улицу развеяться.

Он брел в сторону центра, как вдруг заметил пра-

порщицу Ш. Во времена совместной службы капитан, бывало, задерживал взгляд на этой смазливой девчонке, но познакомиться не успел, и теперь решил наверстать упущенное.

...С Леной Ш. Алексею Б. стало хорошо. Молодые люди веселились над «дубовостью» своих начальников, смотрели «видик» и пили на брудершафт. Долго ли, коротко ли, капитану вдруг загорелось отомстить Марине путем осквернения супружеского ложа. Лена Ш. не упиралась даже для приличия.

В ту же ночь любовники выяснили свое отношение к Марине, что заметно упрочило их связь. Лена оказалась еще какой выдумщицей и предложила сразу несколько способов сжить «эту тварь» со свету. И во всех случаях — избежать подозрений. Все было весьма захватывающе, но прежде чем заговорщики успели как следует обдумать план действий, Морфей заключил их в свои объятия...

Шум хлопнувшей двери отозвался тяжелым эхом в голове Алексея Б. Утреннее солнце озорно заглядывало в окно. Лены Ш. рядом не было. Чтобы как-то заглушить тупую боль в затылке, офицер зарылся в подушки и пролежал в дреме, как ему показалось, не более четверти часа.

Снова хлопнула дверь, и на пороге комнаты появилась Марина Б. Она свысока заметила, что времени уже половина второго. Алексей Б. сквозь недомогание вдруг понял, что оказался в крайне нелепой ситуации. Он, а не эта шлюха!

Бодро вскочив с кровати, капитан спустя секунду был на кухне, где возилась с чайником Марина. Припоминая десятки раз репетированные вопросы, он заинтересовался, где его супружница находилась, почему не отвечала на письма, как здоровье у генерала... Много щекотливых вопросов задал Алексей и никак не ожидал услышать в ответ предложение о разводе...

— Зараза, да я тебя сейчас!..

«Зараза» вывернулась, офицер налетел бедром на стол и взвыл. Марина бросилась к выходу, но в прихожей ее настиг Алексей. Он заявил: «Никуда ты не уйдешь, я не кончил!». У жены, однако, было другое на уме, и офицеру пришлось прибегнуть к рукоприкладству. В какой-то момент Алексей, явно не подрас-

считаю, грубо толкнул Марину. Та потеряла равновесие и, запнувшись о связку книг, грохнулась на пол. При этом сильно — Алексей даже поморщился — ударилась виском об угол кровати.

Крови было немного, так как смерть наступила мгновенно. Капитан не мог в это поверить, и соседи, позже дававшие показания следствию, отчетливо слышали сквозь стену: «Врешь, врешь, овца нестроевая!».

Убедившись, что жена не врет, Алексей Б. испугался не на шутку. Возник дикий план выбросить тело из окна. Потом появилась мысль вынести Марину через дверь. Уже волоча покойницу по пыльному бетонному полу, капитан опомнился и повернул вспять. Закрывшись в квартире, он опустился на паркет и зарыдал от безысходности. Сквозь слезы глядя на Марину, Алексей находил ее еще красивее, чем до разлуки, и, конечно, ни в какое сравнение не идущую с плебейкой Леной Ш.

В таком состоянии застал капитана прибывший по звонку соседей наряд милиции. На первом же допросе задержанный выложил все, что требовалось, и даже сверх того. Но подписать показания наотрез отказался и вообще стал вести себя странно. Врачи, проводившие экспертизу, сообщили, что рассудок оставил офицера, по всей видимости, навсегда...

ИНОСТРАНЕЦ

Желтуха занесла его на 6-й этаж Второй инфекционной больницы в местности под названием «Соколиная гора». Закружила метель, залепила глаза, заложила уши снегом. Картавые вороны оповестили приход первого больничного ясного утра.

Оконные стекла за ночь закристаллизовались от мороза. Рассеянный свет лился сквозь широкий белый экран — проекцию географической карты: Антарктиды ли? Гренландии? или изрезанной фьордами Скандинавии?

Он был Иностранец. На всякий случай он решил не задавать вопросов. Впрочем, не задавать вопросов другим стало последние годы его жизненным кредо в этой стране. У него взяли анализ мочи, крови, наделали дырок в венах для капельниц. Он смиренно сносил все это — его наконец-то перестало тошнить, и он только глубже уходил в больничное белье, в койку, чтоб наблюдать оттуда жизнь этого странного народа.

...Алеша Парщиков в своем поэтическом бюро, обходясь пока без диктофона, сочинял небывалую старинную пневмо-гидро-мета-пушку для новой поэмы «Полтава»...

...в замшелой яме под горой, где окаменелостью лежал серо-зеленый, как речная мидия, центральноевропейский город... — впрочем, он уже давно, вот уж сорок лет, как перестал быть центральноевропейским, потому что география в этой стране аннулируется в первую очередь...

...фригиды со средним и высшим образованием жадно искали личного счастья по городам и весям, курортам и новостройкам страны...

...Никола — на снегом занесенном хуторе в горах — наварил картофельного самогона и ждал гостей из далекого несуществующего почти города, ждал бинокля, — к Рождеству, к Крещению... Гости всегда появлялись неожиданно, возникали вдруг внизу, на последнем подъеме от ельника, две-три фигурки с лыжами, с рюкзаками, похожими на раскладушки, перекуривали уже в виду хutora и медленно, тяжело заваливались в хату, наполняя ее паром, путаницей запахов, разбросанными вещами, от которых разбегаются глаза, тут же бутылкой водки, растапливали печку, — праздником.

Гостей не было. Батарейки давно сели. Никола опрокидывал один, потом второй стограммовый стаканчик самогона, тоскливо поглядывая в прорубь оконца на снег, на лесистый склон, на сырую серую фотографию пасмурного дня, — откусывал солонины, кем-то уже надгрызенной с угла, запивая все кружкой воды со льдом. Затем скидывал сапоги, оставаясь в двух парах равно рваных носков, забирался с ногами на лежанку, доставал фуяру — латунную трубку, обрезанную наискосок, — затыкая ее одним пальцем на выходе, извлекал из нее звуки, затягивал плохо гнущуюся мелодию: заунывную, предвечную и праздничную, как та жизнь, что была когда-то в этих горах, когда дети с отцом возвращались раз в году с ярмарки, что раскинулась на берегу торопливой горной речки, и отец, заглянувший в шинок, — туго выбритый гуцул, — нахлестывает коня в ремнях пахучей новой сбруи, скачут ободья по камням и гальке, и дома мама скребут и мыют полы желтоватым настоем буковой золы, а там отберут опять у детей полотняные штаны и спрячут в скрыню и оставят бегать в одних сорочках, пока подрастут... И видится Николе Бинокль — черный, в пупырышках, огромный неестественно, даже непристойно, 16-кратный, если есть такие на свете, и сжимаются, и тоскуют его беспальные руки, и в крепких, как лопата, как топор, ловких ладонях сжимают худенькую тростиночку, ледышку, глупую железку, разогреваемую его

дыханием, водочным духом, теплом, от хриплых звуков переходящую ко все более пронзительным, но все же с хрипотцой, как недающееся воспоминание о том, чего не вспомнить никак и нельзя, что только дразнит, дразнит, тянешься руками — пусто в них, только трубка латунная мешается...

Сумерки вливаются в оконце, ползут из углов, темнеет, колыхается оптический обман — рак — бинокль мохнатый в полхаты,

— и все это маята только
и напрасное томление духа...

...потому что за полторы тысячи километров у Николиного знакомого, друга — Иностранца — отвратительный цвет мочи, и это пока единственное, что он находит в себе общего с непонятными для него людьми, переполняющими отделение.

Иностранец тем временем отсыпался целыми днями, и даже, как на какой-то день начало казаться ему во сне, который раз начал осторожно нащупывать карту сновидений: в забытьи бесконечного ленточного сновидения, замкнувшись в оптике сна, когда, даже просыпаясь, не покидаешь его пределов, в уме его и представлении связывались сонные ландшафты, улицы и дома, теснились видения, группки чем-то знакомых, но виду не подающих людей, не навязчивые, но и неустрашимые, снящиеся нам десятилетиями; выстраивалась страна, величиной с уезд, но странный, построенный из обманчивой полупрозрачной субстанции; Пристанище Разбитых Сердец, родина детей, лунатиков и подростков — Гель-Гью, брутальный, как все портовые города;

...путешествие жука по ленте Мебиуса. Можно и так: страна величиной с бинокль.

Разбитое, саднящее его тело нашло наконец покой, будучи выброшенным разбушевавшимися стихиями Кризиса Середины Жизни на крошечный островок койки в инфекционной больнице на окраинах евразийской столицы. Он лежал неподвижно, лицом в углублении подушки, со свесившейся рукой и болящими от воды легкими, с ушными раковинами, полными

песка, с водорослями в спутанных волосах и юношеской бородке. Сладко ломило отбитую, желчью разлившуюся поясницу.

О, бывший 15-летний капитан! О, вечный Иностранец!

О, желчный вегетарианец!

Ну чем тебе не нравится эта — именно эта, страна?

В какое опять путешествие ты собрался?

Передохни. Спи пока, спи. Нет ни Африки, ни Патагонии, — есть одна Родина.

Она одна — магнит, — пока мы с ней, ни в каких компасах мы не нуждаемся; она — одна Большая Курская аномалия, отклоняющая и притягивающая наши сердца, намагниченные ее соловьями, домнами, Байконуром, Большим балетом, печатным русским словом.

Спи, мой мальчик, — я тебя не люблю, спи.

И он спал и спал, как давно уже не умел, не мог, penisом не буравя матраца, не мучая подушек и не будучи мучим ими, расслабив все болящие мышцы, урерту, сфинктер, выходя в просторных пижамных штанах и сорочке со штампами (но без пуговиц) только в санузел — перекурить, помочиться, — поперек кабинки тянулась надпись: «Да здравствует гепатит!» — и сверх забытого чьего-то кала не было никаких следов работы мысли.

Иностранец удивленно крутил головой, затягиваясь до головокружения, замечая вдруг, что его не смущает больше ни такой род лапидарности; ни потоки из-под двери; ни чуть заплеванное ведро с окурками; ни умывальник со стоячей водой; ни треснутое окно, как желатином затянутое пленкой никотина; какой пустяк по сравнению с первыми спазматическими затяжками, с теплом батареи, белизной кафельных стен, чувством беспредметной благодарности всему и всем. С ним не заговаривали, чувствовали — Иностранец. Он был благодарен и за это.

Он прислонился лбом к стеклу. Был уже вечер. Фонарь внизу плавал в лужице света, освещая дебаркадер,

лестницу, кирпичные склады. Больница была огромной, в ней как минимум было одиннадцать корпусов, одиннадцатым был морг. Видения не оставляли в покое его усталый мозг. Он опьянел от сигареты, она начала жечь пальцы, когда внизу, ему показалось, мелькнула какая-то фигурка в шахматном трико, в коротком ренессансном плаще — она пересекла двор, метнулась в свете фонаря, прижалась к дебаркадеру, слилась с тенью, карнавальная фигурка «дель арте» в снежной Москве-товарной, Сортировочной...

Он опять канул в сон, успев только добраться до койки и коснуться головой подушки. Свет разума и памяти был не в состоянии на этот раз пробить толщу сна; морды глубоководных рыб подплывали несколько раз вплотную к его лицу, но проходила минута, полторы, и — будто растворялась чернильная таблетка — разливалась совсем уже кромешная тьма, в которой они исчезли навсегда.

Проснувшись, он почувствовал, что наконец ото-спался за все предшествующие месяцы, а может, и годы. И было ему хорошо. И был день третий, от начала же болезни восьмой...

Эти люди вокруг — в сущности, они не были непонятны, они были непостижимы для него. В палате эстетически тренированному Иностранцу сразу бросился в глаза брейгелевский «Знаток» — пролетарий с Красной Пресни: щель улыбающегося беззубого рта будто выбрана была двумя верными надрезами по дереву; с костяшками домино в сведенных ладонях он радостно-удивленно вглядывался в небывалую композицию — растущий на столе, как полип, черный крест.

Вся способность соображать пресненского токаря ушла в глядельную неброскую силу, ту трудную силу, от которой фосфором начинает светиться в потемках перфорация древней игры — угольных карт.

Зрелище причудливых поворотов и перекрестков — движение гексаграмм судьбы — понемногу начинало волновать воображение и нашего Иностранца. Дни проходили в игре. Смысл этой игры, ее правила были совершенно неведомы ему, несмотря на то, что он провел в этой стране уже немало лет, и даже получал

за это деньги, правда рублями. С самого начала, с пробуждения почти, он начал подозревать, что смысл ее не так прост, как непросты и те люди, что играют в нее. А может, и не играют — может, игра — только видимость, форма?

Другими глазами — но как? — следовало взглянуть ему на партнеров Знатока:

— на косящего от напряжения уследить за игрой и партнерами, агрессивного отрывистого Падалку. Этот Падалка страдал редкой разновидностью астмы: не будь трех-четырех смазочных слов, он давно задохнулся бы, не в силах выговорить и единой фразы — сперло дыхание, перехватило бы горло, — и он рухнул бы за смертью. Слава богу, эти слова были! Каждому нейтральному слову Падалка давал двух-трех провожатых из их числа, предупредительно поддерживавших его со всех сторон. За верную службу слова эти он лелеял и посвоему, наверное, любил, лаская их суффиксами, награждая приставками, творя отглагольные существительные и редкой смелости и новизны глаголы. Несгибаемой силой духа, беспощадными упражнениями, каждый день выходил он победителем в схватке с душившей его болезнью.

А «Казачья сотня», что каждое утро плевал в свои милицейские глазки и, под чубом елозя, начищал их рукавом, чтоб блестели; что растирал пухлые плечи — по-штангистски отдуваясь — одеколоном, понятно зачем; что вдохновенно и звонко рассказывал палате о позе «ласточки» в наручниках и смиренной «восьмерке» с помощью сыромятного ремешка, девушка его сдала экзамен, а он анализ, скоро его выпишут, и он будет «паханом»; целыми днями он напевал две строчки — только две! —

Притяженье Земли...

Притяженье... полей! — что свидетельствовало о развитой службой эхोलалии, — и зычно себя поощрял во всяком деле:

— Но-ор-мальный ход!

Поди пойми их! Иностранец думал про себя: «Я вижу и не вижу их...».

Медиум — четвертый — сидел всегда спиной (и потому описание его опускается) и широкими встречными круговыми движениями, как виртуоз-пианист,

месил игральные карты. Это был военнослужащий, похотливый глист, замороженный активной жизненной позицией бедолага.

Втягиваясь подспудно в игру, Иностранец все более ощущал, как потрескивают под ударами костяшек домино и размываются контуры его собственного лелеемого «я».

Все менее важным становилось в ходе игры, что представляют из себя игроки по отдельности.

В полноте, с которой они отдавались ей, в тотальности самой игры, за пугающей доступностью он улавливал присутствие еще чего-то разлитого, неуловимого и загадочного, как Славянская Душа, как Истина, уместающаяся на кончике носа, — переведи только взгляд, потрогай ее!

Все, что не было игрой, было подготовкой к ней, разминкой и настроем команды.

В палате было что-то от раздевалки в ответственном международном турнире. Короткий послеобеденный сон — восстановление физических сил — любовная ретардация перед новым погружением в игру. Тогда слетала вся вялость, развеивалась пустота взгляда, легкий трепет пробегал по палате, свежел утомленный воздух — тело мира стремительно омолаживалось.

Было, пожалуй, еще одно, кроме мочи, кроме общей страсти, — все они были русские люди, в глазах их читалась готовность выполнить любой приказ своей Родины. Иностранцу было стыдно, что он не любит их. Но другое, более сложное чувство уже пробуждалось в нем, пробивало себе дорогу, теснило диафрагму...

Смысл игры начал постепенно проясняться для него — как всегда бывает, упорство и долготерпение были вознаграждены; не прошли даром многодневные наблюдения из койки за игрой, скрытые записи, сопоставления, угрюмое отсиживание в засаде, диета, изнурительные интуитивные усилия — и вдруг что-то блеснуло; посыпались искры внутри головы, что-то перевернулось, сдвинулось, озарило — и ВСЕ стало вдруг на свои места.

Горе-Иностранец, ну почему ты иностранец? Ну что бы тебе раньше понять! Не повезло же тебе родиться здесь, у нас, где каждый с малолетства знает и лю-

бому может объяснить, что смысл этой Игры, высшее достижение в ней — это «Рыба»! А что такое Рыба? — Это же ИИТЮС! — Это Иисус Христос, ИИС.

Видел ты лица этих «непостижимых» для тебя людей, когда кому-то из них, преуспевшему в молениях, постах, в черных мессах магических «богохульных» заговоров, когда кому-либо из них открывалась вдруг РЫБА?!

Вот истинный венец Игры — момент открытого созерцания истины! В каком экстатическом состоянии пребывают «игроки», ревностно завидуя собрату, опередившему их на стезе духовного подвига!

Уже в названиях Игры заключена подсказка; на самом профаническом, демонологическом уровне она именуется — «забыванием КОЗЛА» — то есть нечистого еще со времен античности.

Но тебе ли, окованному кармическими цепями, идущему слепо по следу Игры, замороженному симметрией ее и асимметрией, магией дубля «шесть-шесть», мистическим совершенством карты «пусто-пусто», тебе ли с сознанием, распорошенным в феноменах, с иммигрантским твоим высокомерием, тебе ли было понять, что эта древняя и вечно живая всепобеждающая ИГРА, что она имеет глубокий богоискательский, богостроительский смысл, что она не что иное, как наша тайная сокровенная национальная религия — синтетическая религия, вобравшая в себя и переработавшая католицизм, православие, астрологию, спиритизм, «И цзин», некоторые сектантские верования, культ Авесты, комбинаторику и кристаллографию, гадание на картах, догадки Гессе, правила дорожного движения и еще десятки и сотни составляющих, — и на новом уровне разрешившая все их кажущиеся противоречия.

Игра эта выведена была из закрытых арабских двориков, из теснин лондонских пабов и эксклюзивных голландских клубов, из скверны Тринити-колледжа в Оксфорде на простор московских скверов, куда давно переместился центр мировой религиозной жизни.

Сама этимология слова: ДО-МИ-НО, понимаешь? DO-MI-NO «Anno Domini», — латынь-то ты знаешь? Должен знать!

Ты же видел, — тебе дано было видеть! — бенедиктинцы, черный плащ с белой изнанкой, — Монте-Кассино? Марко Поло?

«Dixit Dominus Domino meo!..»

Иностранец с горечью записал в тот вечер: «Мы ленивы и нелюбопытны».

Еще через неделю он сделал последнюю свою запись, расписавшись где-то на полях сбоку во всечеловеческой книге самоубийств: в предутреннем мороке взяв в рот электрокипяtilьник, который сам смастерил накануне для нужд палаты из провода, двух бритвенных лезвий, пары спичек и черной нитки, он крепко сцепил зубы на параллельных пластинках «Shick».

Было без одной минуты шесть. Начинала прокашливаться радиоточка, чтоб грянуть через минуту государственным гимном.

ИНЦИДЕНТ С КЛАССИКОМ

Этот белый лист слепит меня, как нетронутый киноэкран, который в зал отбрасывает изображение на растр голов и плечей, — сам оставаясь снежно-белым. В движущемся отраженном свете зал становится похож на копошенье белых червей, увиденных мальчиком в очке вокзального сортира лет тридцать назад. Выйдешь на перрон — запах шпал, паровозные свистки, рельсы в обе стороны загибаются к горизонту, сердце колотит в тельце, сотрясая им, как пустым керосиновым бидоном. О, родная Украина!

Некий человек, пишуший стихи, сокрушенный загадкой Гоголя, решил съездить на один день в Миргород, чтобы натянуть в себя из вязкого, как взбитая перина, воздуха тех, крепких, как смерть, снов, проникших лет двести назад в кровь гения и исподволь превративших ее состав. Он хотел пройтись по берегам нерукотворной лужи, затмившей славу Маркизовой с

ботиком Петра, Мойнаков, озер Эльтон и Баскунчак и самих Байкала и Каспия, — хотел потрогать рукой желтые стены городской управы. Ничего плохого он не хотел.

Но, едва приехав, он потерял в вокзальном сортире связку ключей, своих и чужих, — киевских ключей от всего. Сгоряча это представилось ему даже еще хуже, чем потерять паспорт. То был страшный удар поддых в борьбе за существование. Оставаясь гражданином, на несколько месяцев как минимум в силу стечения разных, в том числе причудливых, обстоятельств, он переставал быть самостоятельным человеком, вливаясь едва ли не в класс бомжей и бичей. Столичная жизнь жестока. Пощады в ней не жди.

Ключи лежали поверх плотного, кишашего жизнью слоя, задержавшись наполовину на каком-то обрывке газеты, — на счастливую половину, едва перевешивающую остальную уже погрязшую часть. Нельзя было терять ни минуты. Любая подвижка тонкого поверхностного слоя, малейший тектонический сдвиг могли привести к непоправимому.

Но до уровня экскрементов рукой было не достать, перепад высот был метра два — так что даже открывался странный и непривычный вид, будто из иллюминатора космического корабля, где посланец ноосферы зависает вниз головой над равнинной поверхностью неведомой планеты и где так явственно читаются признаки долгожданной жизни.

Стихослагатель задумался. Нужно было какое-то простейшее и гениальное приспособление, порожденное смекалкой, так всегда выручавшей наших предков. Лихорадочный перебор вариантов сменился через минуту выражением решительности на его лице. Необходимо было в незнакомом городе достать нитку и магнит. Дело осложнялось тем, что было воскресенье — магазины закрыты — и час сиесты — город после обеда крепко спал.

Не теряя времени, он побежал по улицам.

Недоумевающие, разбуженные, обозленные обыватели никак не могли взять в толк, чего добивается от них новый городской сумасшедший. Никогда, если бы

и было, никогда не дадут вам здесь то, чего вы просите, сразу. Но герой торопился. Будучи человеком интеллигентным и сам краем сознания понимая нелепость просьбы и нарастающий абсурд ситуации, но уже потеряв вменяемость, он продолжал носиться по городу, подымая ото сна целые улицы и переулки, проскочив уже раза два, и не заметив ее, центральную площадь, так что начал повторяться, пробегая по раз уже разбуженным улочкам, откуда из-за заборов, с двух сторон, в лицо ему и вслед глядели осуждающие лица жителей мирного, позабывшего о всякой спешке города.

Наконец в одном месте ему повезло. На одном из подворий, куда он заскочил, догуливали последний день свадьбы. Дружки жениха, равно расположенные к добру и злу, в силу выпитого алкоголя, но находясь в состоянии временного рассеяния воли, выкрутили ему из радиолы магнит, под честное слово, и дали катушку ниток, заставив выпить стакан теплого и мутного самогона за здоровье новобрачных. Они сами себе нравились в этот момент. Ничто все же так не возвышает человека, как благородство.

Наш герой помчался на вокзал, и, о счастье, ключи были на месте, очко не занято, и, соорудив трясущими руками снасть, с третьей попытки он наконец подцепил ключи. Дальше полчаса он отмывал под проточной струей руки, магнит, ключи — впал в ступор, будто енот-полоскун, снова и снова принимаясь тереть их по очереди и все не решаясь поднести к НОСУ.

Магнит он вернул, но пить отказался, ясно сознавая, что ответная реакция организма даже не позволит коснуться зубами стакана — как вся свадьба будет облевана, включая дружек, родителей жениха и невесты, гостей, соседей, пол-округи, большую часть растревоженных им улочек, а может, и весь славный город Миргород.

Благородство свирепеет, когда сталкивается с неблагодарностью. И только чуть опережающая события интеллигентность и смышленность нашего героя в сочетании с чуть отстающей от событий и спотыкающейся сообразительностью притомившейся свадьбы позволила ему подобру-поздорову и целу, но быстро покинуть места зарождающейся агрессии, где так крепко повздорили когда-то из-за ничего два героя одноимен-

ного писателя. Не исключено, что писатель сам, будучи ребенком, бросил одному из них палочку дрожжей в отхожее место, чтобы поглядеть, что из этого выйдет. А вышло скучно.

Наш же герой всю дорогу до Киева пролежал бодрствуя на верхней полке, содрогаясь при мысли о сигарете, чтобы не накатило ненароком, не подступило к глазам и горлу то невозможное, вывернутое, бесчеловечное, подлое, что поглумилось сегодня так над его вполне бескорыстной любовью к великой русской литературе.

Только многочасовая ванна с хвойным экстрактом уже в столице и неделя усыпляющей воображение рутины на службе у общепользуемой жизни позволили ему со временем забыть этот инцидент.

КЛОПЫ

Бежал по матрацу клоп. Матрац был серый в зеленую полоску, а клоп красный, ноги колесом, и звали его Прокопыч.

У черного штемпеля привычно повернул налево, забрался на бугор и только собрался спуститься вниз, как навстречу ему — другой клоп, Распопов Сидор Кузмич.

— Так что, Прокопыч, поворачивай обратно, там начпрод шиш выдает.

— Ну?! — опешил Прокопыч.

— Век воли не видать! — перекрестился Кузмич. — Мужики у забора собираются, пойдем потолкуем.

Озабоченно наклонив голову, Прокопыч засеменял вслед за Распоповым. По пути встретили еще одного клопа, Ваську Губу.

— Чего, я слышал, будто с пайком облом? — спросил он.

— Пропадай, Расея, — сумрачно буркнул Прокопыч.

— Так что, Василий, нету Белогрудова, и не ложилси, — объявил Кузмич, и они втроем побежали дальше.

У забора гул, дым, ропот, одних следов и окурков — сила!

— Садись, покури, Прокопыч, — сказал Миша Чучин, протягивая ладонь. Он сидел в такой позе, будто справлял большую нужду, и, свесив руки, курил.

— Как же это вышло-то, мужики? — спросил Прокопыч, здороваясь со всеми за руку.

— Я и говорю, — моргая, стал рассказывать плюгавый клоп Ванька Бураков. — Выходит, первый я сегодня пошел. Думаю, не уснул еще, гад, задавит, а рискну, потому как жрать надо чего-то, да и тихо, однако, — моя-то конура, знаешь, у самых у пружин — слышу, не скрипит. Ай, думаю, жисть наща, семь твою в нос, рискну! Вылез, бегу, душа в пятки ушла, однако чую — не скрипит ведь, гад! Ладно, думаю, поэт — известное дело, не дышит, не дышит, а потом хватать ватой — и подожжет! Это у него мода такая стала — ватой хватать. Ну, бегу, по окопчикам прячусь — вдруг мне как по лбу стукнуло: что же это, кажись, пятки на шву не было! Это, значит, примета такая у меня: на конце матраца шов есть, черными нитками шит, ну, и там аккурат пятка всегда бывает. Осадил я, назад воротился — точно, нету пятки!

— А ты! — не удержался Прокопыч.

— Ну! Меня как по ендове стукнуло! Бегу уж не прикрывшись, поверху, во все глаза гляжу: нету Белоградова, хоть тресни! Я и туды, и сюды, и под горой, и на лонжероне был — ну нету, берлинский барабан, вот обида, семь твою в нос! А тут и Миша стретился.

— Здоров, Семен, — сказал Миша Чучин, протягивая руку очередному пришедшему. — Садись, покури, в ногах правды нет.

— Не, а че же делать-то, че же делать-то, — заволновался какой-то молодой клоп.

— Говорю вам, под кроватью сидит, — угрюмо произнес Славка Пень. Он стоял, прислонясь плечом к забору, и все крутил на голове новую зеленую шляпу, то задом наперед повернет, то передом.

— Известно, сидит где-то, — сказал Прокопыч, почесывая бок.

— А штаны-то снял ли?

— Да ведь до штанов ли, Прокопыч? — заморгал глазами Ванька Бураков. — Что свет погасил — все видели, и дверь запер с этой стороны. А штаны — кто за имя уследит!

— Известно, кабы заранее знать, — согласился Прокопыч.

— Под кроватью он сидит, больше негде, — повторил Славка Пень, поворачивая шляпу.

— Не, а че сидим-то, мужики, че сидим-то зря?! — волновался молодой. — Айда поищем!

— А ну-ка, парень, ты у нас самый шустрый, — рассудил Прокопыч. — Слетай вниз, погляди, давай, во, напрямик, через лонжерон, и туды! Давай!

— А чего, дадите курево — слетаю.

Протянули ему сразу две папиросы, он одну за ухо, вторую в рот — и побежал, только штаны засверкали.

— Эх-ма, — вздохнул Прокопыч, усаживаясь. — А чей он хоть есть-то?

— Да Тыквы сын, — сказал Миша Чучин.

— Чего-то не знаю его.

— Ну! Тыквы-то сын! Жена-то у него прошлый год суперфосфатом отравилась.

— У Тыквы?

— Да не у Тыквы! У Кольки! Рыжая Капка-то! Шумная баба! Гарибальди-то!

— А-а-а! Офони Тыквины Колька!

— Ну!

— Ты смотри, мордорот какой вырос!

— Ну.

— Вот я когда в девяносто седьмой сидел... — сказал Славка Пень.

— Это где семья, что ли? — уточнил Прокопыч.

— Ну... Сидел, это самое, так они тоже, бывало, под кровать залезут — и спят там, будто я не найду... А не то в шкаф. А во, — веско произнес Славка Пень и сплюнул. — Если под кроватью нет — значит, в шкапу.

— Ну-кось, шкаповские! Есть тут кто шкаповский? — крикнул Прокопыч, вытягивая шею.

— Как же, придут оне, жди, — угрюмо сказал Славка Пень. — Говорю вам, в шкапу сидит.

— Так а больше-то негде, — сказал Прокопыч, почесывая бок, со злостью подумав о том, что придется бежать в такую даль.

— Не, во гад, а? — сказал Ванька Бураков, озираясь по сторонам. — И носит же земля таких гадов! Чего не удумают, чтоб только нашему брату досадить!

— Тю! — сказал Миша Чучин и приставил ладонь ко лбу. — Чего шумите? Вот вам и шкаповский один! Здорово, Козловский! Проснулся? Садись, покури.

Давя кулаком глаза, к забору подошел растрепанный, небритый клоп в галстук. Смущенно поздоровавшись со всеми, он стал растирать ботинком пыль.

— Гляди-кось, он в галстук! — подковыривал Миша Чучин.

— Будто конферансье, елки зеленые! Чего, Пал Федорыч, али праздник седня какой? Не к вам ли кассу слили?

— Да ну, я думал, здесь, как всегда! — махнул рукой Козловский, принимаясь торопливо и порывисто ходить взад и вперед, бросая на всех резкие взгляды.

— А чего, неужто не у вас?

— Да ну... — отвернулся Козловский.

— От едрена мать, — Миша Чучин с расстройства не сразу попал папирсой в рот.

Воцарилось долгое молчание. В наступившей тишине было слышно, как шипит и трескает папирса у Миши Чучина: и так хреновый табак был в папирсах, да еще палку туда засунули — жизни нет от воря!

— Однако неладно, мужики, — заметил Прокопыч.

— А вот Колька бежит! — увидели задние.

— Мужики! — издалека весело закричал молодой. — Нету Белоградова под кроватью!

— Ат ты!.. — хлопнул себя по коленам Прокопыч и сплюнул в землю. Стало опять неясно и тревожно.

— Слушай сюда, мужики! — крикнул молодой, высовывая вверх свою потную и пыльную рожу. — Чудеса, да и только! — он вдруг захохотал, ухватившись за бока, и присел.

— Что ты ржешь-то, собака! — замахнулись на него, и он заорал:

— Не, ей-богу, не вру: наш придурок на потолке сидит!

Клопы загудели. Прокопыч кончил чесать бок и некоторое время, недвижно уставившись на говорившего, размышлял. Потом, хлопнув глазами, крикнул сердито:

— Эй, парень! Как это он может на потолке сидеть, если он с потолка сейчас свалится?

Клопы разом смолкли.

— Хеть, — сказал Миша Чучин, качая головой. — Это ж надоть до такого додуть!

И бросил папирсу.

— Это же Белогрудый, а не кто-нибудь! — сердито кричал Прокопыч. — Ты вон крови напьешься, тебя и то на потолке-то еле ноги держат, потому — тяготение! А это Белогрудый! В ем сала одного — кровать ажник до полу прогибалась!

— Да че? — выпучив глаза, крикнул Колька. — Че? — растолкав толпу, он вышел вперед и подпрыгнул, наступив на горящий окуроч. — Че? — повторил он, держась за пятку и прыгая на одной ноге. — Раз такое дело, пойдем всей артелью, поглядим!

— Ну, пошли, — степенно произнес Прокопыч, поднимаясь, и клопы, гудя, всей артелью двинулись за охромевшим Николаем.

— Главное, Прокопыч, мне это дело позарез надо, — толковал Прокопычу Васька Губа, топая сапожищами. — Мне без этого дела хоть домой не иди! Жинка, да ить и пятеро мальцов у меня, сам знаешь!

— Мудрено, — гнул свое Прокопыч.

Он шагал все быстрее, засунув руки в карманы. От топота сотен ног стоял глухой гул и тряслась земля. Клопы толкали друг друга, наступали друг другу на ноги, а в суматохе, когда перелезали через провод, Миша Чучин чего-то не разглядел в темноте, поскользнулся, да и полетел, матюкаясь, на пол.

— Вот, — сказал Прокопыч мрачно.

— Да ей-богу, не брешу! — торопливо отозвался молодой, сердясь и пугаясь.

Его слова потонули в глухом гуле. Клопы, взбудораженные, побежали бегом, пыля и грохоча, как стадо. А прибежав, разом остановились, и гул стих, и настала тишина.

Тогда вперед выкатился Колька Тыквин, мордоворот, и стал объяснять, ковыляя и подпрыгивая:

— Вот, смотрите, то есть он, конечно, не то чтобы сидит здесь, как все сидят, а совсем даже наоборот, то есть он на башке вверх ногами стоит, то есть не вверх ногами, а ежели тяготение смотреть... А, ну да! Вниз башкой! То есть он себя к потолку за голову веревкой привязал!

Клопы стояли, разинув рты, и ничего не понимали.

— Стой! Завелся! — с досадой сказал Сидор Кузмич Распопов. — Куда у нас тяготение-то идет?

— Тяготение вниз башкой идет!

— Хренов тебе как дров! Как же вниз башкой!
— Че? На потолке-то вниз башкой тяготение!
— Стой! Завелся! Ну-ко, мужики! Как мы шли-то, подожди?

— Как же... Прокопыч... Как же это... Веревка-то... А?.. Как же это веревка-то не лопаается?

— Веревка, — очнувшись, ответил Прокопыч исключительно для репутации, ибо понял теперь все, — это английская веревка и потому не лопаается.

— А! Она... Английская...

— Известное дело, поэт...

— Стой! Мужики! Неладно тут дело-то. Как мы шли-то, подожди...

Отталкивая друг друга, клопы полезли по придурку, а Прокопыч, выждав и оказавшись позади всех, огляделся, повернулся да что есть духу помчался домой.

«Ах ты! — кричал он про себя, задыхаясь и багровея. — Вот те и закручивай! Ну, пестерь же я! Ишо бы там сидел — потом обгоняй тех мордovorотов!»

— Ну, жена, — сказал он, хлопнув дверью. И, пройдя мимо жены, зачерпнул ковш холодной воды и принялся жадно пить, потом оторвался и выдохнул: — Собирай шмотки, драпаем отсюда!

— Таваканы пвибегали, все стаканы выпивали, — пролепетал карапуз, волоча по полу кубик.

— Эх, жизнь, — помрачнев, вздохнул Прокопыч.

И, размахнувшись, плеснул остатки воды под стол.

ОВДИН

Овдин — это тот высокий старик с красной лысиной, которого пионервожатая позвала на сцену, и он пошел, и остановился в проходе, и стал топтаться на месте, а потом опять пошел. У которого в горле застряла картофелина, и никто ничего не понимал, когда он говорил, и пионервожатая громко переводила, что он в гражданскую воевал против англичан, брал остров Мудьюг и город Шенкурск. Потом ему повязали на

шею красный галстук, и он сидел на сцене в валенках, положив ладони на колени, и дышал, раскрыв рот.

— Как вы дышите, дедушка! — сказала ему пионервожатая; он приклонил ухо, перестал дышать, но не услышал и махнул рукой, и опять задышал, облизнувшись. Он глядел поверх нас, пионеров, и один глаз у него был мутный и слезящийся, а второй — яркий, сухой и неподвижный.

Это тот старик, Иван Михайлыч, которому говорили в больнице:

— Не залеживайся, дед! Зима скоро!

Которого не слушались ноги, и он сидел на койке и шаркал тапками по полу, и дышал, глядя на пол. Который был не глухой, но все звуки проваливались у него в какие-то дыры, и когда таракан выбегал на поверхность, он бил по тумбочке, не соразмеряя силу удара с силой возникшего звука, отчего задремавшие вскакивали. Я спросил его в сумерках, воевал ли он с англичанами. Он смотрел вопросительно, открыв рот и шевеля языком, и схватился за костыли после второго вопроса; и я спросил в третий раз, и он ответил, махнув рукой:

— Как не воевал!

Это Ванек Овдин, пулеметчик, сидевший с пулеметом на дровяном складе в Обозерске и державший под прицелом крыло избы, в которой умер от ржавого гвоздя кочегар Гостев. Огромный плотницкий гвоздь был налицо, но кто втыкал его в ухо кочегару — осталось не раскрыто. Видели, как отшатнулся кочегар, входя в избу, как в лицо ему совала икону старуха из темноты.

Теперь там под холодным солнцем стоял бесстрашный комиссар Бобыкин, держась за косяк, — тот Бобыкин, который звал Гостева Глостером, а Овдина — Оуэном, — он стоял на крыльце и соглашался, что надо стрелять без пощады.

— Но не в эту же старуху Лизавету, — говорил он, держась за косяк. — Я вам, товарищи, предлагаю стрелять в главную контру, через перила. Я предлагаю Господа Бога нашего Иисуса Христа расстрелять к едреной матери.

После чего, развернувшись, ушел в темноту сеней и появился, согнутый, с иконой под мышкой.

— За неимением Христа, — сказал с досадой в голосе, разгибаясь, — расстреляем пока что Божью мать, потому как, товарищи, один хрен.

И поставил икону в траву, у сруба колодца.

— Именем Реввоенсовета Республики, — сказал он, суя руку в деревянную кобуру, — по заклятому врагу рабочих, солдат и матросов... Огонь!

Ударили враз тридцать винтовок, и разлетелась в щепки икона, и упала на подоконник старуха, смотревшая из окна.

А Ванек Овдин смотрел на все на это через пыльное оконце дровяного склада, он смотрел то туда, то сюда, и в глазах его разлетались, будто пугаясь, черные мухи голода. Он был посажен в засаду, на дровяной склад, на тот случай, что если все ж таки с неба опустятся ангелы, и хоть бы сам Георгий Победоносец, — чтоб разбить окошко поленом и ударить им в спину из пулемета.

ШТАНЫ

В ту ночь мне не спалось. Вздрагивали стекла от непогоды, металась под потолком букашка, всякие мысли лезли в голову, заставляли выйти на улицу: как там? что?

Горели желтые лампочки, и я спускался, засунув руку в карман. Под лестницей у нас складывают всякий металлолом пионерам, вот там как раз лежала чья-то раскладушка, гнутая и заржавленная, и на этой-то раскладушке сидел, сгорбившись, человек, увидев которого я сразу вынул руку из кармана и обалдело сел рядом с ним, и все мысли, которые лезли в мою голову, лезть туда перестали.

Этот человек был в синем пиджаке и галстукe, в лакированных румынских ботинках, но в черных и, пардон, потертых трусах.

— Эта, как ее, — произнес я, обращившись к нему, — жена, что ли выгнала?

Он посмотрел на меня и тяжело вздохнул.

Я протянул ему руку:

— Здравствуйте, товарищ.

Он пожал мою руку, но опять ничего не ответил.

— Вот, — сказал я тогда, — погода.

И ткнул пальцем в дверь.

А он опять промолчал.

— Эх! — не сдавался я. — Ка-ак же они нас, а?

И, подняв руку, как пионер, впечатал ладонь в колени.

— Сволочи, — сразу согласился человек в румынских ботинках.

— Нет, ну надо же, а? — сказал я, уставясь в пол, потому что понятия не имел, кто сволочи.

— Сволочи, — повторил он. — Ты скажи, что им надо? Что им надо от нас? Они, кила им у зад, угомонятся когда-нибудь или нет? А?

— Да... — вздохнул я. — А вы сами из какой квартиры?

— Та я из соседней улицы.

— Вот те раз! За что же она вас так?

— Кто?

— Да жена ваша.

— Какая там жена... Нетути у меня никакой жены.

Я задумался. Надо сказать, я с детства не любил всякие загадки, особенно про капусту или про грушу, у меня от них всегда беспокойство происходило.

— Да где тогда ваши брюки? — озлившись, полез я напролом.

— Та! — махнул он рукой и опять, сгорбившись, загрузил.

— Что, украли, что ли?

— Не.

— Слушайте, товарищ, вы мне голову не морочьте. Я человек чувствительный, тонкий. Мне такие загадки вредно загадывать!

— Та что же я... Вышел погулять ночью... Уж совсем нельзя стало.

— Товарищ! Ночью, наоборот, должно быть все ясно, потому что люди спросонок и соображают хуже!

— Та я родился таким дураком, вот и все вот...

— Как так? — опешил я и вдруг увидел, что он плачет. Помедлив, я сказал:

— Ну-ка, пойдём, — и потащил его за локоть. Он

покорно дал себя вести, захватив зонтик, лежавший на раскладушке. Я привел его к себе на кухню и заставил выпить сто грамм, после чего он с безразличным видом стал снимать башмаки и, сняв их, остался в красных носках.

— Ну так что? — сказал я.

— Та я же говорю... Такой я и есть урод узади ноги. А что? Та если б не это, я б еще показал! А! — махнул он рукой, налил сам себе в стакан и, выпив, вытер ладонью рот. Я протянул ему грузди, но он, мотнув головой, отстранил мою руку и заговорил, махая перед лицом ладонью, будто ловя невидимую муху: — Усем взял! Усем взял! Сила есть! Да, не жалуюсь! И рожей вышел! И ума хватает! В сашки кого хошь обыграю! Ну! А вот штанов не дал бог. Не дал бог штанов-то, — и он, замолчав, отщипнул задрожавшими пальцами кусочек хлеба.

Я сидел подавленный и тер колено.

— Никак привыкнуть не могу, — говорил он, щипая хлеб. — Вот недавно иду в магазин. Бабы, те жалеют, конечно, не смотрят, вроде и ничего... Делают вид... «Здрасьте, Валерий Петрович... Вам рожки подать, Валерий Петрович?» А выходить стал — тут девушка какая-то, годов пяти: «Мама, — говорит, — а почему у дяди штанов нет?». Как кипятком ведь ошпарила, пуговица этакая... Им же рот не заткнешь, детям-то...

— Да, — сказал я и стал скоблить ногтем лимон, нарисованный на клеенке.

— Теперь зиму возьми. Летом-то ладно, а ты попробуй зимой, зимой попробуй, вот хреновина-то где!

Я покачал головой.

— А пуще всего худо — один я! Слепой — тот на конгресс собирается, и библиотека у него своя, потому как много его, слепого накопилось! А я один! Я один на весь шар земной хожу такой урод! Без штанов! А какая дура за меня замуж пойдет? Какая дура? Жалеть жалеют, а чтоб у дом мой — та ни за какие деньги! Она за десять слепых пойдет, только не за меня! Кила ей у зад!

Мы проговорили с ним до самой зари. Вернее, говорил все он, а я только сострадал. Проводив его на

рассвете до двери, я засунул руку в карман, прислонился плечом к косяку и задумался. Какое-то новое, светлое чувство рождалось в моей душе. Хотелось чем-то помочь этому несчастному человеку, облегчить его страдания. Я вспомнил, что в холодильнике у меня лежит желтая дыня, и решил непременно притащить ему завтра эту дыню, и тут же обругал себя, потому что забыл спросить адрес, а потом тяжело вздохнул. Сколько их, несчастных и обездоленных, вечно страдающих, ходит по свету, а мы, те, у которых все есть, еще недовольны чем-то, еще требуем чего-то, стучим по столу кулаками, ропщем на судьбу, не спим по ночам — как это нехорошо все, друзья мои, как нехорошо...

«НСЦДТЧНДСИ»

Ученик. Видишь ли, я думаю о действии будущего на прошлое. Но разве можно с таким грузом книг, какой есть у старого человечества, думать о таких вещах! Нет, смертный, смиренно потупи взгляд. Где великие уничтожители книг? По их волнам нельзя ходить, как по матерiku незнания.

В. Хлебников. «Учитель и ученик»

Это повторялось из года в год — в мои семь, и в десять, и в двенадцать лет: меня вытаскивали из запущенного парка в конце улицы, или из ивняка на Бабском берегу, или из садового домика, где я валялся на топчане с книгой, смахивая со страниц двухвосток-уховерток, сыпавшихся изо всех щелей, — вытаскивали, сажали на облезлый «кухонный» стул, заставляли тщательно отмывать ноги в ярко-желтом тазу с горячей водой, закрашенной марганцовкой; потом мать поливала из голубого кувшина с алой бабочкой на боку, а я неумело и неохотно мыл шею, стучаясь макушкой о водопроводный кран, висевший скрюченным медным пальцем над глубокой эмалированной раковиной. Затем я с трудом натягивал на еще влажноватые ноги носки и сандалии с негнушейся подметкой, твердостью не уступавшей железу, рубашку, вечно пузырившуюся на спине и спереди, отглаженные хлопчатобумажные брюки, сползавшие с моей тощей задницы, так что

приходилось то и дело поддегивать их локтями. Завершив процедуру одеванья, я подходил к отцу, снявшему в это время со своей надутой щеки последний клоч пены при помощи опасной бритвы, и он кропил мои пегие волосы одеколоном из флакона с роковой цыганкой на этикетке. Пахнувшие дешевой парфюмерией, мы выходили из дома: отец и мать «бубликом» — под руку, я — чуть сзади, и шествовали по Седьмой, вымощенной красным кирпичом и покрытой толстым слоем красной пыли, которая нежно алела в лучах заходящего солнца, клубясь под ногами бредущих с выгона коров. Да, все так и было — и в семь, и в десять, и в двенадцать, и позже, но после двенадцати весь этот ритуал приобрел несколько иной смысл — для меня, разумеется.

Друзья нашей семьи жили неподалеку от центральной площади — до нее от них за минуту можно было добраться по извилистой дорожке, протоптанной в зарослях бузины, головокружительно пропахших человеческими экскрементами. Тропинка выводила во двор — узкий прямоугольник между грузным на вид двухэтажным зданием, крытым черной обливной черепицей, — внизу помещались почта и милиция, а под крышей библиотека — и узким и высоким зданием поликлиники со стрельчатыми окнами и скрипучей входной дверью с литой железной ручкой в форме львиной головы и крестообразным витражным окошком. Посидев за столом около получаса, я оставлял родителей в компании бездетной пары и Степы-Марата, известного аккордеониста, получившего свое прозвище из-за службы на линкоре «Марат», и поднимался через заросли бузины к скамейке у торцовой стены поликлиники, где и устраивался с книжкой и кульком поджаренных с подсолнечным маслом семечек. Я читал и с птичьей неумолимостью и птичьим же бесстыдством заплевывал все вокруг шелухой. Я грезил. Я полагал себя влюбленным, а в двенадцать лет это означает — быть влюбленным. Она была старше меня лет на двадцать и как две капли воды похожа на роковую цыганку с отцовского флакона (в моих тетрадках и книжках скопилось десятка два-три этикеток с ее портретом, но я почему-то стеснялся их наклеивать). Она ходила в мини-юбке, выставляя на всеобщее обо-

зрение полные ноги, обтянутые черными ажурными чулками. Как и я, она каждый день являлась в поликлинику на уколы. В просторной приемной я устраивался напротив и поверх книги глодал взором ее роковое желтое лицо с густо накрашенными ресницами, тронутую увяданьем шею с капельками пота в жирных складках, толстые руки с толстыми пальцами, украшенными предлинными заостренными ногтями, наконец — ее ноги. Мне были назначены два укола зараз — алоэ и какой-то витамин. Дней через десять обе руки были исколоты, процедурная тетя Лида начинала жалеть меня и, сделав укол, укладывала на кушетку за ширмой, колола других, а уж потом опять меня. Нередко другой оказывалась желтолицая брюнетка, и я, с опустевшим вдруг сердцем, ловил каждый звук, доносившийся из-за ширмы: шаги, хруст ампулы, невнятно-ласковое бормотание тети Лиды (это была верующая и добрая мужеподобная женщина, которая однажды на вопрос, что такое рай, ответила с обезоруживающей искренностью: «Это место, где я никогда не увижу голой ж...»), шорох платья, резиновое шелканье, снова шорох платья. Обменявшись ничего не значащими фразами, женщины чему-то смеялись, после чего моя Карменсита уходила. Однажды я не выдержал, скользнул к ширме, припал к шелке и увидел ее: стоя ко мне спиной, она подняла платье до пояса, немного наклонилась вперед и стянула трусы, явив моему взору пышные ягодицы, испятнанные следами уколов. На несколько мгновений тетя Лида заслонила от меня эту картину, потом ее белый халат пропал, и я вновь мог любоваться роскошным двухместным сидением. Красавица почему-то не спешила одеваться. Она расставила ноги пошире и негромко, но протяжно пукнула. «Вон ты как меня уколола», — со смешком проговорила она. Тетя Лида засмеялась и вполголоса сказала ей что-то укорительное.

И вот, сидя с книгой на скамейке у стены поликлиники, я грезил, восстанавливая в памяти ту восхитительную картину и призывая на помощь весь свой скудный запас сексуальной эрудиции, приобретенной в компании таких же, как и я, прыщавых оболтусов и брехунов, уверявших, что уж они-то познали все, хотя в большинстве случаев это «всё» не шло дальше так-

тильного знакомства с липкими от страха, недоразвитыми грудями подружек и влажных следов мучительных неудач на их судорожно сведенных железных бедрах. Впрочем, и этого — в сочетании с неотвязным приторно-сладким запахом одеколона — было довольно, чтобы ввергнуть подростка в грезы наяву, и я млея — с остекленевшим взглядом, прилипшей к нижней губе шелухой и закипающей кровью, клокотавшей где-то в тесной костяной коробке тазобедренного сустава. Из состояния прострации меня вывел запах крепких духов и крепкого пота, накрывший меня таким облаком, что я чуть не задохнулся. Карменсита пересекла двор и скрылась за дверью почты. Я бросился за нею. В такт шагам она помахивала тонкой книжкой, поднимаясь по гнилой скрипучей лестнице во второй этаж, где располагалась библиотека. Я шел за ней (Карменситой), чтобы идти за ней. Я не собирался в библиотеку (до той поры мне хватало книг, собранных родителями), но: от круглой печки, по коридору — налево, и вот, сам не понимая, как это произошло, я уже стоял перед конторкой, за которой восседал библиотечарь по прозвищу Мороз Морозыч — старик с ватной шевелюрой и ватной бородой. Вздев на нос очки с исцарапанными круглыми стеклами в железной оправе и шнурками вместо дужек, он обмакнул перо в чернильницу-«непроливайку» и, поглядывая то на меня, то на Карменситу, принялся неторопливо заполнять мой формуляр. При этом он, разумеется, не задавал никаких вопросов, ибо знал не только моих родителей и меня, но и всех жителей городка, их прошлое, настоящее, а возможно, и будущее. Красавица удалилась в читальный зал (позже я узнал о ее неиссякающей страсти к тому медицинской энциклопедии на букву «В»), а я внезапно оказался один на один с библиотечарем, охваченный чувством, какого прежде мне не доводилось испытывать.

Пожалуй, это было предчувствие судьбы.

Иногда я хаживал с отцом в фабричную библиотеку. Это были две тесные клетушки в клубе, рядом с бильярдной, две комнатки, доверху набитые потрепанными книжками. В углу, за шатким столиком, сидела иссохшая до белизны старуха с неизменной папиросой в черных зубах и варежках домашней вязки на вечно

зябнущих птичьих лапках, которые она время от времени грела, прикладывая к латунному абажуру старомодной настольной лампы. Пока отец рылся в книгах, я сидел, словно примороженный к столу неподвижным взглядом старухи, не спускавшей с меня глаз. Ее внук по неосторожности застрелил из охотничьего ружья отца, ее сына, и с перепугу спрятал тело в подвале, за угольной кучей. Степа-Марат клялся и божился, что к тому времени, когда труп обнаружили, в животе бедняги мыши успели вывести потомство. Когда его выносили из подвала на свет божий, изо всех дырок в теле беспрестанно вываливались, сыпались крохотные мышата, с отчаянным писком погибавшие под сапожищами мужиков (из опасения отравиться трупным ядом мужики заткнули ноздри и уши хлебным мякишем). Хоронить пришлось дочиста выеденную изнутри кожаную оболочку, напоминавшую проколотый воздушный шар с нарисованным ртом и заклеенными пластырем глазами. С тех пор старуха боялась мышей и детей. А я боялся старухи. Была библиотека и в школе, куда нас однажды записали огулом под присмотром учительницы, вечно боявшейся, как бы ненароком не захватили желтых классиков марксизма-ленинизма. Но так уж получилось, что обе известные мне до того библиотеки я не воспринимал как нечто сакральное, как образ, символ, метафору. А тут... Быть может, все дело в Карменсите?

Библиотеку издавна принято сравнивать с миром, Космосом, символом которых, выражаясь современным языком, издавна же являлся критский лабиринт. Катулл назвал его «храминой». Некогда храмами называли и библиотеки, и хотя это сравнение встречается и до сих пор, ныне оно скорее дань традиции и лени, нежели плод энтузиазма или глубоких размышлений.

О библиотеке, книге, чтении написано много, мне хотелось бы только вспомнить, чем она была для меня, а главное — к каким мыслям привело меня блуждание в этом лабиринте.

Эти четыре комнатухи, соединенные истертыми ступеньками и заставленные деревянными полками с разноцветными томами, долгое время казались мне за-

гадочным царством, движение в котором обусловлено незнанием, то есть движение тут возможно лишь постольку, поскольку существует нечто непознанное, непредсказуемое, случайное. Именно это и сближает библиотеку с лабиринтом — упорядоченным хаосом, расчисленным, рациональным, где движение принесено в жертву геометрии. Сложность лабиринта изначально бессодержательна и механистична, но становится естественной, как только в дело вмешивается случай — Минотавр, способный напасть в любой миг, в любом месте.

Я вступил в это царство. Я преодолевал бесконечные равнины и океаны, продирался через леса, где сломанные ветки сочатся кровью и стонут человеческими голосами, сражался с жестокими чудовищами и коварными колдунами, похищал розовоногих красавиц и словом — словом! — останавливал солнце над полем битвы. Возможности мои казались неисчислимыми. В любое мгновение я мог избрать новый вариант бытия, погибнуть как неповторимая личность, чтобы восстать из пепла как неповторимая личность. Я понял, что мне никогда не принять эту лжесвободу, эту дурную бесконечность, и это побудило меня пуститься на поиски Единственной Книги, которая объяснила бы все остальные, стала бы Ключом. Разумеется, речь шла не о банальном каталоге, но о Каталоге Космоса. Библия? «Махабхарата»? «Война и мир»? А может быть, речь идет даже не о книге, но о фрагменте, строфе, реплике («А он бездетен!» — и непроглядная тьма «Макбета» обретает вес и объем), даже — о тональности абзаца? Понятно, почему именно тогда я — безотчетно, разумеется, — пришел к отрицанию идеи прогресса в искусстве. А чуть позже я прочел в «Записках из кельи» Камо-но Темэя, в переводе Н. Конрада: «Преподобный Рюге из храма Ниннадзи, скорбя о том, что люди так умирают без счета, совершал вместе с многочисленными священнослужителями, повсюду, где только виднелись мертвые, написание на челе у них буквы «А» и этим приобщал их к жизни вечной». В. Санович в примечании поясняет: «Первая буква санскритского алфавита, по учению Сингон, являет образ истока, начала начал. Само ее созерцание освобождает от страданий, выводит на путь, в конце которого можно стать

буддой, достичь нирваны — чистого блаженства, существующего в бесконечности...» Мир сводим не только к книге, но и к букве (впрочем, логика заставляет предположить, что «А» сводимо к молчанию). Это тот тип мировосприятия, через преодоление которого европейская культура шла к нынешнему своему состоянию; Восток в целом остался чужд картезианскому рационализму.

Перечитывая (теперь я только перечитывал) «Петра I», в пятой главе третьей книги я наткнулся на пассаж, ранее не привлекавший моего внимания. Толстой цитирует некую рукопись под названием «Досмотр ко всякой мудрости»: «...узришь при себе водных и воздушных демонов... Скажи им заклятое слово «нсцдтчндси», и желаемое исполнится...». Помню, это жаркое дыхание магии опьянило меня: вот символ ВсеКниги — ВсеИмя. Средство и цель. Абсурд: мир сводим к «НСЦДТЧНДСИ».

Принято считать, что у каждого есть своя библиотека: скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты. Эта мысль показалось бы дикой, если не еретической, культурному человеку, скажем, XII века. Библиотека того времени символизировала устремленность к единственной мудрости — к Богу — и не познавала истину через ложь. Современная библиотека — это множество путей ко многим истинам, а чаще — к банальному знанию, поэтому именно современная библиотека и есть наихудший вариант лабиринта. Из средоточия мудрости она давно превратилась в склад знаний, лишенный сакрального содержания. Лабиринт ярко освещен прожекторами и оснащен громкоговорителями, указывающими путь заблудшему, а также массой запретительных знаков, которые, по существу, и превращают святилище в склад, лишая путника свободы передвижения, пусть опасной, но свободы (которая, впрочем, вообще немыслима без опасности). В таком лабиринте нам в принципе не угрожает встреча с подлинной случайностью, с Космосом. Жалкой пародией на прежнюю библиотеку стали так называемые «запретные» комнаты, рудимент (исчезающий), придающий образу книгохранилища едва заметный метафизический ореол.

Движение литературы характерно для истории

культуры: от эпоса — к эпопее и роману, от цельности — к фрагменту, от завершенности — к наброску и черновику... Невозможно представить древнего эллина или иудея, смакующего достоинства зачеркнутой строфы: они еще слышали в культуре голос или отголосок культа. Количество книг увеличивается: за последние сорок лет их выпущено больше, чем за предшествующие пятьсот. Перечень «гениев» все длиннее. Все больше музеев. Не удивлюсь, если вскоре появится музей ненаписанной книги. Увековечиваются имена: нас раздражает анонимность авторов «Илиады», «Слова о полку...» или «Макбета». С точки зрения христианина в анонимности есть что-то вызывающее: не попытка ли это скрыться от Суда? Не то ли смирение, что паче гордости? Странно, особенно если учесть, что этим «бухгалтеризмом» больны приверженцы бога-анонима. Останавливаются все мыслимые мгновения и тем самым расширяются владения прошлого в настоящем и будущем. Владения смерти. Память человечества перегружена, и естественно предположить, что однажды масса достигнет критической точки. А дальше? Коллапс? Не исключено. Естественным, хотя и неосознанным, средством самосохранения стало возрождение коллективного творчества, возрождение — на качественно новом уровне — древней анонимности. Кроме того, преимущества кино, ТВ и видео, а речь о них, еще и в новом (в сравнении с книгой) способе восприятия и воспроизведения жизни, напоминающем тот, что был до Гутенберга, а может быть, и до изобретения письменности. Ничего плохого в этом нет. Впрочем, и ничего хорошего — тоже.

Пытаясь выяснить этимологию слова «лабиринт», некоторые исследователи указывают на близкое ему слово «лабрис» — так назывался двойной топор критского Диониса. Одним лезвием топор обращен к другим людям, другим — к держащему топор. Топор — обоюдоопасен.

Библиотека давно перестала быть неким обособленным миром, где, по законам романтического мифа, мог укрыться от пошлости жизни художник (скрывался и я — от спивавшегося отца и спившейся матери, от городка и образа жизни, который городок навязывал). Более того, библиотека в принципе неотделима от

жизни. И чем гнуснее действительность, тем притягательнее библиотека, примиряющая с этой действительностью, тем глубже и органичнее связи между ними. Иногда мне кажется, что если в нашем лабиринте (жизни, мире) вовсе нельзя без Минотавра, то ведь не придумать для него жилища лучше, чем библиотека. А может быть, сама Библиотека и есть Минотавр?

Отец повесился под вечер, оставив записку: «Я не виноват. Простите». Люди столпились на чердаке, боязливо поглядывая на передавленную телефонным проводом шею и высунутый язык. Меня не пускали, но я вырвался и увидел. А потом ушел и спрятался в библиотеке, благо Мороз Морозыч доверял мне ключ. Там я и провел ночь и весь следующий день — на раскладушке в комнатке, где сваливались подготовленные к списанию тома и старые газетные подшивки, а также хранились — в укромном месте — «запретные» книги, утаенные от проверяльщиков. Не спалось. Я дрожал при мысли, что мне предстоит вернуться домой, посмотреть матери в лицо, что-то сказать...

Днем пришла Карменсита, вид которой давно не вызывал у меня никакого волнения. Той весной она провожала в армию сына — плакала, казалась старенькой и жалкой. Она зашла в комнату, где за двойным стеллажом неподвижно лежал я, и принялась перебирать пахнущие плесенью книги: иногда Мороз Морозыч разрешал некоторым читателям выбрать что-нибудь в этой комнате «на унос». В неслышно отворившуюся дверь проскользнул Ирус — король Семерки, старательно прикрывавший лысинку крашеными кудрями, перестарок, как называла его моя суровая тетушка — сорокалетний мужчина, все еще бегавший на танцуйки и задиравшийся с пацанами из-за девочек. Карменсита и Ирус вполголоса перекинулись какими-то словами. Одним движением она подняла платье до груди, прислонилась к стене. Он повозился с ее поясом, отстегнул резинки, похлопал по белесому рыхлому бедру. Она опустилась на пол, он, расстегивая брюки, рядом. Они не целовались. На их лицах было то напряженное выражение, какое бывает у кошек, гадящих на половик. Оба громко и хрипло дышали.

Что-то хлюпало. Потом она с облегчением застонала. «Ты прямо как мертвая сегодня», — сказал Ирус. «Правда?» — спросила она тоненьким голоском провинившейся девочки. Он ушел. Она долго возилась с чулками, отряхивала платье, потом вдруг взялась руками за голову и уткнулась лбом в стену. Долго и молча стояла в этой театральной позе. Ушла.

Я перевернулся на живот и тотчас заснул. Во сне я видел что-то огненно-желтое и стремительное. Проснулся от страха: мне казалось, что за мною кто-то гонится, и топот эхом отдается в бесконечных коридорах. Я закурил, стряхнул пепел на пол. Рука дрожала. Я поднял руку — тяжелая кость, обернутая тяжелой плотью, пропитанная тяжелой, вязкой кровью. Чужая. Меня знобило. Я выбрался из комнаты и затопил печку. Бумага горела плохо. Потом вновь заснул и долго спал, мучимый кошмарами. Когда проснулся, зажег спичку: было девять. Утра или вечера? Пахло гарью. Я щелкнул выключателем: света не было. Снизу, с улицы, доносились громкие возбужденные голоса, удары по дереву и камню.

Я пробрался к двери — из-под нее вдруг повалил дым. За дверью ревел огонь. В читальном зале зазвенели стекла. Весело орущие мальчишки и мужчины лезли наверх по качающимся приставным лестницам. Внизу пританцовывал на своих костылях Мороз Морозыч. Мы повыбивали остальные стекла и принялись выбрасывать книги стопками вниз. Они раскрывались на лету и звучно шлепались на булыжник. Подъехала пожарная машина. «Только не воду! — закричал Мороз Морозыч. — Это хуже огня!» На него не обращали внимания. Толстая струя воды ударила в окно, наткнулась на стеллаж и рассыпалась брызгами по корешкам. Огонь проел потолок, и нам пришлось спешно ретироваться через окна. С лестницы я прыгнул на гору влажных книг и съехал на заднице к ногам библиотекаря. Он не узнал меня. Участковый Леша Леонтьев сердито урезонивал тех, кто под шумок пытался утащить книги. Участковому со смехом помогали несколько пьяненьких добровольцев. В густеющих сумерках люди с охалками книг бежали в заросли бузины.

Хлопья сажи падали на мокрую бумагу и расплывались черными пятнами.

Кажется, я задремал стоя. Мороз Морозыч тронул меня за плечо.

— Обидно. Полчаса — и все.

Я промолчал.

— Боже, боже мой, — снова заговорил он, — что же дальше-то будет?

Я пожал плечами.

Мороз Морозыч заглянул мне в лицо.

— Что ж, — сказал он. — Тебя я, наверное, понимаю. Но извини: мне трудно с этим примириться. Как любому человеку без будущего.

Помню, меня покорибила литературность его речи.

— С чем примириться?

— Ну, хотя бы с тем, что у кого-то это будущее есть. Может, только и есть, что будущее. Маловато...

Он помолчал.

— Некоторые события неизбежны. Надо сжечь, чтобы стать свободным. Остается пепелище, но ты уходишь, ты начинаешь жизнь...

— Это не я.

— Я не о том... — он покачал ватной головой. — Я о неизбежности. Но потом, с такой же неизбежностью... с непреложностью наступает час, когда тебя вдруг обступают призраки, что-то мучает, болит, и все это называется памятью, которую надо воплотить. И с высот ума ты спускаешься в глубины магии, чтобы отыскать слово, дающее власть над призраками...

— Знаю я это слово, — с раздражением перебил его я.

— Вот как? — в его голосе не было ни удивления, ни сомнения.

— Нсцдтчндси, — с трудом выговорил я. — Н-с-ц-д-т-ч-н-д-с-и.

— Ну да, — кивнул он. — Почему бы и нет? На первое время сойдет. А потом понадобится что-то еще, что-то большее, нежели слово. Что это такое — я не знаю. И не знаю, сколько лет ты потратишь, чтобы узнать это. Да и вряд ли узнаешь, хотя приблизиться, говорят, можно... Ты уже? Ну что ж, извини.

Он помахал рукой — большой и белой, словно страница книги.

...Спустившись на затянутый туманом луг, я побежал, меня била дрожь, в голове острым клювом постукивало: «Н-с-ц-д-т-ч-н-д-с-и! Н-с-ц-д-т-ч-н-д-с-и!». С разбегу перепрыгнул Гнилую канаву, перелез через садовый забор. Нсцдтчндси. В саду пахло созревающим белым наливом, нсцдтчндси, ночными фиалками, навозом из хлева, где огромной живой глыбой ворочалась корова. При моем появлении с середины двора поднялась какая-то темная птица. Нсцдтчндси. Я замер на пороге. Нсцдтчндси.

Она медленно подняла голову, «нсц», медленно убрала рассыпавшуюся на пол-лица серую прядь, «дт», и я увидел все разом, «чндси»: и обшарпанный «кухонный» стул, на котором она сидела, и застеленный ржавой клеенкой стол, початую бутылку, тарелки, огрызки и рыбы кости, и засиженную лампочку без абажура, и ее покрасневшие распухшие колени.

«Мама... — промычал я впервые за последние десять лет, с ужасом, сравнимым только с радостью, почувствовав, что не забыл и это слово. — Ма...»

А она уже поползла со стула, с трудом сгибая колени, медленно и тяжело опустилась на пол.

«Ма!» — и она, прижав к груди обе руки, тихо-тихо, с мучительной болью в голосе проговорила:

«Солнышки вы мои... солнышки... боженьки вы мои милыя...»

На месте сгоревшей библиотеки построили уродливое здание с плоской крышей и несдираемыми потеками гудрона на стенах, разместили там аптеку и почту. Спустя месяц после смерти матери я уехал из городка. У меня не осталось ничего такого, что связывало бы меня с этим прошлым. Ну, разве что том медицинской энциклопедии на букву «В», с расплывшимися по страницам черными пятнами. Да заклинание — как это еще назвать? — НСЦДТЧНДСИ. Не лучше, но и не хуже других.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Безвоздушное пространство называлось «вакуум» и помещалось в емкости, рассчитанной на избыточное давление в сто килограммов.

Сосуд с безвоздушным пространством стоял в специальной комнате. Доступ к пространству имели немногие: инженеры Иванов и Сергеев, техник Люда и начальник Иван Игнатович. Все они, кто чаще, кто реже, приходили сюда и внимательно следили за редкими и тем более дорогими проявлениями жизни пустоты.

Эта остаточная жизнь была, собственно, следствием неоконченности пустоты, неполной глубины вакуума. Все до последней частицы выкачать не удалось, они время от времени ударяли в стенки сосуда, что фиксировалось приборами. Кроме того, от стенок, ограждавших пустоту, отрывались и уходили в нее новые частицы.

Секретарша Екатерина Николаевна, Катя, в комнату к пустоте не ходила, интереса к ней не проявляла, даже приборы один от другого отличить не могла, но была дружна с теми, кто изучал пустоту.

В мае была вечеринка, на которой все они, включая Ивана Игнатовича, дружно и весело пели, танцевали и пили, а потом до полуночи гуляли, провожая дам по пустынным улицам.

Вечеринка была понята всеми как старт в светлое

будущее, но вместо этого пошли дожди, настроение снизилось, пусть в отчаяние никто и не впадал.

Сергеев и Иванов по вечером выпивали, Иван Игнатович думал о чем-то своем. Люда гадала на ромашках — удастся ли ей поступить в технологический институт на заочное отделение.

Дожди не прекращались. Иван Игнатович становился с каждым днем все более мрачным и раздражительным.

В этот день пустота вела себя плохо: агрессивно и дерзко. Частицы колотили по стенкам сосуда бессмысленно и аритмично.

Техник Люда следила за показаниями приборов и не понимала, что происходит. Пришли Иванов и Сергеев.

— На волю просится?

— Ну, что у тебя? Скажи! — Люда вопрошала пустоту.

Вакуум не отзывался.

Иванов и Сергеев, расписавшись в «Книге убытия по служебным делам», вскоре уехали на институтском фургоне с надписью «Дефектовочная» на борту.

Секретарша Екатерина Николаевна, Катя, печатала письмо и сделала ошибку.

Длинное, нескладное письмо, все в придаточных предложениях, было уже почти готово, когда вдруг вместо: «А в случае неисправления Вами положения в сроки...» — на бумаге оказалось: «А в случае неисправления Вами дня рождения...»

Суетясь и волнуясь, как застигнутая врасплох, Катя принялась вынимать и комкать испорченный лист.

Иван Игнатович вышел из кабинета:

— Где же письмо?

На столе был только листок с его каракулями.

Катя, смутившись, как школьница, выдохнула:

— Сейчас...

Переписав дурацкое письмо, Катя открыла сумку. Все было на месте: бутылка коньяка для Иванова, Сергеева и Ивана Игнатовича, конфеты для техника Люды.

Катя ждала, но никто не приходил ее поздравить,

и это было обидно. Много ли надо? Подошел бы кто-нибудь и сказал: «Поздравляю!»

Иван Игнатович встретил в коридоре уборщицу.

— Знаете, последний цветок засох. Поливать надо. И пыль на окнах. И вообще, честное слово, грязно у нас! Нельзя ли хоть раз в два дня убирать по-человечески?

Когда он повернулся, чтобы уйти, уборщица весело подмигнула Екатерине Николаевне и показала язык. Екатерина Николаевна отвернулась.

Иван Игнатович разговаривал за дверью по телефону. Грубо и громко. Катя думала о себе.

Утром, дома, умываясь, она долго смотрела на себя в зеркало: бледное, невыразительное лицо. Узкие плечи. Маленькая грудь с большими темными сосками...

Екатерина Николаевна, Катя, всегда считалась красивой, даже изысканной, гордой и неприступной. Она хотела быть самостоятельной и самой все за себя решать.

Кате вспоминался ее первый после окончания школы выезд за город. Ей было плохо тогда, казалось — ее никто не понимает.

Остановились у реки. Решили купаться. Вода была холодной, дно — сплошной ил. Катя все же проплыла немного. Вылезла на траву.

Переодеваться в кусты она пошла с Дашей. Ей было ужасно неловко, все казалось, кто-то подсматривает. На Дашу-то еще можно было посмотреть: вполне взрослая, большая, светлая, стройная, она спокойно и уверенно выжимала на траву купальник.

Маленькая, худая Катя казалась себе рядом с ней еще меньше и хуже — страшный, смущенный зверек.

Развели огонь, немного выпили. Катя не знала, что на нее нашло, она стала плакать. Билась в истерике. Ребята успокаивали ее, она отвечала грубостями.

Так же неожиданно она успокоилась. Она вдруг почувствовала, что эти люди, сидящие с ней у костра, дороже всех на свете. Улыбаясь им сквозь слезы, она положила правую руку на плечо Даше, а левую — на плечо Сергея. Был у них в компании такой парень — спокойный, веселый, условно освобожденный.

— Екатерина Николаевна! — Иван Игнатович попросил срочно соединить его по телефону с каким-то Захаровым. Катя правильно набирала номер, но дозвониться не могла.

— Иван Игнатович, все время занято или никто не отвечает...

Иван Игнатович пробормотал:

— Разумеется...

Катя слышала, как он сам набрал номер, и — сразу соединили.

Она стала думать о возвращении домой.

Вчера Катя вернулась в девять. Мать ее не дождалась и сидела за столом одна. Вокруг стояли вазы без цветов. Их было много — семь или восемь.

Мать была учительницей в начальных классах. Вазы дарили родители учеников. Почему-то каждый ее «четвертый», потом цикл сократился — вазы дарил каждый «третий» класс.

Другие учителя намекали, что вазы у них уже есть, можно бы выбрать еще что-нибудь, или просто сдавали их в комиссионный. Мать не сопротивлялась. Она с благодарностью принимала вазы одну за другой. Больше того, даже ждала, когда ее очередной класс станет «выпускным» и простится с ней, поднеся в подарок хрустальный сосуд.

Вчера, когда Катя вернулась, мать ужинала одна, окруженная вазами. Горел торшер, лицо у матери было торжественным, но на Катю она посмотрела так, будто была застигнута за чем-то предосудительным.

— Ты все время приходишь поздно...

Катя хотела уйти из комнаты.

— Постой... Вот ты однажды сказала, что вазы я люблю больше, чем учеников...

Это, конечно, бестактно и грубо, и мать часто напоминала об этом.

— Так вот... Это неправда! А ты...

Мать заплакала, не скрывая слез. Ей нравилось плакать. Катя молчала и думала, что почти понимает это вдохновенье бесстыдной любви и жалости к самой себе.

...Рабочий день кончился. Раздался звонок. Часто захлопали двери.

К Ивану Игнатовичу за минуту до звонка зашла с ворохом бумаг толстая женщина, инженер по технике безопасности. Они там что-то обсуждали, будто и не слышали громкого звона.

Екатерина Николаевна собралась, взяла зонтик и заглянула в кабинет.

— Подождите, — Иван Игнатович остановил ее. — Вы мне нужны.

Ждать пришлось долго. Наконец они вышли из кабинета. Иван Игнатович проводил гостью, непринужденно улыбаясь, но, обратившись к Екатерине Николаевне, сразу задумался и погрузился.

— Я хотел тебя подвезти...

Его старая полусамодельная машина, тарахтя, завелась, и они помчались. Из-под колес летела вода. Иван Игнатович гнал по мокрой дороге, как сумасшедший.

— Зачем вы так гоните? — спросила Катя.

— Мало времени... У тебя день рождения сегодня? Поздравляю. Ты очень празднично выглядишь...

У калитки маленького дома на окраине он вытянул ее за руку из машины и повел через двор.

— Я ненадолго зайду?

Катя кивнула.

— Это тебе, — он сунул ей в руки маленькую коробочку. — Смотреть будешь потом, ладно?

Катя опять кивнула. Конечно же, Иван Игнатович ничего не забыл, он все придумал и рассчитал заранее.

На крыльце умывался кот. В дверях стояла мать, растерянно улыбаясь. Она посторонилась, пропуская Катю и гостя:

— Проходите, пожалуйста...

Катя открыла дверь в комнату. На столе была скатерть, во всех вазах — цветы. Под столом сидели Иванов и Сергеев. Обнаруженные, они вылезли и стали поздравлять. Техник Люда появилась из кухни с горкой тарелок в руках.

За столом Иван Игнатович вел себя тихо, даже застенчиво, только порой улыбка на его лице сменялась какой-то гримасой.

— Вы, Иван Игнатович, на работе были сегодня не слишком-то любезны, — заметила техник Люда.

— А это, чтоб вы не слишком тосковали по мне, когда меня с вами не будет, — Иван Игнатович придал своему лицу зверское выражение. — Женщины! Вежливость вы понимаете как слабость, любовь — как святость, глупость — как знамя, а сами себя — как должное...

Техник Люда засмеялась:

— А все-таки хорошо, когда все мы вот так вместе, близкие и родные...

Иванов и Сергеев хором гаркнули:

— Служители вакуума...

Иван Игнатович вздохнул: в самом деле, как можно изучать то, чего нет?

И все засмеялись.

Пожелали здоровья новорожденной и ее матери. Иван Игнатович напомнил, что завтра надо заменить один из приборов на стенде. Хотели уже поднять тост за присутствующих, но не успели. В дверь постучали.

Вошли два милиционера и с ними человек в штатском, который, назвав Ивана Игнатовича по фамилии, предъявил ему ордер.

Иван Игнатович встал:

— Я готов. Разрешите проститься...

Он шагнул к Екатерине Николаевне. Сумасшедший, в сбившемся набок галстуке. Он что-то проворчал или прорычал. Ей послышалось: «Дорогая моя...»

Она не ошиблась. Были сказаны именно эти слова.

Екатерина Николаевна упала ему на грудь.

Иван Игнатович стал меняться в лице. У Екатерины Николаевны сжало сердце.

Ивана Игнатовича увели. Екатерина Николаевна заплакала.

— Неужели он действительно виноват?

— Видишь ли... Он не тот, за кого себя выдавал. Давно жил по чужому паспорту и диплом имел поддельный. А кроме того, он часто и грубо нарушал правила техники безопасности при работе с вакуумом... Но не волнуйся. Много ему не дадут. Даже, скорее всего, ничего... Даже, может быть, обойдется без суда. Все сроки давности уже вышли...

— А почему они явились за ним ко мне?

— Думаешь, у него есть дом?

Катя вспомнила про коробочку, подарок Ивана Игнатовича. Что там? Она вышла во двор.

В коробочке на зеленом ювелирном бархате сидел живой усатый жук. Почуввав волю, он немедленно расправил крылья, поднялся и улетел. Катя крикнула ему вслед:

— Стой, предатель!..

Поздно вечером Катя вышла проводить гостей. Они были веселы, беззаботны. Техник Люда хватала мокрые ветки и обрушивала потоки воды на Сергеева и Иванова.

Вернувшись, Катя долго не входила в дом. Сидела одна во дворе.

Кот сверкнул глазами на крыше старого полуразрушенного крольчатника. Давно, когда Катя была маленькая, отец держал кроликов. Бить их сам он не мог — жалел и сдавал в приемный пункт.

В начале зимы он сажал своих кроликов в мешок и рано утром шел с ним на другой конец города. Там, у деревянного павильона, уже стояли люди с мешками и ждали, когда придет приемщик и откроет железный засов.

А два раза в лето, в первый — это всегда было перед Катиным днем рождения, отец подолгу ходил возле клеток озабоченный и что-то высчитывал. Потом говорил: «Сегодня — пуцу». И называл срок, когда должны будут появиться на свет маленькие крольчата.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Лежит она свободно на столе, так что всякий может ее читать, и даже каждый, кто захочет, может в нее писать — что вздумается.

Я читаю.

Называется книга — «Журнал Учета Нарушений Контрольно-Пропускного Режима». В книге — графы: дата, фамилия, имя, отчество и должность задержан-

ного; кем задержан, за что задержан; стоимость похищенного; какие приняты меры. Ниже — записи, но ни о задержанных, ни о похищенном речь, к счастью, не идет.

«07.01.89. Не работает электрический звонок. Знает директор (тов. Нерубератаев Э.И.). Сторож Кошка.

11.01.89. Сработала сигнализация 1-го отдела (тов. Фролов). Сторож Кошка.

16.01.89. Нет одного стула в комнате сторожей. Сторож Кошка.

18.02.89. Нет одного стула в комнате сторожей. Сторож Васнецов.

24.02.89. Перегорели лампы дневного освещения в помещении дежурной комнаты сторожей. Поставлен в известность зам. директора Иван Константинович. Обещано принять меры. Сторож Васнецова.

02.03.89. Свет налажен, все лампы горят. Сторож Васнецова.

15.03.89. (12.00). Исчезла вазочка для цветов. Сторож Васнецова.

16.03.89. Нашлась вазочка для цветов!!! Сторож Богданов.

28.03.89. (10.20). Не явилась смена сторожей. Сторож Богданов.

02.04.89 (9.15). При сдаче дежурства не явилась смена в 9.20. Сторож Богданов.

06.04.89. При приемке дежурства в 18.00 ключ от входной двери во двор здания отсутствовал. Сторож Васнецова.

19.04.89. (18.30). Не работает кодовый замок входной двери, плохо закрывается дверь. Срочно исправить. Сторож Васнецова.

22.04.89. Повторено и в третий раз!!! Сторож Васнецов.

24.04.89. Не работает код у входной двери, пора бы руководству обратить на это серьезное внимание. Сторож Васнецова.

27.04.89. Если код снят — сказать об этом сторожам нужно. (Без подписи.)

28.04.89. Не работает код!!!! Сторож Богданов.

29.04.89. Охрана объекта нарушена. Не работает кодовый замок с 19.04.89. Снят блок питания, но от этого — не легче. Ряд помещений не задействован под

контрольную сигнализацию с пульта управления. Терпеть дальше невозможно. Срочно примите меры. Сторож Васнецова.

28.05.89. Убедительная просьба!!! Отремонтируйте код!!! Сторож Богданов».

Из окна соседнего дома, жилого, вывалилась и звонко разбилась стеклянная банька. Я узнаю ее по звуку. Так разбиваются, упав с высоты, только трехлитровые банки.

Четыре часа я уже на посту. Надо мной ярко горят дежурные лампы. На этом объекте я в первый раз. Прежде были другие: детский сад, продовольственный магазин, кирпичный завод.

В детском саду я долго не мог привыкнуть к маленькой детской мебели в комнатах. Казалось, я охраняю что-то ненастоящее. На заводе было холодно, сыро и дико, а в магазине ночью стучали в окна, хотели вина, предлагали любые деньги, не верили, что я не оставляю себе про запас.

Здесь я охраняю Академию наук, филиал теоретических проблем.

Спать мне совершенно не хочется. Я отчего-то в последнее время плохо сплю по ночам. Даже если засну, скоро просыпаюсь.

Продолжаю читать журнал учета:

«06.06.89. Безобразие! Снят телефон в дежурной комнате сторожей. Он (вероятно, имеется в виду сторож) лишен крайне необходимой связи со всеми звеньями охраны объекта. (Без подписи, почерк Васнецова или Богданова, но, может быть, и Васнецовой.)

23.06.89. При приеме дежурства сторож...»

На этой фразе я спотыкаюсь. Все куда-то проваливается, прекращается. Где я был в то время, которого я не помню? Мозг, допустим, спал. А где была душа в то время, которого я не помню?

Понемногу что-то прояснилось. Какая-то снежная горка из детства, склон большого оврага, обсаженного деревьями и обстроенного серыми городскими домами унылого типа. Я поднимаюсь по склону.

Я бегу вверх, там — какой-то убогий дворовый столик для домино. Небо надо мной пасмурное, как в марте. Я бегу вверх, мне навстречу какие-то люди навеселе, безусловно знакомые. Это наша местная пьянь

и шпана, обитающая в окрестностях винного магазина. Магазин этот рядом, два или три дома направо, по склону — вдоль.

Сколько их было? Я запомнил троих, потом еще двоих, потом еще. Вероятно, их было много.

Я их всех останавливал, спрашивал: «Кто?!»

Они почти не улыбались, хотя было видно, как смешно им на меня смотреть. Отвечали: «Не знаем».

Если б я надеялся с ними справиться, я стал бы их всех сейчас бить, чтоб они сказали, хотя и знал, что все равно не скажут, знал со всей полнотой отчаянья.

Я все же схватил одного и стал трясти: «Врешь! Ты знаешь!». Это было уже наверху, у столика. Сразу подошли еще забулдыги: «Ну что ты пристал к человеку, откуда он знает? Мы тоже не видели».

Дело в том, что незадолго до этого (я вспоминаю во сне о приснившемся ранее?) я поставил на этот жалкий столик полный ящик водки (чужой!), пошел искать телефон-автомат, его не было, я уходил все дальше, а когда, так и не дозвонившись, опомнившись, побежал назад, встретившийся мне один из этих гнусных сказал загадочно:

«Все. Теперь тебе хана — выпили твою водку...»

Пока я поднимался, я все еще надеялся, что водка цела, хотя бы большая ее часть. Напрасно. Две или три пустых бутылки валялись под столиком. Столько же почти допитых стояло на столике, ящик был рядом, в снегу. Тогда-то я и попытался схватить за шиворот попавшегося мне алкаша...

Теперь о том, откуда у меня ящик водки. Снова воспоминание во сне о приснившемся или снящееся предыдущее, смешение времен.

Водку я приобрел для одного осужденного на смерть — на его деньги. Вы знаете, что теперь стоит водка?

Серый мартовский воздух, сколько я его ни вдыхал, не придавал мне сил — это был воздух отчаянья.

Из серых, душных сумерек выплывает лицо осужденного. Он страшен, он бледен, он просит.

«Понимаешь, это — в последний раз...»

Я не знаю, кто он, не помню, где и как познакомился с ним. Знаю почему-то, что преступление свое он совершил, обрушив на чью-то голову крышу сарая.

И что соучастницей его была (по странному стечению обстоятельств) его несовершеннолетняя дочь. Высокая девушка-девятиклассница с бледным круглым лицом. Она помогала отцу раскачивать крышу.

И вот мне сказали (кто сказал? почему мне? наверное, по телефону?), что можно передать ему ящик водки и что именно я должен (почему?) принять участие в его судьбе.

Я получил для него тысячу рублей в какой-то кассе и расплатился за водку в нашем магазине некими странными чеками и червонцами, на которых вместо Ленина были (отчего?) фотографии моих детей, и мне было жалко и страшно, мучительно страшно их отдавать...

Я проснулся от телефонного звонка. Спрашивали с центрального поста: все ли в порядке на вверенном мне объекте? Я ответил: «Да, все».

Где-то часы пробили два, потом донесся сигнал радио, а потом еще какие-то часы снова повторили: два. Далеко-далеко закрипела дверь, или, еще дальше, это — гудок корабля в порту...

Гады эти алкаши во сне. Ну, взяли бы две, три, пусть даже четыре бутылки...

Продолжаю читать:

«29.07.89. При приеме дежурства в 12.00 связь не работает. Поэтому не был поставлен на охрану руководством учреждения объект за пультовым номером 29-94. Оставлять сторожа на выходные дни без отремонтированной телефонной связи — преступление. Сторож Васнецова.

03.08.89. (9.50). Смена не пришла. Больше ждать не намерен. Сторож Перемышлев».

ПИСЬМА ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МАО

1

В библиотеке, когда уже почти все ушли, кто-то поднял над головой шапку и спросил: «Чья?»

Я бы ничего не имел против, чтоб эта кроличья шапка была моя, но это была, увы, не моя шапка.

Все были опрошены, но хозяин не назывался. Видно, он так и ушел, без шапки.

Я не знал, что сделать, чтоб взять себе беспризорную шапку: свою-то я, собираясь уходить, уже надел на голову.

«Вы что же, — сказали бы мне, — в двух шапках пришли? Или у вас две головы?»

Я долго думал, но придумать так ничего и не смог.

Дорогой председатель! Пришли мне шапку! Когда я был маленький, у меня была красивая рыжая шубка из китайских кошек.

2

Колхозный рынок. У высоких ворот просят милостыню ветераны войны и труда. Ворота рынка — это, собственно, не ворота: просто высокая деревянная арка с надписью: «Колхозный Рынок».

Это все так просто. И жизнь в том, может быть, только и состоит, чтоб касаться... только раз, может быть, коснуться шершавого края...

Цены на рынке совсем немного (однако) возвышены: кролики стоят два рубля за каждую несчастную пару ушей, пиво — семьдесят копеек.

Как ни короток наш так называемый жизненный путь, но еще короче счастливое состояние легкого опьянения, вызванное этим пивом.

Одни ветераны просят, другие ждут освободившиеся бутылки для сдачи в приемный пункт, ссорятся из-за них.

Я все свои отдал одноглазому, а надо было, может быть, отдать тому, который приехал на велосипеде и, даже собирая бутылки, все время держал его за рога?

Жизнь так устроена, что даже мне все время приходится выбирать.

Торгуют прямо с грунта кофточками, лифчиками, юбкой-один-рубль, игральными картами без упаковки. Может быть, если кто захочет купить, станет их прежде пересчитывать: все ли тридцать шесть?

Среди всего прочего книги: Чехов, Куприн, «Рассказы о чекистах». Из-под «Лягушки-путешественницы» в мягкой обложке выглядывает Ленин: какой-то том из собрания и отдельно «Материализм и эмпириокритицизм».

Знать бы мне, что значит это последнее слово... Может быть, потому никто и не покупает, что не знают?

Кроме того: продают кран водопроводный, редуктор газовой плиты, стеклянную пепельницу, женские босоножки, некогда белые, теперь серые, тонкие сверла в промасленной бумаге.

А в деревянных рядах: редька, редис, махорка...

Дорогой председатель! Что мне купить на следующем базаре? Денег у меня, правда, мало...

3

Дорогой председатель! Говорят, ничто ничему не тождественно. Но если тождества нет, а мы его выдумали, то как же тогда... классовая борьба и все то другое, что делает жизнь индивида общественно-значимой и полнокровной? И немного загадочной?

4

Утенки за уткой, как народы идут за вождями.

Хочется мудрости и добродетели, а не одного только всесветного маскарада-парадокса.

Ты, председатель, владеешь своими и даже чужими чувствами, иероглифами на рисовой бумаге пишешь, чтоб ни женщины, ни солдаты не забывали вить веревки, которыми зеленый дракон будет связан.

Я дешевые сигареты курю, но все мои дни, как праздники, и даже, случается, воображаю себя царем. Иногда вижу это во сне. Очень беспокойный сон. Настоящая административная каторга. Начинается так:

Я говорю: «Хочу быть царь!»

Она отвечает: «Будь».

Тогда я сам себя спрашиваю: «Ну, хорошо, царь. А зачем царь? Кому царь? Почему царь?»

Я пиво пью, и женщин обманываю, и обманываю себя.

Но тебя, председатель, я никогда не смогу обмануть.

Все взаимоустроено и связано на свете. Одно к другому восходит и выходит одно из другого, как суставы бамбука. Но знает ли кто путь истинной добродетели?

Дорогой председатель! Твои портреты на улицах и площадях носят с песнями, я сам видел в кино. И страшатся самый маленький твой портрет уронить во прах. А у нас безумные дети лица один другому сажей мажут.

Дорогой председатель!

Я не хочу быть царем. Мне и этого было бы мало. Мне надо быть еще и отверженным, и нищим, и дервишем. Я всеми хочу быть.

Но для этого надо быть как ты, председатель... А это разве возможно?

Дорогой председатель! Есть ли где без шипов роза?

5

Немного о себе.

Я один, 1, один прописью, один.

Сильный дождь немного разогнал забулдыг у полатки, оставшиеся быстро прошли, получив свое пиво, и я остался один...

Дождь кончился. Я шел по улице. Один.

Демонстрация. Флаги, плакаты, выкрики с мест, хрип мегафонов. Я искал кого-то в толпе. Не было никого. Один.

Напившись крови, комар улетел, и я остался один в темноте комнаты. Громко шли часы, сердце работало трудно, устало.

Вчера она была у меня. Говорила, что одна, плакала, жаловалась, как плохо одной.

«Я одна, — повторяла она, — понимаешь, одна!»

Утром я ей сказал:

«Люся, вступи в ДС или куда-нибудь, найдешь себе товарища по партии...»

Дорогой председатель...

6

Вероятно, на самом деле, очень немногие люди терзаются тайнами жизни. Даже обреченные на свой подвиг исследователи вскорости спешат вернуться к чему-нибудь мирному и конкретному, вроде антропологии или географии, и удовлетворяются тем, что изучаемые подробности сами собой выдают какие-нибудь обоб-

шающие картинки вроде эволюции или относительности.

Тайны требуют слишком мучительного напряжения разума и всего существа.

В состоянии отвлеченности от мучительных тайн можно даже читать, а когда думаешь все об одном, можно только смотреть в окно, или в потолок, или в небо.

Дорогой председатель!

Дорогой председатель, мы же, в сущности, почти ничего не знаем...

Нас клянут и казнят, осуждают и не понимают, но разве вся жизнь не есть трудовое перевоспитание?

7

Мне иногда кажется, что я весь соткан из китайских фамилий, как циновка из тростника. Китайские фамилии — как клетки, как строительный материал: Фу, Ду, До, Фа, У, Ху... Все живое на свете переплетено и перепутано. Где-то тронешь — везде отзовется.

В Китае происходят, оказывается, парламентские выборы, а в наших газетах — тишина. В наших газетах только:

«...Омскому ипподрому сто лет. Этого праздника любители спорта ждали давно. Сто лет назад на средства омских купцов... А в Аргентине объявлено о повышении жалования военнослужащим на двадцать процентов».

Еще пишут, что, по данным опроса, восемьдесят процентов опрошенных готовы собственными руками привести в исполнение приговор о высшей мере наказания... Скажите, какая кровожадность... Может быть, не тех опрашивали?

Дорогой председатель, я знаю, ты выберешь в парламент достойных, ибо недостойные — недостойны, и белоснежным трауром они запятнают яркий шелк революционных знамен.

8

Не боги обжигают горшки.

Боги не обжигают горшки.

Боги, которые обжигают горшки, — не боги, а бог знает что.

Что есть кто?

Кто есть что?

Измученные логикой и бессмыслицей своих суждений, обжигатели горшков думают, что они...

Дорогой председатель! Ветер с Востока дует на нас, и мы боимся.

Дорогой председатель, ветер с Востока дует на нас и волнует воду.

9

Вблизи площади имени великого пролетарского поэта, в переулке, пивная палатка, напротив — гора кирпичей, и на кирпичах пьют пиво.

Праздник жизни. Пьют из банок, бутылок, бидонов, молочных пакетов. Появляется капитан. Капитан-исправник? Приходит и гонит всех, чтоб не пили пива на казенном кирпиче, который есть государственная собственность и все прочее...

Капитан гонит нас, и мы уходим; расходимся, чтоб снова собраться у кирпича, как у столиков, когда капитан уйдет.

Но вот звучит команда: «Огонь по штабам!»

Мы хватаемся за кирпич, мы разбираем кирпичную гору, мы... Нет... Мы не трогаем казенного кирпича, мы расходимся, каждый сам по себе, потому что не звучит команда: «Огонь по штабам!»

Дорогой председатель, почему никто не командует: «Огонь по штабам!»? Разве булыжник больше не орудие пролетариата?

10

Письмо издалека

Природа берет свое, как берут города. Или, может быть, лучше сказать, как смелость берет города.

Город взят, и мир становится иссиня-красным, доходит до белого каления, и все становится отечески-эфиопским.

Дети — самураи и камикадзе. Вишневый цвет на сливе и на березе. Ум в конце концов заходит за разум. И это имеет свой вполне отчетливый и личный смысл. Если одно заходит за другое, как солнце за желтую

степь, — это благо, ибо, по крайней мере вначале, не требует личного участия...

Мир народам, война крестьянам! Наши — отмстят!

Наши — это все равно кто...

Природа, взяв свое...

Деньги, полученные от продажи украденных в об-
щежитии женских сапог, переведены в детский фонд.

Дорогой председатель! Дети вырастут, выучатся и
напишут тебе сами.

11

Дорогой председатель!

Нелегко мне быть пророком в своем отечестве...

12

Дорогой председатель!

Пишет Кирилл Иванов из Вологды.

Как мне быть?

13

Отдыхающие идут с пляжей, неся с собой пестрые
флаги полотенец и одеял. И халаты, как флаги, и ку-
пальники на женщинах, как маленькие флажки, да и
сами женщины — флаги. А кругом сухой белый песок,
и ветер слабо дует от воды. В редких колючих кустах
густо звенят насекомые.

Вечером возвращаются рыбаки. Они несут длинные
удочки и маленьких пойманных рыб.

Дорогой председатель, я в первый раз на курорте,
мне все так удивительно, мне даже странным кажется,
что можно все время отдыхать и ничего не делать. Над
нами белыми шапками стоят горы, серебряными лис-
тьями дрожат и звенят высокие тополя.

14

Видели вы птицу с квадратными плечами и детским
лицом? Это страшная птица. Серая птица. Она одна
такая...

Так я отвечал на экзамене, и никто ничего не понял. Это обидно, потому что я очень усердно готовился. Правда, сдать экзамен у нас — не значит еще получить должность. И должность можно получить, не сдавая никакого экзамена...

Я — это мое тело, чувствующее, мыслящее? Или я — это просто я?

Но если так, то почему, бросившись в воду, я плаваю так жадно и радостно? Ведь это тело мое плещется, поворачивается в воде всеми своими сторонами света...

А если я — это не мое тело, то, может быть, я — это мои раны?

Или, может быть, я — это просто я?

Я, чудище мыслящее...

Дорогой председатель, женщины у нас в стране крупные, как газеты больших иероглифов. Так, мне не удалось пока встретить ни одну, вокруг талии которой я мог бы повязать пионерский галстук...

15

Дорогой председатель!

Говорят, и для нас ничто уже не секрет, и мы все знаем.

Неизвестно только, все ли действительно нам известно, или что-то продолжает держаться еще в секрете...

Неужели и вся наша жизнь — губка греческая? Губка греческая — буржуазная либерализация.

Губка греческая состоит из нулей. Не слишком ли много нулей?

Не слишком ли много пустот?

Может быть, это все одна пересеченная и перепутанная пустота?

Губка греческая — смена сезонов; зима, весна, лето...

Губка греческая — лето красное...

16

Бей своих, чужие да убоятся!

Демократия торжествует почем зря.

Из газет: читатели спрашивают, писатели отвечают.

Оказывается (из газет), что резиновая дубинка — вовсе не дубинка, а палка резиновая — РП, и стоит она не сто рублей, а 2 рубля 33 копейки и применяется для защиты Советского государства...

Демократия по-гречески значит народовластие.

Но это, может быть, только по-гречески?

Дорогой председатель, как мне написать демократию по-китайски?

17

И то правда, и другое. И столько правды, что поневоле приходится верить.

«Ин витро веритас».

Иные думают, что Китай — это там, где все желтые и узкоглазые.

Все время приходится разъяснять недоразумение, разоблачать выдумки недоучившихся студентов и средних школьников.

Коммунально-шанхайский и отдаленно-сельский Китай бьется в нас с частотой пульса.

18

Я люблю читать про лис. Потому и служу сторожем-стрелком-контролером, что люблю читать. Где еще я смог бы читать при исполнении обязанностей?

И ко мне однажды пришла лиса. Зимней ночью она пришла в мою караульную будку. Маленькая, бледная, ей было холодно. Она и плакала, и смеялась. Ее пугал грохот работающего на заводе крана.

Я не хотел чтоб она уходила, мне было с ней хорошо, я только боялся, что она украдет мой револьвер-наган и меня посадят в тюрьму за утрату оружия.

Утром она ушла. Я ждал, что она снова придет, но больше она не пришла, потому, наверное, что на нашем посту завели собаку. Я хотел убить пса, но не мог решиться. Чем пес виноват? Для лисы естественно бояться собак...

Дорогой председатель! Может быть, и ты Лис, и отец лис, и отдашь мне одну из своих дочерей?

Дорогой председатель!

Разбирают Великую стену! Разбирают на кирпичи для постройки сараев, заборов и дымоходов.

Так разобрали после войны древний Кремль у нас в Коломне.

Так разобрано уже много стен...

Дорогой председатель...

Коллективное письмо

Могут подумать, мы язычники.

Мы не язычники, нет. Язычество — это, когда бог другого спрашивает: «Ну что? Как дела?»

Мы — иероглифы.

Иероглифы — вода и плоть того, что есть, и того, чего нет, того и иного. Иероглифы — перенос огня.

Иероглифы — одиноки.

Мы одинокие иероглифы в стае или в стаде китайнописи.

Есть иероглифы воды, и есть иероглифы жажды.

Мы — иероглифы жажды.

Мы ждем воды.

Дорогой председатель, будет ли нам вода?

Дорогой председатель, неужели это правда, что ты уже умер и я никогда тебя не увижу?

ДСП

Его казнили.

Когда-то он тоже был ребенком. Прокурор говорил, что никогда не поверит в это. Прокурора трясло, он выходил из кабинета в туалет и жадно пил воду из-под крана. На допросах, особенно в начале следствия, обвиняемый упорно настаивал, что дети здесь ни при чем, что это ошибка. Но его кривая улыбочка как будто убеждала судей в обратном. В конце же он почему-то резко изменил свое поведение и цинично признался, что его целью были только дети. На допросах младшая сестра обвиняемого (ее привезли в закрытой машине, чтобы спасти от толпы) рыдала и говорила, что не может поверить в то, что произошло, что маленьким он любил ей рассказывать сказки, он рассказывал чудесные сказки: про старушку, которая жила в световой нитке, а потом стала звездой; про доброго червяка, который любил прикидываться колбасой и завертываться в газету; про вывернувшегося наизнанку человека, который пил время и кровь которого превращалась в деньги. Уже в этом защита, руководствуясь новейшими формулами психоанализа, пыталась усмотреть признаки душевной болезни, но судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила «вменяемость лица в отношении инкриминируемого ему деяния».

В последнем слове обвиняемый сказал, что знал о своей смертной казни задолго до этого дня. Ребенком он («Не смейте произносить это слово!» — стучал кулаком прокурор), ребенком он любил представлять

себе, как расстреливают, слезы текли тогда по его лицу (теперь же он улыбался), он думал, что расстреливают непременно из длинного ружья специальной ртутной иглой, а теперь у него лишь один интерес в жизни, как это произойдет на самом деле. В последнем слове он по-прежнему упорно называл себя естествоиспытателем, а не террористом. Когда приговоренного уже выводили из зала, он неожиданно дернулся к конвоиру. Широко раскрытые зрачки: «Лучше бы я сошел с ума!».

Как реально происходила процедура исполнения приговора и где, никто не знает. Из заметки в газете от 8 января 198... года следует лишь, что приговор приведен в исполнение. Рассказывали, однако, что в «пересылке» он хотел покончить жизнь самоубийством: он пытался удариться виском о выступ железной дверной петли — случай в судебной практике довольно редкий. Когда потом ему привели в качестве цитаты его же собственные слова на заключительном заседании суда о последнем интересе, он удивился, мол, разве вы не знаете, что правила игры меняются в процессе самой игры. Еще рассказывали, что в первые три часа после ареста, которые обвиняемый провел в общей камере, он развлекался тем, что плевал в лицо бывшего директора одной из плодоовощных баз, которого взяли за хищение нескольких сотен тысяч, называя последнего маленькой гадкой картошкой.

В первый день нового года резко похолодало. Грязь во дворе стала как железная. Прохожие спотыкались. Дети пытались ее отвалить, отодрать от асфальта и не смогли. Назавтра должны были привезти новый черный асфальт. Дети уже договорились снова лепить черные асфальтовые снежки, и вдруг пошел настоящий белый пушистый снег.

Они рвали на себе волосы. Они кричали. Они скользили и падали, словно лошади, словно табун исландских лошадей — молодые и старые, жены, вдовы, незамужние и те, чьи дети так ужасно погибли неделю назад. Они вырвались из Столешникова, смяли выходивших из магазина «Меха», было два часа дня,

время начала обеда. По инерции некоторые пробежали навверх к Моссовету, но масса повернула направо к зданию прокуратуры. Вначале они еще пытались организованно скандировать: «Смерть маньякам! Защитите наших детей!». Но вскоре вопли и обмороки, плач и вой поглотили членораздельные слова. Они стали визжать. Они визжали стихийно на одной ноте. Сирены подоспевшего милицейского автомобиля и мегафонных команд не было слышно. Искаженные, расцарапанные лица, кровавая губная помада. Визг поглотил и переменял все. Казалось, что стоит мертвая тишина, что все происходит словно в немом фильме. И эти первые, раздавленные о железный щит выдвижных ворот, и эти последние (когда толпа качнулась назад), разрубленные толстыми стеклами разбитых витрин, изрезанные тонкими осколками выбитых окон нижних этажей. Их развозили в новых длинных фургонах «скорой помощи».

...и Оля, она видела — алая кровь струится из ее торчащей артерии. Холод. Пар над кровью. К ней еще не подошли. Казалось, кровь дергается, повторяя движения ее разорванной аорты. Она сделала усилие и тяжело повернулась на бок. Кровь стыла. Она ясно увидела, как отражение в ночном стекле, лицо сына Кости. Умирая, она смотрела на отражение своего лица в собственной крови. Последнее, что она видела, было лицо ее так ужасно погибшего неделю назад сына.

Пушкинскую перед прокуратурой мыли потом пожарные какой-то желтоватой пеной. Шурша, она покрыла сразу все. Дулись большие добродушные пузыри. Очень большие ленивые пузыри. Лопались. Надувались снова, словно удивляясь. Пена шуршала. Когда ее смыли, стало чисто, только кое-где зацепились за камешки волосинки.

— Ну что я могу вам сказать? Я действительно с ним учился... с этим человеком. Не знаю, можно ли это чудовище, эту гадость человеком называть.

— Вы извините. Мы вас прекрасно понимаем, ваши чувства, но нам нужны только факты. Это ведь расследование, понимаете? Пожалуйста, пообъективнее.

Даже попробуйте как бы его защищать, найти в себе силы. Поймите, так надо для следствия.

— Защищать?!

— Ближе к делу.

Пауза.

— Ну, всегда он нетерпеливый какой-то был. Все бы ему ответ угадать и не делать ничего. Самое главное — не делать ничего, не то чтобы он лентяй был, нет. И талант в нем, способности, безусловно, были незаурядные. Как бы это вам объяснить... Вот иногда дадут нам на семинаре задачу. Ну, ясно, что там потрудиться надо, посчитать — и будет ответ. А он — вот нет, и все. Начнет какую-нибудь теорему выдумывать, из которой ответ как частный случай следовал бы. А то и вовсе семинары пропускал.

— Пропускал?

— Ну, по уважительной, разумеется, причине. Он ведь большую общественную работу вроде бы вел. Он и в комитете комсомола был, и в профбюро, и в студкомиссии по общежитию. Мы диву давались — откуда столько энергии, хотя разговоры-то легче, наверное, разговаривать, чем задачи решать.

— А друзья были у него?

— Ну, я бы не сказал, что друзья, так — сателлиты. Он вообще-то активный был. Другим любил рот затыкать. С ним начнешь спорить, а он один никогда не спорит, только когда сателлиты рядом. Так вот, начнешь доказывать что-нибудь, а он в глаза тебе с улыбочкой: «Молчи, молчи, молчи». Вроде и в шутку, а все равно обидно. Ну, не по морде же бить. А когда один на один, то приветливый вроде. И еще любил всех на «вы», по имени и отчеству называть, и манера разговора такая официальная, в шутку, конечно, как бы игра, а в то же время, когда кого в студком вызывали — тем же тоном и разносил. А они, сателлиты, его эту манеру обожали. И все как один: «Олег Борисович, что вы себе позволяете? Игорь Васильевич, какое вы имеете право! Константин Александрович, вы не уважаете авторитеты!». Заладят одно и то же, постоянно репрессия какая-то в тоне. Вроде и шутки, а противно.

— Скажите, а патологии в его поведении вы никогда никакой не замечали? Не приставал ли он к товарищам с непристойностями или к детям на улице?

— Да нет вроде. Нервный, правда, был, ничего ему не скажи. Не то, чтобы шуток не понимал, а по отношению к себе не терпел. Нередко ему казалось, что его унижают. Улыбочка у него, правда, кривая была. Говорит, если и о серьезных вещах, а улыбочка все равно кривая, как будто издевается над вами в душе. Но, может, это свойство лица такое, потому что всегда у него улыбочка эта. Он, может, и сам не рад был, потому что преподаватели часто ему за эту улыбочку высказывали.

— Ну, а случаев никаких особенных не припомните?

— Случаев? Да нет вроде... А, нет, помню, один раз я на семинар по геометрии коробку с искусственными глазами принес, коллекцию свою показать. У меня мама на опытном заводе работала, такой еще в Одессе есть. Я сам одно время там стеклотувом подрабатывал, их ведь вручную выдувают. Делают — не отличишь, был случай...

— Ближе к делу.

— Да, вот принес я, значит, эту коробку, стал ребятам показывать, они — мерить, смеяться, а он вдруг выхватил у меня эту коробку и в окно раскрытое выбросил. С пятого этажа, почти все побилось. Странно как-то, всегда вроде правильный такой, и вдруг... Вот тогда я его чуть не избил. Он потом извинялся. А про детей никогда, ничего.

— А как он объяснил тогда свой поступок?

— Да никак. Опять какая-то болтовня. Меня же в патологии обвинял. Я его чуть не избил...

— Скажите, а что это за история, почему он ушел так внезапно за месяц до защиты диплома?

— Да не знаю я ничего. Темная какая-то история. Я ведь тот год пропустил, «академ» брал. Говорят, будто украл он что-то у профессора у своего, у научного руководителя. Тот в больнице лежал, саркома или что-то в этом роде, короче, приговорен был, ну а этот тип, когда домой к профессору за лекарствами приезжал, какую-то рукопись у него со стола и взял. Хотел опубли-

ликовать, маленький себе «Тулончик» устроить, а профессор-то — выжил. Зачем взял — непонятно. Сам ведь на дипломе интересный результат получил.

Снег. Снег. Мальчик стоял один под фонарем и дышал. Вечер. Мальчик и фонарь. Фонарь поднимается чуть выше, а он — за ним. Мальчик стоял под пушистой мерцающей лампой. Он не знал — любит ли он снег или нет. О дожде он не помнил. Ему просто хорошо стоять на асфальте. Снег.

Мальчик выбежал из раздевалки один. Там было жарко. Они духарились. Только Мурилкин даже написал в комбинезон, так смеялся. А он, а он... А он вырвался и побежал. Что он, не знает, где дом? Дом там. Он выбежал, и снег был. Сначала он бегал и не различал его. Просто в белом бегал. А потом вдруг увидел снег близко, у самого лица, и остановился, замер. Снег.

— Костя! Костя! Мерзкий мальчишка, опять один побежал? Вот, погоди, дядька чужой тебя заберет, — мама Оля приближалась быстрыми пружинистыми шагами. Он задрожал, готовый опять побежать, словно клубы пара и смеха из раздевалки вновь овладели им, но мама Оля успела крепко ухватить сына за воротник.

— Послезавтра ты выступаешь на празднике, — она радостно улыбалась.

— Не буду! Опять стихи? Не буду! — Костя стал вырываться. Был снег, надо было бежать, а тут вдруг заставят учить.

— Дурачок, не будешь ты учить никакие стихи, успокойся. Это такой праздник, где ты будешь делать что хочешь. Бегать, прыгать, только смотри, в оркестровую яму не свались. На сцене будет много воздушных шаров. Ты можешь хватать их, играть в них вместе с другими детишками. Если завтра будешь себя хорошо вести, я даже дам тебе кнопку и ты сможешь их прокалывать, они будут лопаться. Это очень интересно, очень. Представляешь?

— Ага. Лучше иглу, мам.

Мама Оля смеялась. И это было тоже, как снег. Ее смех был, как снег, это у папы был смех, как дождь. Папу не помнил.

— Знаешь, как называется такой праздник? —

низко наклонилась мама Оля, ей было радостно и от того, что на поднятое к ней лицо сына оседают, исчезая, снежинки.

— Не-а, — Костя заворуженно смотрел на нее.

— Хэппенинг, — мама Оля звонко рассмеялась и поцеловала мокрое от растаявших снежинок лицо сына.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, садитесь. Вот, подвину сейчас чуток.

— Я по этому делу.

— Да я понимаю, батюшка, догадалась. Ирода этого проклятого самого надо на куски разорвать, ему бы...

— Нам нужны факты, бабушка. Это расследование, понимаете? Что вы можете сказать о нем, о его семье, об обстановке, в которой он воспитывался? Постарайтесь как можно объективнее, без ругательств. Его обязательно расстреляют.

— Его мало...

— Бабушка, у нас времени нет, потом.

Пауза.

— Вы присаживайтесь, кхе-кхе, шапку снимите. Сейчас скажу... А ведь он мог бы добрым человеком стать, он сестренке такие сказки рассказывал. Это его отец замучил. Тот натурщиком работал, и жена его натурщицей была, голая перед мазилами перед этими раздевалась, зараза. Они к ним и в комнату приходили, художники эти... Правда, не пили. Рисовали только. Вежливые, ничего не скажу. Но эта — срамница!

Вы в кладовку загляните, там от них костыли остались, подпорки, веревки. Помню, встанут они в эти подпорки, под плечо, под локоть, под колено, как будто бегут, он с женой, оба голые, рефлектор, правда, горел, и еще улыбаются, разве что под улыбку подпорок этих нет. «Навстречу светлому будущему» — картина эта называлась. Известный один художник рисовал. И мальчонку туда же, в костыли эти, в леса. Он кричит: «Не хочу, папа, устал, пусти, ножки ломит, ручка немеет». А тот ему: стой, говорит, еще три минуты... Деньги, правда, они огромные загребали... Вот так и рос он. Другие хоть на асфальте, да резвятся.

А этот не то что от почвы, от самого себя оторван был. Все его то отличника, получившего пятерку, заставляют изображать, парту даже специально купили, то с салютом, с пионерским, до потери сознания стоял, а один раз с крестом. Ему отец говорил: «Считай про себя, долго считай, как до шестисот досчитаешь, так — перерыв». А раз мазила один сказал, глаза, мол, у мальчика не те. Папаша сразу засуетился: «Подождите, не уходите». Ну и ленту белую они ему на глаза повязали, а на ней тот мазила другие глаза нарисовал. Я в милицию даже хотела звонить. А у русского, знаете как? Терпится, терпится, как молоко на плите, подбирается незаметно, а вдруг и заливаает все, и сам огонь иногда аж.

Пауза.

— А еще что-нибудь можете сказать? О нем о самом?

Пауза.

— Изверг он! Убивец! Как такое можно?! Ненавижу его! Сама бы его костылями тогда забила, если б знала. Мало ему было, надо, чтоб всю жизнь веревками связанный сидел. Войны на них не было!

— Тише, тише.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Я по этому делу.

— По какому по этому? Что вы имеете в виду?

— Вот мое удостоверение. А это — фотография человека, который нас интересуется. Вы ведь знаете, гм, знали его?

Пауза.

— Нет, вы ошибаетесь, не знал я его. Проходите, пожалуйста, в комнату. Давайте повешу ваше пальто.

— Как не знали?

— Я, товарищ следователь, этого субъекта не знал, я был с ним знаком, это действительно так, я с ним когда-то учился, но близок с ним не был никогда.

— Правда? А нам сказали, что вы были чуть ли не его сателлитом.

— Наглая ложь. Это, конечно же, Шаматаковский сказал. Занесите, пожалуйста, в протокол, что я с убий-

цей, с этой гнусной тварью, с подлым... антигуманным... античеловеческим, с сексуальным маньяком, возможно, агентом иностранной разведки...

— Как вы его, однако.

— Да, представьте себе, товарищ следователь...

— Вы не волнуйтесь. Мы же вас не в соучастники зачисляем.

— Да кто же знает? Ведь вы же ко всем сейчас ходите. Всех вызываете.

— Успокойтесь. Вы такой молодой, а уже такой нервный.

— Я просто хочу сказать...

— Успокойтесь. Следствием и экспертизой достаточно достоверно установлено, что, как ни странно, он был абсолютно один и сделал это все сам.

— Неужели? Вы как будто хотите меня этим приемом взять. Какое вы имеете право? У нас сейчас гласность! Я, несмотря на молодость, представляю собой ответственное лицо, я...

— Да успокойтесь же. Сядьте. Мы бы вас вызвали повесткой, если что. Это расследование другого рода. Дело уже закрывается, а вас даже свидетелем в суд не вызывали. Как вы не понимаете? Нам нужно вскрыть социальные корни преступления. Это ведь странно, что он был совершенно один.

— А как же анонимные звонки с угрозами и подброшенные в детские сады письма? Ведь в газете писали? Вы должны обеспечить нам безопасность!

— Звонили, по-видимому, с одного телефона. А письма напечатаны на двух машинках, обе найдены в его квартире. И подброшены они не в детские сады, здесь журналист ошибся, и он нам этим сильно навредил, я имею в виду события на Пушкинской. Но это уже наше дело. Вы мне лучше вот на какой вопрос ответьте. Тогда, после той истории со своим научным руководителем, после того, как бросил институт, не раскаивался ли он?

— Раскаивался?!

— Да. Не раскаивался ли он в своем поступке? Вы один можете ответить на этот вопрос. Подумайте. Только откровенно и объективно, без ругани.

Пауза.

— Но... но, я не знаю, он ничего не говорил мне об этом.

— Хорошо... А как вы думаете, мог ли он раскаиваться?

— Ну... ну... ну, как вам сказать... я думаю, мог бы.

— А как вы думаете, простили бы его?

Пауза.

— Мм-м.

— Говорят, что он талантлив был и активен, его хотели оставить на освобожденной должности, как и вас.

— Извините, не понимаю, куда вы клоните. Я ведь к этому делу отношения не имел. Так только, понаслышке. А потом он исчез, как в воду канул, я его не видел с тех пор, вот уже пять лет.

Пауза.

— Ну, раз не имели, значит, не имели. Всего хорошего. До свидания. Да, извините, еще вопрос. Никакой патологии в отношении детей вы не замечали за ним... когда были знакомы?

— Нет.

— И последний вопрос. Вы, Олег Борисович, ведь были в тот вечер в Доме культуры. Вы не встретили его?

— Я?

— Вы.

Пауза.

— Н-нет.

А в ванне наливается горячая вода. Снег за окном, а в ванне — горячая вода. Смешно. Была старая вода, а теперь наливается новая. Он прижался к маме Оле, она что-то стирала в тазу и пела, а он смотрел, как старая вода в ванне вдруг закрутилась, он видел, закрутилась и прогнулась, провалилась в одном месте, и там стала дырка. Костя хотел потрогать эту дырку, он даже опустил палец, действительно — дырка, и вдруг ванна хрюкнула, старая вода исчезла. Лицо — в мамино платье, обнять мамину ногу, спрятаться. Мама Оля рассмеялась: «Испугался, дурашка?» А он уже побежал в комнату включать свет. Нальется новая вода, мама Оля придет в комнату, а свет уже готов, он светит, а

пока можно повалиться на полу, все равно мыться в ванне.

— Костя, Костя, опять ты валяешься? Рубашку всего два дня носил.

— Хэппенинг! Хэппенинг! Новая вода-а-а!

Розовое лицо мамы Оли. Она хохочет. Она вытирается махровым полотенцем, в ванне жарко, а в комнате прохладно. Она смотрит на его кувырки, кульбиты — эта маленькая свинюшка, доксик, резвящаяся пупырчатая буньбунька. Мама Оля высоко подпрыгивает, развеваются полы голубого халата, обнажая длинные стройные ноги. В прыжке она подгибает ноги под себя. Победный радостный крик. Вместе катятся под диван, барахтаются, хохочут. Его маленькое вырывающееся тельце. Мелькает: «Ух ты, сильный». А он, а он уже борется с напавшей на него тигрицей, он напускает на нее щекотку. Уу-у! Уу-у! Жалобное мяуканье, тьяканье. Опрокинут торшер. Ну и что. Смех и разбитая лампочка. Хэппенинг. Как хорошо. Не тигрица уже, а лошадка. Н-но, пошла, н-но!

— Все, а теперь раздеваться и в ванну. Быстро, марш!

— Ну мам, ну еще, ну пожалуйста, ну давай поиграем, ну давай. Завтра опять ведь в садик, — трется маленький теплый комочек, трется о ноги котенок, щеночек, буньбунька. Ну как тут откажешь. Она бросается на колени. Она целует его и ласкает. В губки, в маленький носик, в попку и в пальчик. Это ее, ее родное. Жизнь. Нескончаемое начало. Она плачет, она смеется. Лижет его, как лошадка.

— Все! А теперь быстро, марш! Завтра не встанешь, а вечером еще праздник. Завтра вечером порезвишься. Костя, ну хватит же!

В ванне, он уже в ванне. Она трет его скрипучей мочалкой и снова намыливает. Только смеющиеся глазки видны из пены. И вдруг он спрашивает ее:

— Мама Оля, а правда, войны никогда не будет? Она будет только в кино.

Он, маленький, голый, ключицы торчат, он держится за края ванны, чтобы не упасть, он оборачивается и смотрит на нее с испугом и с надеждой одновременно.

— Конечно, не будет, мир не допустит. Мир победит.

— Я так боюсь, когда по телевизору стреляют.

Мама Оля успокаивает и оmyвает, ее голос звенит:

— Не бойся, дурашка, это же только кино.

— Здравствуйте. Вот мое удостоверение.

— Добрый день. Но я уже все написал, что мог. В прокуратуре сказали, что больше не будут вызывать.

— Не будут, поэтому я и пришел. Нас все же интересуют кое-какие детали, не в юридическом, а, так сказать, в психологическом, точнее, в социальном плане.

— Да он же у нас совсем мало проработал. Он, судя по трудовой, летун был, нигде не мог приспособиться, да, видно, и не хотел. Я все, что знал, сообщил уже.

— Ваше предприятие связано ведь с институтом, где учился этот человек?

— Ну, связано, я говорил уже об этом. Их выпускники и к нам на работу поступают. Потом, мы оборудование учебное им тоже поставляем.

— Скажите, а знакомых никаких он по институту не встретил у вас в отделе и вообще на предприятии не встречал, не знаете?

— Ну, у нас и не так много их, в нашем отделе почти нет. А потом, он замкнутый был, не то чтобы тихий, а замкнутый, в общественной жизни не участвовал. У нас товарищ один работает, он с ним не в институте, а в школе вместе учился. Вот вам надо с кем поговорить. Так я скажу, товарищ этот его не узнал. В школе, говорит, самый послушный, самый правильный был, в ЦК ВЛКСМ рапорты отвозить уполномочен был, и науками увлекался, собирался в университет поступать, все хотел теорему Ферма какого-то доказать, чтобы, как говорится, все сразу. А к нам пришел мрачный. Чувствуется, что науку эту ненавидит, она его достала, ха-ха, извините, в институте, как видно. Но в печенках-то сидит. Мы ему паяльник в руки — паяй, мол, и не думай ни о чем, а еще лучше — женись, ха-ха. Поначалу дотемна заставляли паять, ну, как всех новеньких, которые не могут, ха-ха.

— Посерьезней, пожалуйста.

— Да-да. А он вот печенками Ферма эту и жует. Обедать с нами не ходил, в домино не играл. Отложит паяльник и книжку из стола тянет.

— Книжку? По математике?

— Да, было и по математике по этой. Но наши ребята его враз раскусили, какой он к черту гений, он двузначного числа в уме складывать не мог, они засекали, как он микрокалькулятором пользовался, чуть драка не вышла, а он все равно читал.

— Математику?

— Да не только математику.

— А что еще?

— Ну, он художественную литературу вообще презирал. Вранье, говорил, это все, болтовня. Он философию все читал.

— Кто автор? Название помните?

— Я не помню.

— Постарайтесь. Это очень важно. Не Маркузе ли?

Пауза.

— Нет, не помню. Старая книга. На букву «ша», по-моему, автор.

— Может быть, вспомните потом, тогда обязательно сообщите.

— Хорошо.

— А не обсуждал он с товарищами прочитанное?

— Да я же говорю, замкнутый был, ни с кем — ничего. Так, в первый день только покалякал, а потом совсем в подполье ушел.

— Как это «в подполье»?

— Ну так, перестал со всеми общаться, и все. Я же говорю, шиз, сразу видно. Нормальный человек себе такое и подумать не посмеет, что он, гад...

— Скажите, а не было такого, чтобы деньги вдруг у него появились, вещи дорогие?

— Нет, всегда замусоленный ходил.

— И не ругался, не критиковал, никаких высказываний антисоветских не допускал?

— Да в том-то и дело, что нет. Другой поругает, душу отведет и снова за паяльник, потренируется так среди товарищей, смелости наберется, глядишь, и на собрании правду говорить начнет. А этот молчит, я же говорю, сексоманьяк.

— Почему сексоманьяк? Вы его с женщинами видели?

Пауза.

— Да нет вроде, не видел. Но ведь в газете писали — дети.

— А вы какую-нибудь патологию в отношении детей замечали? Хотя, какие тут у вас дети на предприятии. Но все же, случаи какие-нибудь странные, особенные; вот вы говорите — шиз, сексоманьяк.

Пауза.

— Однажды было дело, у него паяльник в руках взорвался, ну не совсем взорвался он, а перегрелся... короче, у него ожоги были, он на пол упал, желтый весь, и смеется, до истерики смеялся, а кожа на шее, вот здесь, где кадык, на глазах пузырится. А насчет математики этой, я вам скажу, наши ребята...

— А не пил он?

— Лучше б пил, сволочь.

— Я же просил.

— Да-да, извините. Был случай, кстати, он только пришел тогда к нам, новенький, ну его на картошку послали сразу с другими лаборантами. А их же там, знаете как, нагонят полно, а дела нет. Ну они и сбежали как-то с поля рыбу ловить. А их застукали, ну и наорали на них форменно, как это принято, там сам директор базы приезжал. Казалось бы, чего тут такого-то, все лучше, чем выговор с занесением, а то и желтый билет. Так вот вечером, ребята рассказывали, они поллитру решили купить, ну, чтоб горе свое залить. А он пить отказался, ушел в туалет и весь вечер рыбу там эту булыжником бил в раковине для мытья ног. Она, рыба эта, живая еще была.

Пауза.

— Больше ничего не припомните? И никаких конфликтов с начальством?

— Да нет, никогда, а все остальное я описал уже, вы же наверняка читали мои показания. Ясное дело — шиз. Один парень, правда, сказал, что этого типа по ночам проклятые вопросы мучили.

— Какие такие проклятые вопросы?

— Да я не знаю, от которых с ума сходят, про бога там что-то, во что верить, зачем жить. Я в этом не

понимаю ничего, я свое дело делаю, у меня семья, профессия. Я свою дочку люблю, велосипед вот ей недавно купил.

Торжественный вечер, посвященный тридцатилетию связей между Предприятием и его дочерней организацией — учебным Институтом, выпускники которого работали на Предприятии, было назначено на среду. Решено было провести его в Доме культуры, за территорией. Должны были приехать крупные ученые, заведующие кафедрами, профессора, ведущие специалисты по производству железобетона, из которого возводят стены индустриальных гигантов и атомных электростанций, специалисты по производству ртути и аммиака. Должны были приехать представители комитета комсомола, парткома Института, других общественных организаций. Должны были прийти руководители подразделений Предприятия, заведующие лабораториями и отделами, рядовые инженеры и техники, представители общественных организаций, многие с флажками, выпущенными специально к юбилею. Готовились доклады. Собирались вручать вымпелы и награды победителям соцсоревнования в цехах. Корзины с цветами были уже заказаны на фабрике. В фойе, перед входом в актовыв зал уже устанавливали столы для торговли бутербродами и напитками.

Готовилась к выступлению и агитбригада Предприятия. После торжественной части должен был состояться ее небольшой концерт, а потом, говорили, будет петь один известный артист. Оля Карпенко была назначена ответственной за самодеятельность. У них в общем-то была накатанная программа: два барда со своими песнями, сценка про экзамены в институте, монолог, балетный номер, кусок из оперы «Архимед», пародия на КВН, а в конце можно было повернуть капустник. Но все это гонялось из года в год, одно и то же, хоть и с разным содержанием, оскомину набило, а хотелось изюминки, нового чего-нибудь, современного, необычного, как в молодежном театре на Красной Пресне или на Таганке. Оля долго думала и ничего не могла придумать. «Навесить на сцену лианы и залезть на лианы? Да не поймут ничего, засмеют». И тут

вдруг этот журнал, словечко «хэппенинг». Что это? Оля открыла тогда Энциклопедический словарь и прочла: «ХЭППЕНИНГ — непредвиденно происходящее, вид сценического действия, зародившийся в 1950-х гг. в США. Х. отличают парадоксальность и нарочитая бесцельность действия, отсутствие четкой формы, расчет на широкую импровизацию и зрительскую активность». «Конечно, конечно, — думала Оля, — надо устроить хэппенинг. Вот это будет здорово. Такого, наверное, еще никогда и никто не делал. Даже на Таганке и на Красной Пресне такого еще не было. Скорее, скорее, пока не обогнали». Она вдруг сама себе засмеялась: вот, замечталась, агитбригаду с Таганкой сравнила, да что они, не знают об этом, что ли. Взгляд ее тогда упал на маленького Костю, он что-то мастерил из конструктора у ее ног. «Конечно, конечно, надо выпустить на сцену детишек, много детишек, пусть делают, что хотят. И опять же — символика: молодое, свободное поколение». Какое-то мгновение она еще смотрела на Костю, мелькнуло: «Отца бы...». Но в следующий момент она уже бросилась лихорадочно обзванивать всех молодых родителей, с которыми была знакома на Предприятии.

Он знал, что его казнят. Но сначала казнит он. Он все же естествоиспытатель, и он сделает это, чтобы не сойти с ума. Он где-то прочел, в одной умной книге, что насилие излечивает от психических болезней. Он сделает это, чтобы не сойти с ума. Он сидел в кресле, близко придвинутом к самой стене. Ему нравилось сидеть прямо перед стеной, тупо уставившись в обойный зигзаг. Казалось, его кривая улыбка отражается в серой бумаге обоев. Один, совершенно один. С какой радостью он разможил бы себе сейчас голову об этот угол стены, чтобы в агонии вырвать из разбитого черепа месиво своего мозга, и растоптать его, и дико, дико надругаться над ним. Нет. Это было бы слишком просто. Он сделает кое-что другое. Недаром они научили его паять. Он посмотрел на черный потрепанный дипломат в углу. Он сделает это, чтобы не сойти с ума. Но сначала он станет чистым-чистым и прозрачным, как стекло. Он сожжет свои воспоминания, он заставит

свое воображение сжечь свою память, память униженного существа. Он знает, что он не человек, но он существует, значит, он — существо. Через два дня он уедет в другой город, устроится котельщиком в дом отдыха, разрежет себе топором щеку или отрубит нос, и никто не узнает, что это он. Пока его найдут и казнят, пройдет еще двадцать лет, и эти двадцать лет он будет лежать на куче угля и смотреть на огонь. Он будет ходить в столовую и есть с отдыхающими, а потом вместе с ними на площадке он будет слушать юмористические рассказы из колокольчика, и будет точно так же корчиться, как эти отдыхающие, в специальных паузах, отведенных юмористом для смеха. Своим изуродованным лицом он будет корчить эту гримасу смеха, он, как и другие, будет при этом низко приседать, чтобы продемонстрировать, как глубоко он чувствует юмор. Это будет общение, он наконец станет, как все. Они — пожилые мужчины в черных костюмах с галстуками, их женщины — в жабо. И он — простой котельщик, с изуродованным («какая жалость!») лицом. А сейчас он станет прозрачным, как бабочка. Он вывернется наизнанку, он слишком долго прикидывался колбасой и завертывался в газету. Он выблует свою жизнь, хорошую и плохую. И еще, это уж проще простого, он сожжет эти листки, эти конспекты. Прямо здесь, на линолеуме, он поставит таз и сожжет эту папку под названием ДСП (для служебного пользования). И от него ничего не останется, для этого не надо кончать жизнь самоубийством. Надо просто стать прозрачным, как бабочка *Sesiidae*. Ведь это высшая степень мимикрии. Они будут смотреть на тебя и тебя не увидят, они увидят того, кто стоит за тобой, рядом с тобой. Ты не промолчишь, ты просто повторишь то, что скажут они или говорят в подобных обстоятельствах, и сделаешь те же жесты, теперь уже без подпорок и костылей.

Он взял и еще раз перечитал рецензию на свой труд «Теорема Геделя и особенности формализации аналитических языков программирования», сорок шесть страниц. Он мог бы послать статью сразу в журнал. В конце концов, как бы ни издевался над ним начальник отдела («вот так надо держать паяльник! вот так! что ты вцепился в него, как свинья в морковь!»), акт экс-

пертизы подписал бы. Но все же он сам предпочел послать в Институт вместе с письмом, в котором просил, в котором просил... Ведь прошло уже пять лет, и профессор умер в прошлом году. И эти пять лет. Он понял наконец: писать формулы, промышлять, угадывать, вопросами нащупывать ответ — это прекрасно и так, это священо, и бросать свой дар под ноги самому себе, чтобы только оттолкнуться сильнее и выпрыгнуть, выпрыгнуть над курсом, над кафедрой, над факультетом, над Институтом и выше, где можно быть не как все, — это абсурдно. Не отталкиваться надо, а стоять. И они должны его простить. Позволить вернуться. Восстановиться на четвертом курсе или даже начать все сначала. Он пробовал и другие профессии, но он — математик. Пять лет не сломили его. Он сделал результат, он знает, что это первоклассный результат, и он его не украл, но дайте же смыть грязь. Он искупит свою вину. Потом он станет начальником, но небольшим, небольшим, чтобы только иметь право заниматься чистой наукой. Простите его!

В рецензии, присланной из Института, с кафедры математики, его статья откровенно называлась самой безграмотной белибердой с грубейшими ошибками на первых шагах доказательства. В конце рецензии было написано: «Несмотря на то, что автор, по-видимому, знаком с проблемами современной математики из популярной литературы, рецензент все же советует ему найти в себе мужество и не пробовать поступать в Институт, а заняться каким-нибудь земным, обычным делом». Подписано: кандидат физ.-мат. наук Акулькин О. Б., всего Вам доброго. Акулькин?! Олег Борисович?! Какое ты имеешь право? Ведь ты же ничтожество!. Ты списывал у меня контрольные! Я помню, ты трогал концом ручки бородавку на носу и сдувал, сдувал, подлец!

И через полгода, буквально через полгода после рецензии, статья четырех соавторов (это в области аксиоматики-то, ха-ха!) и, конечно, под другим названием. Только почему же Акулькин, на букву «а», не первый? Постеснялся? Вряд ли. Просто в этом алфавите первая буква — другая. Но теперь не все ли равно? К черту, в огонь! И рецензию, и их статью. Это была всего лишь сказка, рассказанная самому себе. Так. Хо-

рошо. Еще немного бензина. Задерни шторы, чтобы не было видно с улицы.

А это что? Ее письма. Чтобы стать прозрачным, нужно сжечь также и свою любовь. Он думал, что сжест свою любовь еще тогда, на первом курсе, когда оттолкнул ее от себя, уже беременную, когда выбрал свой путь, «путь человека, назначающего себе ценности». Но почему она возвращается? Почему он готов броситься за этими письмами в горящий бензин? Спокойно. Смотри, не мигая, на огонь. Смотри, как горит твоя любовь. Скоро ты станешь совсем прозрачным.

Кончиками пальцев, самыми подушечками, ты трогал ее тело под одеялом. Ты сидел на краю постели в брюках и в болоньевой шуршащей куртке. Она натянула одеяло до самых глаз, она не отрываясь смотрела на тебя. Большие, детские еще глаза, и твоя рука, и ее тело, и еще красноватое пятнышко лампочки электрокамина. «Погладь меня по головке, мне страшно», — сказала она. Ты перебирал льняные прядки волос и молчал. И когда твоя рука случайно наткнулась на замочек сережки, расстегнула и серебряная безделушка упала в твою ладонь, маленькая деталька, последняя ее защита, ты понял, что между ней и тобою нет больше ничего чужого. Ты разделся и лег. И лежал неподвижно, и она прижалась к тебе, как жена. Ты видел маленькую красноватую лампочку электрокамина. Ты слышал ветер за окном и дождь. А потом ты забыл обо всем. Ты был кентавр, пахарь, корабль, тонкая спица, красноватая лампочка, снова работа, сброшенное одеяло, моряк в огне, нежный мальчик, флаг, дождь за окном, победитель усталый. А потом, через два месяца ты оттолкнул ее ночью на пляже, она упала на песок, она рыдала, дергалась и была чем-то похожа на козу. Ты поднялся на мост и видел белое здание электростанции на том берегу, ты видел необычные треугольные отражения фонарей в воде с маленькими стрелками в вершинах, и ты еще усмехнулся — можно использовать как математические обозначения. Потом ты оглянулся на темноту пляжа. Там ничего не было видно. Казалось, что пляж ниже уровня воды. Что там яма. И ты повернулся и ушел.

— Мама Оля, мама Оля, — плакал маленький Костик. Мама Оля, запахнув халат, вошла в комнату сына. В темноте на ощупь она нашла его мокрое лицо, вытерла.

— Что ты не спишь, дурашка?

— Мама Оля, Расскажи мне сказку. На меня давит темнота, я не могу заснуть.

— Костя, ну что ты, поздно уже, а ты все не спишь, я еще монолог должна повторить.

— Ну мам!

«Надо рассказать ему сказку, какую-нибудь скучную, занудную сказку, чтобы поскорее заснул». Вслух:

— Хорошо, слушай, — она начала, обволакивая его словами. — Давным-давно, когда не было еще ничего и никого: ни Кости, ни мамы Оли, ни машин, ни...

— Ни бабы Вали.

— Ни бабы Вали, ни дяди Коли, — повторяет она, затягивая.

— Ни снега, — зевает Костик.

— Не было ничего, ни земли, ни снега.

Костя шепчет:

— Ни фонаря. Дальше, мам.

Он лежит на маминой руке. Он смотрит на просвечивающий сквозь шторы фонарь. И мамина рука словно несет его в своей большой теплой ладони.

— И была только вода, одна вода, и плыла рыба, она плыла и плыла. В одну сторону, в другую, и везде вода.

Он закрывает глаза.

— И стало рыбе скучно, и захотела рыба спать, и поплыла рыба в Саргассово море, и заснула, и пока она спала, из нее выпадали маленькие красноватые икринки. И вывелись рыбки, много маленьких рыбок. И плавали они, плавали. И вода начала уходить, и появилась земля. Рыбы стали выпрыгивать на землю. И первые рыбы умирали, а другие, за ними, научились дышать и ходить.

Мама Оля поправляет одеяло и на цыпочках выходит из комнаты.

— И появилась земля, — шепчет Костя, словно что-то вдруг охватило, околдовало его.

Она оборачивается и шепчет:

— И мама Оля, и Костя.

Она готова заплакать. Она хочет сказать ему: «Спи». И не может. Он шепчет:

— И снег, и фонарь, и темнота.

Завороженная, она смотрит на сына. Он уже снова закрыл глаза, он шепчет:

— И светота.

Еще? Ближе к огню. Лицо его, пусть обгорит лицо, его кривая улыбка. Шурша, пусть вспыхнут волосы, пусть закипят и лопнут глаза. Нет, он неподвижен, только рука механически отправляет в огонь ее письма. Вот записка, короткая: она родила сына, три девятьсот, рост шестьдесят два, страшно кричала, просит прийти, она все простила, принести минеральной воды. К черту! В огонь! Чтобы стать прозрачным, как стекло. А это? Фотография отца в позе античного мыслителя. В огонь! А это? Сестренка, когда-то она была ему дороже всего на свете. В огонь! После него не останется ничего. Вот наконец и эти записки. Цитаты из его любимых философов: «И кого вы ни научите летать, того научите быстрее падать». Выписки из газет: «ФРГ — РАФ (группа Баадер — Майнхоф), в 1970 г. 17 человек (8 студентов, 2 журналиста, 2 юриста, фотограф, медсестра, парикмахер, автомеханик и несовершеннолетний правонарушитель)». А он? Он совершенно один. Выписки из газет: «РАФ — 100 покушений, 39 — со смертельным исходом, 75 человек ранены при взрывах, многочисленные поджоги, ограбления сберкасс». А он? Он сделает это один раз. Выписки из газет: «Ульрика Майнхоф — в прошлом талантливая активная журналистка, судилась с самим Шмидтом (тогда он еще не был канцлером, а был министром обороны), покончила жизнь самоубийством в тюрьме; Андреас Баадер — рос, окруженный и избалованный женщинами (матерью, бабушкой, тетками). Не проявил никаких талантов и интереса к учебе, человек действия, лично проводил все акции, на суде цитировал Маркузе». А он? Раздавленный человек, не человек, существо. Но он сделает это, чтобы не сойти с ума. К черту! В огонь! Они чего-то хотели, эти «шили» (шикарные левые). Они во что-то верили. Быть может, провоцируя репрессии со стороны правительства, они

хотели вызвать возмущение масс? А он? Кривая улыбочка вновь напозла, исказила лицо. Этот спазм всегда вызывал у него физическую боль. И он всегда вспоминал: «Улыбайся, как досчитаешь до трехсот — перерыв. Улыбайся, кому говорю!» А он? Он взял еще листок: «Я верю, что ни во что не верю, и тем не менее не могу сомневаться в том, что существую». Он сделает это, чтобы поверить в то, что он существует. Он сделает это, чтобы не сойти с ума. К черту, в огонь! А это? Таблица удельных весов динамитов разного состава. Больше не понадобится, в огонь. Это? Подметные письма с угрозами, он заготовил их неделю назад. Сжечь? Ну тогда уж заодно и этот старенький дипломат. Хе! Он усмехнулся. Нет, спектакль назначен на завтра, и он состоится. Только в этом спектакле будет небольшая вставка, без лицемерной болтовни, без обмана, ведь им и в самом деле не хватает «огня в сердцах». Заряд рассчитан только на сцену. А письма надо опустить в почтовый ящик уже сегодня. Дым наконец заставил его закашлять. Он встал и открыл окно. Сквозняк выхватил хлопья пепла и бросил ему в лицо.

Без десяти шесть. Он поставил стрелку на половину седьмого. Он видел: Дом культуры — двухэтажный, с колоннами, сталинских еще времен, желтого цвета, с большими гипсовыми вазами у начала ступенек, с фризом, на котором изображены фигурки ученых с огромными атомами в руках и еще пионеры в голубых шортах с горнами. Дом культуры по-прежнему светлел между деревьями. Подъехал автобус, «пазик», беленький с зеленой полосой. Из него высыпали дети. Высокая стройная девушка что-то им кричала и смеялась, хлопала в ладоши, другая поправляла детям шапочки, румяный молодой человек на ходу надувал шарик. Они построились парами перед дверью.

Тогда что-то толкнуло его, и он побежал, спотыкаясь, через грязь. Он подбежал, когда дети уже проходили за тяжелую массивную дверь. Высокая девушка держала за руку мальчика в ярком оранжевом комбинезоне, мальчик облизывал потрескавшиеся губы. Он подбежал совсем близко, так, что Оля Карпенко даже

немного испугалась этого незнакомца в черном пальто и крепче сжала Костину руку.

— Подождите, пока пройдут дети, — строго сказала она, отгесняя его локтем в сторону.

— Подождите... — выдавил он.

Костя поднял голову, завязка больно впиалась в шею, он увидел прямо над собой искаженное кривое лицо незнакомца дядьки. Дядька открыл рот и, казалось, хотел еще что-то сказать. Но так и стоял с открытым ртом, и у него что-то шуршало в карманах. «На улице холодно, чего он вспотел? Страшный какой-то», — Костя рванулся, увлекая за собой маму вдоль медленно закрывающейся тяжелой двери, чтобы успеть проскочить, пока она не закроется. Пока этот дядька не схватил.

Он застыл. Он хотел было броситься вслед за ними, но это «подождите» словно парализовало его. «Ты просто повторишь то, что скажут другие, и сделаешь те же жесты». Массивная дверь снова открывалась. Выходили люди с портфелями, без шарфов, виднелись накрахмаленные воротники с галстуками.

— Отойдите, вам говорят! Вы что, не видите, ректор Института.

— Олег Борисович, а что во втором отделении?

— Да обычный концерт.

— А где мы сидели, где сцена?

— Вот здесь, на втором этаже, прямо над входной дверью.

— Как интересно, люблю сидеть над входом.

— Валерий Александрович, ваша «Волга» направо, первая.

Они спустились по ступенькам. Он стоял, растрепанный, у колонны и смотрел, как, неторопливо переговариваясь, они рассаживаются по машинам. Отъехала первая, за ней вторая, третья... Только выхлопной газ, напитанный сыростью, еще медленно оседал и расплзался.

Сверху что-то ударило, треснуло. Яркий блеск, отсвет в белой стене дома напротив. Дрогнули, дернулись каменные плиты ступенек. Полетели, совсем без звона, с каким-то странным скрежетом стекла. Посыпалась песком желтая краска, пластами разорванная штукатурка с фриза, нарисованная детская рука с горном,

кусок с голубыми шортами, в пилотке разбитая голова. Повалилась навзничь, раскололась, обнажая кривую черную землю, гипсовая ваза. Что-то огромное, ужасное, мокрое толкнуло его в черную спину, бросая на ступеньки, вынося вверх над ним несколько удлиненных воздушных шаров, ударило в белую стену, загрохотало дальше.

Его казнят. Длинные ртутные иглы проскальзывают, прокалывают, разрывают его. Дети, его казнят дети. Лопаются шары. Этот мальчик с потрескавшимися губами. Этот мальчик, его широко раскрытые глаза. Длинные специальные иглы. Его казнят дети. Он срывает свое черное пальто. Он кричит: «Это ошибка! Я хотел...». Он бросается к люку за левой кулисой сцены. И в темноте, задыхаясь от пыли сваленных в кучу декораций, пытается нащупать тяжелый тикающий дипломат. Нет. Он застыл. Он здесь, на ступеньках, лежит, закрыв голову руками.

О! ДЕТСТВО!

(Восклицательные фрагменты)

О, мое пионерское детство!

О вы, пионеры, первопроходцы, первооткрыватели, изведыватели неизведанного, чья нога впервые ступала туда, где доселе она не ступала, вы, герои Фенимора Купера и Генрика Сенкевича, вы, пытливые испытатели естества — знали бы вы, к чему приводят испытания! О вы, сугубо устремленные в будущее, которое не есть настоящее, а значит — поддельно, что вам известно о своем настоящем?

Что такое есть пионер? Еще два, много — три поколения, и дети перестанут стыдливо смеяться, тыкая пальчиком в заглавие книжки упомянутого Фенимора, а красный шейный платок с торчащими острыми кончиками снова станет привычной деталью костюма героев из книжек подобного рода — и только. Сгладятся, заплывут зыбкой дымкой воспоминания о пионерских отрядах и пионерских линейках, о пионерских обязанностях и пионерских починах; выцветшими буквами на ветхих, истертых по сгибам и кружевных по краям бумажонках станет гордый девиз, по-античному раздиаложенный: «Будь готов!» — «Всегда...». Не придется уж мамам отпаривать под влажную марлей острые стрелки на форменных брючках своих сыновей, вплетать дочерям в косы белые гофрированные банты, для чад обоего пола крахмалить снежные сорочки с золотистыми круглыми пуговицами и желто-красным шев-

роном — увы, не придется: уйдут парады, уйдет и парадная форма. Не станет морей из гвоздик и тюльпанов, из гладиолусов и транспарантов, из волноподобных шеренг (темный низ, белый верх); не станет шума, как будто морского, прорезаемого звуками горна и всплесками микрофона на шаткой трибуне; не станет мальчиков с изумляющей их самих заглотно-аршинной осанкой, не станет девочек, цветущих почище составляющих море растений, не будут уж взгляды осанистых пугливо и удивленно скользить по ножкам цветущих — поразительным ножкам, в кои веки возникшим из-под спуда серых и бурых колготок, затянутым в елочки или же сеточки белых гольф и сверху воздушно прикрытым оборками юбочек, по смуглым ножкам, налитым весною и празднеством... Не станет уж ножек таких. Пионерок не станет, иже пионеров. Не станет нашего детства. О, зыбь воспоминаний!

О, зыбь воспоминаний!

О, мутноватая, дрожащая пелена, из которой, словно бы из небытия, извлекаем мы иногда, нечаянно шевельнув чем-то мягким и косным у себя в голове, смутные отсветы где-то когда-то подсмотренных изображений! О, потайные шорохи, скрипы и вздохи, сопровождающие эти видения! О, детство, — ты ли случилось со мною, или же это ветер, пролетая, стукнул играючи ставень о ставень окна на веранде?..

В то лето я был пионером и жил в пионерском лагере... Когда сотрется и даже изгладится память обо всем перечисленном выше и о многом другом — как убедить мне тебя, Мнемосина, пощадить хоть эту ничтожную толику?

Знаете ли вы, что есть лагерь? Нет, вы не знаете! Я расскажу. Лагерь, на первый случай, это сборы. Это брюки, шорты, носки, рубашки, футболки, носовые платки, кепки, свитера, ручки, тетрадки, конверты, сандалеты, кеды, трусы, полотенца, конфеты, печенье, стаканчик шоколадного сыру, зубная щетка, шампунь «Себорин», мыльница с мылом, нитки с иглой и пять запасных пуговиц, пачка анальгина и пачка активированного угля — кажется, все. Мы с мамой стоим среди этих вещей, раскиданных на полу, на столе и кровати,

развешанных на спинках стульев. Шкаф зияет брешами в еще только что туго набитых полках; новенький, терпко пахнувший дерматином коричневый чемодан хищно растопырил свой глянцевиый зев. Мама лепит на испод крышки реестр моему добру, писанный синим фломастером — линии жирны и сочатся запахом одеколona. Вот как я помню их, сборы! И еще помню: в ночь перед отправлением не спалось мне. Чемодан, стоя подле растерзанного шкафа, самовольно поблескивал своими замочками и металлическими заклепками на углах. Я слез с кровати и, сторонясь чемодана, скользнул в коридор. Отлепляя босые ступни от прохладного линолеума, зашуршал потом плетеной циновкой у входной двери и замер.

— Как ты мог! — говорила мама папе за матово-оранжевым витражом кухонной двери. — Господи, как ты мог!

О, волнения перед отъездом!

О, волнения перед отъездом!

О, сутолока и толчея вокруг пяти автобусов, замерших, словно покорные битюги, против сквера с фонтаном, брызжущим веером тонких ворсистых струй! О, гомонливые дети в упомянутых белых рубашечках, с алеющими на грудках, подобно шаловливым птичкам, галстуками! О, родители, озабоченные и утирающие испарину, вопреки прохладе утра!

Лагерь, следующим пунктом, это въезд в него. Позади, иссякая в размерах до точек, остаются тревожные улыбки родителей. Заслоненные же ими две фигуры, мужская и женская, обе в таких же галстуках, как у нас, увеличились, вобравшись в автобус, и сидят теперь впереди, на сиденье возле кабины водителя — это наши вожатые, они нам подмигивают и с кем-то из бойких уже перебрасываются шутейными репликами. Три часа с половиной автобус на каждом подъеме чихает и пылью и газами, три часа с половиной мы пялимся в слобренный оконными пятнами ландшафт: сперва городской, затем — дачный, а после — странственный: поля, леса и пригорки. Но вот мы свернули с дороги и затряслись по меже с окаменевшими по краям желобами от многих колес. Вот зелень за-

хлестала по окнам автобуса. Вот вынырнула белая вывеска на двух зеленых подпорах: «Добро пожаловать!» и ниже «П/Л...», но уж въехали.

— Толстый, — сказал мне рыжий мальчик в полосатой рубашечке, из обрубленных рукавов которой торчали красные, рыжими волосками поросшие руки; мы прыгнули вместе с подножки. — Слышь, толстый, а вожатый у нас ничего, да?

О, сумятица въезда!

О, сумятица въезда!

О, неразбериха устройства, упорочения на своем койко-месте и упорядочения предметов в пространстве половины положенной тумбочки! О, дипломатия первых знакомств!

Что есть все-таки собственно лагерь? Здесь возможны три точки зрения. Первая — птичья. С точки зрения птичьей лагерь есть лесистая лощина, продолговатая и по краям густо опушенная: слева — ельником, справа — лиственным лесом; на расчищенных местах наткано пять коробочек с гребенчатыми крышами, крашенными яркими красками; еще одна, подобная каменной кишке, с задним двором, сытно и тошно пахнущим отбросами; еще одна, похожая на гриб или цирк, что то же; и еще ряд помельче, многогранных, с кружевной отделкой — все напоминающие гриб-цирк; нежно зеленеет в глубине лощины ровный травянистый лоскут с двумя квадратными скобками, выставленными на попа, по краям; все.

Вторая точка зрения — прохожего. Прохожий, сколько ни движется, видит вокруг себя лес, а в лесу, по какую-нибудь из своих рук, видит забор, густо-зеленый. На определенном отрезке движения видит также вывеску «Добро пожаловать!» и пионера в парадном, вцепившегося руками в решетку ворот по ту сторону и мнущего лоб об эту решетку; называется — КПП; вот что видит прохожий, если пионер в тот момент не отводит в сторону створку ворот, пропуская торопливо фырчущий «газик» — средство передвиженья начальника лагеря.

Третья точка зрения — внутренняя. Формируется на второй неделе пребывания внутри. Состоит в том,

что если из родного корпуса пошел в столовую, то смотришь на белую пыль под ногами — и приходишь в столовую. Если на танцплощадку — то на танцплощадку. Если в беседку — то в любую из пяти. Если же на футбольное поле...

— В футбол-то умеешь играть? — спросил меня долговязый вихрастый парнище в рубаше навывпуск и вьетнамках с отрезанной перепонкой для пальцев, наш вожатый. — Будешь тренироваться, а? — спросил и потрепал по плечу. — Ну, чего дуешься?

— Умею, — сказал я. — Буду, — сказал я. — Не дуюсь, — сказал я.

О, тонкий яд честолюбия!

О, тонкий яд честолюбия!

О, подъемы с петухами, о, легкие пробежки по росистой траве! О, подтягивания на росистом же турнике под одобрительный гомон рассеявшихся на окрестных деревьях птиц!

Нет, не умел я играть в футбол. Но очень хотелось. А было одно препятствие.

Трудно в это поверить, глядя на меня теперь, но в ту пору я был толстым. В каждом пионерском отряде был толстый. Что и подметил рыжий. В каждом пионерском отряде есть и рыжий.

Рыжий этот не давал мне покоя. Когда приезжают в лагерь, то всех ведут взвешиваться. И нас повели. Медпункт был упрятан в ельник. В сырой пахучей чаще жили комары. Я убил штук восемь или девять, пока мы ожидали во дворе низкого кирпичного, похожего на курятник зданьца с белой крышей и наличниками на окошках, затянутых голубенькими шторками.

— Искусали толстого, — указал на меня рыжий окрестным пионеркам, раскачивая тощим задом низкий палисадник. — Гля, как искусали.

Я молча убивал.

— Сорок два, — и я сошел с весов.

— Ну, жир! — поразился рыжий. У него было, кажется, тридцать четыре.

Мы ходили на завтрак и вернулись в корпус. Прямо против входа в стену было вделано зеркало в человеческий рост. Я изучил в нем себя мельком. Я изучал в

нем себя мельком и впредь. Попутно я изучал идущих следом. Особенно удобно было это делать после наших тренировок, когда мы, распаренные и голые по пояс, врывались в корпус, будя непричастных к футболу. Изучая, я заметил, что у рыжего и у других идет между сосков и ниже по животу как бы полоса — такая неглубокая и узкая, как девчоночья лента, ложбинка. У меня ложбинки не было. Я чертил ее пальцем, но она не появлялась.

Зато я умел подтягиваться. У рыжего получалось не в пример хуже. Наш капитан, любимец вожатого, ответственный за спортивную жизнедеятельность коллектива и силач знаменитый, подтянулся одиннадцать раз. Мальчик с грустными глазами в длиннейших ресницах высокой пушистости и с капризным грустным лицом, имевшим достопримечательностью фигурные губы, весьма влажные и красные, подтянулся десять раз. Я подтянулся восемь. А рыжий — шесть.

— Ну даешь, жир! — сказал он неприятельски.

Меня поименовали как третьего в отряде на утренней линейке. Флаг, правда, мне поднимать не пришлось. Но я и не глядел на длинные костлявые пальцы капитана, который, задрав белобрысую голову и щурясь от исчерканного елями солнца, под сбивчивую барабанную дробь дергал за тонкий витой металлический трос, толкая кверху пляшущий кусок красного сатина. Зато я глядел вправо по строю, краем правого глаза. Там стояла девочка, стриженная скобкой. Она, не соблюдая стойки «смирно», заправляла пепельные волосы за розовые ушки, светившиеся перламутром.

О, первые, робкие влюбленности!

О, первые, робкие, влюбленности! О, отсутствие эротизма, сообщающее этим попыткам к чувству характер созерцательный и эстетический! О, коллективность эстетического восприятия!

Что такое было в этой девочке, я объяснить не могу. Но есть такие девочки, в которых бывают влюблены все мальчики. И вот в эту девочку были влюблены все мальчики. И я был влюблен в эту девочку. У нас случались танцы, и мы, топотливо пляша на гулкой веранде танцплощадки, усеянной по ободу грибной

своей шляпки желтыми и красными лампочками, будто листьями, и выделывая наиболее острые па, косили взглядом в сторону этой девочки. И как только скорый ритм обрывался и слащавый голосок какой-нибудь Агнетты Фальтскуг уже затевал что-либо вроде «Thank you for the music» — то мы неприличным скопищем, грохоча по доскам и толкая пары старших пионеров (раздраженные) и вожатых (снисходительные), кидались прямо к ней, нашей пепельноволосой красавице, и кто попрытче — тот успевал пригласить, скажем, одну из ее подруг, которых было или три, или четыре, ни одной нельзя вспомнить. Густо пахло елью, глаза у нашей красавицы были очень синие — как неглубокая ясная ночь летом. Ну, красавица-то, конечно, могла достаться только тому, кто оказывался прямо рядом с ней, а это требовало многого, так как были приличия... То есть нельзя же все время пихаться. Ну и так далее. А ее подруг, еще раз говорю, я лично не помню. Серые какие-то мыши, и все. Впрочем, я и ее саму не помню. То есть, кроме шуток, не помню ее, кроме ушей. И волос.

Но и рыжий был влюблен в эту девочку. И однажды мы ходили в баню. Баней назывался душ. А потом я спускался по крыльцу нашего корпуса, и по белой, усыпанной белым песком дорожке из-за угла выворачивали красавица с подружками, и среди них крутился рыжий. Все щебетали и звенели, как птички, особенно заливался рыжий, но не как птичка, а как большой отвратительный птиц! Он заливался, и даже флегматичная наша красавица фыркала красивыми пухлыми губками.

— А у толстого, — поймал я обрывок, — вот таку-сенький... — рыжий свел указательный и средний конопатые свои пальцы на расстояние меньшего ребра спичечного коробка.

Я гордо прошел было мимо, но допустил по пути ошибку: поднял с земли суховатую сохлую ветвь и закричал рыжему:

— А у тебя вот такущий!

— А я был в плавках! — провопил рыжий, когда я уже обогнул корпус.

О, дух молодого соперничества!

О, дух молодого соперничества! О, состязания, соревнования, спартакиады, олимпиады и первенства! О, азарт борьбы до победы — над противником, в первую голову, и (возможно) над чьим-нибудь сердцем вдобавок!

Как видно (несмотря на фрагментарность и даже отрывочность этих воспоминаний), жизнь в лагере имеет обыкновенье налаживаться. На лад шли и наши тренировочные занятия. А также тренировочные внутриколлективные матчи. Я в них показывал хорошие результаты, как то: к мячу приближался редко, так как не очень твердо знал, что с ним делать; если мяч все-таки летел в мою сторону, то я стремился его по возможности остановить и либо вступить с кем-нибудь в единоборство в надежде, что мяч у меня отберут превосходящими силами, а это даже почетно, либо отдать пас кому-нибудь, кто поближе, и пасы у меня получались очень мягкими — пожалуй, даже излишне; заручился симпатией капитана, лично общавшегося с тренером (сиречь вожатым) на предмет состава команды — при помощи рассудительного умения рассуждать о тактических вопросах, а также рассказывать анекдоты. Так, мяч у нас был старый, кожа на нем побурела, скукожилась и окаменела от множества луж и дождей, в которых довелось ей побывать; при ударах мяч издавал волглый звук глиняного черепка.

— Вот дадут на официальные настоящий мяч! — говорил я. — А это ж разве мяч?

— Надо его попробовать в полузащите, — говорил про меня капитан вожатому. — Неплохо играет, — думал он, что я умею играть. — Надо в полузащиту.

Нет, не прельщает в таком возрасте несуетное изящество славы Бекенбауэра, нет, не прельщает. В защитники ставят тех, кто не очень умеет играть. На худой конец — совсем не умеет. Но откуда было знать капитану, что я не умею играть?

— Он у нас мастер паса, — рисовал меня капитан вожатому; дух Леонида Буряка носился где-то поблизости.

Но вот был назначен день матча. Накануне я получил письмо из дому. «Скоро у вас будет родительский день, — писала между прочим мама, — и я к тебе приеду, сынок». О папе в письме не упоминалось. Подпи-

сано оно было только мамой. Я спрятал письмо в тумбочку, придавил его там мыльницей и потянул было чистый конверт, но пошел тренироваться: звал капитан.

На следующий день, после завтрака, нам выдали настоящую форму: безразмерные густо-томатовые футболки с длинными рукавами, проймы которых сгодились бы на отдельный предмет туалета, шерстяные гетры того же ядовитого цвета и белые сатиновые трусы. От бутсов мы отказались — они были уродливые, с пощербленными шипами, и очень большие; носы их, твердые, как кремь, черные, мутные, были угрожающе загнуты вверх. Соперники нашего четвертого отряда, отряд второй, старший, вышли, напротив, частично в бутсах. Майки и гетры на них были нежно-салатовые.

Мне досталась футболка с номером «7» как центральному полузащитнику. Я стоял посреди поля, за спинами капитана и смуглого мальчика, героически небрежно пинавших мяч в центральном круге, и комкал на предплечьях неопратно и толсто засученные рукава. Подтягивал ежесекундно сползавшие гетры. Тут игра началась. На меня летел мяч.

— Бей, толстый, бей! — орал рыжий; он был левый полузащитник.

Я занес правую ногу. Мяч проскакал мимо. Я обернулся, увидел белую цифру «9» на салатовом фоне. Цифра плясала перед белой линией, при помощи мела выпачканной в траве. Двое наших защитников с растерянными лицами, растопыривая руки, ловили цифру.

— Догони! Борись!

Голос тренера закон есть! Я побежал. Цифра прыгнула вправо. Я набежал на нее, но мяча не было. «Гол!» — это мягко сказано: трибуны были полны пионерок, а они обычно визжат. Мяч лениво и вертикально подпрыгивал в наших воротах перед сеткой. Вратарь сутуло сидел на земном горбыле, обозначававшем линию ворот.

— Чего ты не бил, ты! — меня толкнуло в спину.

— Сам ты! — я толкнул рыжего в грудь.

Костлявый кулак больно ткнулся в мое плечо; я

ухватил этот кулак и затряс. Вожатый набежал откуда-то сбоку.

— Э, куда!.. Шас тому и другому! А ты встань в защиту и стой. Чилиец, в полузащиту!

Так окончилась моя карьера хавбека. Юркий квадратный Чилиец, прозванный так за показательные мучения, которым он подвергался со стороны вожатого, стрельнул в меня рысьими глазками и занял мое место. На меня опять летел мяч. За ним, петляя и вихляясь, несло крупное салатовое пятно. Я упал.

О, горечь поражений!

О, горечь поражений! О, черные дни, когда все валится из рук, а ноги сами несут навстречу бедствиям! О, робкие попытки слепой и немилосердной Фортуны ткнуть в какую-нибудь светлую сторону бытия!

Учитывая онтологическую антиномичность человеческого существования, вряд ли выглядит странным тот факт, что именно ввечеру дня моего футбольного позора мне в первый (и в последний) раз удалось пригласить на танец нашу красавицу.

Вечер был тяжкий и душный, лампочки светили густо и тускло, как керосиновые фонари; мигали. Из еловых чащоб тянуло сыростью и комарами. Заиграло «Thank you for the music». Я машинально обернулся и, еще не осознав плотности своего счастья, уже держал его в руках. От пепельных волос горьковато пахло смолистыми шишками. Комар упоенно жалил меня под лопатку, но я, вытянув руки и едва прикасаясь к талии, гибкой и теплой, как кошка или кошма, уж не знаю, жмурил глаза, комкая движущиеся по кругу окрестности в радужные пятна. Я что-то бормотал, и в ответ мне совершенно хрустально звенело, что трудно было связать с шевелением мягкого рупора губок. Потом я посмотрел вниз, на ее переступавшие ножки в белых сандалиях и таких же носочках с тремя голубыми полосочками у резинки, и в самый момент смотрения — о, ужас! — мой грубодельный коричневый сандалет самоотийно ступил на один из носочков и оставил на нем коричневый смазанный след. Доски площадки заколебались у меня под ногами; в глазах потемнело. В небе треснуло, будто какой-то шалун надул целлофановый

пакет и стукнул его о кулак, полыхнула над лесом багровая вспышка. Красавица снисходительно улыбнулась мне; глаза ее по-кошачьи сверкнули и электрически заискрились. Над лесом заухало; площадка заволновалась. Через минуту первые капли упали в ошестинившуюся пыль. Начался дождь.

— Чтоб я больше тебя рядом с ней не видел, — подавил в меня кулаком смуглый мальчик с ресницами; красивые губы его стали мстительны. — Понял ты, толстый?

— Посмотрим еще, — сказал я, косясь в сторону; спины капитана, Чилийца и прочих, не говоря уж о рыжем, выражали неодобрительное равнодушие к моей судьбе.

О, дожди в сезон отдыха!

О, дожди в сезон отдыха! О, уныние отсыревших дощатых стен, о, неопрятность потеков на окнах! О, плесневый запах, неистребимо селящийся в каждом углу, в каждой щели, в каждой складке одежды! О, таинства невольного затворничества!

Дождь, начавшись вечером, шел всю ночь; утром с земли подымался дымчатый пар и повисал на перилах нашей веранды, на гребне нашей крыши. Мы вырядились в куртки и сапоги; ежась, прошлепали по лужам в столовую. После завтрака дождь пошел снова — сначала слегка, а потом сплошным ливнем, поминутно взрываясь грозой. В корпусе затворили все ставни и зажгли освещение. Обстановка стала мерцательной; мы принялись играть. Ах, эти игры — бессвязные и произвольные обрывки старинных гаданий и заговоров, ведьмачества и волшебства, всякой темной и потайной жизни человешье-звериной души. Ах, в частности, эта любовь к покойникам! Вот игра в мумию. Завязывают кому-нибудь глаза и вводят в затемненную, зашторенную, елико возможно, палату. Ведут. По препятствиям, по каким-то подстроеным при помощи кроватей, табуреток и тумбочек закоулкам, лабиринтам и мосткам. Подводят. Велят ощупать. Слепленный шупает и убеждается, что под рукой у него — цельный матерчатый кокон в человеческий рост. Тут его царапают по руке гребешком. «Это зубы мумии!» —

восклицают десять гробовых голосов. Ослепленный вздрагивает, но тут его руку хватают и пальцами тыкают во что-то вязкое, именно — в бумажку, на которую выдавлено зубной пасты. «Это глаза мумии!» — гудят голоса. «А теперь, — продолжают они, — пожми ей руку». Ну, рукой бывает, положим, швабра. Ослепленный трясется и ежится, тянется, опасно хихикая, к повязке. «А теперь... посмотри на нее!» — завывают все и начинают дико визжать; кто-то срывает повязку, и полуослепленным глазам в сумерках, в тусклом дрожанье свечи, предстает длинная белая фигура, укутанная в простыню, словно в саван. Ужас!

— Слышь, толстый, — шепнул мне рыжий, когда хохот громыхал по палате, как сорвавшийся с дуги колоколец, — пошли, слышь, толстый, туда... на веранду.

О, потайная романтика тьмы!

О, потайная романтика тьмы! О, подспудное стремление к сладко-запретному, щекочуще-дразнящему! О, болезненный интерес к испытанию пределов!

— Мне надо письмо писать! — сказал я было рыжему.

— Ты чего, толстый, боишься, что ль?

Мы прошли по коридору в конец корпуса. Веранда, опоясывавшая корпус крытой галереей, по краям оканчивалась двумя рекреациями. Окна были заперты недавно, однако воздух уже был затхлым, каковым он всегда бывает в тесных дачных помещениях для садового инвентаря, не имеющих свежего воздуха целую зиму. В углу стоял ящик с песком и висел приоткрытый пожарный щит; внутри его были укреплены багор, лом, воронковидное ведро и топор — все крашенное в алый цвет; место для лопаты пустовало — она была прислонена к ящику вместе с парой грабель с обкусанными и погнутыми зубьями. Правее ящика, в углу, происходила какая-то возня; человек восемь ребят стояли или сидели на корточках либо на старых поломанных деревянных ящиках, расставленных по стенам; один, впуская нас на условный стук рыжего, приложил к губам палец. Дождь мутными потоками размазывал по стеклам очертания деревьев.

— Чегой-то они? — спросил я у рыжего шепотом.

— Усыпляют, слышь, — прошептал и тот.

Я пригляделся. В углу, прислонясь спиной к стене, с закрытыми глазами стоял тщедушный Чилиец. Мощный капитан, нависая над ним, обеими руками опирался ему в середину груди и вдавливал Чилийца в стену. Лицо Чилийца было бледно и напряжено. Он не дышал. Багровый румянец медленно покидал нижнюю часть его лица.

— Давай! — взвизгивал кто-то восторженным шепотом. — Жми!

Огромные перпендикулярные капитановы уши запунцовели. Прямоугольная спина напряглась. Затем он откинулся, тяжело дыша. Чилиец стоял, грязно-серый, как стена, к которой он был прислонен. Потом воздух шумно оставил его легкие, он широко распахнул рысьи глаза и помотал головой.

— Ну, мужики... — начал он.

— Чего, слышь, чего?

— Да чего — ничего: не видите, что ль, — он притворялся!

— Не притворялся я!

— Притворялся, не ври!

— Не, я правда уснул! Прямо как это... зашумело чего-то...

Все слушали со вниманием, но не очень доверчиво. Чилиец махал руками, брызгал слюною. Смуглый мальчик подошел к нему, хлопнул по плечу.

— Ладно, Чилиец, — и отошел; Чилиец поник лохматой головой.

— Толстый, хочешь попробовать? — обратился ко мне капитан; а когда я рассуждал о тактике «тотального футбола», он не звал меня «толстый»; да, жизнь...

— А?..

— Да он ссыт, — высунулся рыжий.

Я пошел и встал к стене.

— Лишний воздух из тебя выйдет, жир, — подхихкнул рыжий.

— Молчи, рыжий, — строго сказал капитан. — Ты, толстый, вот что: ты набери воздуху, удержи дыхание и не дыши, изо всех сил не дыши, сколько сможешь. Я тебе буду давить вот сюда, — он ткнул мне под ложечку твердым спрямленным пальцем, — и ты уснешь. Согласен?

— Согласен, — отвечал я, раздувая грудную клетку. Я ее раздул вовсе. Она раздулась. И стала большой. В ней застоялся воздух. Капитан уперся ладонь о ладонь мне в грудь; подавил. Я закрыл глаза. Я ждал, что воздух вырвется сейчас тугою струей из носа моего и изо рта. Но он не вырвался.

О, ложное дуновение смерти!

О, ложное дуновение смерти! О, вид последних глубин! О, колеблющаяся завеса над единственной тайной на свете!

Стало темно, и в ушах у меня засвистело. Расходясь, разгоняясь, пронзительнее. Как бы на санках лежал я спиной, как бы участвовал я в каком-то безумном бобслее; свистело, несло. Неслась темнота, пестрящая и рябящая точками, чёртками, полосами. Направленный невыносимый луч бил откуда-то сверху и сбоку, косо вонзаясь в застывшие льды, по которым, среди поседелых отрожистых глыб и торосов, скользили мои утлые санки. Скользили они у самого края луча, не задевая его; миг — и они нырнули в полосу света. Свет увеличился, разбух в огненный шар, лопнул, и из него потекли сероватые сумерки, затхло пахнувшие. Что-то ударило меня по затылку. Несколько мальчиков, лиц которых не мог я припомнить, хотя и догадывался, что где-то их видел, колеблющимся полукругом плавали где-то повыше уровня моих глаз, в сером мареве.

— Ты чего... не убился?

— Поднимай, чего стоишь?

— Ребята, он... похудел будто! Гляньте, а?

Я стоял, неловко опираясь на плечи Чилийца (очень низкое) и капитана (ужасно высокое). Остальные лица плыли, качаясь и переливаясь; лицо рыжего было сплошной разварной массой.

— Воздух... хе... из него лишний вышел. Вот и похудел.

— Молчи, рыжий, — строже прежнего сказал капитан.

— Мне письмо надо писать, — сказал я и, пошатываясь, побрел к выходу.

В палате я вынул мамино письмо, чистый конверт, тетрадь и ручку. Перечитал письмо, поглядывая на

дождь, и положил голову на подушку. Сзади ко мне прикоснулись.

— Слышь, — сказал рыжий, не называя меня толстым, — слышь, ты не злился на меня, ладно? Ты когда падал... так медленно... Все, как чурки, глядят... И ты упал, и глаза стал открывать, и захныкал так... как грудной; а я испугался, вот. А про воздух я пошутил. А ты чего, расстроился?

— Нет, — сказал я, поднимая голову. — Я письмо домой пишу. У меня мама с папой все время ссорятся.

— А, — сказал рыжий. — А у меня папка бросил мамку. Посадил ей фингал и ушел к своей крале.

— А к тебе приедут на родительский день? — спросил я.

— Не знаю. А к тебе?

— А ко мне приедут, — сказал я: был убежден.

О, радостный трепет свидания с близкими!

О, радостный трепет свидания с близкими! О, пересохший в ожидании рот, о, бесцельные слоняния по шуршащим дорожкам, о, взгляды на ненавистно нерасторопное солнце!

Родительский день случился за десять дней до конца лагерной смены. Мама приехала одна. Она привезла с собой пельмени в термосе. Мы пошли в лес и наискось, через нежный осинник, вышли к оврагу, на дне которого бурчал мутноватый ручей. В ручье я пополоскал пятки, побрызгал на себя водой и стал есть пельмени. Мама в светло-голубых линялых джинсах, цветастой косынке и громадных темных очках, сидя на трухлявом обломке дерева, глядела, как я ем.

— Знаешь, сынок... — сказала она и замялась.

— Что? — спросил я, заглядывая в термос.

— Что ты скажешь, если мы... если папа уедет от нас?

Я ничего не сказал.

О, первые раны от столкновения с миром!

О, первые раны от столкновения с миром! О, зубовный скрежет непоправимых обид! О, короста взросления! Когда мама уехала, я успел до конца смены подраться с красивым мальчиком — правда, не очень.

Из-за девочки, разумеется. Он подошел ко мне во время тихого часа, когда я в трусах и майке сидел на кровати, задумчиво поглаживая книгу рассказов Эдгара По в светло-сером переплете. Он, мальчик, подошел ко мне и хлопбыстнул меня неожиданно, справа и слева, и засим гордо удалился к своей койке.

— Еще раз увижу... — бросил он через плечо.

Я очнулся от задумчивости и пошел за ним.

— Я тут задолжал... — пробормотал я и вяло хлопбыстнул его по смуглой щеке. Пушистые ресницы изумленно взметнулись вверх. Мы, сцепившись, бухнулись на пол. Вожатый, вовремя войдя, проследовал к месту происшествия, поднял нас на две вытянутые руки и вынес таким образом на свежий воздух.

— Отдохните здесь, — бросил он нам и ушел в корпус. Не прошло и пяти минут, как оттуда появилось шесть девочек во главе с красавицей. Мы зарделись. Девочки аккуратным гуськом прошествовали в направлении туалета. Мимо нашего корпуса шли трое старших из первого отряда. Один из них — мы это знали точно — ходил ночью к нашей вожатой на футбольное поле.

— Стоите? — крикнули нам старшеотрядники.

— Стоим, а чего ж, — небрежно отвечали мы, причем мой подельник ловко сплюнул, а я долго примеривался, тоже сплюнул, но неудачно: слюна повисла на губе, а из носу потекло. К счастью, старшие товарищи уже миновали нас, а сосед не глядел в мою сторону. Я вытер лицо изнанкою майки; девочки показались из туалета.

— Ты чего-то совсем похудел, — сказала красавица мне, проходя.

Сказала! Красавица! Мне!

— От любви-с! — гаркнул я и надул грудную клетку; фигурные губы на смуглом лице ущемленно поджались.

Еще через четверть часа вожатый прекратил наше стояние у позорного столба; я лег в постель и стал читать рассказ Эдгара По «Погребенные заживо». «Медленно, черепащим шагом растекался в моей душе тусклый, серый рассвет, — читал я про страшный приступ каталепсии. — Смутное беспокойство. Безучастность к глухой боли. Равнодушие... безнадежность... упадок сил...» — и так далее, вплоть до смерт-

ного ужаса и попытки мыслить; есть от чего похудеть и втиснуться в пространство в восемнадцать дюймов!

— Тридцать шесть, — сказали мне, и я, сходя с весов, с гордостью смотрел на рыжего. У него тоже было 36. Он поправился.

Входя в корпус за чемоданом (у КПП уже ждал автобус), я распахнул рубашку и провел пальцем от груди к животу. Отнял палец. У меня была полоса. Я взял чемодан и вышел; у чемодана немного облупился низ, а все остальное слегка запылилось из-за лежания под кроватью.

О, тихая грусть расставаний!

О, тихая грусть расставаний! О, сосущая тоска по однажды посещенным местам! О, до боли ясные их очертания, напоенные звуками, запахами, прикосновениями до того отчетливыми, что кажется, будто стоит напрячься, тряхнуть головой, развести руками — и прошлое оживет во всей своей счастливой телесности! Но — чу! — некая пелена уже наползает слоющимся комом на еще, мнилось, осязаемые картины, застилает их зыбью воспоминаний, которая — о!

О! О!.. О!

Мы восклицаем, когда нечего сказать. Нечего сказать бывает или потому, что сказать нечего было изначально, или потому, что все уже сказано — нами (а мы и не заметили) или за нас (а мы и заметили, да поздно) — это неважно. Еще бывает так потому, что сказать ничего невозможно. Именно — когда высказывание касается прошлого, отгороженного от нас прочной стеною воспоминаний, имеющей опасную иллюзию прозрачности, — то есть практически всегда, ибо всякое высказывание так или иначе касается прошлого. Прошлое само по себе есть только высказывание, а высказывание — воспоминание: нельзя говорить о том, чего не было. При желании можно бы разделить всю нашу, так сказать, жизнь на сторону активную, то есть действия, совершаемые в настоящем, и артикулярную, то есть высказывания, касающиеся прошлого. Неясно, правда, куда в таком случае девается будущее; вероятно, что его вообще нет (не будет?), поэтому лучше о нем умолчим. Хотя, с другой стороны, опре-

деление напрашивается само собой: будущее — это настоящее, которое станет прошлым. Ну и наоборот: прошлое — это настоящее, которое было будущим. Ну и... Впрочем, мы запутались. Во всяком случае, возвращаясь к основной нашей теме, можно высказаться в том смысле, что будущее наступает у нас на глазах со страшной силой, а то, что мы высказались об этом, делает его заведомо прошлым, известным только в высказываниях, да и то сомнительной достоверности. Например: что сказать о пионерах тем, кто не знает, что это такое, иначе как из высказываний? Лучше ничего. Все будет спорно, зыбко.

Как трудно говорить! Чего уж там — пионеры — это предмет непростой, явление целое. А вы возьмите чего попроще, поединичней — и будет наглядно. Вот, скажем, моя мама до сих пор утверждает, что я похудел из-за того, что они с папой в то лето развелись. Но я-то ведь в точности знаю (и это вопреки общей отрывочности пионерских воспоминаний), что причина иная: из меня просто выпустили лишний воздух...

О, мое пионерское детство!

ДЕТИ ФЕСТИВАЛЕЙ

Черный младенец лежал на постели в ее ногах.

А. Пушкин. «Арап Петра Великого»

Завтра, я думаю, будет революция. Сегодня днем я решил пойти наперекор общественным обстоятельствам и отправился в институт с таким видом, как будто ничего не происходит. Немедленно, на углу вокзальной площади, прямо напротив салатного здания с башенкой и часами, меня остановил патруль: трое негров в разделенных по вертикали на черное и белое майках с омерзительно нечетким трафаретным профилем Пушкина на светлой левой стороне. Я мог бы надеть такую же или, еще лучше, потрясти одним кусочком картона, имеющимся у меня, — все было бы в порядке. Но мне претит. Я закурил и взглянул на патрульных. Какие у

них противные белые зубы! Как лоснится на жаре их кожа — будто наваксенная. Мерзость. Мерзость. Пришлось вернуться в общежитие. В комнате гадкий кислый запах — вторую неделю нет воды, невозможно стирать и мыться. Грязное белье вываливается из шкафа; в щель видны горы немытой, заскорузлой посуды. Руки липкие, я вытираю их о брюки, — мои замечательные брюки, некогда кремовые, но брюки тоже липкие. Пыль везде толстым слоем. Книги мои раскиданы повсюду неопрятными стопками — давно не выходя, я доставал их, одну за другой, бесцельно, почти в забытьи пролистывал и ронял там, где пролистывал. На полу, на столе, на стуле, на кровати — везде дрожащие, рушащиеся стопки. Невозможно приводить их в порядок. Нет сил ставить их на место — да и где теперь их место?

Вчера ко мне зашла Вика. Она села на кровать, отчего неверная поверхность пришла в движение и ссыпала в кучу несколько томов. Вика спросила:

— Что же теперь с нами будет?

Я не мог удержаться. Я сказал злорадно:

— С нами? С нами, ты говоришь? Ну, с тобой-то все в порядке, я думаю. Родишь пару абиссинских негусов — и довольно с тебя.

И ведь кто бы говорил! О, подлец, подлец! Она страшно побледнела, бедняжка. Освещение было тусклым, и лицо ее оказалось бледным, как свет неоновых ламп, — в сочетании с распущенными черными волосами это красиво. Плечи ее обмякли, руки повисли меж колен. Она сказала:

— Зачем ты так?

И вышла. Губы у нее очень красные — как сок неспелого граната. В глазах были слезы. Я ничего не сказал.

Мы приехали в Самый Большой Город в одно и то же время — год назад. Как все изменилось за этот год! Как все изменилось!

Я помню, как познакомился с нею. Она была первая, с кем я познакомился из будущих сокурсников, еще перед экзаменами, на собеседовании, в длинной очереди, очень потной и нервной очереди в маленькую аудиторию под куполообразным сводчатым потолком, с одним высоко расположенным окном, полукруглым

и в переплете. В аудитории сидели вялые от жары люди и задавали общие вопросы. Толпы проходили перед ними. Университет Гуманитарного Знания — это влекло. Это влекло. Всегда помнишь такие вещи — с кем, когда, где познакомился — есть удовольствие, уютное и непритязательное, в том, чтобы выкапывать из памяти подробности знакомств. Потом, правда, странно, что первые впечатления не имеют ровно никакого отношения к дальнейшему общению. Ровно никакого. Мы познакомились в очереди. Вдруг возникло ее лицо в этих волосах, с крупными губами, носом, лбом, со всей этой ее матовой кожей и серыми глазами — очень красивыми, я подчеркиваю, серыми глазами. То кошачьими, то мышинными, то хаки, то маренго. Удивительные глаза. Иногда в них зажигался золотой обод со спицами — это напоминало о колесе Гелиоса или о том колесе, к которому Зевс привязал змеями фессалийского царя Иксиона, сначала в наказание за убийство тестя, впавшего в безумие, а затем окончательно роковым для себя образом влюбившегося в Геру.

Ну вот, она возникла, Вика, и не помню, о чем мы тогда говорили. Впрочем, после собеседования ели мороженое. Она приехала из Казани. Я не представлял Казани. Читал только в газетах, что там бывают чудовищные драки. Она смешно говорила: «Двадцать копеек бар?» — а я должен был отвечать: «Двадцать копеек йок». То бишь «есть» — «нет». Она смеялась. Мы уговорились, что я приду к ней вечером в общежитие. Я пришел, и мы пили чай втроем с ее соседкой, которая впоследствии не поступила. Вика утверждала, что в жизни не видела ни одной драки.

Потом мы поступили и, как бывает, разошлись. У нее образовалась компания. Много разных компаний. У меня образовалось времяпровождение. Я почти никого не видел вне наших аудиторий — всегда полутемных, всегда как будто сырых. После занятий я шел в библиотеку или к себе. Так вышло, что я жил (и живу) один в двухместной комнате.

Абитуриент, которого поселили сначала со мной, срезался на сочинении, и я даже не запомнил хорошенько его лица — помню лишь, что у него была омерзительная привычка по утрам пердеть, задумчиво и часто, по меньшей мере пять минут без перерыва. Мне

было все равно: я знал, что он не поступит. Когда он уехал, я выгреб из всех углов пустые бутылки, раздавленные пакеты из-под молока и кефира, дурно пахнущие тряпки, ржавые гвозди, презервативы, рваные носки и прочее добро, доставшееся в наследство от предшественников, залил комнату дустом и уехал домой. Я явился через три недели, вошел в комнату в противогазе покойного деда, который двадцатитрехлетним старшим лейтенантом где-то под Бобруйском принял в этом противогазе командование полком, поставил на пол два чемодана, из которых один был почти полностью забит инструментами, распахнул окна и начал с подметания клопидных трупов. Два дня без лишнего шума я приводил свое обиталище в порядок. Комнату на ночь я запираю, а спал на лавочке во дворе общежития, сидя, с очень острым напильником в кармане. Напильник не понадобился. Комната сияла пустотой, располагавшей к мыслительной деятельности. В ней были: кровать, стол, два стула, стенные шкафы, тумбочка (все казенное), книжные полки (мои). Я еще раз съездил домой, в свою милую пыльную Тарусу с зеленым ребристым навесом и флагштоком на стоянке междугородных автобусов, с курами и семечками и кооперативным продмагом и кинотеатром, похожим на склеп, и воспоминаниями о «Тарусских страницах», о которых в Тарусе никто, кроме меня, не слыхивал, — я туда съездил, поцеловал маму и папу, начинавших стареть и оттого плакавших, упаковал в коробки из-под венгерского вина «Рислинг» половину домашней библиотеки и отбыл «во французскую сторону».

Все это было почти год назад. Могли ли мы знать, Вика, могли ли мы знать? Значит ли твое имя «победительница», Вика?

Как уже ясно из вышеизложенного, студенческую жизнь свою я начал затворником. Я читал. Вопрос: почему я читал? Ответ: потому, что у меня было ощущение потерянного времени. Это маленькая сосущая боль где-то под сердцем, вот и все. Она рождается из воспоминаний о пыльных лопухах — таких же больших, жестких и пугающих, как то животное, которое, помню, приобрела некогда мама в продмаге: это называлось «цыпленок», но размером было с доброго индюка, у него было несгибаемое в сочленениях тело и

закосневшая кожа в крупных пупырышках и с видимыми трубочками от перьев; я, еще маленький, испугался этого чудовища и отказался выйти к столу, где оно, приготовленное, виселось. Кроме лопухов и отвратного переростка, мне помнилось еще созерцание горизонта, которому я отдал много сил души: песочно-голубые провальные пространства родины наблюдались мною из-под залитых потом бровей и потомуплыли и колебались, как в нечетко настроенном объективе; помню еще натиривший плечо автомат и тошный запах вспотевших гуталином сапог. Все теперь должно было быть не так. Полторы сотни книг с нетронутыми корешками, подобранными один к одному, по разнообразным тиснениям, вселяли в мое сердце надежду.

Я начал с Пушкина. Стихотворение за стихотворением прочел я четыре тома и перешел к прозе. Прочтя окончание повести «Станционный смотритель», я заплакал и вышел в коридор. По нему, нарезанному косыми ломтями путем преломления солнечных лучей ранней осени, следовал высокий светло-шоколадный молодой человек с глазами, как маслины, черными волосами, гладкими и словно бы смазанными какой-то жидкостью, с неожиданно аккуратным носом. Молодой человек с дьявольской ловкостью выпускал меж зубов длиннейшую и очень клейкую на вид слюну, несколько голубоватую, под цвет белков его глаз. Делал он это налево от себя, так как правой рукой обнимал за плечи мою знакомую Вику. Я закурил. Он был очень красив, этот молодой человек. Он был похож на жеребца, мускулистого вплоть до глазных яблок. Славной парой были они — молодой жеребец и вакханка. Пара эта то вступала в кирпичик света и озарялась немного по-театральному, то покидала его и теряла тогда очертания. Вика не торопясь провела по мне надменным взглядом. Они пропали в той двери, из которой я только что вышел. Я отправился на улицу, где было тепло и сухо, как за пазухой опрятного старика, сел в трамвай и поехал в находившийся неподалеку монастырь. Могилки монастыря, убранные кучами разноцветных листьев, хорошо выметенные дорожки и нарядная трехглавая церковь с фигурно зарешеченными стрельчатыми окнами подействовали на меня благотворно. Я вер-

нулся и постучал к соседям. Открыло ухудшенное подобие давешнего молодого человека: все вроде бы то же, только фигура приземистой и коренастей, кожа изрыта не то оспинами, не то просто крупными порами, зубы плохие, а от волос идет тонкий едкий запах — кажется, мускуса. Впрочем, быть может, и от того пахло — он (я разглядел это) лежал в глубине комнаты, задравши ноги на спинку кровати, сложив руки на животе и прикрыв свои жеребьячи глаза с густыми, как иная борода, ресницами.

— Что, магнитофон громко? — спросил открывший.

Действительно, у них играл — нет, вопил, нет, надрывался — магнитофон. А я и не заметил.

— Заходи, — сказал он.

— Али, — сказал я и тронул его руку.

— Заходи, заходи.

И я зашел.

Они были из Эфиопии, мои соседи. Из той самой, как я теперь думаю, — до краев Земли простиравшейся на Запад и на Восток, от Нила, Великой Реки. Не знаю лишь точно, какая из двух Эфиопий была их родиной. Они были старшекурсники, соседи мои.

— А ты знаешь, что в Эфиопии — тоже христианство? — спросил Али и налил мне в стакан жидкость цвета, запаха и вкуса прелых листьев.

— Знаю, — сказал я, ошеломленно выпивая. — Эфиопско-коптская церковь.

— И что ты по этому поводу думаешь?

Я не думал абсолютно ничего. Впрочем, сказал, что диаспора христианства космополитична и всеобъемлюща — что-то в этом роде.

— Это так, — пытливо сказал мой собеседник. — Но что из этого следует?

Я потерялся. Красавец на кровати рыгнул, перевернул кассету и снова впал в забытье. Али вдруг врезал по столу ладонью и встал. Я невольно приподнялся тоже.

— Из этого следует, — громко сказал Али (голос у него был гнусный), — что нам не избежать друг друга. Взаимопроникновение народов — свершившийся факт!

И потыкал мне в грудь пальцем. Я уже стоял.

— Пойду, — сказал я.

— Погоди, — сказал Али и налил мне еще. — Знаешь ли ты, кто такие дети фестивалей?

Я не знал.

— Узнаешь.

Он оказался прав: теперь я знаю это. Над нашим милым стареньким общежитием, где всегда по-своему пахло на каждом этаже, уже третью неделю полощется транспарант: «Всемирное добровольное общество «Дети Фестивалей» имени Пушкина-Ганнибала А. С. Штаб-квартира». Над салатовым зданием вокзала — другой транспарант: «Дорогу всемирному братству разноцветных!». В общежитии нигде и ничем больше не пахнет, кроме этого самого, кажется, мускуса, — они накадили. Что ж это делается, граждане, что ж это происходит?

Вчера, после ухода Вики, я включил радиоприемник. Разумеется, попал на информацию о встрече в муниципальном совете: отец города принимал Временного Председателя Всемирного Добровольного общества Али Халиа Бесау. Я выключил радиоприемник.

Ничто не предвещало, ничто! Я ручаюсь. Потомки простят нас. Виноваты, в конце концов, колониальные державы — в частности, Италия: она последней в XX веке воевала с Эфиопией. Россия здесь ни при чем.

Тогда я просто сидел в своей комнате дни и ночи напролет и читал. На мне и тогда были кремовые брюки, светлые кремовые брюки, тончайшей и чистой шерсти, на мне была светло-кремовая рубашка-батник, с кармашками и погончиками. Где-то я прочитал, что в светлом всегда работал Джойс, говорил: «Мне так светлее». Дебил, конечно, если разобраться; знал бы — ничего бы не делал. Палец о палец не ударил бы. Но он не знал. И я не знал. Я сидел и читал. Почему-то из философской серии первым мне попался Ламетри. Я прочел название «Человек-машина», испугался, быстро поставил книгу на место и раскрыл Пушкина.

Любви, надежды, тихой славы...

Любви, надежды, тихой славы..

Любви...

Надежды...

Что сие означает?

... И сходно купленный арап
Возрос усерден, неподкупен,
Царю наперсник, а не раб.

А не раб. Вот так. У нас в общежитии проживало, надо наконец сказать, великое множество иностранцев дружественной ориентации. Монтескье полагал, что расы образуются под воздействием климатических условий проживания. Я утверждаю, что это не так: условия проживания важны, но отнюдь не климатические. Поясняю: когда свирепым и капризным осенним вечером, властно оттяпавшим себе добрый кус жизненного пространства у сирого и убогого дня, сидишь в своей комнате у настольной лампы, и в глазах твоих множится круг пушистого света, и книга, пропавшая в результате игры теней, норовит шелестнуть упрямыми страницами и закрыться — тогда чрезвычайно обострится слух. Ясно различимы голоса в коридоре, смех на чужом языке, хлопанье дверей, шарканье развалочных шагов, чей-то аккуратный визг. Потом скрипит дверь твоего блока, голоса звучат уже над ухом в прихожей — мерные изумленные капли надменного тенора и гнусавая, прыгающая, как пар скороварки, слюнявая болтовня. Обсуждают. Опять в коридоре. Затем вновь появляется царственный тенор — он воркует уже по-русски, хотя все равно непонятно. Хлопает дверь соседней комнаты. Рычит магнитофон. Надо выйти и покурить. Условия проживания начались. Я не могу выносить этих вздохов, и визгов, и криков, и вдруг наступающей нехорошей тишины. Я выхожу покурить.

Чего их так тянуло к этим дружественно ориентированным? Медом они, что ли, мазаны? Нет, буквально! Один раз пошел попросить стержень для ручки у однокурсника, толкнулся не в ту дверь, она была, к несчастью, не заперта, и в полутьме я разглядел длинное шоколадное тело, опутанное сбившимся, смятым бельем, и две — я подчеркиваю, две! — девицы прямо-таки ползали по этому телу, как мухи, и лизали его далеко выставленными розовыми языками. Я быстро захлопнул дверь и ушел. Кажется, они не успели заметить, кто это; надеюсь, что после этого они заперлись.

Слушайте, он, этот жеребец, лишил Вику девственности! Я точно знаю: Али рассказывал мне, подливая

противного вина из прелых листьев. Жеребец, как всегда, дремал. Он был философ, этот Али.

— Ты был на семейном этаже?

— Нет.

— Пойдем.

— Зачем?

— Пойдем — ты посмотришь. Тебе будет интересно.

Я выпил еще полстакана, и мы спустились тремя этажами ниже. Вечерело. Ветер трепал на балконе чье-то белье. Али быстро сказал что-то маленькой веснушчатой девушке, которая вела за руку совершенно черного карапуза лет двух с половиной, та заулыбалась, кивнула и, подхватив карапуза на руки, побежала на балкон.

— Видал?

В противоположном конце коридора возились ребяташки — пяток, думается. Все различных оттенков крема для обуви. Одна только девочка бледненькая, со строгим востроносим личиком и крысиной косичкой.

— Ты, Айсер, будешь папой, — говорила девочка быстроглазому мальчугану, скалившему белые зубы. Мальчуган был среднекоричневый. Девочка завертывала в цветастые байковые тряпки розовую до дурноты куклу с обиженным лицом.

— Видал? Видал?

По коридору двигались пары; толпились в кухне. Шапки и папахи черных вьющихся волос, сильные длинные руки, мощно выпуклые шоколадные груди в распахнутых рубашках. Громкий голос с повисающими окончаниями фраз. Неумелый писк — рядом: девицы в разбитых тапочках, мятых халатах. Всех их видел я где-то, когда-то. В местах поглощения Гуманитарных Знаний. Там они выглядели пристойней, а здесь, в коридоре... Естественней, видимо.

— Дети фестивалей, — сказал Али, делая широкий гребущий жест. — Фестиваль — это праздник. Вся наша жизнь — это большой праздник смешения языков и народов. Мы все — дети фестивалей!

Я посмотрел на него сбоку. В коридоре семейного этажа было тускло. Оскаленный профиль моего собеседника в двух шагах пачкался тенями, терялся. Вдруг ясно становились видны желтоватые зубы, неровные,

блестящие от слюны. Вдохновение озаряло лицо будущего Временного Председателя. Это было революционное вдохновение ближайшего восприимчивого непреклонных ниспровергателей императора Хайле Селассие I. Я сказал:

— Пошли отсюда. Я понял.

Мы поднимались по лестнице. Али говорил:

— Ты не видел еще многого. Я покажу тебе.

— Зачем?

— Ты философ, — уважительно сказал Али. — Я видел у тебя много книг. Ты сможешь нам помочь.

— Кому — нам?

Он улыбнулся — загадочно, насколько мог.

— Увидишь.

Он был философ, этот Али. И политик. Он был великий мыслитель. Трибун. Он доказал это теперь.

Но я все же против того, чтобы истязать женщин! Даже если они, как представляется, изменяют.

Я перелистывал Платона — у родителей были разрозненные тома. Я собирался прочесть диалог «Критий», трактующий, в частности, об исчезнувшей Атлантиде, над загадкой которой поломано столько голов. Каковы они были, данные атланты? Вероятно — как мой сосед-жеребец, имени коего я не умею произнести.

По коридору приблизились два голоса — они сплетались и боролись друг с другом, по-петушиному сплетались и сшибались, наносили друг другу пинки и тычки — то подсакивая и пускаясь в пляс на высоких нотах, то падая до глухого ворчащего ропота. Они — голоса — ворвались в прихожую и заколотились друг в друга. Потом один — мужской — выпростался, размахнулся и:

— Заходи!

Очень грубо. Это он, жеребец.

— Заходи, ну!

— Пусти меня, пусти... баран! Пусти, я закричу сейчас!

Фу, как он бранится! Втолкнул ее в комнату, орет что-то. Фу! Я выйду покурить.

Когда я вернулся, у соседей слышался непрерывный и беспорядочный крик. Мне представилось: двое ослепли и в судорогах ужаса ищут друг друга, ищут,

шарят бельмами пальцев, в омерзении, в ненависти к этой негаданной, липкой, удушливой тьме. И кричат — от страха, от гадливости, от сознания беспросветной беспомощности. Крик становился все громче и громче; вдруг словно что-то рухнуло, послышался вопль, краткий, пронзительный, как бывает, если собаке переехать лапу велосипедом; затем что-то звонко шлепнуло, еще и еще, и из двух голосов остался один — женский, на единственной, невероятно высокой ноте — от такого внутри становится нехорошо, пусто; хочется, как правило, выпить. Крик регулировался, как радио: то нарастал, то падал до поскуливания, и тогда становились слышны ворчливые причитания второго голоса. Я постучал.

— Вот что... — сказал я и засмеялся, не зная имени; поглядел я сразу в пол и несколько выше: на длинные твердые голени. — Вот что... У тебя стержня для ручки нет?

Он загоразживал весь проем — долгий, презрительный, с гибкими губами. Я глядел ему в шею, наливаясь запахом — кажется, мускуса, млея от ненависти к этому запаху. Одной рукой он оперся о косяк. Из другой у него свисал широкий ремень с металлизированными заклепками на отверстиях, с бренчащей пряжкой. В его подмышку я видел, что на полу комнаты, скрючившись, не то лежит, не то сидит — валяется, скорее, — какая-то незнакомая мне девица. Светлые волосы ее были растрепаны, отовсюду из прически торчали жидкие, спутанные космы; одежда была растерзана и неясна; лицо красное, в желтых яблочно-каменных пятнах; губы закушены и, кажется, разбиты; рука трет опухшие глаза и нос, звучно хлюпающий.

— У меня нету, — безмятежно сказал жеребец. — Я потом у Али спрошу.

Я опять вышел покурить. Коридор не спасал от воплей. Через полчаса приблизительно, пройдя коридор во все концы и побывав на балконе, я направился к выходу на лестницу. Сильно хлопнула дверь, разрушенный женский силуэт, извергая рыдания, прошмыгнул мимо и, задевши, обжег меня.

Сколько драм! Сколько драм! Мне какое дело, в конце концов? Однако я сказал тогда Али при случае:

— Али, мне хотелось бы...

Тут я замялся. Он широко улыбнулся и положил руку мне на плечо.

— Все нормально, друг, — он съедал букву «о», получалось «н-рмально» или, скорее, «нырмально».

— Все нырмально, друг.

— Нет, — оказал я, проявляя упрямство. — Не все нормально.

— Она вела себя плохо, — сказал Али строго и непонимающе; разъяснительная интонация обнажила порог его мудрого терпения; то, что было у него вместо бровей, всползло вверх. — Она обманула. Правильно было ее наказать. Дружба не терпит обмана.

Какое мне дело, в конце-то концов?! Целый мир открывался передо мной все шире, заманчивей. Время, спрессованное в гладкие томики, ежевечерне, послушливое и ручное, покоилось на моем столе. Оно доверчиво распахивалось, это время, оно ласково шелестело страницами. Я гладил рукой переплеты, гладкие и пупырчатые, всегда теплые. За окном наступала зима, нестрашно вьюжило, у меня перегорела лампочка, я купил другую. Стирая как-то ввечеру свою кремовую рубашку, я узнал, что Вика сделала аборт. Я не видел ее к тому времени в аудиториях с неделю, не встречал и в общаге. Али сообщил мне.

— Твоя подруга заболела.

— Какая подруга?

— Виктория.

Я блаженно разогнул поясницу. Рубашка томно истекла пеной в моих вытянутых руках.

— И что же с ней? — спросил я, любуясь медленными ноздреватыми хлопьями.

— У нее была беременность.

Так не говорят по-русски.

— От кого же?

— От одного нашего друга. Он араб.

— Петра Великого?

— Что?

— Все в порядке, я надеюсь?

— Да. Конечно. Мы нашли ей хорошее место. Друзей не оставляют в беде. Хотя мы полагали, что лучше бы она родила ребенка. Это было бы правильнее. Нужно приветствовать каждого ребенка — от африканца, от азиата ли — как вклад в дело дружбы. Великого

взаимопроникновения. Оно неизбежно. Но мы никого не принуждаем. Русская женщина для нас — святыня. Она должна решиться сама. Если она еще не созрела для свободного выбора — мы не можем ее принуждать.

Он был убежден, этот мыслитель, он тыкал перед собой короткими, точными, растопыренными пальцами. Сильно пахло — кажется, мускусом. Запах пены — опасно приятный, хмельной — отступал.

Бедная Вика! Недели две спустя я видел ее на нашем этаже в обнимку сразу с двумя потенциальными отцами детей фестивалей. Оба были высоки, стройны и, видимо, арабы. Али, хмурясь, как доброе африканское божество — не хватало лишь оттянутых мочек ушей и палочки в носу, — следовал в нескольких шагах позади троицы. Он подмигнул мне и прищелкнул языком, а также пальцами.

Зима была в разгаре: полыхал синими искрами ровный снег, сухо потрескивали обледенелые ветки, лицо в минуту разгоралось на морозе и становилось багровым с чернотой, так что все ходили эфиопами. Я сидел в своих книгах, одного за другим прочитывая Аристотеля, Николая Кузанского, Шеллинга, Николая Федорова, Бертрана Рассела. Иногда почитывал Пушкина. Голова моя, мнилось, физически росла. Кремовая рубашка поистерлась в подмышках. Я пил холодный сладкий чай и расхаживал по комнате. Я ерошил волосы и с затаенным вожделением поглядывал на стопку чистых листов, зазывно покоившуюся в верхнем правом углу столешницы. Мой семинарский доклад о психоаналитических основаниях учения Федорова, о воскрешении мертвых был отослан на конкурс Самого Большого Города. Новый год я провел в шумной компании однокурсников и даже дал себе некоторую волю. Было весело и хмельно. С какой-то милой растрепанной барышней я под утро целовался в ванной; барышня стремилась так зацепиться за меня, чтобы задралась юбка, но я ловко оглаживал тело барышни, не давая туалету прийти в беспорядок. Вика была в компании тоже, но сразу после полуночи ушла; может быть, поэтому мы не пообщались. После Нового года была сессия; без усилия я получил «отлично» по всем дисциплинам и поехал в Тарусу потешить сердце родителей.

Кто-либо, возможно, думает, что я жил схимником

оттого, что я импотент, могущий только подглядывать в замочную скважину. Что, мол, на меня воздействовал бром, который в армии якобы подсыпают в котлы с целью отбить половую охоту, и вот эта охота отбита у меня на веки вечные? Что касается брома, то видел я эти котлы — ничего в них не подсыпают, только моют плохо, а то, что концентрат киселя с виду не похож на пищевой продукт, еще ничего не доказывает. Во-вторых же и во-первых, я не импотент и даже схимником не жил. Бы. Возвратившись в свою келью с новой порцией книг, однажды утром обнаружил я, что в мою спартански раскрытую форточку, клубясь, вползает новое зелье, какая-то сладкая отравка, заставляющая томительно ныть и звенеть затекшие жилы. Я понял, что это весна, и вечером привел к себе барышню, с которой целовался некогда на праздновании Нового года. Барышня сидела возле стола и с некоторым испугом смотрела то на готическую обложку «Так говорил Заратустра» Ницше, то на меня, который ходил по комнате и четко выговаривал что-то насчет видов любви у Платона и Аристотеля. На любви к отечеству барышня не выдержала и начала раздеваться. Я стоял посреди комнаты, вперив в нее осмысленный взор, и видел, что ей неловко: она была вся такая белобрысенькая, вся такая испуганная, вся такая мягкая, с черными звериными глазами и плешивеньким женским местом. Хотелось ее помять. У нас настала глубокая тишина. Среди нее раздались обычные звуки соседей, оглушаемые магнитофоном. Мы с барышней ежились под одеялом, которое отчего-то казалось кусачим. Она, развлекая меня, хохотала. Примерно через час в дверь постучали. Я закутался в покрывало и приотворил: улыбающаяся физиономия соседа-жеребца с высоты спросила, нет ли у меня теннисных шариков?

— Нет, — сказал я неприязненно. — И никогда не было. Я не играю в пинг-понг.

Он извинялся по меньшей мере с минуту. Я закрыл дверь. Барышня испуганно глядела своими глазками, надвинув вплоть до них одеяло. Я был задумчив, как император Рима времен упадка последнего.

Не водил я больше барышень. Не водил. Ну их. Читал себе, сидел. В частности, читал Диогена Лаэртция. Как сейчас помню — об Аристиппе, учителе на-

слаждения. Постучали и вошли. Раз, два, три, четыре, пять — пятеро. Оба моих соседа, еще двое похожих — парень и девушка, оба светло-соевые, с грушевидными лицами, розовыми ногтями и рубиновыми точками на лбах и еще один, зело черный, с вывороченными губами и коком спутанных, как проволока, волос.

— Здравствуйте, — нестройным хором сказали все, кроме Али, который, сделав рукой дирижерское движение, произнес:

— Здравствуй, друг.

— Хинди-руси бхай-бхай! — поднялся я со стула. — Присаживайтесь.

И указал на кровать. Девушка почему-то зарделась и поправила волосы. Вполне наш, отечественный, халат облегал ее основательно лепленные разные там формы. Четверо, включая жеребца, сели на кровать. Али подошел ко мне.

— Брат, — сказал он, кладя руку мне на плечо. — Брат, нам необходимо поговорить с тобой об очень важном деле. Оно может оказаться самым важным во всей нашей жизни.

Я прислонился спиной к стенному шкафу, скрестил руки на груди и ожидал. Диоген тихой сапой шевелил страницами — норовил закрыться.

— Брат, — сказал Али, всплеснул руками, — брат, наступает эра единения рас!

Я ожидал. Али обрушился в шепот. Пальцы его дрожали.

— Мы создали общество «Дети Фестивалей», — сказал он сколько мог низко. — Мы создали его. Те, кого ты видишь, — ядро нашего общества. Здесь будет штаб-квартира.

— Прямо здесь? — сказал я очень быстро; право, это вышло неволью.

— Здесь, — охват Али был широк. — В общежитии. В городе. На планете!

Глаза его желтовато светились. Пожалуй, при ином освещении он мог бы быть страшен. Откуда мне было знать?

— Поздравляю, — сказал я, стискивая лицевые мускулы и имитируя чих. — Общество — это отлично. Я думаю, вас поддержат.

— Я тоже так думаю, — сказал Али царственно. —

Вряд ли можно не поддержать саму жизнь. Телевидение уже в курсе. Завтра девушки будут здесь.

— Какие девушки?

— Пятьдесят матерей из Рязани и области.

— Чьих матерей?

— Как чьих?

Он был удивлен. Я вдруг заметил, что он в хорошем костюме — твидовом, кажется; цвет — светлый беж. Он казался теперь еще приземистой, коренастой. В порах и рытвинах его лица блестели капли пота. Я шмыгнул себе в плечо — запах был невыносим.

— Как чьих? — прошипел Али. — Детей! Детей фестивалей! Вот! — он схватил за руку парня с губами и буквально выдернул его из сидящих, как морковку, и поставил передо мной.

— Вот! Кто это? Знаешь?

— Не имею чести, — проямлил я.

— Это Виктор Халибович Саббак!

— Вот как? — сказал я вежливо.

— Ты не понял, ты все еще не понял? О, равнодушные! О, люди!

Кажется, Али был вне себя.

— Витя, расскажи ему! Кто твой отец? Кто твоя мать?

— Мой отец из Уганды, — сказал негр, произнося русские слова не хуже меня. — Моя мама отсюда.

— И где теперь твой отец? Отвечай! Отвечай!

— В Уганде, где еще...

— В Вологде... в Уганде... — пробормотал я, с трудом сознавая банальность омофонии.

— А знает ли он, что у него двадцатичетырехлетний сын? — допытывался Али; он стоял, вперив широко расставленные ноги в пол, а глаза — в Виктора Халибовича; руки он упер в бедра и с виду был несокрушим. — Знает ли он, что его сын — макетчик авиазавода? Знает ли он, что его сын собирается жениться? Отвечай! Отвечай же!

— Не знает, — сказал Виктор Халибович и повесил голову; глаза его, упрятанные в кожные мешки, вспухли, длинные ресницы вздрогнули несколько раз.

— А как ты записан в паспорте? — возопил Али и поднял руку, призывая ко вниманию. — Ну! Отвечай! Какие ты носишь имя, фамилию, отчество?

Негр уронил гигантскую слезу и шумно перевел дух.

— Ну!!

— Виктор Викторович Собакин.

— Вот!

Али торжествовал. Глаза его нехорошо горели.

— Вот! Посмотрите все на этого бедняжку!

Так не говорят по-русски. Так не говорят.

— С раннего детства, с самого раннего детства его дразнили! Негритосом! Его несчастная мать, которая хотя бы знает имя того, кто принял участие в создании мальчика — а ведь многие не знают и этого! — подвергалась поношениям, подвергалась погнушаниям, подвергалась косым взглядам и ухмылкам! Ее в глаза называли проституткой, шлюхой и блядью! Ее не хотели принимать на работу! И это здесь — в Самом Большом Городе! Завтра я покажу тебе девочек из провинции, которые приедут навестить отцов своих ребятишек и вступить в наше общество, — сердце твое, если оно не камень, обольется кровью!

Я глотнул и продолжал слушать.

— Завтра, — сказал Али, успокаиваясь и твердея; кулаком одной руки он пристукнул о ладонь другой. — Завтра все решится. Мы предлагаем тебе вступить в наше Общество. Мы предлагаем тебе высокий пост. Ты будешь Главным Советником Временного Председателя по России. Согласен?

— А кто будет Временным Председателем? — спросил я, созерцая шмыгающего Виктора Собакина.

— Я, — был ответ, — естественно, временно.

Все сидевшие и Виктор Собакин звучно вздохнули и вперили в меня не терпящие отлагательств взгляды.

— Я подумаю, — сказал я и поспешно сел на стул.

— Думать — это хорошо, но нечего, — заметил Али; слабея, я видел перед собой его проглядывавший сквозь расстегнувшуюся рубашку морщинистый темный живот. — Думать иногда ни к чему. Ты можешь приступить к своим обязанностям немедленно.

Взглядом, затравленным взглядом спросил я о том, в чем состоят эти обязанности.

— Тебе поручается выяснить и описать в небольшой, но яркой работе, лучше в стихах, как, каким образом, при каких обстоятельствах вступил в брак Абрам Ганнибал, прадед великого русского поэта Пуш-

кина. Тебе поручается осветить для народа всю родословную великого поэта, прабабка которого была первой русской женщиной, установившей живую и нерушимую связь России и Африки! Общество наше будет носить коллективное имя Пушкиных-Ганнибалов. Жена арапа Петра Первого Великого станет нашим почетным членом номер один!

— У него было две жены, — раздавленно прошептал я. — Вообще, мне кажется, все это выяснено и освещено. Следует обратиться к пушкинистике.

— Вот и обратись, — Али положил мне руки на плечи. — Завтра же! А сегодня тебе предстоит приятная обязанность душой и телом скрепить свое согласие.

Он подошел к кровати, взял за руки похожих друг на друга юношу и девушку и подвел ко мне. Я скорчился и глядел исподлобья.

— Это Ананда, — указал он на юношу. — А это Сита. Они, как ты правильно понял, из Индии. Азия не сбрасывается нами со счетов. Нет! Тем более, Индия — колыбель евразийской культуры. От Афанасия Никитина до Рериха русские люди стремились туда. Толстой переписывался с Ганди. Тебе выпадает честь присоединиться к этому великому тяготению.

Смутный ужас стиснул мне сердце. На негнущихся ногах я поднялся со стула.

— Они брат и сестра, — сказал Али. — Он согласен. Так принято, что за отсутствием родителей согласие должен дать старший из присутствующих мужчин.

— Я должен жениться? — пролепетал я; Сита потупилась и забагровела.

— Жениться необязательно, — пояснил Али деловито. — В этом вопросе мы проявляем гибкость. Недавно, например, мы заставили жениться одного подонка — он должен был стать отцом, но игнорировал бедную эфиопскую девушку, которую с помощью своего приятеля, такого же бесчестного негодяя, почти изнасиловал, пользуясь действием туркменского портвейна «Сахра»! А девушка, между прочим, дочь короля, пусть они и отменены в нашей теперешней Эфиопии. Да, и в этом тоже наша задача — в том, чтобы каждый осознавал свою ответственность.

Али строго взглянул на меня и вдруг помягчел, улыбнулся.

— Но ты другое дело, брат! Если ты пожелаешь внести свою лепту в образование живого фонда «Дети Фестивалей» — пожалуйста. Если нет — тебя никто не станет неволить. Наслаждайся даром!

Али хлопнул в ладоши и крикнул что-то неясное, и все заулыбались и неожиданно вышли, оставив нас, меня и Ситу, вдвоем, и здесь вдруг погас свет, и потекли невесть откуда бередящие звуки ситара, и все поплыло, на глаза мне пала пелена — судя на ощупь, это был халат — и засим я ничего не помню. Отказываюсь помнить.

Мерзавцы. Бьюсь об заклад, что они все точно высчитали. И вот не пройдет и полугодя, как я внесу свою лепту в образование живого фонда Общества «Дети Фестивалей». Я, соринка, влекомая великим тяготением к Индии, к этой пахучей, упругой и гибкой, стелющейся и мечущейся Индии, вкусной и пьяной, как веселящий орешек кола, в бездарно разжиженном виде и то покоривший весь мир, — я приму, как говорит Али, участие в создании своего младенца с грушевидной головой! Увы! Я уже не господин сам себе! Боже! боже! где все те надежды, которые я подавал?

Как много событий случается по ходу существования — они не замечаются, происходят походя и невзначай, между очередной сменой дня и ночи, а потом... а однажды... А однажды всплывают в памяти, накрепко встраиваясь в цепь дальнейших происшествий, намертво схватываясь раствором необходимости. Я помню, как меня, отрока, папа сколько-то лет назад взял в этот Самый Большой Город — было лето, а у папы была командировка или что-то в этом роде. В первый день я шатался вслед за озабоченным папой по удушливым, пахнувшим раскаленной резиной улицам, торчал под козырьками подъездов, ютившихся внизу помпезных громадин с квадратными колоннами, гигантскими окнами и золотыми буквицами над фронтонами, ел вместе с папой в каком-то кафе, где истерзанные занавески с превеликим трудом отражали масированные солнечные бомбежки (такая именно аналогия явилась моему перегретому и полному видений «про войну» мозгу), сидел на скамейках каких-то бульваров, был ослеплен и унижен чугунным ритмом полужадохшегося Большого Города, поправшего в моей

душе самую неприязнь (сыновнюю!) к замогильному оцепенению родных мест. Наутро, после ночевки на продранном диване в обширной загаженной квартире, после жидкого чая из липких чашек, папа снова исчез по делам, но зато во второй половине дня, до вечернего отъезда на недалекую во всех смыслах родину, папа извлек из кармана два прямоугольника из мелованной бумаги, и потряс ими в воздухе, и объявил, что у нас есть билеты на вход в фестивальны́й парк. Я не знал, что замеченное мной накануне обилие представителей разных рас на улицах не есть обычное явление даже для Большого Города. Теперь я знал, что это из-за Фестиваля. Слово манило. В Тарусе вряд ли могло звучать подобное слово. Гораздо позже мне сообщили, что все мы находимся в состоянии перманентного фестиваля, что наша жизнь — это a moveable feast. Возможно, мне сообщили об этом слишком поздно.

Тогда мы долго шли с папой от круглого, как цирк, здания станции метро, вдоль длинного, все время загибавшегося забора, потом по широкой улице мимо огромного, под стать названию, магазина «Богатырь», и перед нами открылся убегающий ввысь амфитеатр ступеней, увенчанный стремящимся в небо островерхим строением со звездой на несгибаемом шпиле. А рядом, по правую руку, белая, сваренная из легких металлических труб ограда опоясывала скопище зелени, в тенистых пещерах которой терялись ажурные киоски. Мы вошли в проем ограды, предъявив молодому человеку с голубкой Пикассо на кармане рубашки свои билеты, и пошли бродить по дорожкам, где, хоча, группами и парами, разгуливали белозубые шоколадные и соевые люди — впервые тогда я увидел такое их количество в одном месте. Помню растопыренную чашу открытого театра, где мы долго бродили в рядах скамеек, не решаясь выбрать место, как оно всегда бывает, когда места много. На эстраду выходили певицы в черных кружевах, и скоморохи в расписных рубахах, и люди в трико, ловко кривлявшие смешных лохматых кукол почти одного с людьми роста, и так как мы сидели достаточно далеко, то нам не было видно комьев грима на вялых и потных лицах артистов. И когда стало вечереть — то есть солнце зазыбилось и, дрожа, растворилось в белесой пленке, затянувшей

небо; а было, между тем, еще вполне светло — и когда нам уже скоро предстояло уйти, я впервые и не беря в голову получил возможность наблюдать за началом процесса, окончание которого влечет за собой дальнейшее образование живой массы. Но ничего, натурально, не понял. Так, какие-то двое скуластых, с бляками на черных деревянных физиономиях, деревянно же улыбающихся — двое таких вот что-то изображали перед девушкой, рыженькой и разбитной, с голубыми глазами и в сарафанчике, открывавшем плечики и часть груди и кожные складки у подмышек, все это в мелких, частых веснушках. Девушка хохотала, прикрывая бледный ротик рукой с видимыми голубыми прожилками, когда один черный и скуластый вскочил на скамью и поставил ногу на спинку и руками с фигурой изобразил рабочего и колхозницу одновременно, а потом дискобола, а потом дорифора, сиречь копыеносца, и еще что-то из области статуй — возможно, национальных, так как обеими ногами взобрался на спинку и присел, и ладонь приставил ко лбу, а лицо сделал ужасное — глаза выпучены, рот оскален — и захлопал себя по обтянутому джинсами задку сильной и гулкой ладонью. А другой черный и скуластый — шелк-пощелк маленьким фото и хохочет, хохочет; хохочет и девушка.

Я ее видел. Потом. Еще раз. Наутро, в «решающий день».

Я проснулся поздно. Моей внезапной суженой не было; только длинный лоскут, ярко-голубой, висел на спинке стула. Я взял его и понюхал. Пахло этим... кажется, мускусом. Я сел к столу и раскрыл том Пушкина на «Начале автобиографии». И закрыл. И встал.

Через пару часов за мной зашли. Я лежал на кровати и курил одну за другой, чего не имел обыкновения делать, особенно в комнате. Они приехали, сказали мне. Пятьдесят матерей из Рязани.

Помню, что весь коридор на этаже, где помещалась комната студкома и Совета общежития — большая, почти целый зал, — был запружен разноцветным народом. Меня длинные руки жеребца почти пронесли сквозь толпу, протискали в плотно дышащее помещение. В глубине, у окна, на нескольких сдвинутых канцелярских столах, стоял еще один стол. На столе вы-

сился Али. Тесным полукольцом стол окружали разные девушки с утомленными, плоскими, бесформенными среднерусскими лицами. Рыжая девушка стояла прямо под пахом Али, на руках у нее был непосильный для нее толстый надутый мальчик. Лет шести, вероятно, и черный, естественно. Другие девушки также прижимали к себе разномастных младенцев, частично орущих. Некоторые — в смысле, девушки — плакали, утирая носы и глаза о младенцев. Ни Ситы, ни Ананды, надо сказать, видно не было, да и жеребец, поспособствовав моему продвижению, исчез. В коридоре галдели глухо, грозно и непонятно. Али поднял руку, и разом все смолкло, включая младенцев. Одна патлатая кучерявая девочка некрасиво скривила, было, свое глинистое по фактуре и цвету лицо и завопила, протяжно и без причины, но белобрысая дородная мать укусила (как показалось мне) дите за шею, и девочка смолкла. Али обвел взглядом аудиторию. Чудовищный Пушкин Кипренского терялся в солнечных бликах по-над Али, слева, в простенке.

— Друзья! — объявил Али. — Сегодня у нас важный день. Может быть, самый важный во всей нашей жизни. Сегодня мы закладываем основательный камень в подножие неодолимой транснациональной и трансрасовой дружбы и единения! Этот человек, — Али указал в сторону хоронившегося за бликами Пушкина, — этот человек, в жилах которого текла африканская кровь и в жилах которого текла русская юшка (здесь, признаюсь, меня передернуло, а ведь Али хотел сказать как лучше), — этот человек, который, кроме того, что он стал величайшим национальным поэтом России, стал еще и первым поэтом Африки, получившим всемирное признание, — он будет нашим гением-хранителем, нашим, так сказать, ларом и пенатом!

Бешеные аплодисменты отцов и всхлипывания матерей были реакцией на этот чудовищный макаронизм. Али продолжал:

— Зададимся вопросом: как велико африканское и азиатское проникновение в Россию? Ответим: очень и очень велико. Тысячи и тысячи студентов, аспирантов, стажеров проживают только здесь, в Самом Большом Городе. А сколько их в других городах? Десять тысяч? Двадцать? Пятьдесят? Это же целый передовой отряд,

друзья, это же настоящий форпост — так сказать, богатырская застава афро-азиатской культуры! И что же мы видим? Мы видим, что этот форпост, эта колония первопроходцев зачастую не имеет нормальных условий для своего первопроходчества. Я спрошу вас: какое у человека есть первое и самое неотъемлемое право? Я отвечу вам: это право на любовь и на дружбу!

Здесь мое рыжее отроческое видение не то всхлипнуло, не то прыснуло — во всяком случае, это было громко — и обратило на себя внимание. Али строго взглянул на девушку.

— На любовь и на дружбу, — повторил он. — А есть ли у них, то есть у нас, гарантии на осуществление этого святого права? Нет, друзья, их нет. Условия для общения у нас самые непригодные, самые, я бы сказал, плачевные.

— На кроватях сетка провисает! — крикнул кто-то голосом высоким и обиженным.

— Доску подкладывай, — густо посоветовал другой, и все зааплодировали.

— Друзья! Частности потом! — сердито воскликнул Али, выставя вперед ладони; гомон стих. — Условия, повторяю, неблагоприятные. Можно было бы долго перечислять, в чем конкретно заключается эта неблагоприятность. Можно было бы. Но мы не станем. Это и так всем хорошо известно. Взглянем прямо, так сказать, в корень проблемы. Где выход?

Возникла пауза. Напряженное внимание обратилось на оратора.

— Где выход? — повторил он громче. — Где, спрошу я вас, друзья мои?

Девушки завздыхали.

— Пусть шлюхами не обзывают! — звонко крикнула моя рыжая знакомая и осеклась. Али перевел на нее тяжелый взгляд. Губы его вздернулись, заголяя желтые зубы.

— Выход, — отчеканил он, — в объединении. Только оно способно решить наши проблемы!

Овации покрыли окончание речи.

— А вам, — перекрикивал Али одобрение, дрожа голосом, — вам я еще предоставлю слово! Вы все скажете, все! Нас услышат!

Будто в подтверждение этих слов толпа вдруг раз-

рыдалась, пропуская сутулую девицу с морщинистой шеей, повязанной зеленой косынкой, и в огромных светочувствительных очках. Флегматичный молодой человек с красными щеками шел следом, неся на плече телекамеру. Еще один юноша, долговязый, с быстрыми блудливыми глазами, семенил за оператором; в вытянутой левой руке он нес фонарь-подсветку, как бы стремясь ввысь и влево, но моток кабеля в правой руке тянул его вправо и долу.

— Вот! — закричал Али. — Это пресса! О нас узнают! Нас услышат!

— Районная кабельная телестудия «Огни Мегapolisа», — отрекомендовалась девица. — Мы опоздали, кажется? Давно вы начали?

Али, стоя на своей трибуне, делал движения руками, ногами и лицом, стремясь быть в отношении телевидения галантным; он даже что-то говорил. Что — не слышать было и мне: услышанные стремились быть услышаны во все более превосходящих степенях, стоял невообразимый гвалт. Телевидение, не вникая Али, зажигало огни. На трибуну одна за другой полезли рязанские матери; сильные темные руки подсаживали и поддерживали их. Матери пробовали потрясать детьми; те орали и вихлялись, патлатую девочку дебелая мама чуть-чуть не уронила. Тогда детишек перестали отрывать от земли, и речи полились. Спертый пар правды со страшной силой вырвался из закупоренных доселе женских душ и оглушил собрание, и придушил. Я сосредоточился на истории своего рыжего воспоминания. Бедствия и унижения загромождали девические впечатления этого воздушного существа. Грубость и пьянство, наглые домогательства и циничные шуточки, безобразные драки и грязные драмы — вот что видела и слышала она, приехав из своей деревни в Самый Большой Город. Вот что видели ее глаза и слышали ее уши! Тот, кто стал отцом ее мальчугана, был не таков, хотя она точно не знает, кто именно из двоих стал, собственно, отцом, ибо все происходило одновременно.

— Это лишние подробности, — торопливо сказал Али, морщась и поглядывая в телекамеру; девица в очках замахала на него рукой; кожа ее шеи покраснела от любопытства.

А когда... когда... когда неминуемое расставание произошло — а произошло оно немедленно по окончании Фестиваля (он промелькнул, как видение, как сказка; девушка заплакала; прозрачная кожа ее, похожая на пленку яичного белка, налилась кровью плача, и веснушки выступили темными точками), — тогда она, поняв, что беременна, забрала документы из техникума и уехала, уехала в родное село, потому что воспоминания о быстролетном счастье обжигали ей душу. Через полгода она разрешилась вот этим вот мальчиком — и началось! Все отвернулись от нее. Парень, который был в нее когда-то влюблен, распускал о ней в пьяном виде самые гнусные слухи, а его мать, тетя Наташа, не называла ее иначе, нежели «негрская подстилка», и в глаза спрашивала, загоразивая проход на улице и пуская голос, каковы ей на вкус показались бананы и толстая ли у них кожа. Ад, настоящий ад обступил ее со всех сторон! Девушки фыркали, завидя ее. Парни стремились унижить: ушипнуть, скажем, за попу, — и постоянно склоняли к развратным действиям, делая это как бы небрежно-презрительно, но по огню в глазах и придыханию было видеть, что на самом деле их заело. Мать ходила как в воду опущенная. Отец запил и во время колки дров отрубил себе палец. Сгорел сарай — не исключено, что подожгли. Умерла коза — не исключено, что отравили. Едва не упал в колодец сынишка — не исключено, что подстроили. Врач, приходя по вызову на детские недуги, глядел иронически на дитя и плотоядно — на мамашу. Жизнь становилась невыносимой. Она уехала в Рязань. Ей удалось неплохо устроиться — есть работа, добрая старушка задешево сдает комнату. У многих ведь положение куда как хуже. Но гложет, но гложет обида! За что!

— Вот именно, — заметил Али, журналистка махнула на него снова; рыжая девушка всхлипывала, но, в целом, глядела победно и даже уперла руку в сильно очерченное бедро. Взгляды и взгляды, жадные, вопрошающие, были устремлены на рязанских мадонн.

— Спасибо, Али! — звонко крикнула рыжая. — Спасибо вам всем, девчонки, за то, что нашлись! Спасибо вам, губители наши, за то, что вы есть!

Кажется, тут прозвучало «ура!». Началось нечто вроде братания. Все смешалось. Девушки, не особо

заботясь о внимании, выкрикивали свои горькие судьбы. Оператор с осветителем метались меж них, девица в очках тыкала то одной, то другой под нос микрофон. Меня оттерли в угол, под Пушкина. Я сжался и решил, что незаметен, но общая участь не миновала меня: дородная мама кучерявой девчушки, будучи выстрелена толпой в мою сторону, неожиданно обвила мою шею руками, прижалась ко мне своим плотным, распаренным телом и несколько раз ткнулась в лицо мне мокрым носом и теплыми, как у лошади, губами.

— Ну, будет, будет, — пробормотал я растроганно; девушка, однако, льнула уже не шуточным образом.

— Помогите! — собрался крикнуть я и не успел. Гомон и гвалт просверлил неожиданный крик — крик подбитого вепря или бомбардировщика, или просто Али в предчувствии славы.

— Друзья! — отдавалось в углах комнаты, сразу ставшей такой, какой она бывала обычно — запустелой и свежеекрашенной. — Братья! Внимание! Я прошу тишины! Ти-ши-ны!

Гомон и гвалт не могли сразу утихнуть.

— Замолчать!

Ну просто взвизгнул Али. И замолчали все! Дева, потом пахнувшая, клейкая, вмиг отлипла от меня, полузадавленного под Пушкиным.

— Братья, — сказал Али, приметно волнуясь. — А сейчас я все же прошу тишины. Сейчас мы предоставим слово человеку, которому предстоит многое сделать для нашего общества и для всеединства рас и народностей в целом. На его плечи возложена миссия выяснения всех обстоятельств, при каких зарождались и крепили связи России, с одной стороны, и Африки и Азии — с другой стороны. Это высокая миссия. Научная миссия! Все из вас или многие среди вас знают этого человека как нашу надежду в науке. Вся деятельность его, такого молодого, но уже обещающего много, посвящена любви. Вспомним хотя бы его удостоенный премии труд о воскрешении усопших через любовь. Поприветствуем же нашего...

До последнего момента я отказывался верить, что речь идет обо мне. Но мое имя, мое бедное имя, запятнанное похвалой за некрофилию, которой, видит Творец, я никогда не проповедовал, — это имя про-

звучало. И немедленно чьи-то руки, мужские и особенно женские, помогли мне вскарабкаться на подножие трибуны и оказаться рядом с оратором, на полпути между ним и толпой.

— Вот он, наша надежда! — воскликнул Али, протягивая руку в мою сторону. Заплодировали. Я увидел бурый глаз телекамеры и свое с Али отражение в нем.

— Несколько слов, брат, всего лишь несколько слов! — закричал Али. — Я знаю: ты не готовился. Может быть, ты даже смущен. Но соберись и скажи пару слов. Скажи так, чтобы тебя услышали.

Он погубил меня, этот мыслитель.

— Граждане, — начал я, кашляя, — я действительно немного взволнован. Честно говоря, я не мог ожидать, что собрание будет проходить так... темпераментно.

Здесь Али ухмыльнулся не без самодовольства. Лицо его стало сплошными щеками. Он уселся, свесив ноги на своем подиуме. Я по-прежнему был на полпути.

— Что я могу сказать? — спросил я сам себя и ответил: — Ничего.

Я был прав, но меня, очевидно, не поняли: воцарилась тишина, осветитель потушил лампу. Это было кстати, так как пекла она нещадно.

— Ничего, — повторил я, отирая лицо. — Ничего, кроме: в добрый час.

Лампа вновь вспыхнула. Раздалось даже несколько хлопков.

— Дорогие граждане, — через силу продолжил я. — Что еще я могу сказать?

Затихло, и затихло нехорошо.

— Разумеется, все те комплименты, которые были высказаны в мой адрес, мягко говоря... мм... преждевременны, — поспешил я. — Я воспринимаю их как... э-э... своего рода аванс, как ожидание... эмм... ожидание некоторых... определенных... поступков... так сказать, действий с моей стороны... Однако... от природы я не обладаю склонностью обещать что бы то ни было, и, даже точно зная, что нечто в моих силах, я предпочитаю тем не менее воздерживаться от прямых обещаний... воздерживаться, да! Я полагаю более правильным и уместным сначала сделать что-то, а уж потом... уж потом...

Тут я запутался. В самом деле — если что-то уже сделано, зачем же обещать, что ты это сделаешь?

Одобрительно-ободрительное негодование по поводу моей скромности вывело меня из затруднительного положения.

— Итак, что я могу добавить ко всему уже сказанному сегодня? — не на шутку задумался я. — Очевидно, от меня ожидают некоего научного... так сказать, исторического подкрепления тех положений, которые с таким... мм... темпераментом, — опять вырвалось у меня это проклятое словцо! — выдвигал и отстаивал здесь Али... то есть Временный Председатель. Очевидно...

— Скажи про Пушкина, брат, — задушевно произнес Али.

Про Пушкина!

— Про Пушкина... да... разумеется, про Пушкина. О ком же еще и говорить? — я боролся со своими лицевыми мускулами, но с переменным, надо отметить успехом; камера бдела, лампа пекла. — Что мы можем сказать о Пушкине? Вероятно, лучше всего это сделает сам поэт, — предположил я, делая рукой движение в сторону портрета. Все посмотрели вслед моему жесту. Пушкин молчал. Я стал своими словами, словами путанными и не до конца внятыми, пересказывать «Начало автобиографии». Неожиданно для себя я увлекся. Я рассказывал, что первая жена знаменитого Ганнибала родом была гречанка, а вторая — немка; что с гречанкою Арап Петра Великого развелся за то, что родила ему белую дочь, и принудил супругу постричься в монахини, а дочь, хотя и дал ей воспитание и приданое, не пускал к себе на глаза. Что черные дети второй жены пошли, по всей очевидности, в отца, если не далее: именно, Осип Абрамович отличался исключительным буйством характера, был двоеженцем и умер, как пишет сам Александр Сергеевич, «от следствий невоздержанной жизни». Забывшись, я перешел было к еще более безрадостной картине семейственной жизни ближайших предков поэта со стороны Пушкиных — успел, в частности, упомянуть, что прадед Александр Петрович умер, зарезав в припадке сумасшествия рожавшую жену, и собрался повествовать о причудах деда, свирепого феодала и тиранического рев-

нива, — но смутный гул, похожий на стенающее гудение земли, слышавшей дальний поезд, заставил меня примолкнуть. Я обвел взглядом аудиторию. Общий выдох исходил из напряженных горл. Десятки остолбенелых взоров бессмысленно упирались в меня. В них чудилась неприязнь. Я почувствовал, что щеки у меня горят, а лоб покрылся испариной: мне только теперь пришло в голову, что никто из присутствующих не читал излагаемого мною текста. Девушка с телевидения сняла очки и длинными пальцами раздраженно и нещадно копалась в своих глазах, оказавшихся маленькими, злыми и опухшими; кожа, скрытая доселе очками, была, как выяснилось, обветренной и золотушной. Али вперился в свои туфли; как ни странно, он то бледнел, то вспыхивал и в целом был какой-то апельсиновый.

— Остановите, — отдельно и жестко сказала журналистка оператору.

Решающий миг повис в воздухе и зазвенел тетивой вечности.

— Пушкин, — сказал я четко, — гордился своей родословной.

— А-ах! — сказала собрание.

— Пушкин не мог ошибаться, — с ненавистью сказал я и положил руку на плечо съездившегося Али. — Пушкин знал чем гордиться. Его предки были достойные люди!

Я погубил все. Я погубил себя. Я расплачиваюсь теперь. Я наказан и безропотно влачу свой крест. Пусть хоть это зачтется мне на Страшном Суде. Пусть зачтется мне хотя бы мое сочинение о воскресении усопших, если уж сочинение Сервантеса зачтется всем, но не мне, павшему рыцарю познания. Пусть! пусть!

— Повторите, пожалуйста, — властно крикнула теледевушка, напяливая очки. — Поехали! Повторите!

Я повторил:

— Предки Пушкина были достойные люди.

И добавил:

— Пушкин — наша эмблема, наш девиз и наша речевка! Только его имя вправе стоять в названии... Общества.

И опять добавил:

— Нашего Общества.

Это был взрыв. Это был настоящий взрыв. Меня несли на руках. Телевидение следовало за мной, забирая в крупные планы все видимые части моего тела по очереди. Я ждал, что меня сбросят в пролет лестницы, если уж у меня, слюнтяя, неостанет на это сил самому, как достало у Гаршина. Меня не сбросили. Меня вынесли на улицу и качали. Позорная слава несмываемой пылью покрыла меня.

Теперь я тот щит, на котором возвращаются домой побежденные; нет, хуже: я тот щит, который теряют на поле брани бегущие и опозоренные. Вика пошла по рукам; вчера она спросила меня:

— Что с нами будет?

Она не знает, что я должен вступить в славное племя отцов «детей фестивалей», она не понимает, что я Главный Советник Временного Председателя по России, что у меня в кармане — кусочек плотного картона лимонного цвета с фотографией и должностью, записанной славяноподобною вязью, арабскою вязью и еще какими-то, неизвестными мне вязями. Что ночами я, корчась и матерясь, втискиваю в прыгучий четырехстопный ямб скудные сведения о родословной Пушкина-Ганнибала — не знает она, бедная Вика. Она не видела хранящейся у меня в шкафу новенькой черно-белой майки с профилем первого всемирно известного поэта Африки; она не присутствовала при заключении торжественного договора между Временным Председателем Общества «Дети Фестивалей» и постоянного председателя кооператива по производству маек и трусов, небритым и развратным потомком огнепоклонников с черными усами и двумя золотыми печатками. О, бедная, бедная, доверчивая Вика! Она видит только, что всё, всё изменилось за последние два или три месяца. Она слышит радио, она смотрит телевидение. Она не знает, что на завтра запланирован прямой телеэфир очередной встречи Временного Председателя и мэра Самого Большого. Она видит, что нету воды, что по городу ходят толпы темнокожих весельчаков, обнявшись с толпами белобрысых молодых, и все эти толпы — оголтелые. Окрестности нашего общежития официально объявлены мэром, этим безумствующим во имя демократии, Зоной Единения Рас и Народностей, и правом свободного передвижения, вплоть «до

выяснения обстоятельств», пользуются только вступившие в Общество. Значит ли твое имя «победа», о Вика? Значит ли что-либо хоть что-либо?

Я сижу у стола. Слева распахнуто окно. Руки липнут к столешнице. За окном пухнет прогорклое лето. За окном беснуются они. Там, за низкой оградой, сваренной из легких металлических труб, устроен а moveable feast. На открытой эстраде, в тенистом зеве похожей на раковину чаши уличного театра, день и ночь не смолкают концерты и митинги. Я слышу голос Али — он барахтается в ревуших динамиках, гнусавый и непримиримый. Я открываю Пушкина, читаю окончание повести «Метель» и плачу. Завтра, я думаю, будет революция. Я совершу её.

ПОДРАЖАНИЕ ЛЕТУ

Я сразу его заметила, когда в электричку сели, еще в Москве. Красивый такой: короткий ежик, как сейчас модно. Сам светлый, продолговатый, в общем, американистый типаж. Штаны — светлая плащевка, сеточки на карманах; долговязые щиколотки на три четверти выглядывают, носки белые...

И меня тоже кто-то может заприметить так. Вот, мол, девушка, лет восемнадцать, хмурый ежик на голове, пиджак широкий — в общем, тоже в струе. Если бы не глаза. Я их знаю — какие они: тяжелые, странные, несытые. Их бы убрать с лица — и ничего, хорошенькая была бы мордашка, без подозрений. Девушка девушкиных лет, безразлично, как звать, одна из тысячи. Не убрать. Можно припрятать, полуопустить. Чтобы не разобрали всматривающиеся, не закричали: «А! Вот ты кто!».

И тогда выщелкнут: щелк! Тебе здесь не место: здесь весело, легко. Покупаем мороженое, мелькаем вечерами у метро, скользим мимо голубых аквариумов кафе.

Сижу вот, значит, и думаю: чей-то. Не может он ничьим быть, все чьи-то.

Действительно, рядом сидит мать, потом девушка какая-то, наверное, старшая сестра, и еще одна женщина — тетка, что ли? Рядом еще ребята, с ними родители — едут, значит, с семьями. В наш профилакторий, наверное, по двухдневным путевкам.

Мать переживает:

— Дима, съешь бутерброд хотя бы...

Копошится в сумках, шуршит полиэтилен. Тетя — женщина солидная, с осанкой крупного чиновника; читает вслух газету:

— В Подмосковье: двадцать — двадцать два, ветер восточный, с переходом на северный, постепенное понижение температуры... Аня, слышишь?

Диме надоела материнская навязчивость:

— Отстань!

Она — маленькая, шустренькая, как обезьяна, угодливая улыбка не сходит с лица.

— Тогда хоть яблочко? Или вот пирожки от бабы Веры? Специально для тебя положила...

Он мой взгляд поймал, покраснел:

— Отстань, говорю...

У нее полный рот белых искусственных зубов, немислимый огненно-рыжий парик. Маленькие жилистые руки, много золота на пальцах, в ушах.

Я вышла в тамбур. Чувствую, он тоже должен. Точно. Только не один, с толстым очкастым приятелем. Встали напротив: толстяк мнет сигарету, Дима слабо языком карамельку во рту ворочает. Слышу запах апельсина...

— Девушка, наверное, далеко едет? — спрашивает. Небрежно, не то чтобы спрашивая, скорее утверждает с иронией.

Толстяк смутился, ушел. Перед тем как задвинуть дверь, обернулся: ревнует, что ли?

— Во Фряново? — я спрашиваю. — В дом отдыха?

Он кисло улыбается:

— Всей шумной родней...

Я пожала плечами:

— Дети любят родителей, родители — детей. На веки вечные...

Помолчали.

— Друзья?

— С Валерой, что ли? Не то чтобы... — пожал плечами.

Я догадалась — стесняется Валеру своего. Говорю тогда насмешливо, проверяю догадку:

— Он, наверное, еще не завтракал. Ему часто хочется кушать...

Дима покраснел, растерялся — не ожидал. Подстраивается под мой насмешливый тон:

— Трудно ему в жизни без котлеточки.

Предал.

— Комплексует, интересно, на свой счет?

— Вряд ли...

Он улыбнулся с нескрываемым удовольствием.

— Ходит за мной по пятам, делает всякие подарочки с какими-то идиотскими приписками. «Нет, я не сентиментален...»

— Пусть он немножко постоит с нами...

— Зачем? — Мое желание кажется ему странным. Но в вагон заглядывает, знак Валере делает.

Тот неуклюже вполз. Я отвернулась. Как будто с Димой никакого разговора не было. Или так: Дима лип со всякими разговорчиками к девушке, девушка смущалась, теперь вовсе в окно уткнулась.

Валера дышит тяжело, мнет и мнет сигарету, не решаясь закурить. За окном ползет индустриальный пейзаж: котлованы, трубы, ржавые ручьи. Насмешливая мордашка Димы покачивается над плечом его друга.

— Валера, а теперь иди, — говорит; похлопал его по плечу.

Тот выполз из тамбура.

— Пусть булочку съест...

Еще потрепались немного, тут и Фряново. Я бросилась к телефону. Думаю, сейчас быстренько позвоню бабулечке в Москву: доехала, все нормально, встречаю тебя, как договорились, в понедельник, звонить больше не буду, привет маме. Рассчитываю: успею за ребятами пойти. Бабушкин дом и профилакторий этот самый — в одном направлении. Но — очередь у автоматов. Потом наш телефон долго занят. В общем, не успела, ушли. Думаю: в такую жару все равно первым делом пойдут купаться на речку, все приезжие так делают. Будут идти обратно — увижу.

Вышла из дома. Пошла вниз по улице, к речке — сразу увидела их. Они купаются, им девушки не нужны сейчас. Они с водой обнимаются, с летом, с небом голубым. Кроссовки белые, яркие футболки на траве валяются...

Лето мое! Не впрыгнуть в тебя мне: в кудри твои зеленые не впрыгнуть. Зацеплюсь волосами, мыслями корявыми — и назад одернет! Шею одернет сильным

рывком, глаз застынет на лету. Не смей прыгать, сожми зубы покрепче, терпи, но прыгать не смей!

Встала у забора. «Жигуль» проехал, на меня пошла пыль рыжая. Расстояние до речки не то чтобы неприличное, чтобы могли сказать: вон девушка стоит недалеко, не случайно стоит, подглядывает, что ли? Жду, когда они обратно пойдут. Дай пока, думаю, к палатке с квасом схожу, стакан сока выпью, от палатки все равно будет видно, как они легкие футболки накинут и пойдут обратно. Пошла, не оглядываюсь, другой «жигуль» навстречу, в мягких ухабах кувыркается вместе с рыжими дамами внутри, меня еще покорежило: показалось, что все они в париках, в такую-то дикую жару, когда мозги плавятся. Сока нет, отошла. Киоскер — полненький, в пухлых пальцах — печатки тускло поблескивают, влажные от кваса — с любопытством на меня посмотрел, краем глаза я уловила. Подумал, наверное: вот, мол, девушка, а хмурая какая. Хмурых девушек, вообще-то, не бывает; они, вообще-то, без нюансов: или плачут, или смеются...

Смотрю, ребята уже вылезли, одеваются. Кто на одной ноге прыгает — воду из ушей вытряхивает, кто уже к кроссовкам наклонился. Возвратилась, снова встала у забора, здесь дорога прогибается в мою сторону.

Они ленивые такие идут. Нестройная компания, разговора нет общего, случайными фразами, случайными словечками перебрасываются. Дима не то чтобы в центре, в скучной неприметности. А я радуюсь, нет у меня конкурентов, будет мне какая-то удача. Правда, дружок его полный рядом тащится, тревожно в мою сторону несколько раз посмотрел. Не знаю, как встать. Отвернуться к забору — глупая ужимочка, да и не увижу близко Диму. Смотреть прямо — слишком откровенно. Что я — проститутка? дурочка? Полубоком, в полглаза стою. Они не обратили внимания, когда проходили, кроме Валеры, конечно. Мне жалко стало его, неуклюжую эту глыбину: ты ведь воздух охраняешь, воздух...

Дима сосет карамельку. Мне кажется — слышу невязчивый, прохладный запах цитрусов.

Прошли, недружно засмеялись, и он украдкой обернулся: быстро, через плечо — и отвернулся тут же.

Как это нравится мне! Идешь по улице, навстречу компания, ребята, девушки. Кто-нибудь из ребят, самый непредсказуемый — девушки реже — задержится глазами. Что-то осталось у него в душе от меня, непонятной. Я так себя понимаю: хочу с улицы, случайно, непредсказуемо. Хочу с улицы! Она такая яркая, такая тайная. Она колеблется, движется к метро, растекается к автобусным остановкам: у нее тысячи глаз, тысячи рук, тысячи подавленных желаний, которые никому не вычислить, о которых некому догадываться, кроме меня: они пугливые, летучие.

Вечером снова стою у забора. Профилакторий (или как это называется) хорошо вижу отсюда. Широкий освещенный вход, веранда тоже освещена, на ней столики. Рядом танцплощадка, там все сверкает: красное, желтое, фиолетовое. Может, взбредет ему в голову, решит: дай пройду по дороге, где днем эта девушка стояла. Жду — нет, не идет. Сама отправилась к танцплощадке. Они, новенькие, в сторонке стоят, скептически на подмосковные нравы поглядывают. Он меня увидел. Я тут же в тень отошла. Думаю, достаточно. Придумает причину, смоемся от них. Ушла, стою точно в том месте, где днем переглянулись, где дорога нежный изгиб к забору делает. Долго стояла, сомневаться стала. Спрашиваю себя насмешливо: думаешь, жизнь умнее твоей логики? Минут двадцать, наверное, прошло. В отдалении возник он. Подходит: привет, говорит. Привет, я отвечаю, пойдём? Идем по направлению к моему дому. Он спрашивает — вдруг! — куда? Я говорю: ко мне домой. Чувствую, слегка растерялся, хотя, конечно, виду не подаю, запросто так соглашается: идем!

Его раскрепостить как-то надо, нельзя его любить, как любят детей: с умилением, будто в жизни тебя больше потеряло.

Он спрашивает:

— Тебя как зовут?

— Оксаной меня зовут... Оксана Сороченко.

— Понятно. А я — Дима.

— А я знаю...

И так далее, о том, о сем.

Пришли ко мне. Я спрашиваю:

— Ты, наверное, учишься где-нибудь? В институте?

— Штирлиц в юбке! Может быть, знаешь, в каком?

— В хорошем, конечно... Я много еще чего про тебя знаю.

Он помолчал, а потом сдержанно как-то на меня посмотрел. Поняла: с этой минуты он считает меня психопаткой. Разговор сразу перестал клеиться. Чувствую, он замкнулся; даже уйти, наверное, хочет. И глаза у меня, наверное, уже тяжелые, странные, и он разглядел это, и уже теперь точно думает, что мне не восемнадцать моих кровных, а целых тридцать чьих-то, и фонарики на танцплощадке — если появлюсь — спросят вдруг: где ваш билет, женщина, вы без билета прокрались сюда, мы видели! И обернутся все и закричат: вот она! вот она!

Он сел в бабушкино кресло-качалку. Глаза полуприкрыты, хочет показать, что ничего с ним не случилось. Не верю: притворяется, притаился, сейчас как врежет мне по роже, потому что презрение ко мне, к такой гадюке, все эти минуты копилось, и...

— Этому креслу — шестьдесят лет, — дурацкий пошел какой-то разговор, и ничего я не могу уже сделать.

— Отлично, — он отвечает. — Все нормально... — и качается сосредоточенно, и глаза полуприкрыты.

— Ты что, уйти хочешь? — спрашиваю я.

— А ты меня гонишь уже?

— Значит, тебе не противно?

— Да нет, не противно...

Не верю:

— Нет, тебе противно. Только не хочешь признаваться.

— Да не противно нисколько, — он убеждает. — С чего ты взяла?

Я успокоилась было, но что-то гонит меня: противно! противно! И не поцеловать мне его. Оттолкнет: чужие слюни, бр-р-р... Оттолкнуть, побежать в ванную, искупаться, насухо вытереться, надеть чистые плавки, вытянуться в сухой постели и уснуть. Руки поверх одеяла, как пишут в книгах для родителей, о семье и браке. Утром встать, выскользнуть из простыней. Ш-ш, ш-ш-ш, шуршат они, путаются в ногах, тянутся за телом — и опадают, отверженные.

И — на речку! Бродить по гальке — ничей! Толь-

ко — солнца, воды, неба, прибрежной травы, чисто выполощенной. Ступать, сердито так поглядывать на меня, соображать, как отвязаться.

Я очистила апельсин, половину протянула ему, он ест, подставляя ладошку.

— А карамельку хочешь? — спрашиваю.

Он не улавливает связи:

— Карамельку?

А я — бух на диван — и как зареву!

Поплакала-поплакала, говорю ему, не оборачиваясь, не поднимаясь:

— Иди... Обо мне не думай... Я одна останусь.

Лежу на животе, руки под себя поджала, прислушиваюсь. Он копошится, звенит у него в карманах мелочь или ключи, пристегнутые карабинчиком к поясу: блестящие такие, никелированные штучки. Подняла голову: наклонился к кроссовкам, длинные язычки высунул — всё, всё, всё...

— Попить есть чего-нибудь? — спрашивает хрипло. — Горло пересохло....

— Там, на кухне.

Пошла следом. Он свет включил, стоит, щурится.

Попил, говорит:

— Я тебе позвоню. Давай телефон...

Я телефон написала, он записку сунул в карман. Видимо, очень я жалкая была в эту минуту — улыбнулся, хотя вышло у него криво, искусственно:

— Не соскучишься без меня, Штирлиц? Хорошо будешь себя вести?

— Хорошо буду... А ты свой телефон дашь?

Он написал на обрывке газеты. Вдруг в самом деле позвонит: привет, Штирлиц, все было отлично, давай встретимся? Я тогда в нежности коснулась пальцами его ежика, прошептала:

— Позвонишь... Ты, конечно, позвонишь.

— Ну, я пошел, — он отвечает.

— Пойдем, провожу, еще заблудишься...

Говорю, а саму раздрает идиотский смех — кажется, перенервничала. Хохочу, руки откинула, стакан — дзинь со стола. Мимолетно вижу лицо его изумленное. Иду впереди, хохот не могу подавить, пошатываюсь.

На дорогу вышли, он говорит:

— Ты меня дальше не провожай...

— Почему? — спрашиваю.

— Ну, так просто... — он помялся. — Не провожай и всё...

Я пожала плечами:

— Иди...

Переждала, пока он скроется. Пошла к танцплощадке, там все те же фонарики, там поют под Леонтьева: «Над нами памяти туман...».

Посидела на скамеечке, рядом какой-то парень вьется. Смешной, глаза круглые, очумелые: то спички спросит, то сколько времени, то говорит, что встречал меня где-то...

Вдруг вижу: Дима с Валерой идут к станции. Я невольно за ними: провожу, думаю, незаметно. Они еле успели на электричку — заскочили, двери тут же захлопнулись. Вернулась домой. Думаю — как быстро появилась возможность позвонить. Завтра же позвоню; завтра же увидимся, может быть. Завтра же в Москву!

Утро — чудесное, все в серебристой пыли утопает. Приезжаю на Курский, наглухо закрываюсь в будке, звоню. Сначала занято — ничего же никогда не бывает сразу. Подожду. Интересно, кто у него дома? Отец? Бабушка? «Диму можно?» — «А кто его спрашивает, простите?» — «Мы вместе учимся в хорошем институте, вы не беспокойтесь, пожалуйста». Снова набираю номер. Занято и занято.

Ему какой-нибудь Сережа или Андрей позвонил. Димыч, привет. А, салют. Ну и так далее: ненавязчиво, невесторженно. Так принято в это лето: полуразговор под сигареточку, позевывая, поеживаясь в стоячем воротничке легкой курточки. Ведь ветер переменялся, согласно газете, впереди прохладные денечки. Ветер воротничок легкой куртки рвет и рвет. И слова тоже рвет. Разговор улетает вместе с ветром, улетает за город, растворяется в природе, не причиняя ей вреда. Он нежгучий, нетяжелый, потому что в словах чуть-чуть сердца, чуть-чуть мысли, чуть-чуть дыхания. Четвертинка, осьмушечка: с самого краешка губ сорвавшись...

Наконец свободно. «Диму можно?» — «Вы ошиблись, — отвечают. — Здесь таких нет».

И не было никогда, все-то теперь я поняла. И никогда не будет.

Вышла из автомата, постояла, пошла к бабкам, ко-

торые под перроном цветами торгуют. Не знаю даже, с какой целью пошла: захотелось мне, наверное, сирени. Ну да, сирени. Там много всегда цветов, но я как только увидела сирень, сразу поняла, что мне нужна сейчас именно сирень. Подошла к бабке. У нее сирень такая дымчатая, почти что пепельная. Рядом — фонарный столб. Притулилась плечом к нему, пожалела, что сейчас не в белом платье. Мне так захотелось его! Плюнуть на все и напялить, честное слово, хотя я белое на себе терпеть не могу, тем более платье. В прошлом году, на выпускной, у нас некоторые девчонки надевали, но с какой-то ржачкой, как бы ради хохмы. Стою, как дурочка, среди вокзальной толкотни и жалею, что не в белом платье. Смотрю на сирень и смотрю. Потом говорю бабке:

— Бабулечка, дорогая, дайте мне малюсенькую, на пятнашку...

— Умная ты какая, — бабка отвечает. — Что ж я тебе на пятнадцать копеек — ломать буду?

Стервоза, значит, попалась. Сунула ей пятнадцать копеек, быстренько отломил крохотку — и на перрон! А бабка сзади кричит: ну и бесстыжая! прямо хулиганка!

Бросилась к электричке, встала в тамбуре. Когда вагон скрипучий тронулся, прикрепила веточку к волосам. Она маленькая, а все равно прохладу от нее волосы чувствуют. Есть в этой прохладе что-то апельсиновое... Вот почему мне захотелось именно сирени сейчас.

«Девушка, наверное, далеко едет?» Ах ты, узкий, лживый мальчик Дима!

Посмотрела в боковое стекло, руку к волосам подняла. Далеко едет девушка, очень далеко. Накануне она ходила и говорила всем: вы знаете, а я уезжаю. Вот как, удивлялись все. Да-да, говорила девушка, я уезжаю, и уезжаю далеко. И меряла белое платье. Помилуйте, возражали ей, как же можно в наше время уехать далеко-далеко? Можно, отвечала девушка. И меряла белое платье. Как же можно ехать в белом платье, тем более далеко-далеко, недоумевали люди, а многие даже сердились. Именно в белом платье, убеждала всех девушка, только в белом, исключительно в белом — ну как вы не понимаете этого? И тогда многие обиженно поджимали губы.

А девушка всю ночь просидела над своим платьем — сторбившись, поглядывая в окно. Вот она вздрогнула вдруг — то розовая заря окрасила стекла. И она холодными пальцами стола застегивать пуговицы.

На завтрак она выпила всего лишь стакан холодного прозрачного воздуха с кубиком льда: у окна, высоко запрокинув голову, так что волосы ее длинно упали вниз. По звонкому стеклу стучали ее зубы, от волнения.

Она поставила стакан на подоконник, пошла на вокзал и села в поезд.

Недоверчивые люди пришли проводить ее. Она махала им рукой, а они кричали с перрона и бежали за тронувшимся поездом: где же этот далекий-далекий городок?

— Далекый этот городок, — кричала девушка, — за Уралом, за Тянь-Шанем, за Карпатами и за Альпами. Городок этот совсем маленький: в нем кривые уютные улочки, маленькие дома с красными и зелеными крышами.

— А много ли там сирени, — кричали люди и бежали по перрону.

— Да, там много-много сирени! Она воткнет в волосы маленькую веточку, проходя по улицам. Она будет долго идти по улицам. Ей не будет хотеться ни пить, ни спать, ни есть, ни заботиться о чем-либо вообще. Ведь у нее не будет ни чемодана, ни квартиры. И никто на нее не посмотрит с раздражением, никто не спросит у нее, где она работает и чем вообще занимается в жизни.

— Неужели? — кричали люди. — Неужели так оно и будет? Неужели никто ничего не спросит и ничего не прикажет? — ужасались они, и все бежали по перрону, и качали седовласыми головами. — Ведь это невозможно! Нет, это невозможно! О боже, нет, никогда, никогда...

Они бежали, все тяжелее становилось их дыхание. Они наконец стали задыхаться, рвать на себе одежды, стали падать, цепляясь друг за друга слабеющими руками. Они визжали, топча друг друга, они кричали от ужаса, и ничего, ничегошеньки уже не могли поделать в своей жизни, и каждому оставалось только прошептать:

— В добрый путь, дорогая девушка, в добрый путь...

ОШИБКА АЛЕКСАНДРА КОХАНЕВИЧА

Молодой еще человек по имени Андрей Беляков сидел в кресле перед телевизором и думал о том, что ровно год назад он бросил свою жену. За этот год он сменил несколько любовниц, несколько работ и на данный момент был одинок, простужен, безработен и тих. Ему бы хотелось, чтобы его жена была рядом с ним, лечила бы его, ухаживала за ним, как всегда она это делала, нежно и ласково, чтобы она нашла ему подходящую работу, ему хотелось, чтобы она его любила, как раньше.

Но вернуться к ней было выше его сил, невозможно было так уронить свое достоинство, ему надо было, чтобы она еще сама к нему пришла, умоляла его стать вновь ее мужем.

Андрей Беляков чихнул. В этот момент по телевизору раздался страшный голос: «Александр Коханевич. Дистанционное влияние на наркоманов, алкоголиков и неверных супругов». Андрей Беляков расхохотался. Он очень любил рекламу. Обожал, когда по телевизору кричали: «Две сладких палочки», «Лучше для мужчины нет», «Ариэль удаляет даже трупные пятна», «Педик гри пал» и т. д.

Интересно, откуда у этого Александра Коханевича столько денег на рекламу? Ведь это жуткие миллионы ежедневно! Непонятно. Кто и зачем его спонсирует?

Андрей Беляков связался с Александром Коханевичем. Когда он услышал о сумме, за которую к нему возвратится семейное счастье, он чихнул.

— Да вы что! У меня в помине нет таких денег!

— А вы накопите, соберите. Вы же сами выбирайте, что вам нужно...

Пришлось собирать, раз уж так он себе не мыслил жизни без этой женщины, с которой прожил столько лет!

— Давайте фотографию, — сказал Александр Коханевич.

— У меня нету, — ответил Андрей Беляков.

— Как?

— Ну так, она забрала все свои фотографии, когда я ее бросил.

— Слушай, зачем ты ее вообще бросил, если так хочешь вернуть?

— Да она мне все время изменяла. Мысленно, правда. Когда я был ее мужем, у нее никого уже не было. Уж я ее так ублажал, что незачем ей было иметь любовника. Тем более, что она меня любила. Просто обожала.

— Так в чем дело тогда?

— До меня у нее было много мужчин. И вот она меня все время сравнивала с ними. Ах, этот был такой добрый, тот — красивый, третий — умный, четвертый — щедрый. А я как будто злой урод, тупой скряга.

— И за что же она тебя любила?

— А черт ее знает! Она всех любила. И меня тоже. А я хочу, чтобы она была со мной и всех напрочь забыла. Напрочь!

— Можно, — сказал Александр Коханевич. И, подумав, прибавил: — Только фотография нужна.

Андрей Беляков перерыл весь дом, но не нашел ни одной фотографии. Тогда он обратился к знакомым своим и жены, и у одного из них, у своего друга, все-таки раздобыл фотографию. Но она весьма странноватенькая. Девушка сидит, скособочившись, на корточках и сосредоточенно грызет ногти. Фотограф подсмотрел этот кадр на пляже.

— Паша, а откуда у тебя эта фотография? — спросил он своего друга. — Я ее никогда не видел.

— Ты не мог ее видеть. Это я сфотографировал этим летом в Судак.

— Ты ездил с моей женой в Судак?

— Ну да. Я ездил с твоей бывшей женой в Судак.

— Паша, я не ожидал от тебя этого.

— А что, собственно, такого? Она свободная женщина. Я — тоже. Но ты не волнуйся, она меня послала. Поэтому я тебе отдаю эту неприглядную фотографию. Иначе я б тебе никакую не дал.

— А у тебя еще есть?

— Есть, конечно.

— А почему она тебя послала?

— Не знаю. Говорит, что я ни в какое сравнение не иду с тобой.

— Да?

— Угу.

Приободренный тем, что жена поминает его добрым словом, Андрей Беляков кинулся к Александру Коханевичу.

— Да-да-да-да, — обрадовался Александр Коханевич, взглянув на фотографию. — Очень хорошо. Только теперь ты мне скажи, ты жене не изменял?

— Ну, честно говоря...

— Это усложняет дело. Зачем, если ты так ее любил?

— Ну, я ее любил и ублажал, а меня любовница ублажала.

— Когда ты будешь жить с женой, она забудет обо всех своих приключениях, но и ты не будешь думать о других женщинах.

— Это обязательно?

— Обязательно.

— Ну ладно. Что же поделаешь?

Александр Коханевич положил перед собой фотографию и стал делать над ней пассы.

— Все. Теперь она заболела. Лежит в бреду и зовет к себе какого-нибудь человека. Каждый день она будет называть одно имя. Твоя задача — не пропустить твой день. В день, когда она будет звать тебя, ты должен прийти и поцеловать ее.

— Прямо, как в сказке.

— Да. Прямо, как в сказке.

— Но как же я узнаю, что настал мой день?

— А ты звони каждое утро и узнавай у ее родных о ее самочувствии. Кстати, начинай звонить прямо сейчас.

Андрей Беляков позвонил и узнал, что его бывшая жена заболела, лежит с высокой температурой, в бреду

и произносит одно лишь имя: «Вова». Врачи колют ей антибиотики, но ничего не помогает. Все очень волнуются.

На следующий день было имя Коля. Потом Саша, Леша, Игорь, Антон, Костя, Ваня, Женя, Петя, Паша. Одиннадцать дней состояние было критическое. На утро двенадцатого дня Андрей Беляков позвонил, как обычно, справиться о состоянии здоровья его бывшей жены. К его удивлению она сама подошла к телефону.

— Катя? Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо. А кто это?

— Это я, Андрей.

— Какой Андрей?

— Твой муж.

— Моего мужа зовут Павел.

— Ну бывший муж твой, Андрей!

— Я что-то не помню, что была раньше замужем.

— Ты меня не помнишь совсем?

— Нет.

— А как ты выздоровела?

— Я все время в бреду звала Пашу. Его разыскали. Он меня поцеловал. И я выздоровела. Прямо, как в сказке. Никакие лекарства не помогали. Любовь творит чудеса, Андрей. Я счастлива с любимым человеком.

Андрей Беляков повесил трубку и чихнул. Ему было очень грустно.

ВОЗВРАЩЕНО ЧЕСТНОЕ ИМЯ

(Статья из бульварной прессы)

Некая девушка Д., работавшая в АО «Три М», попросила своего шефа М., председателя правления АО «Три М», подвезти ее на его автомобиле марки «Вольво» к дому ее любовника, некоего Х. Х. увидел, что Д. приехала к нему на машине марки «Вольво», и, заподозрив неладное, выгнал Д. Председатель М. еще не успел отъехать и пригласил Д. сесть в его машину. Он повез Д. к себе домой, где стал некорректно намекать ей на возможную между ними половую связь. Д., не

желая обидеть М., сказалась больной гонореей. Тогда М. отвез ее домой.

После этого Х. завел себе новую молоденькую любовницу Б., М. женился, а Д. оставалась одна.

Через некоторое время до Х. дошли слухи о том, что его бывшая любовница Д. больна сифилисом, а до председателя М., что у его подчиненной Д. появился хахаль с «Мерседесом».

«Мерседес» имел заместитель председателя АО «Три М», тоже М. Председатель М. сказал заместителю М. о том, что тот, заместитель М., возможно, болен гонореей. Заместитель М. обратился к врачу, и был установлен диагноз «сифилис».

Тем временем Х. тоже обратился к врачу, и был установлен диагноз «сифилис». Пристыженный Х. кинулся просить прощения у Б., не подозревая даже, что не он ее, а она его заразила.

После чего Х. в состоянии аффекта пришел к Д., повесил ее, а затем пытался повеситься сам, но вовремя подоспела милиция, вызванная соседями, услышавшими шум в квартире Д. Работники милиции оперативно вытащили Д. из петли; им удалось спасти ей жизнь; но она осталась парализованной, со сломанным позвоночником.

Суд установил, что Д. никогда не болела вензаболеваниями; ей было возвращено ее честное имя, заместителя М. заразила сифилисом все та же Б. Х. приговорен к десяти годам строгого режима с конфискацией имущества. Б. и заместитель М. приговорены к пожизненному принудительному лечению, Д. находится в Доме инвалидов, а председатель правления АО «Три М» М. развелся.

ЧТО ХОЧЕТ ОН

«Что хочет он, то и пишет. Может написать одно, а может и закрасить все. Сам не знает, что выражает, а суть от этого не меняется. Хоть как он все замаскировывает, или, наоборот, пытается обнажить, а сказать может все равно одно из двух: я правдив или я лжив,

талантлив я или бездарен. Но я-то уж точно талантлива. И доказательство тому — две мои последние картинки», — думала двадцатилетняя художница из Твери, отдавшая всю себя искусству. Она везла в электричке в Москву свои работы.

Уже ехала электричка по Москве, было часов восемь, и после Петровско-Разумовской в поезде осталось немного народу. Художница читала переписку Цветаевой с Пастернаком. Каждое слово из писем отзывалось в ее душе, особенно слова Цветаевой.

В вагон вошел красивый парень. Он сел напротив художницы. Она не поднимала глаз от книги, но почувствовала его устремленный на нее пронзительный взгляд. Художницу звали Марина. «О, как я Вас люблю, Марина! Так вольно, так прирожденно, так обогащающе ясно. Так с руки это душе, ничего нет лучше, легче!» К ней обращался Пастернак, а может быть, сидящий напротив человек. Художник полюбил художника, полюбил душу родную. Надо же! За все время их переписки они ни разу не виделись. Но как любили! Марина отвела с лица прядь волос и почувствовала, что это ее движение отозвалось в напротив сидящем острым ощущением. Марина поняла, что все перевернулось внутри у него. И именно, когда она прочитала фразу из письма Цветаевой, обращенную к стихам Пастернака: «Что-то встало и расплылось, и кончать не хочет, — а я унять не могу», — в этот самый момент художница увидела, что что-то действительно встало, и кончать уж точно пока не собирается. Парень сидел с расстегнутой ширинкой, и его огромный отвратительный торчащий член оказался перед самым носом. Она вскочила, быстро ударила гада по башке книжкой и пулей убежала в другой вагон. Она прошла весь поезд и села рядом с двумя женщинами. Электричка остановилась. Потом поехала. Марина не могла опомниться.

— Что-нибудь случилось? Что с вами? — спросила ее одна из женщин.

— Нет, ничего, — она начала успокаиваться. Ничего не случилось. Она ведь спаслась.

— О Боже!

— Что вы?

Марина вскочила и побежала обратно. Вот вагон, в котором она сидела. Парня не было. Вместо сумки

и картин, о которых она в ужасе забыла, на сидениях и на полу она видела белые капли.

Не стоит, наверное, объяснять, как трепетно некоторые художники относятся к своим произведениям, особенно к последним. Для двадцатилетней художницы Марины две ее последние картинки были Все. Все, да и все! Ничего не прибавить. Она не могла, логически пораскинув мозгами, понять, что в данный момент она еще весьма молода и сможет создать еще массу шедевральных полотен. Нет. Все было в этих двух несчастных картинках.

Она села на обратную электричку и уехала в Тверь. Добралась до дому за полночь, но уже без приключений.

На следующий день ей позвонили по телефону.

— Але, блядь, поговори, блядь, со мной, а то я, блядь, кончить не могу...

Марина не повесила трубку, потому что поняла, кто это звонит. У нее в сумке была записная книжка с ее домашним телефоном.

— Я вам заплачу по двести долларов за каждую картину, дороже вы их все равно не продадите, верните мне их, пожалуйста. Четыреста долларов я вам заплачу!

— Заплатишь, сука, твою мать, обязательно заплатишь, блядь, и отсосеешь...

— Что?

— Что слышала, сука!

— Я заплачу по двести пятьдесят...

— И отсосеешь.

— По триста...

— И отсосеешь.

— Нет!

— Ну как хочешь, о-о, а-а!

И раздалась короткая гудка.

Через пару дней он позвонил опять.

— Бери, сука, бабки и подваливай на Петровско-Разумовскую, интеллигентка сраная!

Да, девочке не повезло. Она поехала на встречу к нему, отдала деньги и согласилась на все его условия. Он завел ее на стройку и получил, что хотел. Все происходило с некоторым садистским уклоном. И долго.

Потом он показал ей ее картины и спросил:

— Какая из них тебе больше нравится?

— Эта.

— Тогда забирай ту. А за этой придешь потом. Я позвоню тебе как-нибудь.

— Ладно...

Марина приехала домой и повесила картину на стену.

Через неделю она опять ездила к этому парню выполнять его требования и получила вторую картину, как ни странно.

Приехав домой, она повесила привезенную картину напротив первой, а сама повесилась как раз между ними.

НАКАНУНЕ

Режиссер Заровнюк сидел на кухне в своей квартире за столом, уставленным, как это водится, пустыми бутылками. Артисты спали. Безрадостным показалось Заровнюку солнечное утро наступившего дня. Он не напивался сильно накануне, как можно было бы подумать. Накануне ему не повезло.

Накануне выдался бесславный денек. Все время лил дождь. Съемочная группа проторчала с восьми утра до восьми вечера на зеленой полянке в ожидании солнца. Режиссер был в цейтноте, поэтому не мог отложить съемку эпизода ни на один день. Он страшно переживал. Это был его первый полнометражный фильм. Он хотел его сделать. Днем, вечером и утром он думал только о фильме. И когда спал (ночью), ему снился только его фильм. То есть когда он просыпался, он решал каждый раз, что обязательно вставит свой последний сон в фильм. Как назло, все его подводили. Приходилось делать все-все самому. Но это его радовало. И оператором, и артистами он был почти доволен. Заглавные роли исполняли молодые актеры Саша Красный и Даша Холина. Для них это был тоже дебют в кино, Заровнюк же собирался сделать их звездами. Но после неудачного пасмурного дня Заровнюк, Саша и Даша сидели у режиссера и пили.

Молодой режиссер Заровнюк был, как это принято, гомосексуалистом. Только выпив немалую толику водки, он начал понимать, почему пригласил на главную роль в фильме довольно-таки серенького Сашу

Красного. Только после трехсот (приблизительно) граммов водки Заровнюк смекнул, что артист, которого он снимает, очень похож на парня, с которым режиссер прожил около четырех лет. Причем меньше всего было похоже лицо. Были похожи туловище, ноги, руки. Руки же, в особенности, были просто один в один. Жирные сосисочные пальцы, которые не выпускали сигарету. Все жесты и ужимки были совершенно характерные, присущие, как казалось Заровнюку, только его незабвенному другу.

Режиссер сел поодаль, сощурил глазки и смотрит на Красного. Тот активно о чем-то спорит с Дашей. Надо же, голос, манеры и даже так же букву «р» не выговаривает. Водка действует, лица теряют свои очертания, и Заровнюк видит в своем доме того, кто не представлял себе жизни без этого дома и в этом доме никогда больше не появится. Режиссеру становится дурно, он падает, его подхватывает Красный и бережно укладывает на диван. Заровнюк лежит и видит, как руки его друга, совсем как в прежние времена, заботливо укрывают его, гладят по голове, а ему хочется их целовать. Бедный провинциальный мальчик Заровнюк заснул в пьяных светлых мечтах о потерянном рае, который вернется ему с Сашей Красным...

Проснулся режиссер от недвусмысленных звуков. Саша и Даша активно репетировали центральную сцену фильма. «Какая мерзость», — только и пришло в голову Заровнюку. Он был вынужден уволить артистов, несмотря на цейтнот и то, что было отснято не менее трети всего материала.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

В 1974 году Лене Ивановой было 12 лет. Она училась в шестом классе 58-й московской школы. По немецкому языку имела оценку «пять», а по физике — «три», так как физику преподавала препротивнейшая, тупейшая, ненавистная всем завуч Аклима Ваклеевна. Всюду раздавался по школе ее визгливый басок. На своих колесообразных кавалеристских ножках она передвигалась по зданию с огромной скоростью. Ее объясне-

ния на уроках сводились обычно к лаконичным фразам: «Электричество — это так, вот так!». У бедной Леночки Ивановой и была тройка по физике, пока Аклима Ваклеевна не передала класс молодому Борису Эрленовичу, который стал вдохновенно рассказывать детям о теории относительности и всем ставил пятерки. «Понимаете ли, дети, все абсолютно относительно!» Ну а дальше начинались какие-нибудь идиотские беседы «за жизнь», которые нравились девочкам, а мальчики могли заниматься своими делами: плевать из трубок и т. п.

Уже всяк, конечно, и стар и млад, догадался, что Лена Иванова написала Борису Эрленовичу любовную записку. Борис Эрленович, не будь дураком, оставил Лену после уроков и сказал, что так как все относительно, то они пока что еще не подходят друг другу по возрасту, а лет через десять было бы любопытно встретиться. Позднее Лена узнала, что Борис Эрленович уже давно крутит шуры-муры с Аклимой Ваклеевной, потому-то в школе и допускаются всевозможные бесчинства на уроках Бориса Эрленовича.

К сожалению, через десять лет не удалось встретиться Лене Ивановой с Борисом Эрленовичем, но они встретились через двадцать. Тогда-то непорочная душой и телом Лена снова стала приставать к Борису Эрленовичу (ее новому шефу) с гнусными записочками, на кои он цинично отвечал, что теперь она для него слишком стара.

— Да и сами подумайте, Лена, я к своей молоденькой-то любовнице в спальню вхожу только по большой нужде.

— Как это — по большой нужде?

— Да вот так.

Тут Лена впервые задумалась.

ВАННЫ МАРИНЫ КУЗИНОЙ

Марина Кузина однажды твердо решила для себя, что в ванне нужно лежать до тех пор, пока в голову не придет какая-нибудь умная мысль или идея. В связи с этим она стала проводить там почти весь свой досуг.

В недавнем прошлом она решила в ванне спор между ее мужем и молодым гениальным поэтом (естественно, в пользу гениального поэта, и ушла к нему от мужа). Гениальность поэта была в ее глазах неоспоримым фактом, т. к. ей он посвятил множество блистательных стихов. Все они были полны любви и самоиронии. Марина была в восторге.

Вот только с тех пор, как она стала жить с поэтом, он перестал писать «нетленки» и стал работать по ее просьбе бизнесменом. Денег хватало, но Марина была недовольна, что нет стихов. Можно было заставить поэта зарабатывать, но нельзя же человека заставить писать стихи.

Надо было хорошенько подумать, для чего Марина залезла в ванну. Через 84 минуты у нее появилась идея. Поэт активно писал, когда Марина еще была замужем, что доставляло ему неизъяснимые страдания. Значит, нужно было принести ему неизъяснимые страдания.

Марина вылезла из ванны, намазала лицо кремом, оделась, написала записку: «Ушла навсегда», положила ее на стол и без вещей пошла гулять. Зашла к мужу и говорит:

— Я бросила поэта, буду жить с тобой.

Муж стал посылать ее, но она не уходила. Тут позвонил поэт. Марина сама взяла трубку и, сказав пару грубых слов, бросила ее. «Нетленка» была обеспечена. Муж все же таки выгнал Марину, и вечером, придя к поэту, она обнаружила величайшее произведение искусства. С тех пор она стала изменять поэту практически у него на глазах, а потом просила прощения. «Нетленки» сыпались как из рога изобилия.

Встретив очередного друга детства, она загуляла с ним на неделю, а вернувшись, не обнаружила никаких стихов, а лишь саркастическую записочку. Поэт бросил Марину. Он влюбился в другую женщину.

СВОЕОБРАЗИЕ ТЕКУЩЕГО МОМЕНТА

Школьник Тема был влюблен. Весьма экзальтированный мальчик не совсем даже традиционно для современного юноши переживал эту т.н. первую любовь.

Ему в голову не приходило, что можно, например, поцеловать эту девушку. Ему страшно было до нее дотронуться. Он дотронулся все-таки, случайно, именно случайно локтем до ее спины. Это привело к потере сознания. На несколько секунд. Он сидел, и она сделала вид, что не заметила. Признаться в любви, мечтать о взаимности было для него невыносимо. Когда они учились в десятом классе, Теме пришлось покинуть надолго Москву. Его не было года два, а за это время все, разумеется, изменилось. На первых порах он думал о ней не переставая. Вообще-то, он и потом все время о ней думал... Но она была слишком далеко, и, само собой, Тема, будучи уже студентом, влюбился. Влюбился, опять же, до безумия. Но это было уже совсем другое. Тут ему бесконечно хотелось обнимать эту девушку, целоваться. Она имела кое-какой сексуальный опыт, так сказать, набрала в свое время критическую массу. Все это благоприятно сказалось... они поженились.

Тема невероятно дорожил женой. Ужасно боялся ее потерять. Но вот однажды приключилась некая неприятность. В семье объявился триппер. Откуда было ему взяться — все недоумевали, хотя прекрасно понимали, что он приобретен женой. Ну... ничего. Вылечились. Потом Тема как-то обнаружил жену в страстных объятиях одного молодого человека и незаметно удалился — ему было неприятно выяснять отношения. Но еще через какое-то время жена просто привела в дом ужасного дядьку, а Тему выгнала. Он стал рыдать, умоляя не бросать его. Она только смеялась и просто вытолкала его вон. Он не находил себе места, решил уехать и вернулся в Москву. Надо было как-то развеяться.

Он позвонил своей первой любви. Они встретились. И что же? Будто бы он вообще не жил все прошедшее время. Он понял внезапно, что никогда не любил жену, что всю жизнь любит только одноклассницу. И дотронуться до нее, как и прежде, не представлялось возможным. Он приходил к ней домой. Часто. Было ясно, что она влюблена не меньше. Но он молчал. Тогда она сказала:

— Тема! Я знаю... Все это жутко смешно должно прозвучать, но ты же видишь, наши отношения трудно

назвать дружескими. Я никогда не забывала о тебе, и мне ясно, что ты тоже. Нет ничего глупее...

А глупее, правда, мало что можно было придумать, так как закончилось все плачевно.

Тема трахнул девочку, но был шокирован именно тем, что она — не девочка.

— Как ты могла?! Ты говорила, что думала только обо мне! А сама? Я ненавижу тебя!

— Но... Тема! Тебя же не было столько времени! Жизнь же не стоит на месте! У меня только одно дурацкое увлечение и было... Ну... с Лешей...

— С Тарасовым?

Тема почувствовал себя невероятно загаженным. Его переполняло ощущение, что он только что вылез из помойки. Он ушел и никогда в жизни больше не встречался с этой девушкой.

Мне это доподлинно известно.

БРОНЕТРАНСПОРТЕР ИВАНА ШОЛГАТОВА

Я хочу поведать тебе историю, товарищ, и не так чтобы просто тебе, а чтоб целому человечеству... Я хочу рассказать рассказ, и не так чтоб просто, а именно рассказать, чтобы рассказать, а не оставить обычно записанным на бумаге... Оставаясь в твердой памяти с детских лет и до последнего поцелуя, я не жалею ни о каких фрагментах в пройденном своем жизненном пути, за исключением единственного, когда я сорвался в канализационный люк, остановив такое нужное лейтенанту пение. С болью досады я возвращаю память вновь и вновь к тем роковым шагам, приближавшим меня к черному асфальтовому отверстию, пытаюсь повернуть время вспять и не повторить ошибки. Обогнуть или перепрыгнуть этот проклятый люк, оторвавший меня от военной службы с одновременным грохотом и чернотой... Я жгу рукописи, но опять берусь за перо. Чтобы еще раз облачиться в гимнастерку политрука и еще раз поглядеть на маэстро, Маэстро бронепехотной роты лейтенанта Ивана Шолгатова.

В нашем гарнизоне, где я проходил кадровую военную службу, никто толком не умел стрелять из пистолета Макарова. О, не спешите винить командование нашего гарнизона за плохую подготовку личного боевого состава, нет. Что касается автоматов Калашникова или даже пистолетов системы «Стечкин», то у нас всегда были великолепные результаты и с бедра, и лежа, и на бегу — на любой вкус гурмана-наблюдателя. Но вот что касается Макаровых, то нет — и все. Рок какой-то

преследовал гарнизон многие годы. Даже если отличник-стрелок со своим «притертым» оружием переходил к нам на службу, то тут же начинал мазать. Молоко, единицы, в лучшем случае четверки. Наваждение какое-то! Не буду углубляться в космические и потусторонние силы, в которые я уверовал впоследствии на гражданке, нет. Не до субстанций сейчас. А скажу только, что накануне межгарнизонных стрельб подполковник Нестеров устраивал себе командировку куда глаза глядят. И перепоручал весь этот позор майору Долину, который и отдувался за все. Долин прекрасно осознавал, чем закончатся очередные мучения из Макаровых, и уже загодя ходил красный и обзывал «мазлами» и «воронами» всех, кто ему попадался в офицерском общении. Надеюсь, по-видимому, что обидные прозвища вселят уверенность в соревнующихся. Что неверно. Офицеры прекрасно знали про долинские хождения по коридорам и старались не попадаться майору на глаза, чтобы не натолкнуться на грубость. Я же как замполит обычно ходил в такие дни вместе с майором и уговаривал его смягчать выражения. Понятное дело — не действовало. Но долг есть долг. Вот и тогда-то, в тот памятный для меня и, наверное, для майора вечер, мы и познакомились с лейтенантом Шолгатовым. Вчерашним курсантом, только прибывшим по направлению. Диалог был примерно следующим.

— Ворона!

— Никак нет! Разрешите обратиться!.. Лейтенант Шолгатов прибыл для прохождения...

— Ворона!

— Никак нет! Лейтенант Шолгатов...

— А я говорю, ворона! Мазло!

После третьего обзывательства молодой лейтенант молча предъявил документы и отдал честь.

Разъяренный от такого хамства, Долин тут же посадил новичка под арест (о чем, наверное, до сих пор жалеет) и вспомнил про арестованного уже после стрелковых состязаний, во время проводов хохочущих и улюлюкающих офицеров из соседнего гарнизона.

— Выходи, ворона! — скомандовал майор в темную сырую землянку. — Выходи, все промазали, отстреляешь и ты свое, мазло!

Вот тогда Шолгатов и произнес ту самую первую

удивительную фразу, ставшую поворотной для меня, для Долина и для всего гарнизона. И которую я всегда воспроизведу в точности, сколько бы ни сжигал своих рукописей и не переписывал опять. Шолгатов принял ремень, застегнул и улыбнулся, словно бы вышел не из землянки, а из массажного кабинета.

— Товарищ майор, существуют ошибки, причины которых я чувствую, но сейчас не могу объяснить. Если удастся доставить хорошую мелодию на полигон, я не сделаю ни одного промаха.

Долин отреагировал тогда странно, во всяком случае, необычно для кадрового офицера, пораженный то ли уверенным тоном, то ли вожделенным сиянием шолгатовских глаз. Он долго стоял в молчании, покачиваясь на каблуках, долго, минуты две, осматривая невзрачного новичка с головы до ног. Потом расхохотался и бросился в инвентарную, откуда вернулся на полигон для стрельбищ уже с патефоном и пластинками певицы Клавдии Шульженко.

— К стрельбе приступить! — скомандовал Долин, довольно грубо приставив звукоснимающую головку, и ухмыльнулся, предвкушая, как накажет лейтенанта за промахи.

Шолгатов, казалось, уже не обращал внимания ни на кого, он задумчиво передернул затвор Макарова и посмотрел грустными глазами куда-то в небо, морщась и вздрагивая от тресков старой, заезженной пластинки. Мне показалось, у него даже выступила слеза. Лейтенант присел на корточки, посидел полминуты, опираясь сморщенным лбом на невооруженную левую ладонь. Но потом резко встал, и все увидели удивительное превращение: сухощавый паренек с тонкими руками в тяжелой шинели, одетой как будто бы на крест, в единое мгновение преобразился в могучего кадрового ястреба. Раздувающиеся ноздри вдыхали свежий ветер с полигона. Ветер трепал шинель и прядь русских волос. Он вытянул правую руку, которая застыла и больше не дрогнула. И под чудесные обертоны певицы сделал восемь подряд выстрелов в зеленую грудную мишень.

— Лейтенант Шолгатов стрельбу закончил!

Но рапорта мы как бы уже не слышали. Все пули легли в «десятку». Все...

Зазвучала новая песня. Не спрашивая, Шолгатов

выхватил у майора вторую обойму и с другой мишенью сделал то же самое. Потом с третьей. Музыка еще звучала. Кажется, это был «Синий платочек».

— Обойму, майор! — кричал Шолгатов оцепеневшему Долину. — Обойму!

— Больше нет. — Долин не знал, как ответить.

— Обойму, майор! Ты слышишь мелодию?!

Шолгатов бросился, схватил майора за воротник и затряс, напрягая вены на худых руках.

— Обойму, майор! Под такую мелодию нельзя простаивать!

Я бросился высвобождать Долина. Но Шолгатов уже тряс и мотал нас обоих по траве до тех пор, пока музыка не завершилась. После чего обессиленный лейтенант повалился на траву со словами: «Вы не любите искусство». Повалились, обессиленные, и мы.

Уже вечерело, пошел дождь, помню... а мы еще долго лежали на траве, неподвижными глазами уставившись друг на друга. И тонкие дождевые струйки стекали со слипшихся волос на плотные воротники наших шинелей.

— При чем здесь музыка, не понимаю! — подполковник Нестеров, слюнявя палец, ковырял в дырках грудных мишеней, которые мы с Долиным доставили к нему в кабинет. — Но выстрелы, конечно, хороши, — он щелкнул языком, — одна в одну почти что... Так, может, он и без музыки не хуже положить может?

— Мог бы, не стал бы просить патефон, — возразил Долин. И тут же напомнил, что именно он собственноручно доставил патефон на стрельбище.

— Хм, а как же в бою? — прищурился Нестеров. — Проигрыватель таскать за ним, что ли?

— А почему бы и нет? — я с жаром стал защищать шолгатовскую потребность. — Сзади несут проигрыватель, а Шолгатов стреляет. Но это во время атаки...

— Ты, что ли, понесешь?

— Если понадобится, я и понесу. А вообще-то существует множество трансляторов, магнитофоны, плееры. Кроме того... у нас же мотопехота. В бронетранспортере еще и не такое можно установить.

— Ну-ну, понесло, понесло! — Нестеров нахмурился.

— Если на то пошло, то в войсках запевалы назначаются, а не трансляторы.

— К сожалению, товарищ подполковник, я только сейчас стал глубже осознавать причину запевал и вообще музыки в военной истории. Но что касается Шолгатова, то мне кажется, мы имеем дело с тонким даром понимания мелодии. Наши запевалы скорее орут, чем поют. Вот когда приходится быть чуть-чуть дальновиднее, если мы хотим чего-то добиться...

— В конце концов, люди разные бывают, — поддержал меня Долин. — Я знал одного водителя... Ну так он без стакана вообще машину завести не мог. А как примет, то хоть с закрытыми глазами... Вот так и музыка для некоторых.

— Ну понятно, понятно. — Нестеров по-прежнему ковырял мишени, наслаждаясь кучностью и просматривая на свет. — Что за армия? Все с отклонениями... Один без чеснока не засыпает, другому водку подавай, третьему музыку... Вот только руководству ничего такого не позволено... Никаких выходов. Никаких отклонений. Ну, и что предлагаете теперь?

— Досуг музыкальный для начала нужен, товарищ подполковник. Я давно это предлагал. Шолгатова в актив ввести...

— Да, вкус у него есть... — кивнул Долин.

— Ну, вкус, скажем так, у всех есть, — ухмыльнулся Нестеров, — а вот чтоб так стрелять... Ладно, валяйте... Стой!.. — Он все же окликнул меня, когда я за Долиным выходил из кабинета. — Если что, смотри! Погонями ответишь, понял?! Чтоб без дураков!

— Каких дураков, товарищ подполковник?

— А таких, что сам знаешь. Чтоб без разврата, понял? Бардак вместо службы!

— Обижаете, товарищ подполковник, результаты у вас в руках. — И я указал на мишень, с которой он все еще не расставался. — Вот же мишень!

— Я тебе покажу мишень, самодеятельная крыса! — У Нестерова задрожала щека и затряслись губы. — Небось в упор настреляли! Гвоздиками наковыряли, а мне пыль в глаза! Кру-гом! Марш! Стой! И запомни — чтоб без расхлябанности!

— Так точно!

— Что «точно»? Что «точно»? — заорал Нестеров. —

Ни хрена не «точно»! А поймешь, поздно будет! Мне бойцы нужны, а не чудилы с отклонениями!

И Нестеров метнул в меня пресс-папье, да так, что дубовая дверь, которую я успел закрыть за собой, еле выдержала удар, при этом хрустнув. И еще два увесистых предмета шарахнули в дверь следом, когда мы с Долиным сбегали по лестнице. Мы улыбались. Мы хорошо знали Сергея Федоровича Нестерова. Как и то, что подобные метания возникают в минуты вдохновения, которые испытывал подполковник в предчувствии хороших перемен. Мы с Долиным выбежали на воздух, пожали друг другу руки и разошлись.

Шолгатова я разыскал в офицерском общежитии и очень долго не мог приступить к разговору, потому что он попросту меня не замечал. Хотя мы и находились вдвоем в одной комнате. Лейтенант не услышал приветствия, не видел и меня, хотя и глядел явно в мою сторону, заставляя ждать, отчего становилось неловко и как-то не по себе. С расстегнутым воротником гимнастерки он вглядывался в мою сторону, но через меня, как сквозь туман, и шурился, простирая руку, словно бы предлагая отойти, чтобы рассмотреть что-то далекое-далекое сзади.

— Здравствуйте, Ваня, — я наконец снял фуражку, подошел и положил фуражку рядом на стол.

— Ах, это вы... извините... Я как-то... Сейчас-сейчас! — Он энергично натирал виски.

— Заснули, Ваня?

— Нет-нет... Наоборот... Явь... самая настоящая явь... Как бы это вам объяснить... Вы слышите, как соловей поет?

— Нет.

Я действительно не слышал никакого соловья. А за окном в это время гремели гусеничные орудия.

— Действительно очень трудно, замполит, в таком шуме услышать соловья. В некоторых случаях сам себе придумываешь это пение, уйдешь в собственную выдумку и следуешь, следуешь ей, и вот кажется, что все вокруг это же слышат. Только вот не слышат, потому что ты сам себе это пение придумал. А как нужна натуральная природная гармония! Она для всех и куда чище! Куда живительней! Я, помню, курсантом под

живого зяблика сорок один раз подтянулся. А так — только двадцать четыре...

Я смотрел на него, и мне не верилось. На вид Иван Шолгатов был очень невзрачен, сероват, даже с недоразвитой мускулатурой, куда уж там двадцать четыре раза?

— Иван, простите, но птичье пение — это как бы совсем не то, не то чтобы музыка, а я пришел как раз по вопросу...

— Все музыка, замполит, — возразил Шолгатов. — Все музыка, что природа. И все, что искусство, — музыка. И наоборот. Да и архитектура, и живопись — все музыка. Только когда без подделки, без фальши, как и природа. Иной раз и оружие выполнено так, как будто сама природа дополнила кисть руки или там ложбинку завершила между холмиками удачной конструкцией... Только не этой вот, — лейтенант покривился в сторону старой самоходки, которая в этот момент громыхала за окном.

— Так, значит, тогда на стрельбищах, в тот вечер вам не обязательно... именно романсы Шульженко...

— О, да ради бога, ради бога... конечно, не обязательно. Если бы, скажем, майор Долин хорошо знал стихи или вы как следует танцевали, да будь вы просто во фраке, то и это стоило бы... Тоже музыка в переносном смысле. Выстрелы бы получились не хуже.

— А я уж было... — у меня аж закололо в висках от неготовности восприятия тонкости и масштабности рассуждений. — А мы были у Нестерова, обсуждали как раз этот вопрос насчет музыки...

Шолгатов улыбнулся, увидав мое замешательство, взял за локоть и подвел к картине, висевшей на стене.

— Вот репродукция картины. Всмотритесь внимательно... О чем она вам говорит?

— Ну, Глазунов, — буркнул я исподлобья (что там греха таить, больше не мог ничего сказать без подготовки).

— Глазунов, Глазунов... — Шолгатов опустил голову и даже обиделся за этот короткий ответ. — Глазунов. Вот и все, что мы часто отвечаем о картине и о художниках.

Но вдруг он вскинул голову, взмахнув русоволосым

чубчиком, и, сильно сжав мой локоть, приблизил к глянцевої поверхности репродукции.

Я сразу почувствовал, как вместе с горячей речью и дыханием стала нагреваться его рука. Мне не удалось осознать всех предложений вдохновенно построенной Шолгатовым речи, но и немногих хватило бы на долгие месяцы детального анализа. Сознание просто тонуло в живительной искрящейся силе шолгатовского словесного водопада. Никто и никогда о картинах так больше не говорил. Иван то кричал, то переходил на горячий шепот, негодуя, что я не поспеваю за его быстрой мыслью, то вдруг о чем-то спрашивал и отвечал за меня, хлопая по щекам, если я ослаблял внимание. Я не почувствовал того момента, когда картина, преобразившись, приобрела трехмерность. И мы с лейтенантом оказались внутри этого мира, созданного художником, шагая по написанным равнинам и созерцая людей, то вдруг полетели самолетами среди облаков, уже настоящих облаков, наблюдая друг друга через дымку, то вдруг весь гарнизон с высоты птичьего полета, то бросая взгляд назад на самих же себя, стоящих и обсуждающих картину в комнате офицерского общежития. Я запомнил себя, обхватившего голову руками, и Шолгатова, кружившего по комнате и вокруг стола. Вдруг он присел. Его рука забарабанила по столу от избытка энергии. Но вот он схватил карандаш, лист бумаги и быстро-быстро что-то стал рисовать, не глядя на белый лист, а устремив взгляд на репродукцию, которая переросла в пространство.

— Вот что я думаю о картине, замполит, — резанула фраза. И мы опять очутились в комнате.

Остывая, как будто выпуская из себя воздух, Шолгатов поставил точку на белом листе бумаги, сломал и выкинул карандаш. У меня кружилась голова, и я хотел было выйти, но ахнул, бросив взгляд на оставшийся листок, на котором он рисовал только что. На листе получилась точная топографическая карта местности, которую, кроме Нестерова, Долина и меня, никому не полагалось знать в гарнизоне...

— Откуда, Ваня? — я испугался не на шутку, мне действительно стало не по себе.

— Я так сразу не могу тебе объяснить, ну хочешь, так понимай... картиной навеяло. Настоящая картина

позволяет увидеть и додумать и не такое... Мы еще вернемся к этому разговору, замполит...

— Получилась секретная картина. До понедельника, Ваня, тебе этой карты знать не положено...

Я переминался с ноги на ногу, не зная, как действовать в сложившейся ситуации.

— Ладно... извини. Сейчас позабудем!

Он улыбнулся и резкими красивыми движениями разорвал листок на шестнадцать одинаковых кусочков.

— Сейчас позабудем!

Потом сильно и сознательно ударился головой о стену и повалился на кушетку. Я извинился и тихо вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Меня всегда возмущало нежелание наших солдат посещать гарнизонный клуб. Мне даже казалось, что «губа» для них гораздо более приемлемое место для проведения досуга. Корни такого отношения к клубу понятны, если вспомнить наше с вами детство, школу и вообще подростковые годы. Я согласен со многими методологами, утверждающими, что отношение к литературе и живописи или к художественной самодеятельности у нас прививается неверное. Связано это, очевидно, с непродуманностью школьных программ. А результат всем известен. Мой двор, где я проводил отрочество, был весьма типичен, то есть не был исключением. Ну и для мальчишки (помните?) считалось позорным записаться в танцевальный кружок или, скажем, научиться играть на фортепиано, вместо того чтобы играть в футбол, как все, драться и чинить мопеды. Я укоряю себя в лицемерии, вспоминая, как, следуя мальчишеским дворовым кодексам, лупил вместе со всеми соседского сына-скрипача, хотя по вечерам втихаря получал наслаждение от его скрипки. Я всегда ликовал в душе, когда родители брали меня с собой на оперетту, хотя внешне капризничал, кричал и сопротивлялся. Потом, конечно, в офицерском училище, настоящая натура взяла свое. Но, уверяю вас, чтобы застывший творческий дар проявился, нужны годы и еще раз годы. Понятное дело, никто из офицеров нашего гарнизона не культивировал клуб, кроме меня, которому, как замполиту, это вменялось в обязанность. И все они сочувственно козыряли, когда я отправлялся туда проводить занятия. Но на самом деле я им сочув-

ствовал. Я любил клуб. Любил по-настоящему, начиная с раздевалки и кончая дошатою сценой. Любил зал и всегда испытывал трепетное ощущение, которое возникало во время поднятия занавеса или когда звучали слова конферансье: «А сейчас состоится спектакль...». И всегда переживал, что загруженность по неотложным делам службы не позволяет мне как следует заняться репетициями и создать самому действительно хорошую постановку, выявив наиболее талантливых солдат-исполнителей в нашем гарнизоне. Но после последних общений с лейтенантом Шолгатовым я окончательно утвердился в одном. Надо идти в клуб. И смотрел на это здание с четырьмя толстыми колоннами уже не как на место развлечения и предмет ухмылок большинства кадровиков и новобранцев, а как на объект военной важности, полигон или, если хотите, офицерский штаб. Я шел в гарнизонный клуб репетировать. Но я шел работать. И офицерская гордость приходила на смену дурацкому состоянию неудобства, которое я испытывал когда-то под усмешками минеров, танкистов, автоматчиков и других представителей военных профессий нашего гарнизона.

В тот день была назначена последняя репетиция спектакля накануне премьеры, который ставился силами гарнизонной самодеятельности. Это была, помню, «Бесприданница» Островского. У меня не было времени как следует заняться спектаклем, поэтому репетировали солдаты сами. Делали это нехотя и плохо знали слова. Самое страшное, что я обнаружил, «дедовщина», оказывается, проникла и на подмости. «Деды» вместо того, чтобы учить мизансцены, заставляли «актеров», что помоложе, читать свой текст с гильзой во рту, дескать, для «улучшения дикции». Я наказал прапорщика, игравшего главную роль, назначил сутки ареста с момента, как закончится премьеры. И, проведя репетицию, заставил его пять или шесть раз проштудировать главный монолог, при этом марширующего, удалив, разумеется, новобранцев, чтобы не унижать прапорщика в их глазах. Я закончил репетицию и собрался было уходить, как вдруг заметил Шолгатова. Он сидел на галерке, закутавшись в шинель, и неподвижным взглядом наблюдал за происходящим.

— Ну как? — поинтересовался я, поднялся и подсел рядом. — Что посоветуешь?

— Видишь ли, замполит, — начал Шолгатов, не сводя глаз со сцены, — я, конечно, мог бы поправить кое-что по мелочам, подчистить детали, но это спектакль не спасет. А здесь надо все перекраивать, если по-хорошему. Главная ошибка — прапорщик. Он главную роль не потянет.

— Наверное, это правда, только видишь ли... кем располагаю, с теми и работаю. А других нет.

— Нет?! Ты что говоришь, замполит? У тебя же целый гарнизон! Понимаешь, гарнизон! Другие есть. Есть. Если поискать, конечно... Я сегодня двух автоматчиков на БТР принял. Новобранцы. Совсем зеленые. А какие актеры! Какие глаза — ты бы видел! У одного поначалу руки тряслись: обычная история, не знал куда девать руки. А как полный «рожок» вставил и как двинул по местности... Ты бы видел пластику, замполит! По дереву белкой, по ручью — рыбой, что называется. Перевоплотился! Я даже и не командовал, одним взглядом руководил. Молодец какой!

— Ваня... все опять было под музыку?

— Да... под скрипача. Долин доставил. В общем... Я вот к чему... Отдай мне «Бесприданницу», замполит! — Шолгатов перешел на горячий шепот. — Отдай, какая разница, кто режиссер, не губи текст. Ты пойми — это же клуб. Весь гарнизон смотреть будет. Разве же можно так халатно перед целым гарнизоном...

— Я бы рад, но уже отбой, а завтра премьера. Где же ты раньше-то...

— А, черт, действительно поздногато, — Шолгатов закрыл лицо ладонями и задумался на минуту. Но потом вскочил, вырвал у меня томик Островского и убежал к себе.

Всю эту ночь перед премьерой я провел в беспокойстве, сожалея, что разбрасывался и не мог уделить время спектаклю. Шолгатовское напоминание, что спектакль будет смотреть весь гарнизон, прозвучало для меня целым приговором. Оставалось надеяться, что зал будет пуст, как это бывало в прежние представления гарнизонной самодеятельности. А команды на обязательное посещение Нестеров не давал. Однако надежды мои начали таять на другой день, когда по-

явились новости об успехах шолгатовского боевого экипажа и о том, что все это тесно переплетено с художественным творчеством. За несколько часов до премьеры я почувствовал небывалый интерес к спектаклю среди офицеров, чего никогда не случалось. А за полчаса до начала возле входа скопилась целая толпа, спрашивая лишний билетик.

Сам Нестеров с женой подрулил ко входу минут за пять до начала и уселся в балконной ложе, окликнув меня как режиссера:

— Ну как, увидим что-нибудь?

Я покраснел. Хотелось провалиться сквозь землю. По большому счету смотреть сегодня было нечего. А зал был переполнен, и спектакль начался. Актеры, хоть и успели выучить слова, играли плохо. Я стал значительно требовательнее к себе и другим после разговора с Шолгатовым. И теперь мне было стыдно смотреть, как неуклюже двигался прапорщик по сцене, не знал, куда девать руки и прочее. А от него так много зависело, ведь он играл главную роль! Другие актеры действовали не намного лучше. И если бы не обилие звуковой фонограммы, которая немного сглаживала впечатление, то можно было вставать и уходить из зала. Я видел, как хмурится Нестеров, как равнодушно зевает Долин...

Но больше всего мне почему-то было стыдно пред лейтенантом Шолгатовым, человеком, который действительно понимает дело и для которого, должно быть, моя «Бесприданница» была просто настоящей пыткой. Шолгатов сидел в окружении своего боевого экипажа, закрыв глаза руками, и вздрагивал от каждой ошибки и постановочной шероховатости. Я чувствовал, как каждая клеточка его болела от происходящей халтуры. Не в лучшем настроении был и весь его экипаж. Но вдруг... То, что случилось во время второго действия, не знает история ни отечественного, ни зарубежного театров. И я, клянусь, не увидел ничего подобного впоследствии на гражданке, хотя и посещаю театры аккуратно каждый день. То, что произошло, я для себя зафиксировал как открытие. И назову его «методом Шолгатова», если когда-нибудь соберусь написать книгу о театральном искусстве. Иван вскочил, помню, с криком: «Подержи!», бросил мне шинель, пробежал

мимо меня. И в несколько секунд очутился на сцене. Он оттолкнул прапорщика, прикрикнул на других актеров и сам начал играть главную роль! Да так, что зал замер. Все прекратили курить и переговариваться, а наблюдали теперь только за действием. Спектакль ожил. Жена Нестерова даже выронила мороженое на кого-то из офицеров. Но тот даже не обратил внимания, увлекшись зрелищем, повторяя губами фразы, ставшие магическими в шолгатовском исполнении. Иван то плакал, то смеялся, то кричал и давал столько оттенков создаваемому образу, что с лихвой компенсировал своим мастерством недостатки остальных нерадивых участников. Постепенно члены его боевого экипажа стали выбегать на сцену, вытесняя прежних актеров, и под финал весь сыгранный экипаж в полном составе дал почувствовать всему гарнизону, что такое настоящий успех.

— Bravo!!! — вскочили солдаты и офицеры как по команде.

— Bravo!!! — кричал Нестеров. Он замахал руками, швыряя на сцену то цветы, то портсигары, то фуражки и все, что попадалось под руку. Он всегда так делал в минуты хорошего расположения духа. И даже попал сапогом в голову шолгатовскому механику-водителю, сыгравшему вторую роль. Но тот даже не шелохнулся, а только улыбался и продолжал кланяться публике, набираясь экстазного ощущения от успеха. Публика рукоплескала, вызывая актеров еще и еще. Но вот Шолгатов спустился с подмостков, под всеобщий рев одобрения взял меня за руку и вывел на сцену, несмотря на мои сопротивления. В свете софитов, как в лучах славы, мы стояли вместе с лейтенантом Иваном Шолгатовым.

— Ты заслужил это, замполит, — шептал Ваня. — Поправлять постановку все же легче, чем начинать с нуля.

Я был в душе очень благодарен лейтенанту за такую поддержку и тут же мысленно принял решение попроситься к нему в бронетранспортер, под его командование, хоть я и был званием старше.

— Я согласен, — ответил Шолгатов и улыбнулся.

— Ты еще и телепат? — удивился я.

— Нет, просто в такие минуты я многое вижу и очень хорошо чувствую.

Триумф «Бесприданницы» явился переломным моментом в жизни всего гарнизона. Служба пошла. Пошла, закрутилась, как в вихре вальса, в котором каждое движение просчитано в такт музыке. Боевые успехи росли на глазах у всех, кто мало-мальски приближался к прекрасному. От хозяйственников и поваров до танкистов и гранатометчиков, которые под звуки балалайки лушили макеты, как подсолнечные семена. От слов «художественная самодеятельность» веяло чем-то грозным, в том числе и для других гарнизонов. На стрельбах нам равных не было, а что касается физической подготовки, то мне запомнилось скандальное разбирательство после того, как наши ложечники-пехотинцы, действуя в такт и с прихлопом, измордовали заезжих хамовитых десантников. Уже и сам Нестеров, не стесняясь, перелистывал томик Пушкина, если не швырялся им в минуты хорошего расположения духа. А Долин настолько старался дотянуться до Шолгатова, что как-то перед праздником украсил гирляндами все бронетранспортеры гарнизонного парка. И чуть не запил после того, как Шолгатов, обрывая гирлянды, обозвал инициативу майора «вчерашним вкусом».

— Вспомните пианиста Горовица! — кричал Иван обескураженному Долину, залезая в люк своей машины. — Во время концерта не должно быть ничего лишнего! Даже шнурки на ботинках, чтобы не зацепиться, ограниченной длины. Так и на службе. Искусство не в том, чтобы бряцать гирляндами, а в том, чтобы поразить противника. Цените не себя в искусстве, а искусство в себе, майор! Другое дело, если именно вам в этом гирлянды помогают! Но зачем же другим их навязывать?!

Очень скоро сложилось, что никто из офицерских чинов не чувствовал морального права что-нибудь приказать Шолгатову. Ему не выдавали заданий. Он находил их себе сам. И поступал всегда правильно, как отмечал Нестеров уже задним решением. Шолгатов уничтожал объекты раньше, чем это Нестерову приходило в голову. На что подполковник поначалу обижал-

ся, а потом махал руками по обычаю, доверяясь гармонии лейтенанта в согласовании положения вещей.

Меня же и Нестеров, и Долин довольно сильно ревновали к Шолгатову, когда я пропадал в составе его экипажа. Придумывали какую-нибудь дурацкую работу и устраивали «нагоняй», что, дескать, забываю обязанности замполита. Хотя, что такое обязанности замполита, когда гарнизон дышит исправно, как клавишный синтезатор, не объяснял никто. Скорее всего, это была зависть к состоянию, моему состоянию, которое я испытывал после очередного моторизованного броска. И всякий раз они спрашивали меня, как действовали автоматчики, удобно ли скрипачу внутри бронепространства и не мешает ли фрак и бабочка командиру экипажа Шолгатову в тех случаях, когда придется вылезать из машины и действовать врукопашную? А такое, между прочим, бывало, и не раз. Лейтенант в этих случаях оставлял скрипача на полкорпуса в люке. Сам же шел впереди экипажа в атаку на неприятеля, развеивая на ветру фалды черного фрака. Его бесстрашные действия были безупречны. А захват худыми руками в белых перчатках — смертелен. Он отказался от повышения в звании, которое ему предлагали досрочно, мотивируя это тем, что он еще не успел сделать свою «нетленку», а в минуту откровения поделился некоторыми мыслями со мной по этому поводу в офицерском общежитии.

— Видишь ли, замполит, не звания должны приходить, признание. Что толку от этих звездочек, если тебя знают всего-навсего в нескольких гарнизонах. Всеобщее признание — вот чего надо добиваться. Даже медали, мне иногда кажется, ни к чему! Что толку напялить и бряцать ими, если наши гарнизонные карнавалы, которые мы устраиваем, до того безвкусные, что даже чужим себя чувствуешь. Зато все в медалях! Вот давеча Долин... Нацепил маску «мистера Икс». При этом на нем мундир. Двенадцать медалей и майорские погоны. Ну какой это к черту «мистер Икс»? Или взять прапорщика, того, что в «Бесприданнице» плохо сыграл. На неделе получил медаль «За отвагу». А в следующую ночь взял отделение — и в разведку! Медаль начистил, блестит за километр! Ну и всех выдал. Медали, друг мой, надо уметь носить. Я, например, до

сих пор сам не уверен, что умею носить медали. Да и, честно говоря, не нравятся они мне. Как-то без выдумки штампуют. Ты видел когда-нибудь по-настоящему красивую медаль? Желтые какие-то все, круглые, скучные. И названия-то какие... «За взятие», «За оборону». Словно ты что-то взял или не дал, а тебе за это медаль. Ты — мне, я — тебе. Торговля какая-то, тьфу! Ну, а что касается званий, то вот еще... Неблагозвучные они, замполит! Медведь на ухо наступил тому, кто их придумал! Например, «прапорщик» — фу-у! Звучит как «оборванец». Или вот «подполковник»! Еле выговоришь, зачем мне такое звание? Да и лейтенант, если на то пошло... тоже в песню не вставишь... Лучше уж вообще без званий, чем так...

— Маэстро! — улыбнулся я и поднял рюмку.

— А вот за это — спасибо! — Шолгатов был глубоко тронут. Подлил себе и мне и выпил залпом, оттопырив мизинец и высоко приподнимая локоть правой руки.

Свинцовые северные тучи, заволакивая небо, опускали тяжелую густую тень на всю местность, прилегающую к бетонной дороге, по которой двигалась бронированная автоколонна. Горе автолюбителю, оказавшемуся на встречном пути! Или зазевавшемуся природолюбу, который сейчас бросил на дороге автомобиль, чтобы углубиться в запахи полевых ароматов, и забыв о том, что прежде всего надо свернуть на обочину. А иной раз лихач-любитель, обгоняя боевые машины по узкой бетонной дороге, не рассчитывает длину и скоростные возможности колонны... Разгонится, да и не обгонит! Так и затешется посреди громяющих форсированных бронегигантов. И долго будет, заблокированный, метаться и жалобно сигналить он никому не нужным городским сигналом, заглушаемым гусеничным рокотом и гулом дизельмоторов впереди и сзади идущих бронемашин. И только клиновидные крылья да пулеметные турели будет видеть он, а не дорогу. Да равнодушные глаза механика-водителя задней машины. Который строго соблюдает на марше заданный интервал.

Но вот по команде остановится колонна. Резко. Как вкопанная. Так не умеют на гражданке. И врезаются «Жигули» во впереди идущую боевую машину, прямо в те самые клиновидные крылья, которые долго мая-

чили, убаяюквивая защитным цветом, и теперь пропадают вместе с туманом в глазах самонадеянного автолюбителя.

А потом снова прозвучит команда из головной машины. Снова тронется тяжелая колонна, и подминается разбитая легковая жестянка уже сзади идущей бронетехникой. И опустится пыль и мазутная копоть на грудь искореженного металлолома. «Ценность — категория относительная», — скажет философ.

— Долго! Очень долго отсутствуешь, замполит! — Шолгатов хмуро посмотрел на часы, потом на небо. И скомандовал механику-водителю: «Трогай!» — после того, как я опустился в люк. Вся колонна двинулась за нашей головной машиной, набирая обороты. А я уселся у тридцатимиллиметрового орудия, переживая, что непозволительно задерживаю марш-бросок. Я с самого раннего утра не испытывал вдохновения и несколько раз покидал бронетранспортер, чтобы побродить среди цветов, при этом останавливая всю колонну.

Лейтенант внимательно посмотрел на меня, потрогал мой лоб тонкими пальцами, сняв перчатку, потом повернулся к скрипачу и сделал жест руками на дирижерском языке, указав в мою сторону.

— Анданте? — переспросил скрипач.

Шолгатов кивнул, и зазвучал Оффенбах, после которого мне стало немного полегче.

Постепенно бронемашина Шолгатова набирала скорость и уходила, отрываясь от остальных. Так лейтенант поступал всегда, чувствуя близость заданного объекта, а до города было уже рукой подать. Иван Шолгатов предпочитал действовать обособленно, так как на городских трассах одинокий бронетранспортер меньше привлекал внимания, чем несколько, не говоря уже о всей колонне. Так всегда есть возможность оставаться незамеченным долго-долго, прикрываясь каким-нибудь автобусом. Следуя за ним по маршруту или же подталкивая его, как мы обычно делали, чтобы вывести из оцепенения автобусного водителя, когда он делал ненужные остановки.

Я, как и любой из бойцов нашего экипажа, любил новые города. Любил наблюдать в перекрестье прицела архитектурные сооружения, памятники, торговые вывески или просто дома. Но больше всего мне нравилось вглядываться в лица людей. Когда работаешь с даль-

номером, особенно точно определяешь характеры по мимике, одежде и иным деталям. Разумеется, пока мы не разгонялись до «крейсерской» скорости, когда все мелькает, и охватывать приходится не в деталях, а в общем. Мои товарищи по экипажу делали то же самое, прильнув каждый к прикладу, сосредоточенно глядя в автоматное гнездо.

На этот раз на смену бетонке пришелся булыжник, когда наша машина, громыхая, ворвалась в город. И весь экипаж завибрировал мелкой дробью, при которой предметы приобретали размытые очертания. «Ин-тродукция и рондо каприччиозо», которую скрипач успешно развивал на бетонке... от нее не осталось и следа при переходе на булыжную мостовую. Шолгатов сорвал перчатки, показывая знаком скрипачу, что такое он не может слушать. Мне же захотелось покинуть броневик еще раз. В это время заработала рация. Шла трансляция с гарнизонной радиостанции. Послышалось пение. Высокий тенор.

— Выключи, — скривился Шолгатов, — это Долин. Только эфир засоряет. — И велел скрипачу перебираться на «стаккатто». Остальные же участники экипажа добавляли себе бодрости одновременным реперным «Эгей!».

— Неисправная булыжная дорога гораздо хуже, чем переправа по болоту, — кричал Шолгатов, пытаясь говорить речитативом, чтобы быть понятным через музыку и грохот. — Когда медленно вязнешь — вагон времени на раздумья. А так — черт-те что! Концерт Сарасате! Фортиссимо, умоляю тебя, скрипач!

Седой скрипач, развевая космы, водил смычком, пропадая в тумане собранной пыли, что скопилась на металлическом днище. И теперь поднималась от булыжной вибрации, затрудняя внутреннюю видимость и язык жестов, который так необходим людям, постигающим дирижерскую грамотность. Несмотря на плохую дорогу, мы продолжали лететь, как птица, и постовые успевали сбегать с перекрестков, проявляя уважение к нам, как к «скорой помощи», что, пренебрегая правилами и торжествуя сиреной, летит по городу, сметая все на своем пути. После каждой колдобины на неисправной булыжной дороге весь экипаж синхронным локомотивным движением подавался вперед. Но ни один ствол автомата не утратил своего горизонталь-

ного положения, и лишь только объекты размывались в прицелах от этих толчков и сумасшедшей вибрации, которая не прекращалась.

Концерт Сарасате набирал свою кульминацию. И пение струн, как нервы бойцов, звучало ровно там, где громыал броневик.

Концерт Сарасате — и тысяча затаила дыхание. Это соло смертника. Это — когда полный зал. Сарасате играет в последний раз. И это не концерт Сарасате, если скрипач раскланивается. Он доиграл, но он Его не сыграл. Но если скрипач упал. Если истерика в зале. Пена изо рта. Конвульсии, а не поклон... Овации! Он сыграл Сарасате! Встали! И готовится следующий, забыв про сон, как это делал Он. (Смерть не принимает халтуры. Ей нужны вдохновение и самоотдача.) «Лишь бы не лопнула струна» — вот единственное опасение Гения. «Лишь бы не лопнула струна», — повторяют софиты и тысячи горящих глаз. Сарасате звучит, но мы назовем его «Сарасате» только после развязки. А пока — «Лишь бы не лопнула струна»...

Вдруг Шолгатов захохотал. Как всегда с ним бывало, когда удавалось нащупать ритм среди хаоса автоколебаний. Его глаза загорелись сквозь сладковатую пороховую дымку и пыль. Он дал последние указания скрипачу, натянул перчатки и поправил бабочку, что предвещало «Фермато» для всех наших импровизаций. Раз! И раздавленная кошка остается за колесами, выпуская темную кровь. В такие мгновения у механика-водителя начинался оргазм. Вот и сейчас он застонал, задвигал плечами, но руки его по-прежнему уверенно перемещали рычаги шолгатовской бронемашины. Последний поворот был крутоват для такой скорости, но и с ним механик блестяще справился. И только слышно было, как стекла да алюминиевые палочки посыпались по корпусу машины. Видимо, все, что осталось от галантерейного киоска, который пришлось зацепить при развороте на финишную улицу. Вот наконец показался желанный угол аптеки. Непонятный флаг и трое неприятелей, что тусовались с флагом. Шолгатов поправил набриолиненный пробор, хрустнул пальцами и приложился к черному кожану пулемета. Одна очередь... Вторая... Но что это? Такого никогда не было! Двое исчезли в переулке. И только один зашатался, упал. Ошеломленный механик резко оста-

новился. Послышался лязг милицейской «Волги», что спешила все время за нами. После чего в бронетранспортере Ивана Шолгатова воцарилась гробовая тишина. И только слышно было, как тяжело дышал скрипач, пытаясь приладить струну, что оторвалась перед выстрелами... Да повизгивал конопатый автоматчик, которому отскочившей гильзой разбило губу. Случился промах. Никто ничего не говорил.

— Я... я сейчас! Я исправлюсь! — засуетился скрипач, доставая какие-то плоскогубцы, то хватая, то выпуская струну, испуганно озираясь на боевых товарищей.

— Вот тебе, — прошептал Шолгатов. Сломал смычок и полез из люка.

— Можно и я с тобой? — попросил я.

Шолгатов кивнул, не отвечая. И бросился в переулок, куда только что скрылись неприятели, держа наготове свой Макаров, из которого он пока еще не промахивался.

Метров через сто только я понял, что лейтенант плачет. То, что он позволил увидеть свою слабость, говорило о доверии, исключительном доверии, которое он питал не к кому-то другому, а ко мне. И я бежал теперь не как свидетель досадного промаха, а как друг. От которого маэстро ожидал поддержки, поворачивая в слезах лицо и командуя «вперед» тихим, грудным, не своим голосом.

И я запел, понимая, что многое могу и многое должен. Запел, поспевая за черным фраком командира, набирающего темп под недружелюбными взглядами из окон ничего не понимающих обывателей. Так и бежали мы вдвоем долго. По булыжной мостовой пустынного переулка. Молодой лейтенант во фраке с пистолетом в правой вытянутой руке. И поющий замполит с автоматом Калашникова.

Когда я очнулся, я помню, ничего не видел, кроме круглого светлого отверстия где-то высоко-высоко в зените. А кроме этого, была сплошная чернота и сырость. И еще непроходящая боль с грохотом в голове...

— Люди! Где же вы? Люди! — закричал я, заклиная о помощи. Я начал стрелять вверх в надежде привлечь внимание сердобольных. Пули вылетали из канализационного люка одна за другой. Но так никто и не поспешил мне на помощь. Никто.

ИГНАТИЧ

Был в моей молодости, как раз той, откуда лучше всего, кто собирался, беречь честь, такой загиб. Я вылетел из строительного института и, не долетя до вокального факультета ГИТИСа, который потом успешно закончил, занялся левым (тогда так называлось) промыслом по перетяжке биллиардных столов.

Все вышло просто: не отсачковав двух семестров по профилю, соблазнившему больше всего ничтожным входным конкурсом, я понял, что для меня это — «типичное не то». А «то» — сидело в том, что я с детства слегка бренчал на гитаре, а главное, был одержим несносной манией, как выразился один милиционер, пресекавший на улице после одиннадцати мой фигурный свист, «издавать звуки». То бишь именно свистеть, петь — не во всю глотку, так в нос — где ни попадя: в ванной, на уроке, в транспорте, даже под горячей рукой матери — наверное, так хорошо, что еще вечно с доложением на бис сверх одной порции...

Кстати, теперь, отпев почти червонец на профессиональной сцене, ловлю себя на том, что избавился напрочь от этой несуразной страсти. Да и у нас в театре не помню случая, чтоб кто-то распелся не по заказу, от души, зазря, — хотя мы пользуемся исправным спросом и у нас, и (что важней) в проклятом зарубежье.

Говорю так потому, что для нас, при наших нищенских окладах, этот тароватый зарубеж, единственный канал обогащения, на самом деле прорастает в какое-то проклятье. Все страсти, пораженные канальским ин-

тересом, только и кипят вокруг. Стыдно признаться, но мы, как заправские менялы, лучше сведущи в текущем спросе миланской барахолки, чем в достижениях того же недоступного нашим тощим портмоне «Ла Скала». Да что «Ла Скала»! Я порой дивлюсь, как еще ухитрюсь достигать чего-то сами, варя в гостиницах, чтобы не издержать ни цента зря, на кипятильниках всякую отраву, на почве чего у половины труппы язва...

Ну, а тогда я пел взалхлеб, но, как ни странно, не считал, что это легкомысленное, несостоятельное даже против одного милиционера увлечение может действительно служить профессией. И потому, еще имея какой-то вкус к мастеровитости в руках, и ринулся в строители.

Но нестойкий выбор уже в зародыше был подсечен судьбой. Вскорости один обязательный на курсе, как второгодник в классе, переросток затащил меня в миллиардную парка Горького, где я живо продул ему всю карманную наличность, да и залип сперва на все послеурочные, а затем и урочные часы.

На блатном языке этот длинный, грязно-зеленый с улицы ангар без окон (так и хочется сказать: без дверей, поскольку вход туда, как в мышеловку, прост, а выход труден) назывался Академией. Внутри имелись три ряда в разной степени разбитых злостной денежной игрой столов и царила атмосфера гулкой замкнутости с табачным дымом и людской разноголосицей, переходящей местами из выяснительных нескладиц в разрывную брань.

Блатной язык вообще остер, зауженный, как сам сугубый мир его носителей, донельзя. Особенно ж горазд до тех явлений и издержек естества, перед которыми стыдливо тупится дар общепроезжей речи, тут самая его обочина! Мог сочинить такое прозвище — кликуху, — что не оттереть песком. И впрямь: все эти *крысы, мыльницы, задроченные, холодильники, вампиры, партизаны*, — аферисты и жучки, с которыми я постепенно перезнался, были настолько вылитыми, даже сказать, влитыми в слово, будто не только оно подбиралось под типаж, но и тот уже остаток жизни работал встречно, на довоплощение образа.

Можно было незнающего с улицы послать за тем

же старцем Партизаном, и он без труда б угадал из кучи обитателей шибко потертого на мелколесье трехрублевых игр папашу с двурушной, искося, оглядкой жертвы и разбойника одновременно, рыщущего в поиске легких партнеров — «фраеров», своей особой, партизанской сапой. Или его ровесник Пионер — шибзик с треугольным алым носом, снабжавшим пенсионное обличье глупостью какого-то неовзрослевшего младенца, перед которым всяк мнил себя чертом и думал, что проглотить легко, — его заманка под захожих простофиль...

Про Пионера существовала легенда, каких вообще по Академии, как полагается, ходило множество. Шел еще тех, довоенных, незапамятных лет пионеротряд на какой-то свой слет или макулатурный сбор, под барабан и дудку; один малец, не удержась, свернул пописать — да так и остался до седых волос с кликухой и всегда готовым, чуть не в лапу дело, недержаньем пужыря.

Конечно, в этом мифотворчестве, идущем от жульнической необходимости скрываться, как от улики, от своего действительного под кликухой, всякой липовой и мнимой образностью, — и с прокурором не расплести б, что ложь, что выдумка. Но каков оракул языка, провидевший еще когда, что явятся и минут войны, культы, оттепели, съезды и разъезды, — и только жизнь спустя, к шестидесяти, шнобель бродяги достигнет выдающегося сходства с пионерским галстуком!

И саркастическое званье Академии, с пояснительной добавкой для невежд: «Чего?» — «Наук!» — этот притон светил и темнил лихой игры носил не зря. Водились там игроки-исполнители такой руки, что не будь тогда их искусство в криминале, наверняка достигли бы самых радужных признаний и орбит. А вынуждены были гробить руку нарочитым, для кривых побед, занижением планки в своем замкнутом кругу, только, увы, и способном оценить их рейтинги по классу.

Первой, единственной и неповторимой звездой круга был Левон, симпатичный армянистый толстячок с горячей кровью своих диких и давно забытых гор. Единственный уже тем, что восхищение блатных его игрой присвоило ему, как исключительную честь, право ношения взамен кликухи собственного имени.

И миф его, хоть и в таком продувном деле, как игра, был натуральный миф, не вымороченный, продукт не темных вымыслов, а чистого искусства. Он даже мало с кем играл обеими руками и кием, поскольку мало кто мог с ним так тягаться на любых, самых громадных форах. Чаще одной, тычком, или двумя, но каким-нибудь неприспособленным предметом типа длинной ручки швабры или одолженной у старика мазильщика клюки...

Но если стравливался с Генкой Крысой, первым жадной и аферюгой бильярдной, по тысяче, по тем деньгам, за партию, на «лобовой» форе — в противоположность «дармовой», когда успех еще до игры предрешен в ту или иную сторону, — ради такого зрелища, не уступавшего красотой и риском цирковому, бросала свою пионерщину и партизанщину и собиралась у центрального, самого лучшего стола вся Академия.

В первом ряду, на специально зафрахтованных стульях, руки на клюках, подбородки сверху — эти самые мазильщики, кто не играют сами, только держат ставки — «мазы» — в тотализаторе на победителя. Самый ушлый люд, состарившийся в бильярдных, почти безошибочный в прогнозах, — хоть и нередко за счет левого сговора с играющими. За их спинами и вокруг — мажущие; шире — просто бескорыстные болельщики...

Большинство, конечно, хоть ставят наугад — кто как, болеет за Левона. Тонкогубый очкарик Крыса играет без эмоций, пронзая, как герметичная крылатая боемашина, в которой за отвратительным и агрессивным внешним телом не видать живого обитателя, как фронт ненастья, ненависть толпы. Ее поносные карканья под руку — для него как дождевой горох в броню, он видит только цель, которую разорвет, если угодит, и сам протяжный удар его кия похож на спуск гашетки.

Левон, который и поносит его громче всех, — обратная картина. В нем бездна темперамента и пластики, позволяющей ему без помощи специального удлинителя — «машинки» — доставать с обеих рук, не глядя на брюшко, такие шары, что не с руки длиннейшему на голову Крысе. Страсти, в зависимости от удачи, скачут в нем по всей шкале: от детского, неведомого скаредной и скрытной массе, победоносного восторга, до лютой ярости, которой Генка и добивался нарочно

до игры почти заведомо бесплодным торгом за надбавку к форе.

Их поединок — символический. Непопулярный даже среди мало шепетильной местной конторы Крыса, конечно, ас холодного расчета и бомбит, умея угадать в другом невидимую тому самому слабину, всю Академию — за исключением Левона. Левон, напротив, как всякий великий мастер, чуть всегда профан, творит игру по-фраерски самозабвенно. Не работает по-генкиному прижимисто над шаром, а то и дело рискует, «бросается» на самый сумасшедший шанс, предпочитая стратегическим шаблонам живую нитку вдохновения, которая, кажется, за пять-шесть часов, сколько обычно длится схватка из десятка-полутора партий, должна лопнуть от перенапряжения, — но именно на пятом-шестом часу Левон и давит Крысу. Фантастически, случайно, серией невысказанных, исходно обреченных на провал или легенду подач, и совершается легенда!

Но алгебраичный Генка, при всей своей крысиной сметке, не сдаётся и лезет опять и опять упрямой яичницей на божий дар, видя в нем своими застекленными зрачками только слепой и, значит, в конце концов, победимый силой низкого расчета случай. И хоть раз на раз не приходилось, по редкой в мире справедливости в конечном плюсе был всегда Левон.

Хотя он-то как раз меньше всего сражался ради денег, принимавших при расчете в его пухлых, заводных ручках вид каких-то подсобных участников, фишек в самоценном игровом процессе. Крупный куш, необходимый ему для наступления азарта, вообще, как учила практика, не самый верный. «Курочка клюет по зернышку!» — любил назидательно приговаривать Мыльница, академик не кушевой, но «хлебной», дармовой желателью, игры, умевший как никто сходиться с лопухами, числясь при этом в первой пятерке киёв Академии. И пока Левон, захватывая общий дух, балансировал своим отчаянным кушем, как эквилибрист на проволоке, по центру зала, — где-то в стороне, на дрянном столе, по зернышку червонца, в крайнем случае четвертака, ковал свою невидную, но однозначную всегда победу. Это не значило, что его жадность была умеренной; она у всех там была неуме-

ренной; просто Мыльница, что называется, «боялся куша», — его цепкие створки, аккуратно обсасывавшие жертву до исчезновения всяких признаков мяса, способны были действовать на уровне не выше, скажем, полусотенной. Над пропастью ж за сто и круче внутренний мускул, заменявший сразу совесть, честь и душу, парализовался и самого его делал дармовым.

Левон горел как раз в обратном плане. Мог в много-часовом виртуозном бою нажить кучу денег — и тут же, не в силах унять запал, продуть какому-нибудь недоделку в глупую «железку» — игра наподобие «очка», в угадку номеров дензнаков. За что все эти окружавшие мелочные хищники презрительно именовали его за глаза бараном и животным. Но они же ловко убирали его на окаянный номер, когда Левон, не способный долго существовать, как рыба без воды, вне игры, западал, за неимением стоящей, на бесценнок, где его мускул сдавал начисто. И тогда расклевывали (на сумасшедшей форе, разумеется), как фраера, по зернышку.

Я сам был свидетелем такого исторического случая: вот так, вполпустую, дурачась с кем-то, с Пионером, кажется, Левон, чтобы развести грошовую тоску, примазал тысячью против рубля на верный шар — и проиграл! Нет, не промазал; старый шар, как бывает только раз в сто лет, разлетелся вдребезги от страшного клопштосса, и только меньшая часть дребезгов влетела в лузу, — не считается! Но при всем нелицемерном сквернословии, сотрясшем тотчас своды, как-то чувствовалось, что его величию или тщеславию, как угодно, дороже было отдать эту историческую тысячу, чем получить тот плевый рубль.

Роль пропасти исполнял в Академии Мишка Чума, отъемщик. В кругу людей, чье ремесло — обман, не стесненный изнутри ничем, бывает выиграть — только полдела, надо еще выигрыш получить. Иные, точней, с иными, для избежания таких проблем, играли сразу — деньги в лузу. Но это не всегда с руки, и большинство, хоть с приговоркой: «Как в азовском банке: не пропадет и хрен получишь!» — прибегало к цивилизованному кредиту. И когда наступала «азовская» ситуация и не помогало включение «счетчика»,

звали отъемщика. И тот за часть искомой суммы выбивал ее, буквально, из неисправного должника.

Я этого бойца за принудительную добросовестность, заметного своей пружинистой, чуть обезьяньей грацией, с разболтанными, слегка удлинненными услужливо руками, никогда не видел в действии. Только слышал, как он, вечно свободный от своих эпизодических трудов, отвечал по телефону в Академии: «Кто это? Это я, Мишка Чума! Кого, Вампира? Вампир, тебя!». Но те, кто видели, говорили, что кулак у Чумы молниеносный, и хоть знал он наверняка один-единственный удар — в рог — это был такой верняк, против которого не годились никакие ни боксеры, ни дзюдоисты, — тоже свой гений и легенда Академии. Конечно, и тут мрак правды уходил на дно специфики, но косвенным подтверждением его, перевернутого айсбергом, искусства служил он сам, и факт того, что в долг, коль скоро таковой достигал способной заинтересовать его величины, в Академии верили.

Еще болтали, что у Чумы в мышце был какой-то особый дар доходчивости, заставлявший платить по его векселям и неимущих тоже. Но для меня дольшей загадкой оставался как раз не этот случай. Несостоятельность имела на выбор два относительно простых пути. Либо запрячься на месяц, два в унизительную для аса, на виду всей биллиардной, чистку фраеров, наверстывая должное «по зернышку». Либо одним махом взять, что называлось, табачный ларек: угроза неба в клетку считалась все же предпочтительней беспросветной «чахотки» от Чумы. Но такие вещи случались в Академии скорей в порядке исключения, нежели правила. Обычно ж игроки играли с игроками, никаких ларьков не грабили, а между тем лихие суммы в кровеносной, а лучше сказать, кровососной системе циркулировали. Но откуда?

Однако со временем, путем пытливых тамошних топтаний я, кажется, уличил сквозь нарочитый внешний хаос какие-то основополагающие закономерности системы. В самом низшем, капиллярно разветвленном основании ее трудились мелкие букашки типа Партизана с Пионером. Эти по-старательски упорно пропускали через свои отработанные сита небогатенную породу фраеров — ведущее податное сословие, исток на-

живы. Главной технической задачей на этом уровне было не дать «соскочить» фраеру после проигрыша первой трешки, изображая фокус ловкого отъема делом опрометчивого случая, который если прет сейчас сюда, так следом непременно переулыбнется на другую сторону.

Успехом при этом пользовалась, например, инсценировка с «идущим в долю». Когда во фраере уже готова иссякнуть вера в его фраерскую звезду, кто-то из вечно трущихся у столов — он и есть «долист» — подкатывает с честной рожей знатока, широко развитой еще у политических телекомментаторов, и «поет» олуху о явных преимуществах его дурной игры, которая если пока не побеждает, то наверняка победит вот-вот. И, чтобы добить сомнение, просит — верная корысть! — принять в долю, то есть включить в ставку его деньги, и сует их. Фраер на то и фраер, что неизлечимо болен самомнением и хочет даром оторвать то, что во всякой, и самой левой сфере тоже, достояние неизбежного искусства. И, подкрепленный лицемерием такого симпатичного жучка, чья бескорыстная идеология подтверждена живой корыстью в доле, «замазывается» еще прочней. Тем более теперь вместе с его летят и чужие деньги, перед которыми он уже чувствует какую-то моральную ответственность, взбодряемую щедрой похвалой, переходящей своевременно в угрозы с требованием отыгрываться до конца, то есть до полного опустошения кармана. После чего бедняге только остается жалко драпать от стола с фальшивыми проклятиями в спину — поскольку все переданное через фраерские руки тотчас возвращается жучку с какой-то частью, обычно половинной, добычи исполнителя, к которому он на самом деле и шел в долю.

От пчелиной партизанщины, ссасывавшей по капле в горстку с неумех, выигрыш шел в проигрыш трутням более высокого игрового разряда — момент очередной системной аномалии. С фраером ясно: он уж так создан, чтоб жрать идеологический крючок, только оплюй жальце посмачней и погуще. Но сами крючковторы, твари низкие и ушлые, — что их тянуло к состязанию ввысь? Ведь закон игры, фундаментальный в отрасли, доподлинно известен: выигрывает дающий фору. То есть в отдельных случаях возможно все —

Пионер может, изловчась, надрать Левона, но в целом денежный ток идет по восходящей, вершина живет за счет основания, а не наоборот. И все ж какое-то неодолимое влечение к афере несло едва поднасосавшуюся мелочь на крупняк, на те же в точности, что наживляли сами, жала и крючки. Разве только сама наживка тут была иного сорта и мастерства симуляции: лютое похмелье, припадок ишемической болезни, перелом в натуральном гипсе, который мог невзначай и колонуться при расчете...

Я слышал, например, такую быль про одного известного в Академии гастролера. Фартовый южный городишко, и есть точная наводка, что король местной *академии* (пишется с маленькой, только центральная, при парке Горького, как город Рим — с большой), игрок мыльничной породы, в крупном выигрыше. А поскольку известность в сем неблагодарном промысле прямо противопоказана его успеху, а гость имеет несчастье пользоваться ей в самых широких академических пределах, нет ни малейшей надежды свестись с сытым впрок и надолго крохобором никаким обычным (хромота, гипс, приступ падучей) образом.

Тогда гость прикупает на толчке у местного базара старый треух, лепит бороду, берет оптом сумку помидоров и раскладывается со всем этим маскарадом за прилавком. Торгует на полтинник дороже базара, чтоб не раскупали, пока не набредет кто-то из туземных игроков — и ему спускает на двугривенный дешевле. При этом сам базарит всюю, исподволь наводит речь на игру, хвастает, что после войны в Доме железнодорожников всех на миллиарде драл и сейчас любого задерет — не веришь? Только дай доторговать, а денег у него тогда будет много.

Конечно, получает приглашение, десять раз, по бесполочи, переспрашивает дорогу, которую нашел бы и вслепую, задом, ночью, — и на другой день, естественно, находит. Машет треухом, под которым колтун, какого свет не видывал, базарному знакомцу, видно, уж под мухой: продал все помидоры, еще купил старухе племенного петуха! Достает из сумки напоказ, петух удирает, вся *академия* кии бросает, ловит петуха, а тот мыльный король, хоть и сытый впрок, против такого дармового идиота устоять не может — и очищает стол.

Но гость: нет! Я пока за встречу всех не угощу, играть не стану. Распотрошает узелок с деньгами, а там их — ком, отначивает что надо и шлет местного метеора в магазин. Только я казенного не пью, у меня своя, шестьдесят градусов, крепленая, — вытаскивает пузырек с тряпичной затычкой с какой-то мутной жижой внутри — просто подмутненная вода: кто хочет? Разумеется, никто. Тогда сам отбулькивает хорошо, рыгает, крикает: ну, я готов! — и берет кий не с того конца...

А через пару часов готов, весь в ошарашенном поту, как конь, и местный игрок. Гость же в сопровождении двух откуда-то взявшихся лобастых корешей покидает *академию*, даря ей на память племенного петуха...

Со средних жил денежная масса транспортировалась в аорту высшей лиги — всего несколько человек, получавших с Левона минимальную, чисто академическую фору. И свыше — только сам чернявый бог игры Левон, который не пил, не увлекался «волынкой» (все касательное до женской части), держал вечную форму и, логикой системы, должен был бы стать ее конечным Крезом, Рокфеллером, Онасисом. Но его гений, не корыстный в сущности, страдал, как сердце, сквозным пороком: и... сквозь «железку», карты, все, поднятое вверх, за вычетом каких-то отложений в чулок на черный день и трат на день насущный, спускалось назад для дальнейшей циркуляции...

Но замкнутые системы, как известно, долго не живут, слишком накопительны для собственных же ядов. И здесь вся эта круговая нечисть даром не прошла, ударила вовнутрь, в свое же рыцарское сердце, и, поразив его, решила участь Академии. Так, во всяком случае, мне хочется считать, пусть для других она закрылась позже директивой Моссовета.

Уже несправедливо и несистемно было то, что самый обильный отток уходил без возврата в гнилой желудочек мазильщиков, фальшивых трясун, которые не утруждались, не играли сами, даже в низкопробной роли *партизанов* и их налапников, даже в чрезвычайной роли *чумы*. А держали банк на левой мазе, ссужали игроков под бешеный процент и, был треп еще, подстукивали по совместительству. От руки одного из них, бывшего днепропетровского маркера Лазика, и пал Левон: пропасть заурядной людской подлости

оказалась шире той, игровой, над которой он мнил себя и был неуязвимым.

Зачем он вообще с ними связывался? Ясно зачем: из вечной слабины тщеславия, которую они, кормившиеся впрямь и вкось с его стола, умели греть в звезде, раздувая вокруг дополнительный ажиотаж — как будто мало ему было своей подлинной, не дутой славы! Кичась по-своему той подлинностью, он никогда не играл налево. Они ж и единственную, может, на всю Академию честь поработили в пользу своему бесчестию: он им и делал тот ореол мнимой достоверности, без которого б'сглох на корню весь липовый тотализатор.

А спекся так... Лазик прознал, что Левон, снимавший где-то угол при фиктивном браке, вступил, не без потачки популярности, за взятку в жилищный кооператив. И уломал за лъстивую монету снести от него башли тоже. Банду торговцев жильем накрыли, вышли на Левона. Левон не раскололся, тогда вышли на Лазика, наперли тем, что доносчик по закону выгораживается от наказания, и Лазик заложил Левона. Левону дали полную катушку — именно за благородство к паразиту, с которого он не имел ни гроша!

Лазик на время скрылся; вся Академия сплотилась редкой солидарностью негодованья, кто-то распускал упрямый слух, что Лазик сам подписал себе приговор, считали дни до исполнения — да так и сбились со счета... Потом эдаким бочком, мразью вполз обратно Лазик. Кто-то что-то сказал ему или хотел сказать; вспомнили про стукаческие дела, что сам бесстрашный против боксеров и дзюдоистов Чума никогда не принимал заказов на мазильщиков, все и заглохло, и пошло по-старому: игроки играли с игроками, Пионер с Партизаном ловили и чесали фряеров, налапники шли в долю...

Уроки Академии, которые я прежде поглощал с жадностью, находя в них какой-то дерзкий концентрат, символику всей жизни, без Левона сбросили всю свою прелесть, оскучнели. Он был их оправдательным лицом, осталась одна пошлая изнанка. Однообразное торчанье у столов уже не окупалось непременно лакомством его игры, в которой я готов был участвовать до бесконечности всей праздной страстью. Я уже знал все, что может Мыльница, что Крыса, что Вампир. Но

их часто коммерческие битвы не содержали того захватывающего, генерального интереса, который выходил за рамки вразумительной корысти, огульно заряжая в свою долю всех...

Я продолжал ходить в Академию, но уже больше по инерции, чтобы убить пустое, с окончательным забвением учебы, время; выиграть, если повезет, трешник-другой. Кием я уже владел где-то на уровне Партизана, уступая, конечно, в гигантском опыте по части всяких «поганок»: пропихнуть неходячий шар, незаметно свалить локтем в лузу. Все это считалось незазорным в несправедном изначально деле: бди! заезванное — в пользу жулика. Но в записные игроки я не лез. Не то чтоб из страха пропасти, всех этих низких штук, которые, как понимал, и должны, как всюду, уснащать пути к вершинам. Сами вершины, цели риска, которым уж если отдаваться, так сполна (всякое искусство, академический пример учил, не терпит, как любовный акт, полсилы) — как-то не довлекали до полной отдачи им. А после общего предательства Левона и зрителем быть интересно перестало. Вот тут-то я и сошелся с Пашкой, шуплым хануриком без кликухи и отчества.

Его специальность, единственная созидательная в лихоборском стане, состояла в настройке луз и латке зеленого сукна на тех разбитых столах. И к ней всякая побочная, вне Академии халтура в промежутках от халтуры основной. Если суперзвезда Левон освоил себе право прямого имени своим слишком высоким, хоть и оборвавшимся трагически полетом, то Пашка, мелкий шкет, щенок до старости, вдобавок замаранный, по перевернутым понятиям среды, каким ни есть трудом, — витал где-то еще ниже уровня кликухи, и чувствовал себя там превосходно. В нем точно от самой природы была вбита какая-то заведомая заданность на вторую роль, благодаря чему любой другой при нем, именно не в свою, а в его отрицательную силу, мгновенно становился первым. Он, как грамматический оборот, требовал страдательного залога, и все попытки иного, как ни бейся, вели только к насилию и ломке самой речи. Такой тип — по собственному, не лишенному своей любовной нотки оговору: «череп неправильный».

И так, с какой-то бесшабашной безнадегой в жал-

ком взоре, он попросил меня однажды, видно вычуяв своим собачьим нюхом сходно неуверенную душу, подсобить слегка по его части. И когда я, готовый, что называется, со скуки на все руки, не только ловко подсобил, но и не затребовал законной в жлобском мире мзды, сам с благодарностью слетал за «красненьким». И, не успев даже закосеть как следует, предложил мне на всю оставшуюся жизнь сотрудничество «в пополаме». Что при его инструменте и клиентуре и моем незнании дела показалось мне просто грабительской против него аферой — слишком выгодной, чтобы отказать, для меня. Потом, правда, узнав и мастерство, и самого мастера поближе, я понял, что тут он как раз не прогадывал ничуть, даже напротив, — приглашая на роль второго, то есть для него автоматически «бугра», такого небугрового и чуждого академической закваски пацана, как я.

Хотя профессия его и была, по тем временам, довольно прибыльной: обычно сотни полторы за стол; трудов, если не сильно гнать, дня на три, с дополнительной возможностью наживы на сукне и прочей приблуде, — Пашка ухитрялся оставаться самым нищим человеком в Академии. Метеор на своем промысле, уборщица тетя Катя на стакане и пустой посуде жили состоятельней и зарились на него со своих невесть каких кочковий свысока... Вся обширная наука Академии, где он был ветераном, не пошла ему, как вечному студенту-тупице, впрок; не только не прибавила мозгов, но слизала окончательно и те, что были, если были.

С самой работой еще куда ни шло: за четверть века наловчился кое-как тянуть сукно на одну и ту же стандартную фигуру. Хотя и тут, уж наловчившись однажды, даже невпопад, тянул просчет из раза в раз с какой-то суеверной застрашенностью шаблону, менять в котором что-то было для него свыше сил. Видно, от своих же учителей он перенял, как неизбежный чин обряда, и тягу к жульничеству; но и жулил, как работал, тупо, без каких-то артистических затей, с тупой — «башка неправильная!» — покорностью разоблачению. Сопрет кусок сукна так, что слепому видно, и ждет, пока схватят за руку, еще отнимут вдвое своего. Но без этого

уже не мог, как без обязательного радостного «красненького» после трудов.

Но дальше, как до денег дело, полный швах. И грянет чудо: щедрый босс заплатит от души, нарочно даст, в опеку промысла, слямзить тот будоражащий душонку курс, — нарежется этим фатальным «красненьким» и в тот же день проиграет все дотла, еще и инструмент впридачу. Но чаще в каком-нибудь учреждении не составит сразу бумагу, или не так составит, или даже так, но рожа такова, что просит наказать, и ходит потом, канючит:

— Чё это, ребята, делали, старались, надо заплатить...

— Без главного не можем. А он — в отпуске (в тюрьме, на сносях, не в духе)...

— Так это, делали на совесть, ну...

— Ты что, дурак, или так родом? Сказано тебе по-русски, кажется! Пшел вон!

И он, по-русски, вон; и завтра — с той же песней, и послезавтра, и на сороковой день, пока наконец у тех не лопнет могильное терпение и не кинут, как псу, причитающееся в пасть. И тогда он, как именинник, радуется воровато, как будто не свои чахоткой выкрутил, а чьи-то отнял лихо:

— Ты чё, крутые тетки! Думал — всё, с концом!

Идет — и пропивает.

И потому такой, как я, был для такого олуха, как он, просто находкой. За то, что я его стабилизировал хоть как-то, брал на себя непосильную для его дряблого косноязычия бомбежку бухгалтерий, при этом не лез, как на моем месте наверняка б всякий другой «академист», в его дырявый и без того карман, — он был готов чуть не вовсе избавить меня от доли в трудах, — но не в «красненьком». Но я, вопреки его собачьей признательности, честно старался строить наш союз наоборот.

И вот, как-то спозаранку он, принципиально неспособный мыслить впрок, разбил мой сладкий сон своим неизлечимым телефонным:

— Кто это?

— Я, Паша.

— Что стрялось?

— Тут это, есть работка, можешь?

— Ну...

— Ехать надо, за город. Мужик отличный, не обидит. Там и пожрать всегда, я уже был, за выходные сделаем.

— Вчера не мог сказать?

— Сам, это, забыл... Череп неправильный!

— Скажи уж, что квасил...

— Ну, маленько, чё...

— Ладно, зубы дай почищу.

— Ты, это, не чисти, ехай сразу в Академию. Он уже звонил, мужик крутой...

— Кто хоть?

— Игнатич!

Он так сказал — как душу выпил! Что еще за дармоед? Не под кликухой, не под фамилией, а под отчеством, — что-то новое! Одно доподлинно: раз частник, значит, жулик, значит, живые деньги, возможно, даже в натуральном выражении, в зависимости от того, где ворует. Допустим, ничего если б в одежде, — думал я дорогой, не слишком, по совести, заботясь, насколько это простительно по юношеской снисходительной статье. Академия тогда еще служила пестрой выставкой последних мод, и Мыльница как раз оторвал фасонистые сапоги с металлическим рантом по мыску, — такие только входили в моду и были для меня, нечего скрывать, предметом самых актуальных грез...

Но у Академии меня стерег уезженный «жигуль» самой дешевой первой марки, — жулье в таких не ездит. Или что-то совсем не настоящее, или уж такой налим, по усы в грязь укрытый! В Академии, куда стаскивались тогда темные людишки отовсюду, существовал этот парадокс: чем ни здоровше позитив в чулке, тем сам чулок задрипанней... Пашка уж торчал на заднем сиденье «жигуля», подавал мне оттуда позывные знаки. Я влез к нему; передних было двое: один, за рулем, — сразу видно, шестерка, пашкина чета; другой — сам пескарь, с тяжелой, крепкой мордой, налитой и плотной, как початок, в новехонькой листве добогостоящего, со стальным отливом, пиджака. Он тотчас жестом грузной лапы дал команду ехать и потянул лапу, глубоко вмяв спину своего сиденья, назад, ко мне, веско подтвердив:

— Игнатич.

Я сунул в нее, как в щель пропускного турникета мелкую монетку, свою руку. Замок пожатья как бы говорил: суйся сюда и больше не тужи ни о чем на свете. Но я и так ни о чем больно не тужил.

— Студент, Пашка сказал? Строитель? У меня был один прораб, прохвост! Пойдет мерить: туда — семь, обратно — восемь; а метр — один. Небось такой же двоечник?

Но я с несолидностью мальчика разбил сразу иллюзию, сказав, что больше не студент и не строитель.

— Вольный художник, значит?

— Ты чё, Игнатич, — Пашка при всем подобострастии не знал слова «вы». — Он поет как, знаешь? Прямым артист!

— Петь это вы все артисты! Ну и что ты можешь?

Я, наплевав на скромность перед его общительным нахальством, коротко ответил:

— Всё!

— Что, и сбавать?

— Здесь?

— А где ж? В Большом театре это и мы с Семеном спляшем! — он кивнул на отзывчиво заржавшего водителя, тем заодно и представив его. Пашка, гад, тоже подхихикнул.

— Да нет, я могу. У вас не треснет в ухе?

Шофер заржал еще арапистей:

— У Игнатича! Пожалуй! Треснет! Что не встанешь!

— Ну, пожалуйста. Ария...

— Арию не надо. Ты что-нибудь попроче, нашенское. Мы... — Игнатич корпусным движеньем приобшил и низших спутников, — ...народ простой.

Я захлебнул пошире воздуха и грянул во всю глотку, на какую был горазд:

— Чер-ный во-рон!..

Водитель из машины сбоку обалдело вытаращился на нас, Семен даже бросил на миг руль — зажать уши, Пашка их зажал сразу. Игнатич не поморщился. Потом (я не стал их мучить большим, чем полкуплета) протянул лапу Семену:

— Дай спичку, — ковырнул в тяжелом ухе и подвел черту одобрительно: — Прохвост! Натуральный! Ладно, забаваете путем — будет вам премия.

Пашка от счастья был на седьмом небе.

— Слышишь... — зауважал меня после игнатичева «прохвоста» и Семен. — А я хотел спросить, сколько Кобзон гребет? У нас мужики говорили, бабки только так делает!

Но мне нечем было утолить его странно возникший интерес, и самого больше сейчас интересовали не эстрадные куши, а сколько и на чем гребет наш мощный вождь, что так охотно рассыпаются перед ним эти двое. Но встречный иск, по какой-то необъяснимой очевидности, был немислим.

Мы ж между тем выехали на улицу Горького, откуда неожиданно свернули в переулок перед Елисеевским, с него — в загроможденный тарой тупичок, где багажником к окованной железом подвальной двери уже стояла белоснежная, последней марки «Волга». Игнатич кивком осадил Семена, вылез один; сиденье, изнасилованное тяжелой тушей, жалобно всхлипнуло. Семен качнул его скорей с восхищеньем, чем с состраданьем:

— Во раздолбал! А менял только!

Подвальная дверь, куда ушел Игнатич, раскрылась, и нашей шестерочной команды прибыло: новый холуй пер неподъемную картонную коробку к «Волге», и Семен вылез к нему, как к старому знакомцу, на подмогу.

— Понял?! — мой Пашка весь светился причастностью к какой-то такой тайне, что не описать пером, да и описывать нельзя. Я ничего не понял.

— Так кто он такой?

— Кто? Игнатич? Тут поменьше спрашивай!

Вот эта складка всех блатных и приблатненных — превращать на ровном месте любой толк в бестолочь! Однажды на этой почве я даже крепко, помимо всякой воли, разобидел Пашку. Раз мы с ним в доле, Пашка — «мой», а я — «его»; я мог спросить в Академии: «Где мой?» и дояснять не надо, — уже мы и не должны крыться друг от дружки, — таков закон. Делаем с ним как-то *академию* в Высшей партийной школе; Холодильник, коммунист, навел; а я вечером намылился в консерваторию, как сейчас помню, приезжал на гастроли Маурицио Поллини, мой любимый исполнитель Шопена, — и входные обещали. Отпрашиваюсь у Пашки; а там еще терлись эти партийцы, их хлебом не

корми, дай поучить, полясничать, — и все, как есть, публично объявляю. «Гастроли», «исполнитель», — это ему ясно, только кликуха странная и место, — но глазом не сморгнул, все прокивал как надо. Я вовремя переоделся, попрощались, выхожу, он следом: «Ну, ты куда?» Я чуть припешил: вроде подробно объяснились. «Я ж тебе сказал — в консерваторию». «Чё, дуру не гони, кто слышит?» Я говорю: «Паша, вот те крест! Мужик играет классно — не в шары, а на пианино, — и пальцами ему показываю, — хочу послушать». — «Пианину?» — «Ну, не пианино там, а рояль, не веришь — пошли вместе!» — «Я чё, упал? Сказать не можешь?» Смотрю — надулся, конец света! Ладно б, сказал я: футбол, пьянка, бабы, — пусть не про него, хоть дело ясное! Но я ж вижу в его свербящих глазках — не припадочный же я пилить на эту чокнутую «пианину»! Так, на обидной ноте, и расстались, насилу на другой день размочили «красненьким». И я теперь даже подумал: темнит со мной за прежнее?

Но не успел нажать на него покрепче, вышел сам Игнатич, слегка разочаровав меня порожняком рук: я-то надеялся — тоже что-то сцепит; зато за ним — опять тот несун, на сей раз с большим длинным свертком, с конца которого торчал величины непомерной рыбий хвост. Я еще подумал: что за гурман-гигантоман, мало ему обычной нашей замороженной витринной дряни! И когда Семен сел, Игнатич плюхнулся с визгом пружин, а хвост все еще искал и не находил притык в багажнике «Волги», — даже сострил с кивком туда:

— Акула социализма!

Но по особому ржанию спутников уловил, что, кажется, попал пальцем снова в какую-то загадку сложных, недоступных рядовому пониманию небес.

За кольцевой мы нырнули на пустынное, но хорошо заасфальтированное шоссе вдоль мощного водоснабдительного канала, со вздутыми узлами перекачки, и оголившего, видимо, окрестности от людского духа. Периодические повороты в никуда были застрашены где «кирпичами», где шлагбаумами. И вся эта безлюдная запретность придавала пейзажу выражение какой-то военизированной девственности, и рвали ее, за плечами титана, мы — еще не сделавшие ничего, но словно бы уже повязанные каким-то общим криминалом.

Игнатич остановил машину помочиться, и пока буровил землю в сторону канала с двойной мощностью (Пашки, выскочившего следом явно больше от позыва угожденья, чем охоты, было и не слышно), — я не утерпел спросить:

— Куда мы едем?

И хоть вопрос по сути был неопределен, Семен с усмешкой понимающего ответил:

— В страну чудес!

И в эту же секунду нас миновала та самая, от Елисея, «Волга», я узнал водителя, — и рожа ближнего усугубила на мое недоуменье радостный, невесть с чего, оскал.

Наконец мы свернули на очередной «кирпич»; через прореху в перелеске взблеснула несметная гладь водохранилища, асфальт привел к поселку, и Игнатич объявил:

— Приехали! Деревня Ковыряловка!

— Что, так прямо на карте?

— На карте ее нет.

Чем сразу отмечалась Ковыряловка — необычайной силищей глухих заборов, которые здесь, видно, выполняли ту же показательную функцию, что в Академии всегда демонстративно, всей пачкой четвертных или полусотенных, вынимаемые из кармана башли, — даже если счет на трешник: все равно надо, и в норушной жизни, что-то засветить. И здесь за рослыми заборами светились только вершки утопленных в зеленых кущах крыш: и ничего не видать, и в то же время сразу все, что надо, видно.

И потому, когда мы въехали за наш забор, сезамный вид самого особняка уже не слишком вдарил по воображению; я от другого приоткрыл рот: та белоснежная, как прогулочная яхта, «Волга» стояла мордой к каменному, чуть не шире дома, гаражу. Водитель выгружал припас и как раз пёр, когда мы вылезли, ту рыбину, чей хвост, дорвав обертку, теперь в открытую сверкал кремнистыми шипами по хребту, доселе виденными только на картинках. И мое сердце поневоле ёкнуло, как от впервые обнажившейся в натуре, прежде лишь гадавшей в мечтательных подобиях женской груди. Игнатич уловил мой взгляд, но снес к другому:

— Вот так скромно живу, для друзей, — он подмиг-

нул заскалившемуся тотчас Семену. — А то кобыл понакупали, а на конюшню не осталось, пускаю, вот, глядишь, подбросят безлошадного.

Он вроде как заигрывал со мной — таким же для него, как те друзья, подсобным человеком из прислуги. Но зачем?

На крыльцо основных хором выпорхнула пожилая тетка в дачном трапезе, при перевязанных ниткой покалеченных очках и всем обличье вечной домоладной хлопотуньи и копуши:

— Приехали, Игнатич?!

— А, вот и кума! Покормишь голодающих?

— Секундочку, Игнатич! Только цыплята сжарятся. — Она еще была и острослов. — Порвите ягодки пока, хотите? Попаситесь...

— Это нам, Пашка... А ну, точно, айда все, хоть сам нагнусь два раза, с грядки слаще...

Но проведя нас к месту сквозь заросли участка, он сам и нагнулся именно раза два, — предоставив, главное, нам с Пашкой на растерзание клубничную плантацию. Верней, терзала нас она, размером с хороший картофельный надел, своей необозримостью и необожримостью. Часть урожая уже перезрела, пала и сгнила, забрызгав грядки точно сгустками гнилой, приторной крови. Зато другая оставалась не в пример свежа и налита всем ароматизмом и сладью сорта. И мы как дети подземелья накинулись на дармовщину с жадностью. Пашка еще, подонок все-таки непреломимый, подбирал тайком и жрал гнилье, боясь, видно, что недоедки будут сниться, — даже зоркий хлебосол Игнатич предостерег:

— Не перехавайте, обедать будем. Это, — он емким жестом очертил налитые вишни за клубникой и еще недолитые сливы, яблоки и прочую засасывающую благодать, — не убежит, все ваше!

И мне вдруг ни с того ни с сего захотелось рвануть, как заманенному фраеру, прочь от всей этой непостижимой по происхождению грудастости достатка...

Назад пошли другим путем и вышли к застекленной беседке бильярдной, на порожек которой уже были услужливо поданы наши пожитки. Игнатич отомкнул дверь и запустил нас вовнутрь. Я с любопытством огляделся. Штук пять киёв, если не «чемодановской»

(знаменитый мастер Чемоданов), то близкой к тому работы, с наклейками — и глазом видно, кожа, натуральный бегемот, — стояли навтыжку в специальном поставце. Я взял шар с полки — кость, не обычный дешевый пластик, прокатил по столу — и плита не деревяшка, мрамор. Словом, все не просто дорогое, а в высшей степени достойное, если достоинство в этом, удовольствие. Пашка тем временем обследовал стол, им же в последний раз и сделанный на свой халдейский лад. Эдак пожмет борта, поводит дряблой ладонью по сукну, пощиплет сежи луз, как будто что-то значит, кивая вроде про себя, на самом деле под хозяина: де я-то понимаю, как угодить мастерски, поймешь ли ты угодливую душу мастера и интерес? Хотя, говорю, и мастер был дрянной, только держался тем, что повирали стоящие, и кивал не впрок: холуйская негодность налицо, а настоящей раскошеливающей убедительности — нисколько. Я даже пробовал было отучать, да плюнул: горбатому один университет — могила. Игнатич, видно, тоже не любил дурачеств:

— Ты, Паша, тут не кивай, не та контора. Кивать я буду, когда сделаете.

— Ты чё, Игнатич, сделаем все без поганки, благородно!

Я взял кий, ударил пару раз. Заметив, что Игнатич смотрит, киксанул. Заманивать его на игру было немислимо, нелепо, — не тот банк! — но игроцкий ритуал сам дергал руку.

— Все с тобой ясно. Сколько форы дашь?

— Умел бы, дал хоть сколько. Вы ж, наверное, хорошо играете?

— Пой, пой! А ну, ставь шары! Одну «американку» на равных!

— Сейчас тебя Игнатич сделает! — завел Пашка свой подголосок, бородатый, как сама азартная игра. — Он игрок!

Игрок Игнатич был плохой; дело все же требует, как скрипка и рояль, сноровки, не солидной вообще в тузовом звании. Действовал он больше напором, наглостью, но... странная вещь: начав шутя, я почему-то не мог перестроиться под него всерьез, темнил, финтил, а шары клал он, мне не хватало духу побеждать его в пустой игре, где он-то и ловил весь смак победы.

— Я думал, ты плохо играешь. А ты совсем не волокешь!

— Дайте фору...

— Кто ж тебе ее даст! Ты про Глухого слышал?

— Так, слегка.

— Вот это был игрок, я выше афериста не встречал! Слух музыкальный, по хрусту трешку от червонца отличал, а начнет сводиться: «По сколько, не слышу?» — «По три!» — «Нет, по тридцати для меня слишком дорого, только по двадцать пять!» — и уже разбивает. Я как-то в Сочи его встретил, лет десять назад, на вокзале. Подходит: «Игнатич, я пустой, выручай!» А у него тогда была игра покруче, чем у Левона, «американку» через одну с разбоя забивал. Даю ему бабки, берем такси, едем в Дом офицеров. Нашел себе какого-то капитана, стали играть. А он весь битый-перебитый, еще умел так руку держать, как будто там три перелома самое маленькое, ударит — и чуть кием сукно не рвет. Капитан ему два шара дает, а должен получить шесть — и то не угадает. Глухой крихтит, хромает, бьет в угол, шар в середину падает, а тут еще полковник стоял, смотрел-смотрел и говорит: «Товарищ капитан! Как вам не стыдно, с инвалидом играете и всего два шара даете! Нажиться собираетесь?» Я вышел, не могу, от смеха дохну. Ну и приделал Глухой этого капитана, и часы тоже отобрал!

Игнатич вбил последний шар и с удовольствием поставил кий на место:

— Раз с тебя! Пошли. Поешь ты здорово, но шара получишь, так и быть...

И я почувствовал, что будем играть на удовольствие, которое ему дороже денег, уступлю и на шаре, просто из невозможности не уступить, а почему так — даже непонятно.

Наконец мы вошли в дом. Широкая веранда служила в нем столовой, свадебных размахов стол был и уставлен как на выданье: и рыба, и икра, и черт знает что еще. Пашка так, замерев, и впился голодными глазенками, да и я прибалдел слегка. Немыслимо, чтоб это было среди бела дня под нас. Но если даже Игнатич, как надменный Лукулл в ответе каким-то захудалым, заробевшим на его помпезном застольи аллоброгам, угощал только себя самого, — все равно, на самый

дерзкий счет, не мыслилось, чтоб даже он так праздновал свой каждый белый день!

У стола вместе с уже знакомой кумой, вертлявой, как шварка на сковородке, — медлительной, законной павой управлялась еще одна женщина. Какой-то успокоенной дебелистью, спелой поволокой в некогда, видно, красивых и большущих посейчас глазах, она невероятно походила на самого Игнатича; его, как стало ясно, половиной и была. Кума же все юморила на ходу:

— Еще Игнатич, полсекундочки!

— А мы пока на балкончик сходим...

— Хочешь свой рай им показать? Вот правильно!

Сраженное восбражение терялось: что может быть еще за рай в раю? Но Пашка получил команду взять тотчас поданный кумой поднос с бутылкой, стопками и какой-то невинной, на фоне той столовой порнографии, закуской.

— У меня обычай: первую рюмку — наверху.

И мы гуськом пустились в восхождение по лестнице: Игнатич, мощным заходным тузом, впереди; я, темной неразыгранной картишкой, сзади; Пашка, шестерочной «ногой» нашего марьяжа, при подносе, — посередке. Путь в «рай» лежал через сквозную комнату второго этажа, и тут, наперед обещанного, произошло виденье посильней всех чаяний.

Шторы на окнах в комнате были спущены, мерцал беззвучно телевизор, а напротив, в кресле под торшером, сидела девушка с огромными глазами и всем тем, что может дочертить мгновенная на искус живопись души в щемящих красках полумрака. До нас она, видно, читала, раскрытая книжка лежала на ее коленях. Игнатич что-то бросил ей, но я не разобрал ни его слов, ни ее ответа, и проследовал без остановки дальше. Я только повернулся на миг и встретился с не успевшим даже ничего сказать, но словно таившим что-то взглядом и, колотясь перетрусившим невесть с чего сердцем, поспешил за следующую дверь. Там было опять светло, обычно, и все виденье позади казалось просто вымыслом самонадеянной фантазии. Тем более Игнатич, так обстоятельно вводивший нас в курс владений, на это, самое в них потрясающее, не отозвался вообще никак, точно веля немедля вычистить из голо-

вы, забыть, как пропаганда Годунова убиенного царевича.

Но мы уже добрались до заветного балкончика. Тройка плетеных кресел, столик под закуску, а дальше, за тесовыми перильцами простирался действительно райский вид. Только блеснувшее с дороги, теперь открытое во весь размах водохранилище, окаймленное до горизонта нигде не изувеченной лесистостью холмов, — все это всаживало прямо в сердце удивительный, неопиcуемый восторг. То, что родная всем — плохим, хорошим — мать-природа дала нам как утешительный пример какой-то сумасшедшей правоты всего живого, которому и мы исходно, сроду однокровки! Но люди и тут учинили свой разборчивый дележ, в котором наш хозяин оторвал, конечно, исключительную точку. Весь фокус ее был в том, что густая растительность внизу как раз застила все уличное, лишнее, и оттого вся зелень, синь и даль ландшафта казались как бы поданными, как зелень грядки, к столу: мажай, как в мед, и хавай на здоровье!

— Ну что, рай? Может быть что-то выше?!

Да, выше хотел, видно, быть только сам хозяин рая, — какими только, хотел бы я знать, чертями и какого ада вознесенный!

— В натуре!

Игнатич сам, казалось, чуть охмелел без рюмки:

— Вот сколько здесь перебывало, едят, пьют, а проведешь сюда — больше ничего не просят, только: пойдём, Игнатич, посидим в раю! Ну, сажайте!

Пашка, которому где водка, закусь, там и рай, только и ждал приказа; не знаю, испотрошила ли что-то величая краса в его косо́й душонке, но тут и он взошел до вдохновенья тоста:

— Ну, это, Игнатич! Чтоб стоял и деньги были!

— Ай, Пашка, дурень-дурень, а соображает! Свой-то, небось, давно пропил? Или еще шкеришь тетю Катю потихоньку?

Я закосел слегка от просторного глотка и, пока Игнатич с Пашкой обсуждали стати 60-летней тети Кати, переметнулся мыслями к той, оставшейся у телевизора — несчастной узнице или капризной владычице здешних куш? Ясно было одно: плод явного запрета. Мне вдруг ужасно захотелось увидеть ее еще,

удостовериться в чем-то мелькнувшем, несказанном в больших, только и оставшихся в воображении глазах.

И когда Игнатич сказал:

— Ну, хватит! За столом еще махнете по одной — и работать. Вечером напьетесь, — я сделал резкий рывок вперед, чтобы уличить хоть миг наедине, даже не представляя толком, как им распорядиться.

Но дерзость моя осталась, увы, невознагражденной. В той комнате шторы уже были раздвинуты, телек выключен, в кресле валялась одна книжка; я истребил свой миг на то, чтобы хоть по ней вызнать что-то о читавшей. Но книжка оказалась только пошлой, хотя и остродефицитной тогда «Анжеликой». Все вспыхнувшее невпопад в воображении рассеялось, погасло как экран. Впрочем, чего, какой еще китайской лирики я, сам по преимуществу поклонник всякой хохмы в духе Швейка и Зощенко, собирался ждать?

За стол уселись крепко. Жрали борщ, тех загодя объявленных и лакомых в детстве цыплят, затем явившийся без объявления шашлык, перемежая все это небывалой, все почему-то наводящей на мысль о непристойности и блюде закусью, рассыпанной по столу каким-то подавляющим, в духе оргий, навалом. Даже Пашка, самый голодный блюдоед, сперва как-то зажался, наколов украдкой пару ломтиков какой-то ближней спинки, но, хлопнув под шумок вместо одной рюмки две, разошелся и повел добычу все смелей и дальше от себя в съестном море, замазывая в бутерброде черную икру под белорыбицу. Игнатич, быстро вылощив окрестности рта жирком, убирал румяных цыпок без форсажа, мастерски, показывая настоящий, высоты Левона класс, добывая взор количеством уже обглоданных и все неотвратно прибывающих косточек на специальном, под них, блюде. Он мудро делал: не призывал зазря, чем только пуще б застрашал, к убойной рати, а подавал, с блеском щек, живой узаконяющий пример: все действительно съедобно, усвояемо и беспроблемно восполняемо. Последнее наглядно подтверждала с каких-то необъятных закулисных залежей подвижница-кума, между тем не забывая и своей тарелки. Хозяйка, глаз с поволокой, напротив, почти не ела, словно сытая вполне одним Игнатичем, участием в его достойной загляденья трапезе: кума что-то

поставит, эта подправит, Игнатич навернет, шоферы тоже при деле; не было одной — девчонки.

Я изо всех сил старался держаться естественно, но не мог избавиться от ощущения, однажды схваченного в пивной-автомате на улице Хмельницкого, которую тогдашнее студенчество перекрестило в улицу Опохмельницкого, и где я часто пропадал, когда не в Академии, с такими же бездельниками, как сам. Раз в этом стойко переполненном притоне пробило дозировочный сосок, и пиво хлынуло сплошной халявной струей. Вечная битва мата и локтя вокруг в момент осеклась, точно боясь сбить такое фантастическое, сон всей жизни, чудо, которое смирило и перебрало всех. Мужики в стихийном озарении согласия кинулись, взаимопомогая, наполнять по кругу кружки, по-отечески хороня заветный родничок от сглаза раскормленной в своей стеклянной сижке, как чушка в хлеве, разменщицы монет. И было в этой коллективной бражке на чужой необратимый счет какое-то дразнящее, ненаказуемое упоенье криминала, на что вообще падка групповая подлость масс... Вот что-то сродное, прорыв какого-то чужого и несметного соска я чувствовал за поедом не в меру сладких яств Игнатича. Они, как та струя, не утоляли, только распалили страсть, — и, сытый по уши, я продолжал с угодливых подач кумы накладывать себе на тарелку еще и еще, следуя осата-невшим естеством (и верь после этого ему!) такому противоестественному аппетитищу.

Честно сказать, за этим делом я даже призабыл про тайну девчонки. Но когда мы наконец отвалились как пиявки от ненасытного стола и разошлись: Игнатич — почивать, шоферы и хозяйки — по своим трудам, мы с Пашкой — к своему, за перекурором на порожке миллиардной вспомнил:

— А кого это он прячет — дочку? Хороша!

Пашка, целомудренно сберегший по женской части ребячий комплекс чистого паскудства, аж с перепугу обвалил пепел на штаны:

— Ты... кончай!

— Что именно?

— Сам знаешь! Игнатич, это, сразу оторвет!

— Да кто он такой?

— Хто? Хрен в пальто!

Пашка встал, как будто отрясти штанину, — на самом же деле скрыться от греха в беседку. Но я, чтобы заодно как-то размять отупенье после еды, с которым смерть не хотелось ничего делать, сграбастал его за плечи и уставил в лоб бычок:

— Ну, колись!

— Череп неправильный! Поставь на место! Ну, начальник он...

— Чего? Табачного ларька?

Щуплый, но скользкий Пашка выкрутился из моих объятий, но продувная рожа сама занялась ужасом и знатностью секретница, вздымающего обладателя над всеми вне поля знания. В короткой битве двух равно властных человеческих желаний: поделиться и не упустить, — взял верх болтун, и Пашка вымолвил таким атасным тоном, словно вешал жизни обоим на волосок:

— Да, закачаешься! В колбасном цехе он!

Ну и профессия! Как только, интересно, при таких утайках, — симпатическими чернилами или шифровкой пишется в трудовой? Но меня в сказанном не столько даже потрясло величие самого вора, — вот где акула-то социализма! — сколько пропасть пашкиного низкопоклонства, его заветный родничок, в котором эта тварь барахталась каким-то настоящим божеством, языческим кумиром! И можно было, чувствовалось, сколько угодно тиранить, жечь бычком моего напарника, но вырвать чудо-струйку — только с сердцем. И даже, подумал я, стрясись что промеж нас с Игнатичем — и Пашка-друг возьмет, скорей всего, не мою сторону. А впрочем, что могло стрястись? Мы прибыли сюда за своим суверенным делом, к которому, кстати, как ни крути, пора было приступить.

Вступительная его часть была самой противной: развинчивать, снимать борта, лузы, выдергивать тысячу гвоздиков из старого пропыленного сукна. Пальцы немеют от однообразных напряжений, да еще в горле комом все эти непереваренные сласти: наш опрометчивый наскок на стол, который так же нельзя было съесть, как выпить магазин, нанес, как уже чувствовалось, урон не ему, а нам самим... И все-таки часа за четыре, пыхтя и матерясь на пашкину же предыдущую забивку: все, гад, всадил по шляпки, как под врага, — мы довели работу до конца, и сами сдохли.

Игнатич раньше довершил свой сон, заглянул с припухшим после столь же, видно, содержательного, как застолье, храпа рыхлым лицом, попялился тупым акульным глазом на наш труд и ухилил, призвав послеурочно и нас на рыбалку.

Рыбалка эта была не на том пейзажистом водохранилище, а прямо на задах участка. Туда, как и к другим задачам, был прорыт отвод от внутреннего озера, напоминавшего осьминога с щупальцами, стяжавшего водино отдельные владенья Ковыряловки. Игнатич восседал на складном стульчике с японским раздвижным удилищем, время от времени выдергивал из своей щупальцы карасика величиной с ладошку, сцеплял с крючка, бросал в ведро у ног, насаживал нового червя и опять забрасывал. Все это, почти не меняя темпа и позы, отчего весь лов походил на какой-то механический перевод малолетних невольников из одного предварительного заключения в другое, окончательное. Он всучил и мне такую же удочку и втравил, против охоты, в состязание на счет. Пашка считал, и выходило опять, как на биллиарде, не в мою пользу. Вместо спортивной злости к мелким одуроченным своим обжорством тварям я испытывал что-то обратное: закидывая удочку, втайне болел не за поимку, а за спасение, и потому на каждую мою жертву приходилось три его. Пашка же скакал и радовался как ребенок, вытаскивал, засучивал рукава, попавшихся из ведерка слышал, заглядывал восторженным мучителем в болезненные глаза и рты:

— Игнатич, а чё, они в мутной воде тоже видят?

— Они только в мутной и видят!

— Ишь, мухоморы...

К вечеру клев стих. Пришла хозяйка звать к столу, стала позади Игнатича, возложила с той же затрапезной негой на его монументальные плечи свои раскормленные до филейного налива руки. И я почти физически ощутил в растопленном закатном свете дух нестерпимой благодати, исходящий от картинной пары. Хоть впрямь пиши картину: «Счастье» или «Чего еще надо?» — Игнатич, озеро, удочка, жена, крутые куши Ковыряловки... И если мне во всей этой пронзительной живописи и было чего-то жаль, то не своих проигрышей, не придурка Пашку, не наглой гекатомбы с

общего колбасного стола в пользу филейного процветания одного, а этих никчемно отловленных на смерть карасиков в ведерке у мощной пары ног. Даже необъяснимо, почему; но настолько, что, когда мы тронулись, я, рискуя показать смешную мягкотелость, предложил, стараясь понебрежней, выпустить их обратно. Но тут вдруг Пашка, сам не ловец, только примазавшийся к добыче, выказал такую бурную жадность, какой я еще не видывал в нем:

— Чё это, выпустить? Изжарить со сметаной — будет во!

Ведь только же вместе пузом маялись — куда! Игнатич без всякой дальнейшей заинтересованности в участии мельчайших братьев бросил:

— Ну, скажи куме, пусть почистит. А то хай кошки жрут...

— Чё это, кошки! Сам почищу!

И я по той же мягкотелости, толкнувшей на заступничество, не посмел спорить дальше...

После обеда и последующих расплатных мук мне, как отбившейся в корчах роженице, уже казалось, что больше в жизни не отважусь на такие страсти. Но только сели за свежеснаряженный стол, да еще вмазали по рюмке, — у меня опять потекли предательские слюнки. Вдобавок ноздри аж щипал сумасшедший запах от насаженного на шампур шашлыка из осетрины. И я, хоть чувствуя, что делаю опять себе во вред, решил жрать: будь что будет, может, вторично таких изобилий для меня уже не наступит никогда.

Шоферы теперь уехали, зато явилась наконец девчонка. Молча, ни на кого не глядя, возжигая этим снова авантюрную загадку, села, скушала кусочек осетра и выдвинулась из-за стола. Мать только заикнулась:

— Куда ты? Посиди с отцом...

Но Игнатич неожиданно суровым для благодушной позы властелина диссонансом перебил:

— Не трогай, пусть! — и, дав ей удалиться, уже чуть мягче пояснил: — Умолять, знаешь, только хуже.

Жена, покорно мужней правоте, не пряча наконец-то прорезавшуюся сквозь нечеловеческое счастье человеческую грусть, только вздохнула. И, продолжая какой-то завязавшийся меж нами тягой свежего общенья разговор, сказала:

— Скучно ей здесь. Ребята есть, не дружит. Дома тоже не оставишь, Игнатич на работе, ни покормить, ни присмотреть... Школу в этом году кончила, а дальше что — не ясно. Учиться — ни в какую. Все же есть, на выбор, все возможности! Нет, говорит, пойду работать! Что хорошего? Отец всю жизнь работает — так для чего?

— Ладно, мать, не скули, и без институтов проживем. У нас эти, образованные, гурьбой трутся, а что толку?

— Ох, не знаю... А все-таки! С отцом вот на море собрались, может, хоть там развеселится, отдохнет. А то, ну что ей здесь, действительно: телевизор, книжка, в лес по ягоды — зачем, их вон полный огород, все киснет, девать некуда...

Грустную тему прервала кума со свежей порцией дымящейся шампурной осетрины, на которую сам радовался и рот, и глаз, — со своим неистощимым оптимизмом:

— Игнатич! А поподжаристой?!

— Ай да кума! Не кума, просто умница! Ну махни, махни еще рюмашку с нами!

Махнули все, засластили ананасным соком, и аппетит удвоился. Теперь разъелась с тихой, словно чуть стыдящейся безумства поглощаемых объемов страстью и хозяйка. Пошла уписывать и лосниться наравне с Игнатичем, точно здесь и была одна действительная утешительная сладость, что властно вытесняла сорный элемент несовершенств, печали. Казалось, стоит еще чуть налечь — и падут, как несостоятельные, остальные пустяковые невзгоды, смерть сама не устоит и сдастся под агрессией такой невероятно насыщенной жизни!

Пашка на сей раз не только обожрался, но и опился. Сидел, еле дыша, не шевелясь, уже ничего не приемля вовнутрь, боясь извергнуть принятое. У Игнатича к концу заблестел бисерной испариной и лоб, хозяйка тяжело приникла к нему, так и выключилась. Неутомимую куму и ту подрезало: едва уселась окончательно, чтоб отдохнуть за хлопотливый день на свою «секундочку», как заклевала носом: уронит голову на грудь и тонко: «П-с-с...» — очки падают, дрыг головой, очки нацепит и опять: «П-с-с...» — как тоненький кларнет

в апофеозе, отчеркивающий все ключевое торжество последнего широкого удара... Игнатич наконец сыграл отбой, мы с Пашкой как два куля отволоклись в нашу комнату и пали замертво.

Назавтра, после сонного провала, снова зарядился день, — как ни казалось, что все возможное и невозможное уже произошло, стремиться дальше некуда и незачем, оставшейся заботной мелочишки не наскребалось на дальнейший интерес. Но только вышли на веранду — заново, как ни в чем ни бывало, отсервированный стол, со всем дикарским изобилием и ломотой закусок, опять смешал все мысленные карты. А кума уже голосила утренним приветствием со своей адской кухни:

— Секундочку! Сейчас Игнатич выйдет, сядем...

Но я твердо решил больше не ввязываться в оргию, только попил чайку и, бросив Пашку, который, ясно, остался лопать, ушел к трудам. Но все-таки, — сверлила снова мысль, — что это значит? Чего хочет от меня Игнатич? Не даром же все эти ласки? Если вмазать в какие-то свои аферы, как меня уже пытались в Академии, когда я сказал: нет, не умею, — а мне: ничего, главное, у тебя честные глаза, а дальше выучим! — напрасный труд... Я шел сюда свободы ради и не продам ее ни за какие осетринные похлебки! Или уже потихоньку продаю? Ладно, как говорил Чума, вскрытие покажет. Надеюсь, убивать он меня не собирается, а на остальное чхать!

Днем мы всей кодлой, за исключением девчонки, пошли на озерко купаться. Ее постоянное отсутствие, с приправой прочих тайн, сверлило исподволь воображение. То, что между нами было, — тот мимолетный, нераскрытый взгляд, — обрастало всяческой фантазией; казалось, будет и еще что-то; мы, как два играющих кия, столкнемся обязательно; а там — это уже как исход любой игры, удел непредсказуемого...

Игнатич сам не купался, только наблюдал и вел спектакль:

— Кума! Ты хоть зайди по бабочку!

— Это, Игнатич, где ж?

— А вот тебе Пашка покажет!

— Ой, черти, не надо, я сама!

Она жеманно болтала длинными, висячими в за-

дрипанном купальнике грудями, — и сладкая малина Пашке, обожателю гнилья. Он, так и сяк крутясь, не знал, как лучше подобраться: узость и мелкота канавки не давали вволю раздурчиться. У хозяйки же было нежное, почти съедобной белизны тело. Она его стыдливо достала из одежд и сразу, как зашла в воду, поспешила плюхнуться, на что возбужденная событием волна сладострастно облизала губы берега. Они блаженствовали, барахтаясь по-собачьи в перегретой жиже; блаженно с берега утеху созерцал Игнатич... Я тоже окунулся, но вылез скоро. Меня во всем этом утешало другое: я мысленно старался дописать портрет отсутствовавшей, за неимением прямой натуры — от противного. Но было во всем этом и что-то противное, от чего хотелось внутренне отдернуться, как в страхе детской сказки: «Не пей, Иванушка, из копытца, козленочком станешь!»

А вечером к Игнатичу пришли гости: сосед по Ковыряловке с женой и отпрыском, прыщавым малым как раз в тех, с рантом, сапогах и фирменном джинсовом костюме, — роскошь по тем временам сказочная! Еще они приволокли зачем-то полную сумку шампанского, из чего можно было заключить о принадлежности гостя по клану винзаводчиков. Шампанское откупорили, но, к несказанным завидующим мукам Пашки, пить не стали, так и выдохлось, — всем больше по вкусу прищлась игнатичева экспортная водка с импортным соком.

По случаю гостей спустили и девчонку с ее верхотуры и усадили рядом с пацаном. И я невольно взвелся встречным внутренним напрягом: как поведут себя по отношению друг к другу? Но они пока не вели себя никак; вело застолье старшинство — на вечную гражданскую тематику, только изошренную среди граждан Ковыряловки избытком возможностей.

— Главное, — веско комментировал Игнатич, — для человека что? Похавать правильно. Кусок вырезки, только натуральной, не из магазина, и будешь сыт всегда, и здоров, и никаких, — он небрежно кивнул в сторону столовых чуд, — этих деликатесов не надо...

— А в магазине, что ты, Игнатич! Такая дрянь стала, оторви и брось! — жарко поддерживала гостья, не забываясь о том, что сам сторонник моноблюда, возмож-

но, отнюдь небеспричастен к тому: — Я взяла на той неделе говядину у нас, мои и есть не стали!

— Как можно! Человек что ест, то он и есть! Надо уж, если для себя, так самое! Нельзя, чтоб аферистам шло, а людям — нет!

— Вот-вот, Игнатич!

— Заплати, но только чтоб все чисто, благородно. Я сейчас шапку взял на зиму, что надо отдал. — зато натура, мех! Наденешь — сразу чувствуется!

— За что люблю Игнатича: скажет — как нальет! — встрял и гость.

И хоть сама суть слов мне никак не была близка, невольно льстило поэтическое превосходство «нашего» Игнатича — вот это вечное коварство формы!

— Ну, кто там, наливай!

Пашка уже исполнил, не успел гость выговорить, милую обузу и вопросительно занес бутылку над стопкой пацана.

— Ладно, плесни чуть, при родителях можно...

— Правильно! — Игнатич знал кругом ответ. — С ребятами не пей, лучше напейся дома, если тянет, при родном отце, — по заблестевшим глазкам отпрыска чувствовалось, что он как раз не напролом стремился к лучшему, — чем где-то там, на стороне позориться.

— Слушай, дурень, что Игнатич говорит! Поедете на юг, чтоб как отца! И ты, Игнатич, чуть что — прям по затылку его!

Э... вот как тут уже все спето! А я-то дурак! И прыщ, действительно раскрепостясь с отеческой подачки, скоро пошел навешивать на ухо моей затворнице какую-то лабуду. Я только расслышал: «на уроке химии...» — и, несколько раз, сквозь давку его смеха: «пердячий газ...». Правда, она воротила или делала вид, что воротит, ушко, но где ж ей — все схвачено уже! — отвертеться! Стерпится — слюбится и снюхается; не сразу же, вероятно, соспели в то филейное, что есть, состояние и их мамы! Но как ни смехотворно отзывалось мое расстройство по чужой пропаже в пашкиной тоске по откупоренным на выброс шампанским пузырям, мне стало безрассудно жаль, что они все-таки уедут, спетой волей пап и мам, на этот юг, и все невысказанное между нами так и останется невысказан-

ным навсегда! Но тут весь ход событий круто изменил Игнатич, оторвав мальчика от его вонючих тем вопросом:

— А у тебя ж вроде была гитара?

Откликнулась, чуткая материнским слухом, винзаводчица:

— Игнатич, три у него, валяются без толку, а путем ни на одной не может!

— А ну, тащи, у нас тут есть свой артист!

Неожиданный заказ, переместивший меня с периферии на центр внимания, раздался как новый вызов в какой-то странно шедшей между нами схватке. Гитара, поданная быстро — видно, дача гостей была неподалеку, — оказалась первый сорт. Если владельцы Ковыряловки и в остальном так рьяно блюли потребительский завет Игнатича, мало ж могло отпасть на долю аферистов! Но мне давался шанс надрать хозяев поля их же снастью; правда, я раньше никогда не использовал свой дар как боевой, но зря, что ли, толкался в Академии, где говорили так: «В Одессе учатся сначала выигрывать, потом играть!»

Тогда я помнил песен тьму: и эстраду, и народные, и классику, — но, чтобы далеко не ходить, и начал с того, залетевшего еще дорогой «Ворона», как следует, со всеми струнными переборами в басу — коронный номер! Народ сразу прибалдел, как Пашка, когда я первый раз распелся перед ним. Вытаращился дикарем: «Ты чё, как это?» — и долго не верил, как и в консерваторию, что это делается чисто, без всякой тайной, обязательной для Академии «поганки». Но эти скоро стали требовать, как во всяком нагретом до лирического градуса сборище невеж, такого, «что все знают» — горя оптом отличиться в том, что непосильно в розницу. Мне ничего б не стоило осилить глоткой самозванный хор, но я нарочно не делал этого: ничто так не способствует симпатии к артисту, как досада на чинимые ему помехи. И номер удавался: девчонка только и смотрела на меня, — хоть мне, под нажимом публики, и приходилось петь не лучший свой репертуар. Но это все уже, кто понимает, не принципиально; главное — есть контакт или контакта нет. А он был!

Но с набором градусов нажим крепчал, затребовали таких частушек, что той, под кого я рвал глотку и струну, пришлось — и уже явно охоте вопреки! — покинуть сборище. Я подыгрывал механически похабщи-

не, а охмеленный рассудок скакал туда, ввысь, за потолок... Скоро кума, уже не слушая меня, пошла сама, как музыкальная шкатулка, со своим припевом в пляс, крутя руками над головой, как выкручивают лампочки. Прыщ же хныкал:

— Ну, пап! Ну еще чуть-чуть! Ну капельку!

Но «папа», забыв всю педагогию, травил в десятый раз один и тот же анекдот, копируя хмельным занудством неслуха-сына: .

— Где у бабы ап-пен-ди-цит, Игнатич? Как войдешь — направо!

Я, улучив ненадобность в своих услугах, вышел покурить на улицу и замер, замороженный сумасшедшей мыслью: что, если впрямь рвануть — туда, наверх? Здесь, посреди логова, нанести бесчестье, о котором можно будет потом вспоминать всю жизнь! Я не знал, в какой именно она из верхних комнат, но в пьяной голове невесть с чего засело диким путеводным лозунгом: «Как войдешь — направо!»

Когда я вернулся на веранду, Пашка уже выкручивал лампочки вместе с кумой — одной рукой, а другой выкручивал ей грудь. Я перевел взгляд в сторону Игнатича — да так и вздрогнул: Игнатич, трезвый как стекло, смотрел прямо на меня и, голову на отсечение, читал насквозь весь мой охальный замысел!

Больше того! Когда гулянку наконец свернули, бесчувственного Пашку открутили от кумы, гостей спровадили, и я, уже под Пашкин сап, прилег, дрожа как лист отвагой плана, — за дверью раздались шаги, и невидимая, но ясно чья рука задвинула внешнюю щеколду. А я еще, когда увидел — подумал: на что она? Вот на что! Я еще не знал, что есть на свете Ковыряловка, Игнатич, — а меня уже здесь ждали!

Но пробуждение мое на следующее утро было радостным. Ага! — раз дело на щеколду, значит, меня уже побаиваются! Есть контакт!

Мы снова сели за чертов стол, но теперь и он оказался не так страшен, как сперва намалевался. Я больше не испытывал натужных мук соблазна и отказа: бесцельный жор просто приелся, надоел; естество, которому надо все же верить, само раскинуло все по местам.

А главное, уже просматривался и конец трудов, — все пыльное и муторное, с чисткой, шлифовкой было позади, оставалась самая искусная и приятная задача:

положить свежее сукно, собрать и выверить все по струнке. Обычно я всегда распевал что-то за работой, но здесь от перегрузки брюха, что ли, целых два дня изменял обыкновению: зато теперь наворачивал пробыл всюду. Есть у композитора Доницетти такая замечательная и смешная опера «Любовный напиток». Деревенский парень Неморино, молодец собой, но простофиля, влюбляется в первую и вздорную красотку на своей деревне — Адину. И от любви делается совсем не свой, молчит как пень, морит девчонку скукой и продувает даром залетному вояке-сердцееду. Но тут на горизонте объявляется бродячий чудодей Дулькамара, торгующий любовным напитком: стоит выпить флакон, и та, кого хотел, твоя. Все зелье — обыкновенное вино, но Неморино такой лапот, что с полной верой в чудо берет на последние и выпивает сразу два. И чудо, к неопишному изумлению самого торговца, совершается. Проклятую робость сдувает без следа, малый видит, что на самом деле он красив, смышлен, речист, — не полюбить нельзя! И это тотчас начинают видеть все, — девчонки сыплются за ним гурьбой, Адина в трансе, вояке от ворот поворот. А герою уже деревни мало, ноги тянут на простор, выносят на берег озера, и тут он поет романс — знаменитый романс Неморино, обворожительней которого я не слышал в жизни. Мир запрокинулся, как в озере, в его глазах, несносная вчерашняя тоска стала самым несносным счастьем, жизнь прекрасна! И он все это выпекает одним духом, так, что очутившаяся заботливой случайностью поблизости Адина сражена в самое сердце, и он одним ударом получает все, делая заодно сногсшибательную рекламу ловкому прохвосту Дулькамару.

Вот этот романс я и затянул между прочим, сажая гвоздики в сукно, сперва тихо, потом незаметно разошелся, даже бросил молоток; Пашка привык, не обращал внимания. Поворачиваю голову — и прямо напротив, на дорожке вижу девчонку с глазами, распахнутыми шире Ковыряловки — на меня, а в глазах — полный аншлаг! И тут со мной творится невероятное. Я перестаю начисто видеть белый свет, а вижу свет другой, искусственный: матерчатый небесный свод со звездами, большой луной, нарисованное озеро, явно слышу пиццикато скрипок, вторящий мотиву гобой. Там есть в конце трудный пассаж, я его не пел целиком

вообще никогда, надо учить, а тут беру как во сне, нота в ноту, возвращаюсь в тонику, поворачиваюсь с дрожью сердца к яви, — и упираюсь взглядом, как вчера, в стоящего вместо девчонки посреди тропы Игнатича.

Я так струхнул, словно попался невесть на каком, достойном кары преступлении, даже не смысла толком, в чем оно. Но на его загадочном лице была не кара, а что-то еще; он только подмигнул насмешливо:

— Пой, пой! — и скрылся.

Но фокус дьявольского преобразования отбил уже всякую охоту к этому. Под конец, когда стол, уже весь в сборе, засиял нетронутой щемящей зеленью, а мы дошивали лузы, Игнатич снова заглянул — полюбоваться. Пашка рассопелся так старательно, что нам с царской щедростью было выслано по рюмке: веранда уже вступала в фазу ужина... И вот, последнее замечано, пылинки сдуты, я отослал Пашку с благовещеньем, сам начал прибираться. Игнатич явился один, принял труд быстро — все было на его наметанном и, судя по всему, оставшемуся довольным глазу, — и отсчитал прямо на сукно заветный куш:

— Это за работу... — сумма уже явно включала и обещанную премию, но главный сюрприз ждал впереди: — За остальное тоже надо отличить. Я вижу, ты парень хороший, натуральный, наш, попел, потешил бедного колбасника. Надо благородно, не стесняться друг другу помогать. А то русский Ваня только пашет (это он свою, что ли, колбасную запашку или нашу с Пашей имел в виду?), а мразь пользуется! Я ведь на юг еду, винца хорошего попить, на солнышке погреться людям надо. Мать не любит — хай с кумой крыжовник шиплет. Так вот... Айда с нами?

Я только распахнул онемело рот, но Игнатич был готов и к этому:

— Я знаю, ты парень гордый, ничего даром брать не станешь. Считай, это между нами в долг, пока, потом рассчитаемся. А кто нам не нужен — и отшить недолго, дело наше. В общем, смотри! Завтра поедем — скажешь. Ну, пошли...

Я еле выдавил: сейчас, дособеру вещички, — и он понятно оставил меня наедине с моим расплохом. Так вот чего он хочет?! Не честных моих глаз и рук, а всего, живьем, от гениталиев до глотки! Ну, силен купец! И первой моей мыслью было даже, как ни стран-

но, не хочу ли я того, — а чем, в противном случае, могу чистосердечно отбрехаться? Экзаменами в ГИТИС — в которые и сам все еще не вполне верил? Но я вдруг ясно почувствовал, что стоит заикнуться — и буду держать их не в шитой страхом аудитории, а за винцом, под пальмой, в пляжных трусиках, — а там, глядишь, и без! Поди хреново! Одни глаза, глазищи чего стоят! Дна не видно — и там, и там! Отец ворюга — ну так он же, не я! В крайнем случае, что маловероятно, сядет. Так неужто где-то здесь не предусмотрена такая ископаемая доля, что сама стремится стать моей? А где подъемы ввысь лежат иначе? В Академии? На эстраде? Где? Я с ужасом чувствовал, что логическая мышеловка захлопывается, а вставить в захватывающие дух створки нечего. Честь? Но она — понятие обхожее, тем паче для артиста. И любимый Доницетти не давал ответа. Там, в опере, которую я знал наизусть, есть место, вроде проходное: незадолго до сумасшедшего, конец всему, романса на деревню прилетает весть, что нищий Неморино сделался наследником какого-то отдавшего концы на чужбине дядюшки-богатея. И Адина, идущая на озеро пасть под чарами его бельканто, — в курсе! Пустяк, но вот же, вложенный!

Мой путь в цикадных сумерках от беседки до дома как будто сцепил воедино все: жизнь, сцену, выбор. На картинном небе высыпали звезды, отлилась дебелая луна; я чувствовал какой-то драматизм развязки, коей не хватало до осуществленья толики, штриха! Я уже поставил ногу на ступень крыльца, в растерянности шаря взглядом, за безответностью внутри, во внешнем мраке, — и тут: есть фортуна в пустяках! — наткнулся на спасительную мелочь, кончившую враз все порочное сомненье.

Это было то самое, забытое в пылу обжорства у крыльца ведро с выловленными мной с Игнатичем и сгубленными Пашкиной жадностью карасиками. Сам он их, конечно, не вычистил, а попросить куму, хапая ее за отспелые груди, видно, постеснялся. Так они и стухли и плавали теперь, тускло блистая в освещении с веранды, вверх животиками и уже шибали легкой вонью. И черт знает, что такое они, узники напрасной жизни и напрасной смерти, перевернули во мне — что в нас переворачивает единственная, неисчислимая никаким алгебраизмом нотка? Но всего миг

назад пленительное в соблазне сделалось для меня, как в вещи выдумке про оборотня, отвратительным, — и в ту же секунду, с точностью случайного, такт в такт, явления Адины сквозь цикадный звон раздался звук разгона дальней электрички. И я уже наверняка знал не только суть, но и форму моего ответа.

За столом опять галдел вчерашний сбор. Моя Адина, с которой я без малого не обручился, так, кстати, и не перемолвьясь ни одним словом, была тоже здесь. Но взгляд ее широких глаз больше не прятался и без слов сказал мне все, что мог сказать, — увы и ах! Я сел рядом с Пашкой, выждал, когда общее внимание ко мне рассеется, и тихо бросил:

— Я сейчас еду. Электричкой. Только молчи...

— Ты чё? Пожрем! Завтра свезут, прямо в Академию. Чё Игнатич скажет?!

— Тише! Что скажет, то и скажет. Отбрешишь. — Пашка уже был косою, тащить его с собой невысказанно, как и мне до утра таить ответ, — не из боязни изменить, и даже сообщить, а так: уж если действовать — интрижкой вдруг и на ночь глядя.

Я выждал еще чуть, затем, демонстративно достав курево, поднялся. Только одни глаза следили за моим маневром, и я, когда с ними снова встретился, сделал, почему-то сочтя нужным это сделать, короткий, незаметный никому прощальный знак рукой.

На взятие вещи из биллиардной ушла минута, я погасил свет и с легкой, сладко жмущей грустью двинул к выходу из честию побежденного капкана. И вдруг, уже на траверзе освободительной калитки, услышал шаги за спиной, обернулся — от заднего крыльца дома ко мне бежала девчонка. Я даже растерялся от непредвиденности так далеко зашедшего успеха; она остановилась в шаге от меня:

— Вы уезжаете?

— Да, надо...

— Возьмите меня с собой...

Мне показалось, я не то ослышался, не то не понял, и машинально переспросил:

— Куда?

— Куда угодно! Только отсюда!

Тут только до меня доехал колоссальный смысл признания. Вот это дернул я — и чем, чистым искусством! — матерого туза! Как получить? Но не успел я,

в смеси ликования и отчаянья, что оторвал кусок шире рта, сложить ответ, — как прямо за ее спиной, на отдаленье основной тропы увидел в сумрачных доспехах зловещую фигуру самого Игнатича. Пашка, гад, продал! — успело пронестись в сознании, прежде чем оно окончательно ушло в пятки.

Она тотчас все поняла по моему лицу, и огромные глаза в картинной, под россыпью всех звезд тьме отсыпались такой тоской, что только и бывает в жалостных индийских фильмах, — вот за что, видать, их так пылко любит наш народ! Но я, увы, был не Радж Капур, даже не родной актер Баталов. Меня хватило только смекнуть, что единственное, что я могу снести с победы — это ноги, я развернулся и рванул во весь опор через калитку, через всю пустынную, ни шавки, Ковыряловку, через какие-то поля, — туда, где запевала песню нового пути и далее электричка...

А дальше все сложилось так... Порвав окончательно с Академией, с моим напарником, я, ухватив какой-то дух уверенности в том побеге, налег на подготовку к экзаменам, прошел их благополучно и до сих пор признателен судьбе за все, что она со мной сыграла для такого поворота. Правда, что до девчонки, — некоторое время потом меня не отпускало чувство какого-то неоплаченного долга, словно я нажил свою судьбу ценой невольного предательства и обмана. Но что, действительно, могло быть между нами? Смешно вообразить, чтобы пара самых вдохновенных нот смогла что-то глубоко перековырять в родовой империи Игнатича. Но порой, когда я выхожу на сцену, причем неважно — у нас или в других, процветающих краях, и игра идет; — я чувствую: находится такая связь, что все, к чему уже, казалось, нет возврата и отдачи, возвращается. Я словно вижу тогда, где-то по центру зала, эти бездонные глаза и помогаю им, как не смог тогда, в тот звездный час, уйти, как из проклятой калитки, из закольцованной земной тоски. Не я один, конечно, все на сцене. И пусть мы не поем зазря и маемся своими язвами, пусть эликсир в прохиндейском флаконе Дулькамары просто дешевое винцо, — но чудо следует, любовному питью — расхват, и потому, я думаю, мы пользуемся им правильно.

ИНЫМИ СЛОВАМИ

Он сказал:

— Я хочу в свою жизнь вбить осиновый какой-нибудь кол, чтоб уж никуда из нее не выйти.

Он сказал:

— Поэзия есть форма погубления себя. Почему Есенин написал, что он охвачен золотом увядания? Что это он вдруг: только начал, а уж увядать? Очень просто: хотелось погибнуть.

Он рассказал:

— Имел когда-то друга, человека строгого и тусклого ума. И каждый раз, если видел он, что случилось мне — на вечеринке или иным путем — познакомиться с женщиной, я мог быть уверен: наутро он позвонит, спросит: «Ну, что?». И я мог быть уверен, уже с вечера: если он так смотрит, что видно, что он будет звонить, спрашивать, то мои старания и траты бесполезны. Рыба неизбежно уходила с крючка, причем бывало и так, что в самую последнюю минуту.

Он сказал:

— В каждой стране время о времени, раз в пятьсот, что ли, лет, рождается гений шекспировского типа. И вот, в одной стране такой человек посвятил себя охране царя. Он разработал, проведя за этим занятием почти всю жизнь, изумительной четкости систему охраны царя от покушений, нападений, от нелегальных влияний... Но интересно, что на царя той страны так никто за все время ни разу и не покусился. Маленький Шекспир пропал практически втуне. За границу продать сис-

тему охраны было нельзя, ввиду ее глубокой засекреченности. Единственное, что хорошо: систему многие обслуживали, кормились как-то около нее. Вот вы видели рослых человечков, которые ходят рядом с царями — всегда спиной вперед, если царь идет лицом? Это они. Они кормятся.

Он сообщил:

— Я человек пугливый. Я боюсь обоих светил. Я боюсь врачей всех мастей. Но не боюсь пустых улиц и сумасшедших. Все-таки боюсь евреев. Безумие — это искусство. Что мне его бояться?

Он сказал:

— Теперь, когда мы собираемся, нам все трудней разговориться о хорошем, высоком. Все трудней заарканить дух беседы. Все реже нам его спускают. К другим, более свежим людям снисходит этот дух.

Он сказал:

— Приятно, что на пути попадалось много интеллигенции. Причем не шаблонно скроенных тупарей, а настоящих блистальщиков. Я любил их длинноволонистые мысли.

Вот и все, что он сказал отличного от говоримого другими. Прочее, то есть: даты, цены, слова «дай», «спасибо», «теперь направо», «я знаком с ним, он подонок» и другие, и еще все нецензурные наши сокровища он употреблял обычным образом: так приблизительно, как ребенок кубики, когда строит игрушечный дом.

Говорят, мы живем в той мере, насколько прибавили в мире новых хороших вещей. Иными словами, выше приведена вся его жизнь.

Сам же он высок, костляв, но с животиком.

(ПРОКЛЯТЫЕ) ВОПРОСЫ

Вопросы слетали к нему с неба: такие цепочки букв, как бы нанизанные на светлую нить или леску: «А откуда ты знаешь о сатанистах?».

Это оттого, что он подумал: «Вот, есть девушки, на которых все, любая, самая лучшая, четкая одежда сидит плохо. Что, они, может быть, сатанистки какие?.. У

них еще обычно волосы длинные, на пробор. Я думаю, глядя на них: так как, когда едят они, весь этот хаир в пищу, в тарелку, например, с борщом, разве не лезет? Или закалывают?...».

Хаир на улетевшем уже молодежном жаргоне значил — волосы.

Упомянутые мысли крутились у него в голове и около ушей с самого утра, с того момента, как он пришел в Учреждение. «Конечно, — думал он, стараясь прогнать их, — правы старики. Разве дело в шмотках?».

Но эти слабые раздумья не могли, как он ни напрягался, перешибить ниспосланного свыше. Он сообразил, что нужно ему услышать какой-нибудь чужой вопрос, хоть простейший, о том, например, сколько времени, и ответить на него: это единственный шанс выдуть, вымыть муть из головы.

Он пошел по Учреждению в надежде, что и его о чем-то спросят. Он чувствовал, что пришла ему пора отвечать. Он хотел Малого Страшного Суда, типа промежуточного финала. Он шел и слушал разговоры. Он слышал довольно-таки дикие вещи. Какой-то замухрышка рассказывал о свойстве красивых женщин отдаваться очень быстро, при определенных обстоятельствах. Причем замухрышка говорил как власть имеющий.

И вот он переходил от одной группы беседующих к другой и видел себя как бы сверху, с, допустим, плафона: втирается его худенькое тельце в гущу чужих тел.

Он услышал, как спросили: «Как чувствуешь себя?» — и на всякий случай ответил тихо: «Как перед концом времен», — но спрашивали, натурально, не его, а какого-то веселого сварщика в зеленой робе. Еще круглые очки висели у сварщика под бородой.

Он понял, что провел жизнь, лавируя между столбами снежной пыли.

Он понял, что напрасно слушал только обличавшие несправедливость голоса. Он вышел на лестницу, и перила ударили его током.

Из означенного состояния было два пути. Один — тот, что отражен в стихах Бориса Поплавского:

На острове беспутная, смешная
Матросов жизнь. Уход морских солдат.
Напев цепей, дорога жестяная
И каторжной жары недвижный взгляд.

Или в стихах Всеволода Некрасова:

Ах, дорогие мои современники, —
как сказала бы Анна Ахматова,
переселенная в Новогиреево.

Другой, честно говоря, не менее очевидный: путь снижений, паскудств, холостячества, но не в стиле журнала «Плейбой», а в русском, времен упадка, то есть — со слабым накопительством, с цветным телевизором, с запоями.

Стало быть, выбирай: русский дух или русский бизнес. Он воскликнул: «Ах, черт!» — махнул рукою, побежал быстро вниз по лестнице, надеясь, что чары рассеются, но чары не рассеялись.

Он выскочил на улицу. На трамвайном кругу плясали, хороводили столбы снежной пыли. Солнце было особого бледного цвета.

Описать этот цвет следует так: это цвет румянца на щеках одного редко, но регулярно встречающегося вида блядей. Они живут в общежитии, реже в квартирах, годы напролет не выходят на свежий воздух.

Вот он вспомнил о таких девушках. «В постели, — подумал он, — они ведут себя не как женщины, а как простые семяприемники. Гадость! Гадость! На них налипают отпечатки пальцев, и слюни, и волоски прошедших через них. Волосы их кажутся всегда немного свалявшимися, с запахом тлена, даже если их вымыли и расчесали на твоих глазах...»

Образы утренних ведьм совместились у него с образами блудниц заката. Петля оказалась наконец захлестнутой.

Но вот спустились сверху вопросыки, как караван мух, облетели вокруг его головы, потолкавшись у раковины, влетели в ухо:

«С ней блудодействовали цари земные — это что значит?»

ЖЕНЩИНА МЕДНОЙ СТРАНЫ

Приключения кончились лет пять назад, но долго держалась их инерция, тлели руины, расхлебывалась каша. Как-то раз, вечером, стало ясно, что дни, один за другим, так и будут умирать за окнами.

На остановке под названием Зимняя Пустынь она ждала троллейбуса. Наискосок, через шоссе, стояло здание грубых форм, электростанция Голубой Свет. Сперва она думала, что они пришли оттуда, со станции, но впоследствии разочаровалась в этой мысли. Они — два карлика. Сначала первый, вывернув из-за столба, подошел и заглянул снизу в ее лицо, затем второй.

Дом станции отдавался тьме, окна исчезали. Так хороший стрелок гасит мишени в электрическом тире. Карлик в короткой куртке сказал птичьим, педерастическим голосом: «У насилуемых есть цель — так сдружиться с насилующими, чтоб они тебя не убили потом, когда исполнят свое...».

У другого карлика был бас, но он не умел говорить, только хрипел. Член тенора был синий, кривой, сухой сук, победоносный. У баса оказался вяловат, сминаясь, как воздушный шарик, и она стала ему помогать, пальцами будоражить, как только прошел мешавший дышать страх. Тенор был заботлив: постелил под колени ей куртку, чтоб не на снегу стояла, не студилась.

В такси быстрых окраин отвезли ее домой.

Наутро они приехали в черной машине, долго из нее вылезали, кружили по двору. День был обычный, облака в небе шли сплошным фронтом, но каждый час появлялись разрывы. Они вошли, она увидела: не карлики, просто низкорослые.

Она улыбалась резиновой улыбкой, голову поворачивала в профиль. Закуривала, но не курила, а ломала табачные изделия в пепельнице.

Тенор спросил:

— У тебя есть кто-нибудь постоянный? Он не станет, допустим, мстить?

Она молчала. Бас захрипел, будто собирался кашлять. Тенор сказал:

— Ты думаешь, мы за всеми так ухаживаем? Домой отвозим, навещаем утром? А мы даже фамилий не скрываем наших: Мазуров, Макаров.

Она молчала.

— Дело не в этом, — продолжал тенор. — Ты наша. Мы ведь угрожать не умеем.

Она встала, прошла в ванную, включила воду. Вода била в слив, чмокала, улетала в трубы.

...Она знает, с их слов и изнутри, от себя: да, она — их.

Она живет ожиданием приказа или знака. Она томно снимает трубку черного телефона. Она осматривает свое тело: склонив голову, а также с помощью одного или двух зеркал. Она берет свои груди в руки и сводит их под кофтой тесно вместе. После душа, распаренная, голая она идет на кухню, подолгу стоит у окна, расплющив нос и груди о холодное стекло. Она садится на немного липкий линолеум, стрижет и пилит ногти. Она замирает, уронив пилку и шипчики. Одна нога ее согнута, и колено подтянуто к подбородку. Для полного перерождения, думает она, тело нуждается в дальнейшем осквернении. Она вытягивается на линолеуме и бьет ягодицами в пол. Она думает:

«А раньше, в дни скачек по субботам и пляжей по будням, и поцелуев в прихожих, полных шуб, можно было не петь и не плакать, можно было все...»

В газете, которую ураган забивает в форточку, как кляп, она читает (с трудом): «Медная страна».

«Медная страна, как всякая другая, имеет тело и душу. Тело Медной страны содержит в себе пельменные. Когда в пельменных нет пельменей — это кризис.

Медная страна отличается от всех прочих способом выбора правителя. Им становится тот совершеннолетний гражданин, кто на момент выборов имеет самый длинный член. Явных дебилов и садистов к баллотировке стараются не допускать.

Порядок таков: собирают загодя и регистрируют заявки. В день выборов в торжественной обстановке проходят промеры. Систему эту народ принял, полюбил.

В Медной стране много настенных электрических часов. Случаются поломки: например, секундная стрелка вдруг начинает прыгать на одном месте. Держится вперед — и тут же отлетит к предыдущему делению, словно не может перескочить некоторый барьер. Так трепещет:

И тогда секунда длится долго-долго...»

Она комкает и отбрасывает газету. Больше читать не нужно. Она получила приказ. Она едет к Голубому Свету. Небо краснеет; идет, то есть валится с него,

снег, дождь, песок. Все быстрее она едет, и все не может доехать.

Она бежит по полю, набирая репейные солнца на полы шубы. Она видит щиты, и кочки, и широко разрытые канавы: электростанция закрыта и уничтожена, адрес ее утрачен. Мазуров и Макаров уволены; она, если хочет, может видеть: вон, в длинной яме валяются их скелеты.

Она понимает, что она — сирота.

В. К.

В пятницу он с Колесовым, Скачковым, Рукоятниковым и несколькими незнакомыми, на один раз взглянувшими в его жизнь людьми напился довольно прилично и просадил пятьдесят рублей. Субботу удалось скоротать легко — медленно читая скучную детективную повесть; в воскресенье же проснулся он очень поздно. Его немного знобило, но не от простуды, а так, из-за мук совести. Куда было девать воскресенье, он не знал.

Наступил третий, самый тяжелый день похмелья.

И сразу он вспомнил о В.К., и стал думать, что же с ней делать? Он представил себе, что она может позвонить, и отключил телефон. Энергии у него совсем не было, и, говоря с нею, да и с кем бы то ни было, он не смог бы ни на чем настаивать, он бы на все согласился. Хотя, разумеется, это дикая чушь: на что бы он мог согласиться? Никто ему ничего и никогда не предлагал. Вот так, путаясь в «ничего» и «никогда», он сидел у окна, провожал взглядом пролетающие в сторону Можайки машины, и думал о В.К.

В.К. он знал два года и не любил ее. Он хотел порвать отношения, связь разрубить, и не мог. В.К. обладала нормальной для чуткой женщины способностью появляться, когда ему по тем или иным причинам было как-то не по себе — с похмелья ли, после какой-нибудь служебной обиды, и он впускал ее в душу. И В.К. в душе его располагалась. И он лениво начинал борьбу за собственную свободу. «Зачем я тебе ну-

жен? — говорил он. — Но если уж нужен зачем-то, то зачем делать из меня человека, который тихо ненавидит сам себя? Заставлять произносить эти речи?» Но на меланхолию, ею вызываемую, В.К. не обращала никакого внимания.

Теперь он думал, что если бы у него была семья, он не напился бы в пятницу так сильно. Он вспомнил курицу, которую долго жарили и чуть не сожгли, а точнее сказать — слегка все же сожгли; потом долго ели, перепачкав руки, рубашки. Далее этой курицей он блевал, стоя на коленях перед унитазом. Ничего этого могло бы не быть ни в пятницу, ни в сто или триста всяких других дней.

Вообще ему казалось, что вся неуверенность его, вся грустность его жизни происходят именно от отсутствия семьи. И никогда ничего холостой человек не сможет серьезного сделать, очевидно, ни в какой отрасли. Однако ему было тридцать два года, и жизнь складывалось так, что те девушки, которые, как он сам, пожалуй, выразился бы, «подходили», совсем не выказывали симпатии к нему. Впрочем, до сих пор — то есть двенадцать лет уже, он сокрушался об одном упущенном шансе, об одной студентке, по имени Катя, которая влюбилась в него, и ему очень нравилась, но она в первый же день знакомства отдалась ему, и его это раздражало. Сделать ей предложение он не решился, упустил весну, упустил год, и все как бы кончилось.

Любопытно, впрочем, что жизнь его дальше шла параллельно жизни этой Кати: в три приблизительно года раз они случайно встречались, правда, все как на грех, на каких-то нечистых, продуваемых, просто привокзальных даже, стогнах. Оно побывала замужем дважды, и дети были от обоих браков, и жизнь ее была, очевидно, неровной, но полноценной. Квартира у нее была в центре, и в третью встречу она несла какой-то приятный, очевидно, ей вздор о новой машине; она лучше выглядела, чем раньше, — так ему показалось, она не портилась — он заключил.

Но какого черта вспоминать то, чего не существует? И, честно-то, не существовало. Ему бог послал В.К. и скучные муки не-любви. Он решил, что это наказание, или, что ли, знак какой-то его непригодности к жизни.

К вечеру ему стало казаться, что ватная тоска на-

полнила его комнату. Он начинал ненавидеть предметы и части их: стулья, ножки кресел, дверные ручки, широкую вазу и рулончик лейкопластыря на дне ее.

Задвинув, откинув и снова задвинув шторы, он зажег лампу и вытащил из ящика стола большой конверт с фотографиями.

И вот он смотрел на снимки, изображавшие В. К. Здесь она сидит, прикрывая обнаженную грудь согнутой рукою. Здесь — стоит у окна. Вот снимок, где получились красивые бедра и совсем не вышло лицо. Он понял, что надеялся на эти снимки напрасно: они ничего не проясняли, ничего не могли подсказать.

Даже в мелочах жизнь была неуправляемой. Он сидел, положив голову на стол, на прилипавшие к щекам и ко лбу снимки, хотел что-то думать, чувствовать и не мог.

Он был по-настоящему бессилен, но даже Тот, Кто управляет всем, не мог ему помочь, поскольку он, всю жизнь отвлекаемый своими желаниями, а также похмельями, фотографированием, покупками, поездками, чтением, черчением и неведь чем, не удосужился поверить в Того, Кто управляет всем.

Он чувствовал себя торчащим посреди жизни, как бетонный столб в поле, причем пытающийся пустить корни, зазеленеть. Приблизительно так же, полагал он, располагались в мире Колосов, Скачков, Рукоятников. И непонятно было, чего же стоила их дружба, да и можно ли то, что происходило, всю эту россыпь мелких, округлых, как камушки на пляже, необязательных событий, называть таким тяжелым, серьезным, платиновым словом.

ДЕФЕКТ ЛОМА

Ломизé, человек непонятной национальности, был необычайно чувствителен к запахам. Поэтому он завел у себя стерильную чистоту, пищу хранил в герметической упаковке и каждый день надевал новое белье. Это ввергало его в значительный расход, но иначе он не мог.

Был он неглуп. Других замечательных качеств за ним не водилось.

Друзей и женщин у Ломизе было мало — из-за его сверхчуткого обоняния.

— Я все время как беременный, — говаривал он.

С годами у него развилось нечто вроде мизантропии. Неделями он безвыходно пребывал в своей облицованной кафелем комнате, расхаживая босиком по леденяще-холодному полу или лежа на клеенчатой кушетке. К запаху клеенки он привык и не раздражался. Когда ему нужно было выйти из дому, например за продуктами, он вворачивал в ноздри кусочки ваты и шел, дыша ртом.

Однажды к Ломизе пришел его школьный товарищ, ставший профессором медицины, человек чистоплотный и положительный.

— Слушай, Лом (так Ломизе звали в школе), — предложил старый товарищ, — давай выпьем и поговорим с тобой серьезно.

Ломизе пил раза два-три в жизни, но тут неожиданно согласился.

— Давай, — сказал он, вворачивая в нос вату.

Профессор достал из портфеля бутылку водки, откупорил ее и налил в большие рюмки. Ломизе принес себе еще талой воды из холодильного шкафа.

— Ну, за твоё здоровье, — сказал профессор и выпил.

Превозмогая себя, Ломизе проглотил водку и обильно запил ее холодной водой.

— Старина, — сказал профессор, — у тебя гипертрофированное чутьё. Из-за этого ты живешь как какой-то бирюк. Вот что я тебе предлагаю: ложись к нам в клинику, мы сделаем тебе операцию, и будет у тебя нормальное обоняние. Будешь радоваться жизни.

Профессор налил еще водки.

— Знаешь, — сказал Ломизе, — это заманчиво, конечно, но...

— Подожди, — перебил его профессор, — выпьем-ка.

Они выпили.

— Ты торчишь тут, — воскликнул профессор, — и тяготишься своей жизнью!

— Таков мой крест, — сказал Ломизе.

— Какой, к черту, крест! Мог бы пользу приносить, наслаждаться и так далее, а ты... — профессор разлил остатки водки и потянулся к портфелю за следующей бутылкой.

Они выпили снова. Ломизе охмелел и стал крикливо доказывать профессору, что ему и так неплохо. Профессор бурно возражал и наливал водку. Вдруг Ломизе почувствовал, как спазм сжал его желудок и пищевод. Он согнулся в пояснице, хотел встать, но покачнулся и упал на четвереньки.

Его рвало. Из ноздрей вылетели клочья ваты.

Глядя на мучения Ломизе, профессор пошарил в карманах, нашел папиросы и закурил. Через некоторое время Ломизе поднялся, цепляясь за край стола, и уселся на стул.

— Что?! Ты что, — спросил он, с трудом ворочая языком, — куришь, что ли?!

— Курю, — ответил профессор, выпуская в лицо Ломизе струю дыма.

— А я... А я — ничего... Как это?!

— Подожди... Постой, — профессор с изумлением смотрел на Ломизе, — как же твой нюх?

— А ничего! — закричал Ломизе. — Ничего! Не надо операций! Не надо!

— Смотри-ка, все прошло. Надо же!

— Все! — орал Ломизе. — Свобода! К черту кафель! К черту кушетку! Будем жить!

Ломизе схватил со стола пустую бутылку и запустил ее в стену.

— Друг! — закричал он. — Давай гулять! Сегодня праздник! Давай позовем женщин! Пусть они будут воюнчиками! Все равно! Свобода!

Ломизе вскочил со стула, но поскользнулся и рухнул на пол.

Никто, конечно, к ним не приехал.

Наутро, когда Ломизе проснулся, профессора в комнате не было. Ломизе лежал на полу. Он повернул голову, и в нос ему ударил резкий, отвратительно-кислый запах.

Ломизе потерял сознание.

МНОЖЕСТВО ИСКУШЕНИЙ

Они сидели у окна, и занавеска, отделявшая их от большого уличного пространства, колебалась. Она даже время от времени всасывалась в комнату и реяла над столом, но на чашки, на графин с квасом улечься не осмеливалась, предпочитала снова высунуться в проем рамы, попробовать того воздуха.

— И что? Это сейчас... — говорил гость, плотный человек в мягкой теннисной рубашечке, с толстыми приятными усами. — Это сейчас, летом, когда все женщины красивы, вообще полуобнажены, она, конечно, представляется тебе... А ты бы глядел зимой-то, зимой! Во времена белых кож, двойных штанов, всяких хронических бронхитов. Ведь у нее же эти штуки к вискам...

— Какие штуки? Что ты? — перебил хозяин.

— Ну, штучки, складки эти, стрелки. Морщится когда она и смеется — видно.

— Ну так что же? Это у всех.

— Но не должно этого быть. Не должно. Ты паспорт ее смотрел?

— Нет... вроде бы. Зачем бы мне?

— Как можно! Ты даже не знаешь, так ли ее зовут, как она объявила. Столько ли ей лет. Такова ли ее прописка...

— Я доверяю, — сказал хозяин, уже начиная немного грустить.

— Да! — закричал гость. — Ты доверишь. Но она не доверяет тебе, раз не показала паспорт! И не спросила твой? Сознайся? Ведь нет?

— Нет.

— Ты безалаберен. Она безалаберна. Нет! Нет! Прошу, порви с нею. Ради блага вас двоих, ради твоего и ее будущего счастья!

И с этими словами гость взял чашку, налил в нее квасу, поднес ко рту и уж совсем было глотнул, как вдруг взял и брызнул на хозяина — на манер, знаете, тот, каким смачивают белье во время глаженья. То есть гость окутал голову и плечи хозяина квасным облаком.

Тут штора, заметив происходящее, бросилась в комнату и накрыла наконец собеседников.

АНЕКДОТ ПРО ПРЕФЕРАНС

В последние дни заезда выдалась чудесная погода, как бы предусмотренная администрацией курорта в числе прочих развлечений. Солнце делало свет, пальмы делали тень, желающие получали и то и другое.

По ночам молча прощались влюбленные. Прощание было столь же коротким, как любовь, молниеносная, краденая, не успевающая раздеться, — она воплотила самые грешные желания зимних ночей, бессонницы и одиночества.

В последний день заезда, как и во все прочие дни, на пляже военного санатория сидели лейтенанты, старшие лейтенанты, капитаны, майоры, подполковники и полковники, а также их жены. Хотя они были одеты в самые гражданские, ярких цветов плавки — то, что они люди военные, можно было определить сразу — по хорошо поставленным голосам, неподвижным взглядам, точности отработанных движений.

В последний день заезда, в утро его, играла в карты на пляже одна дружная компания. Играли, перекидывались шутками и обменивались анекдотами, извлеченными уже с самого дна памяти:

— Значит, полковник, поручик и корнет сидят за преферансом. Полковник проигрывает (дама). Спрашивает корнета: «Вы что говорите жене, если приходите проигравшись?». Корнет отвечает: «Я не женат, товарищ полковник». Он — поручика: «А вы?» (опять дама). — «А я тоже не женат, товарищ полковник. Но

у меня есть любовница. Я ложусь к ней под крылышко, целую в шейку, и она все понимает...» Значит, полковник в эту ночь проигрался. Приходит домой, ложится под крылышко к жене, целует в шейку — там темно было, — а она ему и говорит (третья дама): «Вы опять проигрались... поручик?».

Все засмеялись. Громче всех смеялся майор. Два капитана — два Васи — смеялись приятными тенорками. Лейтенант заливался тонкой трелью подростка.

— Как тогда пили и в карты играли, — весело пробасил майор, — так и сейчас: пьем да в карты режемся. Российское офицерство всегда было первый сорт!

Играли они в «дурака».

«Дураком» чаще всего оставался лейтенант. Капитаны боролись за второе место. Майор остался «дураком» один раз, но как-то уж очень размашисто, нехорошо: сконцентрировал в больших ладонях всю возможную карту.

— Без званий, без званий, мы тут на отдыхе, — любил пошутить майор.

Они служили в разных подразделениях и в общий заезд попали случайно. Еще большей случайностью было то, что обоих капитанов звали «Васями», и фамилии у них начинались на одну букву.

Майор и капитаны были при женах, а лейтенант — холостой, хотя, как правило, военные женятся сразу после училища, чтобы строить прочную, счастливую семью.

У майора Соколова детей не было.

Их жены тоже сдружились и ходили всегда вместе — пышные и красивые женщины — Любочка, Надежка, Галочка — всегда смеющиеся и жадные до развлечений, которые курорт представлял в изобилии.

— У них, у баб, свои законы. Им, бабам, закон не писан, — любил пошутить майор.

В тот памятный день все было как обычно: майор играл с приятелями, и они сыграли до обеда 28 партий; жены сидели поодаль, вели душевную беседу. Иногда все вместе купались. Как-то не чувствовалось, что через сутки партнеры по отдыху простятся, быть может, навсегда.

Вася-большой острил и заразительно смеялся, од-

нако громче и беспечнее всех хохотал майор. Это было тем более странно, что в кармане джинсов у него имелась записка, которую он нашел сегодня утром, во время завтрака.

«Майору Соколову (лично).

Спешу сообщить Вам, уважаемый товарищ, что супруга Ваша сводня и блудит. Дабы удостовериться лично, приходите сегодня в 20 ч. 55 м. в беседку, что за туалетом.

Доброжелатец».

Майор был мужественным человеком и управлял эмоциями вполне — служба научила его стойкости духа. Вот почему он так весело смеялся, хотя о записке не забывал ни на минуту.

Супруга майора Соколова, Галина Анатольевна (урожденная Дзюба), до 15 лет жила в деревне Дзюбово Полдинского р-на Рюпинской области. После окончания семилетки поехала в Рюпинск и поступила в ПТУ № 3.

Она была тихой девочкой. Ее никто не обижал, а в школе ее давно не дразнили. Обычным ее занятием было сидеть где-нибудь и о чем-нибудь думать или плакать ни о чем. Тогда выражение ее лица становилось детским, косички делали ее похожей на пионерку.

В училище она отрезала косы и вступила в комсомол. Условия в общежитии были никудышными, и вскоре она забеременела.

Вечерами, если никого не было рядом, она тихо плакала на узкой своей кровати. Аборт ей сделали своевременно и не слишком больно.

Гале нравились люди в форме, не то чтобы именно военные, но шире — любой человек, затянутый в форму (почтальон, милиционер), вызывал у нее уважение и полудетский интерес.

В общежитие курсанты заходили часто: военное училище было рядом. По воскресеньям Галя с другими девушками находилась у ворот с железной звездой. Девушки очень жалели курсантов за их нелегкую службу. Вскоре Галя забеременела вторично.

Подруги говорили: фи! — бестолковая, мол. Галя терпела, плакала. Аборт прошел удачно.

В год окончания училища, весной, молодой лейтенант предложил ей стать его женой. Галя согласилась.

Они переезжали из части в часть — Тула, Смоленск, Сухиничи, Брянск. Галя уважала мужа (старший лейтенант, капитан, наконец майор) и изменяла ему нечасто. Подруги, офицерские жены, ее любили, но когда у подруг появлялись дети, они переставали с ней дружить, и у Гали находились новые — бездетные.

Детей у нее не было и быть не могло. Так сказала докторша, которая делала ей последний аборт. Она видела эту докторшу три раза в жизни и навсегда запомнила ее лицо с черной бородавкой у носа.

В отпуск они ездили в деревню и на юг. В деревне у Гали был любимый. Звали его Митей. Митя был коренным сельчанином и тоже носил фамилию Дзюба. Жена Мити работала в магазине.

На юге Гале нравилось больше. Они часто отдыхали в санаториях, и там общество собиралось самое изысканное — майоры, полковники, иногда генералы. Правда, в санаториях, куда ездили супруги Соколовы, генералов было мало, и все они были периферийными.

В этот сезон Гале было скучно. Муж почти не обращал на нее внимания за картами и выпивкой, а Григорий (гвардии подполковник) был слишком молчалив. Одно ей безусловно нравилось в нем: он налетал внезапно, как юноша, стараясь причинить ей боль, — на полуфразе отбрасывал папиросу, складывал пополам хрупкое тело женщины, закинув ее ноги себе на плечи, и долго, размашисто работал над ней, доводя ее до умопомрачения.

Она встречалась с Григорием в его комнате, в беседе, однажды днем среди виноградников. В земле были какие-то камушки или шишки, и Галя потом внимательно осматривала спину.

Внимательно осматривая спину, она вдруг поймала в зеркале собственный взгляд и подумала, что молодость ее уходит, что ни детей, ни внуков ей не нянчить, что муж так и выйдет в запас майором.

Капитан Кокорин никогда не был шпионом. Он считал себя честным человеком и был им.

Отец капитана Кокорина с оружием в руках защи-

шал советскую власть. Дед капитана Кокорина верой и правдой служил царю и отечеству. Прадед, по семейному преданию, также был военным.

Капитан Кокорин прослужил положенные годы в N-ской части, много трудных лет служил капитаном, капитаном и вышел в запас. Теперь он работал лаборантом в НПО.

Бок о бок с ним трудились и другие отставные военные, в том числе и полковник Зуйков. Полковник Зуйков был волевым, прямым человеком, хорошим товарищем.

Благодаря старым связям Зуйков достал своей супруге путевку в санаторий. В разговоре за кружкой пива выяснилось, что в тот же санаторий отправляется и Кокорин. Зуйков попросил Кокорина (не в службу, а в дружбу, хотя никакой «службы» между ними, младшими лаборантами, быть не могло) попросил, значит, приглядеть за женой-то. Капитан Кокорин никогда шпионом не был.

Он наотрез отказался.

После этого разговора до отпуска оставалось еще десять дней работать бок о бок с полковником Зуйковым. Иногда Зуйков поглядывал на Кокорина очень многозначительно, и Кокорин отворачивался.

На перроне он встретил полковника с женой. Никогда прежде он Зуйкову не видывал, и оказалась она женщиной красоты необычайной.

Ехала она в купейном; Кокорин, трясаясь в своем плацкарте, думал: как это можно — отпустить такую бестию на юг!

В свое время капитана Кокорина бросила жена Вера. У нее были такие же пышные груди и ровные белые зубы. Она очень любила улыбаться. Прежде чем уйти, она несколько раз сильно ударила его ладонями по щекам.

Прибыв на место, капитан Кокорин осмотрелся. Море и солнце были в полном порядке. Зуйкову поселили в соседнем домике. Он видел ее из окна и на пляже, в аллеях парка и в столовой.

Он решил не посылать полковнику никаких донесений, а приехав, запросто, по дружбе рассказать ему все. А рассказывать было пока нечего.

«Дорогой Афанасий Иванович!

Прежде всего уведомляю Вас, что шпионом я никогда не был и никогда впредь им не собираюсь быть. Я искренне возмущен тем предложением, какое Вы мне по ошибке сделали. Живем мы здесь хорошо. Погода нормальная. Супруга Ваша, Клавдия Матвеевна, поправляется, цветет лицом и бойка телодвижением. И ничего такого, как Вы ошибочно подозревали, пока нет.

С уважением, к-н запаса *Кокорин А. В.*»

Это письмо он написал просто так, чтобы сделать приятное товарищу. Писал капитан Кокорин грамотно.

— Галочка, мне надо с тобой поговорить, — сказал майор Соколов, когда они вышли из столовой.

Жена пожалала плечами.

Они шли по плитам дорожки к своему карточному домику. Он видел ее худую спину и ее пернатую руку, которая легко отстраняла провислые ветви дерева, похожего на иву.

— Что ты хотел, Ласточка? — спросила она, поднявшись на веранду.

Майор посмотрел в ее веселое лицо, которое спокойно отвергало даже само существование анонимки.

— Нет, ничего. Я просто хотел спросить насчет... будем ли заезжать в деревню по дороге?

— Ну, конечно, будем, Ласточка, — и глаза ее ожились, будто перенеслись взглядом в родное Дзюбово, к старикам.

Они вошли в домик. Майор ласково улыбнулся, привлек жену к себе и крепко, требовательно поцеловал в губы. Они опустились на кровать и долго, давно отработанными движениями возбуждали друг друга, потом несколько минут молча бились в соитии, ловко и слаженно меняя позы. Последние годы только на южном отдыхе майор Соколов позволял себе эти дневные приступы внезапной страсти.

Впервые он застукал жену 12,5 лет назад, когда еще был в звании «старлея». Его отпустили с дежурства раньше, бежал домой (помнится, морозец был), и с порога — чужая шинель, чужой запах, убегающая в

чулан розовая задница. Почему-то запомнилась не реакция жены, не лицо паразита (салобона, москвичика), а именно это — его розовая испуганная задница, постыдно убегающая вдаль.

Как он его бил, мальчишечку! — бил и думал, что это еще не конец, что все еще впереди — мальчишечке еще больше года в роте...

Хорошую жизнь устроил солдатику старлей! Об этом романы, трагедии можно писать, хотя и так писано было немало в рапортах, когда разбирались, с чего это он, москвич, сын культурных родителей, застрелился в карауле?

Шли годы, и Соколов чувствовал, что жена потихоньку гуляет. Тогда поставил вопрос ребром: либо не фокусничать, либо — марш на улицу! И подкрепил хорошенькой трепкой.

Поддействовало. Жена стала молчаливее, но добрее, внимательнее, и с тех пор — ни намек на прежнее. Забыто. А теперь — вот. Он перечитал бумажку. Безграмотно и глупо. Не идти?

Время шло к вечеру. Солнце исчезло, ослепительно мигнув в последний раз из-за гребня гор. Галочка упорхнула с подружками.

Майор надел пиджак и вышел.

Он бродил по парку, потом по набережной, снова по парку. Вокруг были люди — мужчины с женщинами, женщины с детьми... Приближалось время «Ч».

Вздор, думал майор Соколов. Быть теперь этого не может. И неотступно о прошлом: он — лейтенант, он — старлей, он — капитан; Галочка — учительница пения. Галочка — в белом платье с пояском; она — Галочка, он — Ласточка...

Ласточка одеревенел. Перед ним, за неровной сеткой кустарника, возвышалась крашенная дощатая беседка, в которую быстро вошла его жена. Мужчина — вторая тень — встал. Она положила ему руки на грудь, приникла. Поцелуй.

Голова работала четко. Затаив дыханье, майор подкрался поближе. Кусты давали отличную маскировку.

Голос ее:

— Знаешь, он, кажется, что-то заподозрил...

Голос мужской (приятный бас):

— Неужели?

— Он сегодня так странно смотрел на меня...

Бас (не ниже подполковника):

— Значит, наше свидание не состоится?

— Да что ты! Все это пустяки, Ласточка...

Отброшенная папироска прочертила в воздухе ровную параболу; майор невольно проследил за ней, а когда вернулся взглядом в беседку, картина была уже иная: над низкой стенкой мрачно возвышалась голова мужчины с остановившимися внимательными глазами, а тонкие ножки Галочки, так больно знакомые, в беленьких плетенках, купленных по случаю весной, судорожно бились у него за плечами наподобие бессильных крыльев. Все шаткое сооружение беззвучно дрожало, и с крыши осыпались сухие сосновые иглы, и майор Соколов почувствовал, как даже почва вибрирует под его ногами, будто при легком землетрясении.

Он медленно, маскируясь, ретировался, повернулся и пошел без оглядки. Придя домой, он грохнулся на кровать. Ему хотелось одного: быстро, как после отбоя, заснуть. За стеной были смех, музыка, топот: там отмечали окончание заезда — пили и плясали, распалаясь для последней ночной оргии.

Клавдия Матвеевна была женщиной пышной, красивой. Капитан Кокорин и сам был не прочь за ней поухаживать.

Однажды он поймал себя на том, что ходит за ней весь день. Мне просто нечего делать, думал он, шахматы надоели, шашечки.

Клавдия Матвеевна сторонилась мужчин, и Кокорина даже досада взяла: ведь верных жен не бывает. Он вспоминал свою, у которой была красивая улыбка и пышные груди. Перед уходом она несколько раз с силой...

Внезапно сообразил: умело скрывает, курва! Вечером он ходил по территории и потирал руки. Разоблачу!

Однако шпионом он никогда не был. Поэтому следить за изменницей ему было нелегко.

Он стал ходить за ней по пятам. На пляже он искал место рядом и забывал купаться. Как-то раз он забыл

вовремя спрятаться в тень, и к вечеру у него поднялась температура.

Клавдия Матвеевна оставалась неизменно неприступной. Капитан Кокорин знал: это видимость. С температурой, еле передвигая ноги, потащился за ней в кинотеатр. Кино было невыносимо скучным. Клавдия Матвеевна сидела в обществе другой дамы, пополнее, и мужчин с ними не было.

После кино, однако, их провожали какие-то двое. Они были гражданскими, косолапыми. Заметив это, капитан Кокорин понял: ничего не будет. Офицерские жены должны презирать гражданских. Так и вышло: распрощались и амба.

Заезд подходил к концу. Последние дни капитан Кокорин не спускал глаз с Клавдии Матвеевны. На празднике Нептуна ее, как и многих красивых женщин, обмазали грязью. Вечером все разбрелись по кустам миловаться. А Клавдия Матвеевна смотрела по 2-й программе художественный фильм.

Женская душа была загадкой для Кокорина. Он не мог понять, почему женщина, весь год честно трудящаяся, воспитывающая детей, здесь, на юге, обращается в похотливое, бесстыдное существо, соблазняется первым попавшимся мужчиной и через час после знакомства, задыхаясь, ложится под него.

Задача капитана Кокорина обязывала его часто скрываться в кустах, и там, среди этих неприличных на вид южных кустов, он вдоволь насмотрелся на торопливо задираемые подолы, ритмично работающие зады, наслушался слюнявых поцелуев и кокетливых стонов.

Как-то раз, гуляя за Клавдией Матвеевной по санаторию, он увидел в беседке за туалетом интимную парочку. Женщину он узнал: жена одного майора, с которым он как-то пошутил за ужином и теперь раскланивался. «Значит, завтра, в девять, Ласточка, тут же», — услышал и сразу все понял. Проходя через 7 минут мимо майорова домика, он увидел, как тот преспокойно играет в карты. Проиграл, значит, жену.

Капитану стало майора жалко. Капитан понял, что майору он должен помочь.

Кокорин никогда в жизни не писал доносов, разве что только в 52-м году, однажды... Анонимка — отвра-

тительно, но иначе он поступить не мог. Утром майор Соколов должен был найти письмо в столовой, под своей салфеткой и, как человек военный, принять самые решительные меры.

Но это было лишь отступлением от основного дела.

«Дорогой мой Афанасий Иванович! Прежде всего, здравствуй! Добрый день или вечер, в зависимости от того, что у вас сейчас в Самаре. Как ты знаешь, я всю жизнь прослужил интендантом и никогда не служил по части разведки. Доносов никогда не писал и не буду, и подлецом, шпионом также никогда не был. Я загорел. Была у меня и температура. Твоя супруга по-прежнему расцветает. Увивались тут за ней двое гражданских и по вечеру до дому провожали. Но, уверяю тебя, искренний друг, ничего между ними не было, так как ведет себя Ваша супруга честно, хорошо. Вчера такая икота взяла, что деться некуда стало.

С уважением. Ваш друг, к-н запаса *Кокорин А. В.*»

P.S. Перечитал тут, и смешно как-то получилось насчет икоты. Повторяю, не писатель я, не сочинитель, ни писем, ни рапортов куда следует, ни доносов никогда не писал. Не армейское это дело.

Когда они приехали сюда, стояла чудесная погода. Галина Анатольевна всматривалась в привычное полузабытое: кипарисы, туи... вслушивалась: цикады, Крым! Много было с этим связано доброго и дорогого.

Мужа она не любила не то чтобы давно, — она его не любила никогда. После прозябания по чужим людям, грязного малярничанья по стройкам, девичьих страхов, надежд, аборт, — выйти замуж казалось извращением.

Тогда было начало лета, тополиный пух неслышно вальсировал в воздухе, и девушки в светлых длинных платьях гуляли по парку с выпускниками училища. В руках девушки несли букетики цветов. Молодые офицеры были красивы и веселы.

Потом прошли свадьбы. Мужья увозили своих жен по местам назначения.

В первый раз она изменила ему через год. Вышло случайно и как-то по необходимости — муж выпил, поехал провожать гостей, машина сломалась, а в это

время оставшийся у них было спать капитан Жеребьев неожиданно проснулся и, слово за слово, завалил ее, не раздевая, на диван.

Потом было многое, но особенно запомнился Борис, девятью годами младше ее, умный, нежный, красивый мальчик. Он рассказывал ей сказки, словно девочке, и читал стихи, которые сам сочинял. Он говорил, что глупо его, поэта-профессионала, запирают на три года, когда «стране и миру нужно живое, новое, крепкое слово». Он что-то напутал в жизни, погорячился, и ему пришлось оставить Литературный институт. Его записки Галина Анатольевна хранила до сих пор. Поэт писал:

Боготворяю я Твое дыханье
И сердца непрерывный звонкий стук.
Пусть властвует над нами расстоянье,
Да здравствует пожатье слабых рук!

Любимая! Не мыслю я прощанье!
В любви нет больше места для разлук!
Желание пожатья слабых рук
Желаннее любого из желаний.

Идут года, а Ты живешь во мне.
И днем и ночью, утром и во сне,
Как жить, дышать, не устаем любить.

Пока душа и тело не устанет,
Я и в гробу продолжу говорить:
Все наше остается с нами!

Эти и многие другие его чудесные стихи она знала наизусть, и тем, кто любил ее потом, она читала их, как самое дорогое откровение...

Муж избивал его при ней. Голое бледно-розовое тело извивалось на ковре.

Потом пришло письмо:

«Ты святая. Ты должна уйти от него! Мы будем жить полной, чудесной жизнью, как дети, даже когда во всем мире простучит дождь. Пройдет время, и мы оба взойдем на вершину — я буду писать стихи, а Ты будешь моей женой!»

Она не ответила. Она понимала, что так дальше продолжаться не может и надо спасти семью. Потом муж сказал, что мальчишечка погиб на ученьях.

Теперь вспомнилось.

Она пришла из беседки усталой. Тело сладко ныло. Только что простучал дождь. В соседнем окошке, в мутном желтом свете были видны лица знакомых — Наденька, Любочка, два Васи. Она удивилась, почему муж не веселится вместе с ними...

Муж лежал на кровати одетый. Он храпел, значит, уже был пьян. В такие минуты Галя не презирала его, а напротив, жалела. В сущности, его никто никогда не любил, он, в общем-то, и не жил вовсе. Вот седые волоски на висках. А что он знает про жизнь?

Она укрыла его одеялом. Пусть спит.

Пусть спит! Все будет хорошо. Нельзя ненавидеть только за то, что не любишь. Нельзя ненавидеть за то, что тебя не любят. Нельзя запретить любить.

Завтра утром сегодняшнее станет воспоминанием. От Григория останутся письма, то есть не останется ничего. На обратном пути заедут в деревню, там старики, Митька...

Муж завозился. Он почувствовал на себе одеяло и поднял голову.

Галочка положила ладонь на его горячий лоб.

— Спи, Ласточка...

— Ласточка?

Он был трезв.

Он вскочил с постели и пробежался по комнате.

Спросил:

— Ну что? Болит спина-то?

— О чем ты? — пролепетала она, мгновенно все сообразив, и мысль ее заметалась в поисках выхода.

— Опять спуталась?!

— Я не понимаю тебя, Ла...

Он сделал шаг и ударил наотмашь по лицу.

— Мразь!

Она кинулась к дверям, но мужчина ловко подставил подножку. Мир перевернулся и прихлопнул ее. Она ударилась об пол и больше ничего не помнила.

— Мразь!

Майор пнул несколько раз по ребрам, под самые груди. Тело перевалилось на бок, и он увидел совсем белое лицо, перепачканное уже кровью.

Вид крови его взбесил. Он схватил со стола глиня-

ный кувшин и размахнулся, ничего не видя, кроме жалкого белого лица, перепачканного кровью.

Чьи-то руки схватили сзади. Он вырвался, целя ногами в распростертое тело...

Как-то все очутились на улице. Он видел освещенные окна и освещенные лица. Босые ноги почувствовали сырость.

— Назад! — заорал он, кинувшись сам куда-то.

Твердый и неимоверно большой кулак сунулся ему в челюсть. Голова откинулась, и тут прямо в раскрытый глаз ударило твердое и острое. Темнота обратилась фотовспышкой. Другой ботинок прихлопнул его сзади, и майор потерял сознание.

Никогда он не узнает, кто его бил. Маловероятно, что сам любовник — низшие чины, молодые. В толпе он запомнил белое от страха лицо лейтенанта, с которым любил играть в карты.

Утром глаз дергался, шея ныла. Осознав себя и вчерашнее, он застонал сквозь зубы. Трибунал! В лучшем, отставка... Она-то жива?

Сначала он подумал, жива ли она, применительно к себе, к возможным последствиям, но внезапно вздрогнул: жива ли? жива?

— Эй, есть здесь кто?

Вошла сестра, пряча глаза, объяснила: ходит, повреждений и переломов нет. Легкий испуг.

— Пропустите к ней!

— Нельзя.

Он лежал, рассматривал безукоризненно белую обстановку санчасти и думал: почему же это? отчего так? Ведь отдал ей все! В мелких военных городках, где некуда было пойти, тусклыми вечерами сидел напротив и боялсядохнуть... Он вдруг понял: без нее — теперешней, лживой, нелюбящей — не проживет.

Когда ехали назад, он смотрел в окно, чтобы не видеть ее взгляд и свой кровоподтек в зеркале напротив. Жена молчала.

Проводник вошел в купе и, приласкав взглядом Галочкины ноги, поставил стаканы. Соседи принялись за чай, постанывая от удовольствия. По вагону прошел

высокий молодой парень, тщетно потрескивая колодой карт, спрашивая, не играют ли господа в преферанс.

На станции Херсон майор увидел столыпинский вагон. Конвоир, молодцеватый прапорщик, распечатывал свежую пачку «Беломора». У него были тонкие, как у белогвардейца, усы. В бледно освещенных окнах, перечеркнутые решетками, покачивались бритые головы. Эта картина промелькнула на секунду и исчезла в темноте.

Капитан Кокорин не был убийцей никогда.

— Ну, что говорят? Жива? — спрашивал он.

И лысый знающим голосом отвечал:

— Куда теперь жива! Он ее так разделал, что теперь не жилец она. А сам, говорят, застрелился.

— Да откуда же оружие у него? Не положено!

— Под матрацем прятал. Запасливый был. Давно, говорят, собирался это сделать.

Кокорин понял, что его разыгрывают.

— А почему же тогда, — спросил он язвительно, — он и ее не застрелил?

Лысый посмотрел на него, как на ребенка, хотя был и возрастом моложе, и званием ниже.

— Соображать надо. У него ведь один патрон был.

Кокорин плюнул и отошел. Придя в свой домик, сел за стол и записал: «Произошел у нас тут, Афанасий Иванович, прискорбный слу...»

Отложил бумагу. Зачем волновать доброго человека? Клавдия Матвеевна вела себя на редкость хорошо. Баба — зверь, сдоба домашняя, и никакого блуду! Вот одна доблудилась... Нехорошо вроде вышло. Вроде как он, капитан запаса Кокорин, скандалу — причина...

Нет! Виноваты всегда они, жены! Если бы и не писал записочку, тот майор все равно бы узнал. И наказал. Отомстил майор всему женскому роду за грехи ихние. Вот и его бывшая жена...

Многое в своей жизни капитан Кокорин переиграл бы по-новому. И мысленно, признаться, сам не раз в тот неласковый вечер бил отчаянными розгами свою неверную. В тот самый неласковый вечер, когда Вера несколько раз с силой ударила его ладонями по щекам.

И майор прав. Женщина — она самое такое животное, которое с мозгами человеческими и потому опасное. И полковник Зуйков, с которым бок о бок который год, должен остерегаться своей. Змею согрел на груди, товарищ полковник!

Кокорин посмотрел в окно. На веранде соседнего домика была Клавдия Матвеевна. С мужчиной.

Он прыгнул в сандалии и выбежал. Задыхаясь, проскакал по дорожке и обличителем влетел на веранду.

Клавдия Матвеевна его не заметила. Она говорила громко и взволнованно. На полной шее проступил румянец. Она говорила тому мужчине:

— ...и, наконец, я очень прошу вас, оставьте меня! Я честная женщина, а не какая-нибудь из ваших б...

Капитан Кокорин поплелся обратно. За 24 дня привольного житья на юге эта «честная женщина» не проявила себя с истинной своей стороны... Ну что ж!

«Дорогой Афанасий Иванович! Этим сообщаю, что Ваша супруга, Клавдия Матвеевна Зуйкова, проживая на приморском побережье в известном Вам санатории «Парус» с 4 по 27 июня с. г. проявила себя сводней и блудит. Она — опасное существо. Свои низменные инстинкты она искусно скрывала, но я, Ваш искренний друг, заметил неоднократно проявление дурных наклонностей, которые особенно с мужчинами имеют место быть. Наконец, заявляю, что ни шпионом, ни подлецом, ни соглядатаем никогда не был. Только желаю тебе добра. По разным причинам не подписуюсь.

Доброежелатец».

Есть такие вещи, которые происходят с тобой, а ты не в силах поверить в их правду, словно кто-то чужой, талантливый и властный, пишет твою жизнь безжалостным карандашом. Разве это было? Разве я не слышал все это в чьем-то чужом разговоре — странную историю какой-то чужой женщины?

Проводник вошел в купе, поставил чай. Соседи стали с присвистом и оханьем пить. Ни Галина Анатольевна, ни муж ее к чаю не притронулись.

Она была спокойна, отгоняя мысли о случившемся,

и думала о себе вообще — снова, будто о какой-то другой женщине.

У этой женщины лучшие годы позади. Это неправда. У нее просто никогда не было их. Так, жила, думала о чем-то, что будет, и это самое «будет» — не сбылось.

Что толку, если есть в жизни какие-то дорогие воспоминания? Их можно только оплакивать, словно умершего ребенка, ночью, под дождь, когда не слышит муж.

Дни кажутся длинными, только когда они впереди. Прошлое кажется одним большим днем.

Было ли это — конец пятидесятых, душное общежитие, девушки, каждая со своими надеждами? Где они теперь, ее единоутробные подруги?

Им под сорок. У каждой теперь своя жизнь. А тех, прежних, просто больше нет на свете.

Галине Анатольевне вдруг нестерпимо захотелось увидеть, как в кино или во сне, свое прошлое, где были следы ее счастья и ее любви.

Под ровный зуд хода скорого поезда она мысленно повторяла затверженное, как молитву:

Радость и горе мое,
Сердце мое и сомненье,
Слышу молчанье Твое,
Слушаю, как откровенье...

Кровью писать не хочу,
Есть еще в ручке чернила,
И не совсем по плечу
Мне отверженная жила...

Я умираю, любя,
Или люблю, умирая.
Ты не забудешь меня,
Вспомнишь от края до края...

Будто в мелькании лет
Будет мой голос храниться.
Я возвещаю обет:
Вспомнится все, повторится...

Горькая чаша любви!
Сердце стучит, напрягаясь.
Сердце отныне в крови,
Бьется оно, разрываясь...

Будешь Ты нюхать цветы,
Будешь любить, улыбаясь,
Буду и я, словно Ты,
Жить, неживым оставаясь...

Жизнь Твоя! Тот же цветок,
Срезан еще он в бутоне,
И распускается в срок,
Но не в земле, а в бидоне...

Стану осенней травой,
С речкой замерзшей сольюсь,
Птицей слечу голубой,
В ласточку я обращусь...

Ласточкой нашей мечты,
Бас презирая густой,
Как ворожила мне Ты,
Я полечу за Тобой...

Чистая дева моя!
Я не владею словами.
Только скажу Тебе я:
Наше останется с нами...

Это было самое последнее его стихотворение. Казалось, он чувствовал приближение смерти: оно было самое откровенное, жестокое и короткое. Она получила это письмо незадолго до роковых учений. Почему она не отвечала ему?

Я буду писать стихи, а Ты будешь моей женой...

Случись так, другой бы вышла ее жизнь? Быть может, сейчас, в этом же купе, так же молча сидел бы другой мужчина, и все остальное было тем же — страшная южная ночь с чужими голосами, убийственным стыдом и кровью...

Остывший чай покрылся пленкой. На какой-то станции Галочка увидела вагон с решетками на окнах. Вооруженный охранник распечатывал пачку папирос. У него были черные гусарские усы. Из бледно освещенных окон смотрели бритые головы. Свет в вагоне трепетал, словно крылья ночного мотылька. Это видение промелькнуло и погасло в темноте.

«Неужели есть на свете хотя бы один человек, который прожил так, чтобы не жалеть убожество своей жизни, тайно не тосковать по жизни другой?»

ВЗБЗД

1

Я ничего не знаю, ничего не могу понять, мысли перемешались в голове — словно пуля прошла от затылка до лба. Я никого не трогал, ничего особенного не хотел — я просто стоял в очереди и был сдавлен, словно сельдь в банке, — а я ненавижу очереди, не могу стоять в очередях, меня просто поражает, что люди могут спокойно и как-то покорно стоять в очередях. А он стоял впереди — я чувствовал грудью его спину, бедрами его задницу, — он был такой худой, с носом каким-то корнеплодным, и он сказал несколько слов (вроде подумал вслух), — фразу из нескольких слов вслух, — и сказал, в общем-то, правильно, — кто ж так не думает, но меня чуть не вырвало от того, что он сказал, и кто-то впереди тихо посоветовал больше так не говорить (как бы тоже подумал вслух), а рядом какая-то женщина, полная и в платке (таких миллионы, одинаковых — жопы в платках), сказала, что ему вообще не место в очереди, раз он так считает, и кто-то подхватил, что он втерся — этот корнеплодный, — и я почувствовал, что сзади на меня напирает до тошноты упругая, полная крови женская грудь. Я бы еще ничего, но в этот миг он — тот, кто сказал, — тихо так и вкрадчиво пукнул, а я не выношу этого — не выношу человеческого запаха, давки, жары. Я поднапрягся и — прочь из очереди выдавил его — как прыщ, как вишневую косточку из пальцев. Мне очень жаль, что так получилось, я вовсе не хотел ему зла — я, в общем, не плохой человек, не такой уж законченный подлец, как некоторые, — все мои друзья так считают, иначе у меня не было бы друзей или же они сами не были бы хорошими людьми, но зачем пукать мне прямо в пах — мне, не выносящему человеческого тепла, запаха, тесноты?

Это был самый настоящий, отпетый, законченный негодяй, один из тех молодых негодяев, которыми изобилует новое наше поколение. С первого взгляда было ясно, что это подлец — длинный нос, похожий на корень турнепса, маленькие ехидные глазки — наверняка считает себя очень умным. Мы стояли в очереди тихо, спокойно, словно овечки. Он стоял с нами, вполне сначала как все — молча, а потом сказал такое, отчего мы все аж сморщились! Да за такие слова — честно я вам скажу — расстреливать надо на месте! Я — пожилой, заслуженный человек. Имею награды — как боевые, так и трудовые. Инвалид. Я всю жизнь простоял в очередях, но мне никогда не могло прийти в голову такое. Когда мы его вытолкнули, как вишневую косточку, он не успокоился, не отошел с достоинством в сторону, а стал снова втираться в наш коллектив. Он стал было проситься, но, увидев, что мы неумолимы, попытался применить силу. Что я ему сделал? За что он меня толкнул? Я тихо и мирно стоял, размышляя о своем героическом прошлом, — никого не трогал, ничего особенного не хотел, кроме того, за чем стоял в очереди.

Меня этот случай просто взбесил. Знаете, жизнь и так нервозна, а от подобных происшествий надолго остается неприятный осадок. Нервные клетки не восстанавливаются. Мне 42 года, я женат, имею сына. Мои друзья и сослуживцы считают, что я вполне приличный человек, поскольку они все также вполне приличные люди. Я вовсе ничего не имею против этого молодого человека и, может быть, никогда бы с ним и не встретился. Мы стояли в очереди, а он влез. Я спокойно предложил ему удалиться. Он возразил и стал настаивать на том, чтобы я его пустил. Я в принципе ничего не имею против, поскольку очередь была архидлинной, и минута-другая не играла роли. Но ведь существуют нормы общественного поведения! Нельзя жить в обществе и быть свободным от него. Я пошел на принцип

и мои соседи тоже, и ряды нашей очереди сомкнулись еще теснее. Тогда этот молодой человек процедил сквозь зубы одно слово, и оно меня, конечно, весьма задело. Произнеся слово, он повернулся и хотел уйти, но я уже не мог этого так оставить. Я вышел из очереди, остановил его и потребовал объяснений. Он грубо повернулся и попытался удалиться. Я хотел задержать его, только задержать, чтобы потребовать извинений, — он резко толкнул меня локтем в живот, а мне нельзя, у меня — язва, и я позвал милиционера. Только и всего. Я дал показания подоспевшему служителю порядка и вернулся в очередь.

4

Я служу на страже порядка уже год. Сам — из далекой деревни, отец мой давно спился, мать — доярка. В городе у меня никого нет, даже настоящей, хорошей девушки. Только и знаю — служба да общежитие. Получу квартиру или комнату, поступлю в институт, человеком стану. А пока всякое приходится видеть... Для меня этот случай был обычным. Парень хотел втереться в очередь, оскорблял достоинства личностей граждан. За это, конечно, положен штраф (статья 131, часть I УК РСФСР). Но я в таких случаях разбираюсь на месте. Есть, конечно, и среди нас второсортные личности, которым выгоднее всего продвижение по службе, количество приводов, протоколов и так далее. Я же просто хотел отвести этого парня за угол и отпустить, но он стал извиваться, шипеть и смотрел с такой ненавистью — на представителя власти, — будто готов был пристрелить меня на месте своими маленькими глазками. За что? Что я ему сделал? Почему если «мент», то сразу сволочь? Он же совсем не знает меня, видел меня впервые, если бы не это происшествие, мы бы так никогда и не встретились. Может, мы бы подружались, если бы увиделись в другой обстановке, как-нибудь за кружкой пива... Посади свинью за стол — она и ноги на стол! Отвел в отделение и сдал дежурному — статья 1921 УК РСФСР — оскорбление работника милиции в связи с исполнением им возложенных

на него обязанностей по охране общественного порядка — штраф до 100 рублей. Когда вернулся на пост, очередь стояла спокойно, как перед вечерней дойкой.

5

Как говорят, дай негру палец — он всю руку откусит. Сказано было подождать, пока с блядью разберемся. А ему не сиделось на месте — все вставал, требовал прокурора, дурачок! А она была гарная, грудастая, с ней просто приятно было пообщаться... Жалко мне их всех, очень жалко ребяташек. Иной раз сидит перед тобой хороший парнишка — ну, напился, запутался, стукнул кого-то по рылу — так сиди, не высовывайся, под дурачка играй, мамку поминай. Ты играешь, и я играю — это вроде придворного этикета. Выпишу тебе штраф вместо 206-й, и гуляй с миром! С кем не бывает?.. А ее — жалко. Паспорта нет, не здешняя — хошь не хошь, а спецприемник — бродяжничество. А там ребята прыткие — трахать будут три раза в день. Красивая — губки бантиком, глазки как вишенки, коленки пухленькие, не стесняется... Думает, видно, поиграем и отпустим — вон как попochку приподняла, приготовилась... Дурочка. Нам ведь тоже закон соблюдать надо... Встретить бы ее в выходной, на улице, по-другому бы поговорил. Она ведь, что на меня, что на того, с носом — все одно, как невеста в брачный вечер, глядит. А тот ерзал, грубил. Делов-то что выписать тридцатник и пустить с миром. Вдруг слышу — пернул. Громко так, с аппетитом. Ты что, говорю, при дамах... Пришлось посадить пока в холодную. Малый, видно, неопытный, первый раз попал, порядка не знает. Интеллигент, книги почитывает, поговорить бы с ним...

6

Я малый не дурак, мне палец в рот не клади — откушу. Сидел в холодной, в рукав покуривал. Когда его втолкнули, сразу понял, что это за ягода. На вы называет и все про свои дела. И не пьяный. А я сидел. И ждал. Хотел кому-то душу излить по-человечески, про свое рассказать, чинариком поделиться. Он и слу-

шать не стал. Я против него ничего не имел — сам напросился. Я, вообще, людей люблю, зачем же со мной хамить? Ну, дал ему кусок секса, а он орать благим матом. Тут мусор возник. А он побелел весь, зашипел, и как на него кинется — и не по-серьезному, а так — царапался и щипался, как девица, когда ей не тот, кто надо, под юбку залезет. Ну, мусор, понятно, в рыло ему сделал — он аж пукнул. Культурно сделал, без следов. Притих, плачет. Смотрю на него — жалкий какой-то, не жилец в этом прекрасном мире... Попался — так уж будь мужиком! Все мы человеки — смертные. Господь терпел и нам велел. Не таким рога обламывали. Я вот уже со вчерашнего сижу, и то не нервничаю. Я малый не простой — меня лейтенант знает.

7

Лейтенант с блядью разбирался, с пригожей такой, гарной дивчиной. Мягкая такая — губки что цветочки, глазки что ягодки, попка пухленькая. Ее б рачком — да на волю. Но — нельзя. Попадется еще, застучит — не расплатишься. А тут шум, ор из холодной — интеллигентик взбесился. Прежде вот народ бунтовал, а теперь интеллигенция. Ничего ему не сделал, только вошел. Видел-то его до этого издали, из дальнего угла. Люди порой бывают скотины неблагодарные! Я, может, ему и закурить бы дал, если бы попросил. Вошел, а он, бедненький, бросился на меня, царапается, кусается, как котенок. Ну, я ему в рыльце. Совершенно, так сказать, автоматически. Парень простой, новичок в наших делах. Таких-то вот особенно жалко... Запер, пошел, доложил лейтенанту. Подумали. Все как есть в протокол вписали, да еще добавили для верности кой-чего...

8

Дело это было простое, все на бумаге. Гражданин Х. в нетрезвом состоянии совершил антиобщественный поступок в магазине книжного торгова, оказал сопротивление при задержании, избил соседа по камере и поднял руку на представителя власти. Это был молодой человек 25 полных лет, с высшим образованием, ранее

не судимый. Однако факты преступления налицо. Это говорит о том, что порочность была заложена в этом человеке и проявилась в определенных обстоятельствах. Общество должно бороться с подобными личностями, значительная часть которых — с виду вполне надежных молодых людей — разгуливает на свободе, и лишь обстоятельства не позволяют в полной мере развернуться их «талантам». Нельзя жить в обществе и наслаждаться мнимой свободой... Я мог смягчить приговор, имея в виду положительную характеристику с места работы, но подсудимый повел себя некорректно: он шипел на меня, рычал, демонстративно выпускал дурной воздух, будто бы это я провинился перед ним. У меня гипертония и невроз. Я два года не был в отпуске. Моя жена ушла к другому после восемнадцати лет безукоризненных с моей стороны супружеских отношений. И кому какое дело до маленькой нервной клеточки в организме государства? Кто знает, что государство — не бездушная машина, а живое существо... Короче, я приговорил его ни строго, ни мягко: в соответствии со статьей 206, часть 2 УК РСФСР — злостное хулиганство, умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, связанные с сопротивлением представителю власти, — к одному году исправительных работ на спецпредприятиях, что в народе называют «химией».

9

Химия — это не так уж плохо, вроде как на воле. Та же общага, завод, только на вахте милиционер, и в город отпускают строго по режиму, как в армии. Так бы и в жизни учредить, больше порядку б было, а уж для нашего брата — нарушителя закона — химия просто мед. Все было хорошо, пока не привезли этого новичка. Койка его рядом, я к нему — знакомиться, он нос свой длинный воротит, фыркает, презрением поливает. За что? Решил с ним пошутить — не со зла, а как обычно с новичками шутят. Он с работы приходил и сразу (даже не умывался) на постель ничком валился, и так до вечера и лежал — бзднет — и снова лежит. Ну, я и подставил под кровать табуретку —

сверху не видно. Пришел он, повалился, да как завопит. Вся казарма со смеху полегла, как подстреленные. Ты? — спрашивает. — Я, — смеюсь. Ничего не сказал, вышел, вернулся поздно, что-то под подушку спрятал. Я все гадал, гадал — что, да так и уснул на свою голову. А спрашивать стыдно было. Но это все цветочки — ягодки впереди... Просыпаюсь ночью, вижу — стоит надо мной, глаза в темноте желто блестят. Я и очухаться не успел — хрясь! — чем-то тяжелым тяпнул по башке. Я взвыл — что, мол, паскуда, делаешь? — одеялом закрылся, а он еще — хрясь! — тут я и потух. Только потом, в лазарете, узнал, что это он силикатным кирпичом (стройка недалеко была). Чуть не убил, зараза... Так больше и не виделись. Перевели его на зону, срок набавили, меня вот на волю выпускают. Зла на него не таю — три месяца покойно и чисто за него на койке пролежал, за чудака.

10

Зеки зовут меня Отцом, боятся — значит, уважают. Я уже десятый год служу начальником зоны общего режима. Народ на ОРе стремный, подловатый. Строгачи гораздо степеннее — настоящие преступники, а не играют в преступников, как наши. А у меня что ни квартал — то ЧП. Перевели ко мне огольца одного, по кличке Пердун. Предупреждали: шалый. Осужден за драку, руку на мента поднял, на химии снова затеял драку, дебош, нанес тяжкие телесные повреждения — перешел в другую статью (188 часть I УК РСФСР — злостное неповиновение требованиям администрации исправительно-трудового учреждения). Присмотрелся к нему. Длинный, как селедка, слабенький. Я вздохнул было свободно — одной заботой меньше. Нет! Стань, говорю, человеком, работай, уважай товарищей по несчастью и так далее. А он слушает, смотрит своими мелкими глазками. Понял? — спрашиваю. Молчит. Смотрит. Отвечать, — говорю! А он — взял да и взбднул, подло так, издевательски. Ты что, кричу, пердун, подлюга, тварь! — признаться, я сорвался. Часовой не успел — он схватил со стола пепельницу и шварк меня по лбу... На таком деле можно, конечно, очень ожечься. Очень. Но я понимаю: интеллигенция,

нервы, — простил ему и пепельницу, и взбзд его, — десять суток кондея, работу похуже, стукачу наказал присматривать. — зря! Через месяц он мне здорово отплатил за мое добро... Побег — дело серьезное, общелагерное. За побег меня по попке не погладят... За что? Что я ему сделал? Ничего обидного даже не сказал, только в порядке общей беседы. Черны и неблагодарны человеки. Видать, если он родился зверем, то никакая зона из него человека не сделает.

11

Раньше я его даже издали не видел, потом и подавно: зеки — сплошная серо-зеленая каша с мясными комками лиц — образно говоря... А в тот момент не успел его разглядеть. Можно сказать, мы с ним никогда не виделись. На стройке бардак — только и делали, что дыры затыкали. На одну дыру меня поставили. Я было решил перекурить, смотрю — идет что-то. Стой, говорю, а самого как проткнуло: вот оно. Стой, повторяю, стрелять буду, а сам внутри: убью — отпуск. А солдату внутри не полагается. Хочу стрелять — палец как онемел. Идет на меня, рычит зверем, и глаза горят желтым огнем. Похоже, что карабин сам выстрелил, как только зека увидел — пальца своего уже не помню. Смотрю — промазал! Он прыгнул на меня, с ног сшиб, карабин из рук как сам вылетел. Я закричал, а внутри: убьет! Он меня — прикладом. Больше ничего не помню. Очнулся — наши кругом, оружия нет... Каждый, понятно, хочет в отпуск. Лежишь, думаешь: он идет, ты стрельнул, не в голову — в ноги, тебе благодарность, отпуск. А как до дела дошло — оплошал. Не просто стрельнуть в живого. Лейтенант сказал, если натворит что с твоим оружием — тебе крышка. Тяжко мне. И кровь по моей вине может пролиться, и зека самого жалко. Мы в деревне с ребятами на охоту ходили, я утку подстрелил, плакал потом. Эх, как хорошо теперь в деревне. Отпуск бы...

12

Нас было двое — я и Буряк. Мы с Буряком ребята не простые — ого-го! — нас весь поселок знает. Залезли на крышу, сидим, балдеем. Вдруг слышим — пернул

кто-то. Я поначалу думал, что Буряк, и поджопник ему зазря дал — никогда себе этого не прощу. Сидим. Слышим: опять. Поползли. Смотрим через окошко: мужик на чердаке сидит, в руках — ружье настоящее. Буряк сразу догадался: это тот зек, говорит, которого портрет по телеку показывали. Меня из-за него три дня гулять не пускали, а сегодня бабушка в овощном в очереди застоялась — я и бежал через балкон. Вдруг слышим: голос снизу раздался: сдавайся добровольно! Выглянули — вся улица в милиции, солдаты с автоматами. Мы по крыше проползли, в голубятне спрятались. Буряк говорит: сейчас брать будут — не каждому случается такое увидеть. Зек на крышу вылез, побежал, думал на другой дом перепрыгнуть, но посмотрел — далеко. Остановился, нос кулаком утер. Вдруг — выстрел, потом еще, и — началось. Смотрю: на другом доме милиция появилась, у каждого огонек вспыхивает, крыша от пуль заскрежетала. Зек опять в чердак нырнул, и сразу стихло все. Гляжу — внизу его из дома выводят, руки заломили и в машину толкают. Мы все это время на настиле лежали, к доскам словно приклеенные. Я Бурю в бок толкаю, а он молчит. Смотрю: лежит, голову ладонями обхватил, меж пальцев кровь, в темечке дырка... Шальная пуля. Отец меня выдрал, ребята, конечно, зауважали. А Буряка жалко. Лучшим другом был. Ничего, я после школы в милицию пойду, на расстреле работать — отомщу за Буряка!

13

Я был нормальным ребенком, нормальным школьником, в армии нормально отслужил, а теперь моей работе только позавидовать можно. Работа моя тяжелая — в газетах про меня не пишут, в народе по-разному говорят, будто за меня автоматика работает — вроде как и нет меня. Что ж — нет так нет, я, может быть, и сам в свое бытие не верю... Вчера еще одного привели. Некрасивый такой, длинный, смотрит волком, нос как свекла. Я не знаю, за что его — нам не сообщают. Закон есть закон. Всю ночь, говорят, бился, стены зубами царапал. Когда выводили, волосы все были темно-вишневые от спекшейся крови, ногти обломаны. Кинулся на стенку, его скрутили, стал дро-

жать, как электрический, извиваться, укусил меня за щеку — до сих пор болит. За что? Что я ему сделал? Ведь не я судил, не я приговаривал, не я, в конце концов, преступление сработал. Связали его, прикрепили к столбу — кричит. Коротко так, со слезой кричит — а! а! — через каждые две секунды, как заведенный. Скомандовали. Я подошел, прицелился и выстрелил. Пуля прошла ровно — от затылка до лба. Затих. Я обошел сбоку и произвел контрольный выстрел. Пуля прошла от виска до виска. Доктор засвидетельствовал смерть. На свете появился еще один труп... Как подло он умирал! Не поверите: когда я делал контроль, он — уже мертвый — слабенько так пукнул. Подло умирают люди — все до единого. Все они в минуту смерти похожи друг на друга, подобно тому как все женщины одинаковы, когда разводят ноги. Бывает такой момент, когда он уже понял, что через несколько секунд будет убит, тогда-то и снимает он маску, и обнажается. Люди заразили меня своим жизнелюбием, и я благодарен им за то, что, умирая, они учили меня жить. Жалко, до омерзения жалко людей!

ДЕЛО КРОЛИКА

Следуя закону всеобщей подлости, великие мировые катастрофы вредят человечеству в целом, но приносят неоспоримую пользу отдельным его представителям. Всемирный потоп породил синоптиков и внушил благоговение перед ними на долгие тысячелетия. Гибель Атлантиды вскормила поколения фантазеров, историков и водолазов. Ну а кому могло сыграть на руку разрушение Вавилонской башни? Qui, c'est ca! Tranclator, Traductor, Interprete...

Язык, язык! Штудируешь пять лет и диву даешься, сколько дел вершится в ротовой полости с гортанью. Катаклизм за катаклизмом! Издерганные голосовые связки, не проведя в союзе и дня, то сходятся, то расходятся; придыхание рвется в бой за глухие смычные английского языка, а неведомые интриганы то поднимают, то задергивают небную занавеску. Дорсальность сменяется апикальностью, а та, в свою очередь, билабиальностью. В древнем Новгороде так и не проходит вторая палатализация согласных, зато в Беловежской Пуще наступает распад Союза. Также наступает рыночная экономика и свободное самоопределение переводчиков, которых оказывается много больше, чем незрезанных московских дворняг.

Когда государство благословило тебя в путь пинком под зад, не хочется затягивать полет надолго. Мало-помалу мы приземляемся, как кошки, на все четыре лапы в чисто вылизанных офисах, за компьютерами и столами переговоров. Если править экономикой на

Руси призваны варяги из процветающих стран, то переводчик дает им иллюзию того, что разговор с туземцами ведется на одном языке.

Я еще ношу в себе то идолопоклонническое отношение к языку, которым жив мой факультет, и когда два носителя великого кастильского наречия (Педро Хименес-Пахареро и Надя Лейла Капдевилла) поведут диалог чуть в стороне, думая, что их с успехом заглушает орущий рядом магнитофон, хочется плакать от умиления, сознавая, что за этими людьми стоит великая испано-латиноамериканская культура, что по рельсам языка катится их мышление, как говаривал со страниц монографии старина Гумбольдт, и что вот-вот между двумя разными сознаниями должен зародиться тот великий контакт, ради которого и дрожали от зубрежки стены моей alma mater.

— Сеньора, нашелся человек, который будет нам переводить...

— Нашелся?! Скорее неси контракт!

— Может быть, стоит ее проэкзаменовать?

— Ее устраивает наша зарплата? Значит, она нам подходит!

— Но знание языка...

— Педро! Если сотрудник видит, что прошел экзамен, у него появляется высокое мнение о своих способностях, и зарплата перестает его удовлетворять. О том, что сотрудник работает хорошо, должно знать только руководство. Это один из принципов правильного управления людьми. А вот если сотрудник работает плохо, он должен узнать об этом обязательно. Чтобы понимать, за что его увольняют.

— А если здешние законы...

(Горячим шепотом):

— Педро! В этой стране уже давно нет никаких законов, кроме налогового кодекса! И потом, как только ты выучишь русский, переводчицу все равно придется увольнять. Очень нерентабельно держать на фирме человека, который ничего не делает, а только говорит!

— Сеньора, у меня нет способностей к языку. Мне так сказал преподаватель на курсах русского в Колумбии...

— У меня, Педро, нет способностей к управлению, мне так сказали на курсах менеджеров в Колумбии; но тем не менее я не побоялась возглавить филиал фирмы в России, а руководство фирмы не побоялось доверить мне новое дело. Теперь я работаю, не задумываясь, есть у меня к этому способности или нет. Если и ты, Педро, научишься работать не задумываясь, ты добьешься многого.

А чего только нельзя добиться в новой неведомой стране! Вновь открыто мифическое Эльдorado, и конкистадоры с горящими глазами высаживаются на поросший березками берег. Они достают колокольчики, чтобы выменивать на них золото и серебро, но почему-то совсем не берут в расчет, что некто, засевший в кустах с радиотелефоном, уже подает соратникам сигнал о круговой облаве.

С появлением «языка» работа фирмы стремительно понеслась вперед. В первый же день нас с коммерческим директором заслали на переговоры. В дороге мне стало интересно:

— Педро, а почему у сеньоры Нади русское имя?

— В Колумбии модно давать детям иностранные имена. Кроме того, отец сеньоры, основавший фирму, всегда мечтал завоевать русский рынок. Кстати, моих сестер зовут Лусмила и Катиуска.

Судя по всему, виды на русский рынок были у многих...

— Пока вы работаете у нас, Хулия, — сказал Педро голосом памятника, говорящего с пьедестала, — вы должны учиться у меня и у сеньоры умению обращаться с людьми. Сеньора часто повторяет, что фирма — это та же семья, где младшим следует брать пример со старших. Сейчас, когда мы приедем на фирму «Меркурий», и будет ваш первый урок.

Урок проходил по классической схеме: повторение, объяснение нового, закрепление. Первые четверть часа Педро напоминал присутствующим о себе, упорно здороваясь со всеми, кто этого хотел и кто нет. Он старательно выговаривал «Диен добрый» отрешенной секретарше, нервно пересекающим комнату молодым людям с заботой на лице и хорошо упитанному бух-

галтерскому отделу, бросаясь к приветствуемым с протянутой рукой. Менеджер фирмы «Эспидан» напрашивался на вывод о своем дружелюбии.

— Здравствуйте! — в запале общения выкрикнул Педро охраннику.

Тот оторвался от раздела уголовщины в «МК» и прищурился.

— А, «Эспидан»! Ну здравствуй, здравствуй...

Не перевелись еще Генеральные Директора на Руси! Лицо, возглавлявшее «Меркурий», олицетворяло собой народную песню «Дубинушка». Не обидно за державу.

— Уф, господин Волков!.. — шепнул Педро про-никновенно.

Он почему-то раскланялся.

Волков кивнул без лишних эмоций.

— Ты скажи ему, лапуня, что сотрудничаем мы с ними уже год, а совести у фирмы «Эспидан» за это время не прибавилось. Ладно, это не переводит... Рассмотрели мы ваше предложение; брать этот кофе не будем.

— Почему? (Педро использовал интонацию школьника, не понимающего формулировку теоремы.)

— Потому что это тот самый перуанский «Аякучо», что мы вам продали неделю назад на 3 доллара за килограмм дешевле.

— Это наша последняя поставка из Колумбии...

— Брось, Педро, вы уже три месяца ничего не возите из Колумбии, держите товар, пока в России не прыгнут цены.

— Вам как нашим старым клиентам мы могли бы опустить цену на 1 доллар за килограмм, — продолжал Педро, не подавая вида, что слышит перевод.

— Ну видала, лапуня? Ладно, официально говорю: Педро, передайте вашему руководству, что мы не будем брать предложенную вами партию.

— Очень жаль, господин Волков, потому что вы наши лучшие клиенты и мы предлагаем вам наши лучшие цены. Я надеюсь, от следующей партии кофе, которую мы вам предложим, вы не откажетесь.

— Не откажемся, если она придет из Колумбии, а не с нашего собственного склада... Ладно, это не для

перевода. Всего хорошего, Педро! Мы всегда рады вас видеть, приходите с новыми предложениями.

Господин Волков щедро улыбнулся.

— Видите, Хулия, мы расстались друзьями, — гордо прокомментировал ситуацию Педро. — В Колумбии есть поговорка: «Как ты расстанешься с человеком сегодня, так ты встретишься с ним завтра». Завтра мы встретимся с господином Волковым друзьями и по-прежнему сможем продавать ему кофе.

По обеим сторонам от нас лихо вздымались и опали несущие конструкции Крымского моста; с аттракционов Парка Горького под мажорную музыку летели вопли отчаяния.

«Не похожий на меня, не похожий на тебя, парень чернокожий...» — самозабвенно пело радио.

День следующий. Глава фирмы «Эспидан» Надя Лейла Капдевилла на полусогнутых бегаёт из офиса на кухню и таскает оттуда чашки с кофе. Педро бегаёт следом за ней, обеспечивая группу поддержки.

— Buenos días, Senora! (Доброе утро, сеньора!)

— Buenas noches, Julia! (Добрый вечер, Хулия!) Вы опаздываете! Скорее в переговорную! Vaya! Vaya! Сеньоры ждут!

Судя по всему, у нас правительственная делегация. Пришли выселять офис из жилого помещения.

Сеньоры мрачно курили. Беседа между ними шла следующая:

— Скажу им сейчас, чтоб поторопились с деньгами! А то носятся колбасой, достали уже со своим кофе! Только время терять в этой дохлой конторе!

— Ладно, с паршивой овцы...

На столе перед сеньорами лежал целлофановый пакетик с россыпью зеленых бумажек. По-простому...

— Из Колумбии кокаин надо возить в контейнерах с кофе, а эти ... страдают. Слушай, может, они и возят, а мы не знаем?

— Вот, уже привезли, — констатировал склонный к юмору сеньор.

— Aquí esta, aquí esta! — кивала сеньора Надя, топорливо расставляя на столе печенье к кофе.

— Потрясти бы их! — с вожделением произнес не склонный к юмору сеньор.

— Переводчик! Говорить, да? — заискивающе прокомментировала сеньора Надя мое появление.

— А чего говорить? Деньги взяли и пошли! — сеньор был недоволен. — Ладно, спроси: не потрошит их никто? Кроме нас?

— Нет-нет! — сеньора Надя делала отрицающие жесты руками.

— А то мы придем, разберемся...

Я поняла, что разберутся со всеми, кто в этот момент окажется в офисе.

— Всего хорошего, сеньоры! Заходите еще! — по-русски любезничал Педро в дверях.

— Nuestra «крыша», — почти что гордо пояснил он, проводив «гостей». — Los padrinos. Chicos malos. (Крестные отцы. Плохие ребята.)

— В Колумбии мы никогда не стали бы иметь дело с таким народом! — с горячностью вмешалась сеньора Надя. — Мы бы вызвали полицию, мы бы немедленно посадили их в тюрьму за вымогательство. Но здесь иначе работать нельзя. Нельзя, нас предупреждали еще на курсах в Колумбии. Когда приступаешь к управлению чужой страной... то есть фирмой в чужой стране, надо уметь справляться даже с худшим, что в этой стране есть.

Заглянул шофер Володя; он непонятно ухмылялся.

— Юля, скажи им, что дельфин приплыл.

— О, дельфин! — Педро обрадованно привстал, но тут же озадаченно присел. — Сеньора, кто будет разговаривать с ним? Вы? Я? Мы вместе?

— Ты, Педро! Поговори с ним ты, как мужчина с мужчиной...

— Петя, — представился мне «дельфин». Свое прозвище он полностью оправдывал энергичным и жизнерадостным видом. Того и гляди зароется носом в морские волны.

— Уф, здравствуй, тетка! — радостно ворвался и затряс ему руку Педро. — Контейнер уже идет, уже идет.

— Да ну! — от «дельфина» повеяло искренней радостью. — А когда придет судно, Педро?

Педро озабоченно загибал пальцы:

— Неделя, две, три... Нет, две! — один палец он разогнул.

— Жалко, Педро, жалко, долговато. Ну ничего! Слава Богу, что он идет.

— Но знаешь, Петя, судно еще неделю будут держать в порту. Его будут обнюхивать собаки. Проверять, нет ли наркотиков.

— Ах, черт возьми! Ты понимаешь, Педро, все мои клиенты, булочные-кондитерские, сидят без зернового кофе, а я его не везу и не везу. Не сегодня-завтра они закупят зерно у других оптовиков, а если закупят, то уже надолго. Зерно, оно ведь идет медленнее, чем растворимый.

— Да, Петя, но уговори их подождать: через две недели будет отличный «Сересо» и «Чанчамайо».

— Через три — еще собакам надо понюхать... Хорошо, Педро, что делать, подожду.

Погрустнев сначала, «дельфин» как будто приободрился.

— Слушай, Педро, образцов этого «Сересо» и «Чанчамайо» у тебя нет?

— Конечно, есть!

Петин дипломат был мучительно туго набит, и, распахнувшись, он с радостью исторг из себя на пол документы ИЧП «Дельфин», несколько пачек мятых купюр, книгу «История инков»; присыпал это сверху таблетками валидола и последним аккордом уронил два трогательных красных яблока — обед бизнесмена. Мешочкам с кофе попасть в эту компанию было уже не под силу.

Петя лихорадочно, как пассажир на таможне, сгреб свое хозяйство обратно в дипломат, все умял и, поднатужившись, застегнул.

— Петя, образцы! — с сомнением предложил Педро.

— Не судьба, — Петя разогнулся и махнул рукой. — Ты мне сам скажи, Педро, хороший кофе или нет? Я тебе поверю.

— Уф, отличный!

— Ну и хорошо! Будем ждать ваш отличный, — «дельфин» стойчески улыбнулся на прощание. — Три недели, как все-таки долго!

...Сеньора Надя пришла на кухню обедать в то же время, что и я. До ее прихода мне скрашивала обеденное время «Мировая история в обработке «Сатирикона». Где-то поблизости были припрятаны «Флирт — путь к успеху» — настольная книга бухгалтера Тани и «Раскрепощенный менеджер» — чтиво наших юных коммерческих агентов. Начальство же за обедом предпочитало говорить: вместе с едой сотрудники лучше усваивали и переваривали получаемую информацию.

— Я считаю, Хулия, что лучше не иметь на фирме повара, который готовит на всех. У людей такие разные вкусы! Вы, я заметила, любите эти пирожки с мясом, которые продаются у метро, «бьяляши», да? Бухгалтер любит бутерброды, а я всегда прошу служанку готовить мне овощное — мы в Колумбии очень озабочены проблемой холестерина. Поэтому всем, кто работает в офисе, трудно было бы есть одно и то же блюдо.

Сеньора Надя аккуратно разжевала кружок помидора.

— (*Воодушевленно*) Хотя, с другой стороны, психологи считают, что обедать всем вместе на работе полезно. Так руководитель лучше узнает сотрудников, а это необходимо, Хулия, потому что мы все должны быть как одна семья, где старшие руководят младшими, как родители детьми...

Дети!

Сеньора Надя вдруг в беспокойстве подскочила и высунулась в окно.

— *Gracias a Dios!* (Слава Богу!) Машины нет, значит, Володя поехал забирать детей из школы. Я всегда так волнуюсь, когда он опаздывает забрать их. Я говорю ему: Володя, дети — это святое! Ты можешь опаздывать куда угодно, но детей ты должен забирать вовремя. Я сказала своим детям: звоните мне, если Володя опаздывает хоть на минуту.

Эсперанса и Даниель. Сестре — 11, брату — 9 лет. Оба учатся в школе при УПДК, и в 4 часа дня их требуется оттуда забрать.

Кстати, фирма называлась в их честь — «Эспидан».

Через пару дней к нам снова приехала «крыша» — *chicos malos*. Представленные мне ранее крутые сеньоры Ринат и Марат пришли в сопровождении третьего,

по контрасту походившего на слобную булочку или доброго котика из детских сказок.

— Дело у нас к вам, — без улыбки начал Марат.

— Разрешите узнать, как зовут вашего компаньона? — вежливо полюбопытствовала сеньора Надя.

— Виталик, — недобрым голосом ответил Ринат.

«Булочка» удивился, но потом развел руками и кивнул:

Виталик, значит Виталик.

— *(Почти ласково)* Чем мы можем помочь сеньору Виталику?

Виталик замурлыкал, словно кот-баюн:

— У меня есть небольшая фирма, а Ринат и Марат — мои партнеры. Дело у нас налажено хорошо: в Москве берем лекарства, гоним на Урал; там делаем бартер — меняем на кокс; кокс меняем на бокситы; бокситы меняем на хром; хром везем в Тольятти — менять на листовую сталь; а листовую сталь гоним в Израиль.

— И имеем 300% прибыли, — хмуро добавил Ринат.

Виталик весело поглядывал на прибалдевших эспидановцев.

— Что вы на что меняете? — голосом слабоумной переспросила сеньора Надя.

Педро по-собачьи склонил голову набок, силясь понять. Виталик нараспев зачистил:

— Лекарства меняем на кокс, кокс меняем на бокситы...

— Простите, но чем же наша фирма может вам помочь? — настороженно улыбнулась сеньора Надя.

— Кофейку хочется! — воскликнул Виталик. — Нам бы кофейку вагончик в кредит. Как только сталь продадим, так сразу с вами и рассчитаемся. А хотите бартер...

— Хулия, переведите, что мы понимаем, насколько выгодно для нас сотрудничать с сеньорами, и мы были бы рады им помочь, но мы временно прекратили поставку новых партий кофе. *(Быстрым голосом)* Педро, стоит связываться?

— Сеньора, боюсь, что это будет не кредит, а подарок.

— А если потребовать с них банковскую гарантию?

— Это будет гарантия банка, который лопнет после ее выдачи.

— Но 300% прибыли!

— Сеньора, если вы хотите создать фонд поддержки русской мафии, то можете начинать с этого вагона.

Новых партий кофе пока не ожидалось.

— Как называется ваша фирма? — поинтересовался Виталик, покидая нас.

— «Эспидан».

— СПИДом не торгуете?

— Нет, мы торгуем только тем, что производим.

— Да, это выгоднее: вы можете предлагать производительские цены.

С лестничной площадки, куда проследовал «бизнесмен», на меня повеяло легким ужасом. А если бы я пошутила? «СПИДом? Конечно, торгуем!» — «А у нас и это дело налажено! СПИД меняем на брюшной тиф, гоним на Урал, там меняем на сибирскую язву. А черная оспа у нас идет бартером на черный кофе...»

— Хулия! Мы с вами едем в школу к моим детям, — сеньора Надя суетливо собиралась.

В машине:

— Мне стало смешно, Хулия, когда сеньор Виталик стал предлагать эту сделку. Даже мафия должна понимать, что любые нечестные пути — не для фирмы «Эспидан». И честно сотрудничать с нечестными людьми — тоже значит пятнать свою репутацию. Мне хочется, чтобы вы, Хулия, как сотрудник фирмы, знали, какими принципами мы руководствуемся в бизнесе. Этими же принципами, я думаю, вскоре будут руководствоваться все предприниматели в России.

Обозначив перспективы, сеньора Надя откинулась на сиденье.

— *(Деловито)* Психологи советуют расслабляться после неприятных ощущений и думать о чем-нибудь радостном. В школе у моих детей сегодня празднуют Хэллоуин. Вы знаете, что такое Хэллоуин, Хулия?

Кто же из изучавших когда-либо английский не знает, что накануне Дня Всех Святых по земле разгуливают ведьмы и духи, а дети, переодетые нечистой силой, резвятся в свое удовольствие.

— У нас в Колумбии нет такого праздника, но в школе УПДК преподают американцы, приходится считаться с их обычаями. (*Милый вздох*) Обоим детям нужны были карнавальные костюмы, и я готовила их неделю. Это было очень тяжело!

Конечно, при ее-то нагрузке! Я с умилением представила сеньору Надю, клонящуюся над швейной машинкой.

— Мы объездили чуть ли не все московские супермаркеты! Каждый вечер я возвращалась без сил, но говорила себе: когда-нибудь дети должны будут вспомнить, чего стоил матери их праздник.

Когда-нибудь вся Россия вспомнит о том, чего стоило Наде Лейле Капдевилле со товарищи поставить на правильные рельсы загадочный славянский бизнес. Вспомнит об этом и переводчица Юля, которой посчастливилось стоять у истоков.

Сеньора Надя сосредоточенно пудрилась:

— В школе я хочу поговорить с учителями, Хулия; вы ведь достаточно хорошо знаете английский?

Перевод с одного иностранного языка на другой — не просто каторга для переводчика, а настоящее его четвертование. Две половинки мозга живут в разных языковых реалиях и не хотят иметь друг с другом ничего общего. В то время как Даниель, наряженный милым разбойником, и Эсперанса в лохмотьях очаровательной ведьмы что-то трогательно распевают, прихлопывая в ладоши, предложения тараном пробивают себе дорогу из испанской в английскую часть моей головы.

Американская мисс делает отмашку рукой, и фигура на сцене перестраивается. Дети продолжают топтать и хлопать уже в ином ракурсе. Сеньора Надя с умиленным выражением на лице шевелит пальчиками, подавая знак Эсперансе и Даниелю, мол: «Вижу!». А я тем временем продолжаю переводить:

— Да, мистер Крейг, разумеется, я позабочусь о том, чтобы у Даниеля не было «D» в семестре по химии...

После праздника мы забрали детей с собой. Даниель и Эсперанса неторопливо прошествовали к машине,

вручили шоферу пустые термосы для обеда и плюхнулись на заднее сиденье. Приветствий с их стороны не последовало.

— ... Не хнычь, Даниель, и не обижайся на меня. Дело должно быть на первом месте. Твое дело — учиться; и если ты сдашь химию на «D», то должен будешь учить ее на каникулах. Поездка домой не позволит тебе как следует подготовиться к пересдаче. И мне, и Эсперансе тоже очень хотелось бы побывать в Колумбии на Рождество, но мы останемся, чтобы помогать тебе в занятиях.

— *(В рыданиях)* Папа может поехать с Эсперансой!

— Папа предпочтет не оставлять без присмотра филиал в Петербурге. Дело для папы прежде всего! Когда ты вырастешь, дело и для тебя будет важнее всего. Тем более такое дело, которое начинаешь в чужой стране!

Две недели спустя под вечер приплыл «дельфин» Петя. Он появился в хорошем настроении и с надеждой на контейнер.

— Уф, тетка, ты знаешь, судно еще не пришло в Петербург.

— Как? А где же оно?

— Ты знаешь, его по ошибке отправили в Польшу, там у нас тоже есть филиал.

— Вот беда! Что же мне делать, Педро? — Петя присел, пытаясь осмыслить ситуацию. — Мои булочные уже совсем теряют терпение. Если сегодня-завтра я не привезу им кофе, они возьмут его у других.

— Да, я понимаю! Но попроси их подождать еще немного — контейнер обязательно придет.

— *(С мукой в голосе)* Когда же?

— Перезвони мне через неделю.

Я поняла, что пора набирать телефон спасения 911. Или вызывать общество зеленых: перед нами был дельфин, выброшенный на берег.

Педро чуть-чуть подождал, повертел в руках карандаш и вернулся к делу:

— Петя, нашему руководству в Колумбии хотелось бы знать, когда фирма «Дельфин» вернет «Эспидану» свою задолженность.

— Да если бы у меня сейчас был этот контейнер,

Педро, я бы его быстренько раскидал и хотя бы половину долга вам отдал... А так оборотов нет совсем.

— Да, я понимаю, тезка. Но фирма «Дельфин» уже три месяца должна нам 20 тыс. долларов, а контракт предусматривает пеню за просрочку платежа.

— Я верну, верну, верну, — обреченно кивала фирма «Дельфин», — но можно надеяться на контейнер через неделю, Педро?

— Я думаю, что да, Петя! — Педро утвердительно хлопнул тезку по плечу.

Петя подвез меня до ближайшего метро. Пешком дорога занимала минут 10. Мотор «УАЗика» прогрелся на ноябрьском холоде около 20.

— ...У меня ведь, Юля, кандидатская по истории. А на какую тему, знаете? Экономические аспекты завоевания Латинской Америки. Забавно? Это потому, что вы молодая... Кстати, завтра у меня юбилей — пять лет назад была защита. Надо будет на кафедру заехать, поставить шампанское. На это моих доходов еще хватает. Расскажу про свою кофейную докторантуру и очень боюсь, что мне позавидуют.

Мы выехали на проспект, и «УАЗик» сразу был затерт вечерним потоком машин. Перед его носом сумела нагло вклинуться даже какая-то «Ока». Кандидат в доктора исторических наук и рулем не повел: он смотрел на дорогу отрешенно.

— Если бы я писал эту работу сейчас, я бы обязательно упомянул, что понятие «конкистадор» стало актуально, как никогда... И в общем, я очень надеюсь, Юля, что второй раз история повторяется в виде фарса.

Педро Хименес-Пахареро хитро ходил вокруг моего стола кругами, громко грыз кофейные зерна и под конец выпалил:

— Хулия! Позвоните в «Меркурий», спросите, согласны ли они взять свой, то есть наш, кофе со скидкой 1,5 доллара за кг. Такая скидка — только им как лучшим клиентам!

Господин Волков, Генеральный директор «Меркурия», выпустил в трубку смешок:

— Хорошо, берем. Но только из уважения к господину Хименесу-Пахареро. Так ему и передай, лапуня.

Педро счастливо покраснел.

— (*С нежностью*) Может быть, они хотят образец, Хулия?

— Нет уж, спасибо, с качеством товара мы знакомы. Приезжайте, подпишем контракт.

— В машину! — возликовал Педро.

— Знаешь, кто такой Меркурий, Педро? — спросила я в машине.

— Да — господин Волков.

— Меркурий — бог воров и мошенников.

Педро был серьезен.

— Даже к такому клиенту можно найти подход — так считает наше руководство в Колумбии.

Помнится, даже Зевс не сразу нашел к нему подход...

— Мы всегда должны иметь дело со здравым смыслом, Хулия, и не обращать внимания на прочие э-э-э... на прочее!

Перед входом в офис на Октябрьской площади Педро подставил ботинки под электрическую щетку и держал там, пока его штиблеты не засверкали как ограненный алмаз. Но в общем-то он почти не волновался.

Михаил Степанович Волков не глядя прошелся «паркером» внизу контракта. Выудив из рук секретаря свою копию, Педро тут же радостно залопотал про грядущие поставки.

— Да хватит, Педро, про этот бизнес, хватит, право слово! — русский кофейный воротила расслабленно махал рукой. — Пятница, вечер, какие тут дела! Давай я тебе свои картины покажу!

— Я и не думал собирать коллекцию, что я, Шукин или Савва Морозов, что ли? Но ехал однажды на работу, и машина забарахлила напротив Дома художника. Я оставил шофера в моторе копать, а сам решил пешком пройтись, благо метров пятьсот оставалось и погода — бабье лето. Иду по вернисажу и чувствую: просит душа чего-то хорошего! Вот и допросилась, так сказать... Филиал Третьяковки скоро открываю!

Педро почтительно перемещал голову справа налево и сверху вниз.

— А вот это моя любимая, — открылся нам Волков.

Он ласково провел рукой по раме. Над дурашливо-яркими, удивленно вздернувшими крыши домиками летел пузатый, по-деловому пыхтящий паровоз, словно влюбленные на «Прогулке» Марка Шагала.

Пока мы ехали обратно, я прикидывала, какой неисполнимо трудной станет для Нади и Педро задача воспитания русской экономики. Осилить ли им Волкова с его картинами, Петю-«дельфина» с его диссертациями и мафию с ее фантастическими прожекторами?..

— Хулия, где тот вернисаж, о котором говорил господин Волков?

Мы его немного проехали, пришлось возвращаться.

— Хулия, — строго сообщил мне Педро, — пойдете со мной, мы должны выбрать картину для офиса.

— Мы, конечно, не будем покупать столько же картин, сколько у господина Волкова. На курсах менеджеров в Колумбии нас учили: если ты видишь полезное новшество, заимствуй его, но не слепо. Картина в офисе поднимает настроение, это полезно для дела, но много картин рассеивают внимание — мы возьмем одну. Помогите мне выбрать, Хулия, я рассчитываю на ваш вкус!

Видимо, поощрение сотрудников тоже было рекомендовано пресловутыми курсами в Колумбии.

— Как вам эта акварель, Педро?

— Видите ли, Хулия, мы покупаем картину в офис, а не в музей, нам нужно что-то попроще.

Ясно, цена не устраивает.

— Мы возьмем вот эту!

На фоне стандартно-цветастого заката топтались черные конские силуэты. У одних гривы развевались по ветру в одну сторону, у других — в другую.

Педро счастливо понес шедевр в нашу «четверку».

На середине Крымского моста шоферу было сказано притормозить. Педро достал пачку «Davidoff» и полез на свежий воздух.

Затяжек он не делал. Сигарета послушно горела, а господин Хименес-Пахареро покровительственным

взором окидывал московские дали. Он выглядел фигурой не меньшей значимости, чем конкистадор Франсиско Писарро, переваливший через Анды и свысока взглянувший на Тихий океан.

В конце обещанной недели позвонил злополучный «дельфин». Он звучал почти безнадежно:

— Юля, ну что там с контейнером?..

Подлетела сеньора Надя:

— (*Успокоительным голосом*) Наш филиал в Польше велел судну отправляться из Гданьска в Петербург, но оно по ошибке пришло в Гамбург.

Может быть, они зафрахтовали «Летучий Голландец»?

— В Гамбурге тоже есть наш филиал; там разберутся в ошибке, и скоро судно будет в Петербурге. Спросите, когда фирма «Дельфин» собирается выплачивать долги...

Снова телефон. Неприятный мужской голос:

— Юля? Это я, Марат. Чего они там надумали с кофе? Дадут нам вагон или нет?

— (*Сеньора Надя, торопливо*) Это наша «крыша», Хулия? Передайте сеньорам, что я очень рада их слышать, и спросите, как поживает сеньор Виталик.

— (*Мрачно*) Виталик звонил с Урала. Говорит, замерз, кофе горячего просит.

— Переведите, Хулия, что при всем моем уважении к сеньору Виталику и при всем сочувствии к его состоянию в распоряжении фирмы «Эспидан» нет сейчас ни мешка кофе, не говоря уже о вагоне. К моему огромному сожалению, я ничем не могу помочь нашим друзьям...

— Гусь свинье не товарищ, — идиоматически прокомментировал раздраженный Марат.

— А кого именно мне назвать свиньей, когда я буду переводить? — спросила я от себя с искренним интересом.

— Это непростительная ошибка, Хулия. Сотрудник не должен говорить ничего, что не было бы предварительно одобрено руководством. Кроме того, chicos

malos должны видеть, что мы действительно рады им услужить; нам следует выглядеть как можно безобиднее в их глазах. Все руководства по личной безопасности советуют ни в коем случае не храбриться, когда оказываешься во власти преступника...

Сеньору Надю оторвали от выполнения материнских обязанностей. Был шестой час вечера; она, как всегда, звонила домой:

— Патрисия? (Это служанка, привезенная из Колумбии.) Почему ты так долго не подходишь к телефону? Моешь пол? А дети уже дома? Патрисия, пол уже должен быть вымыт к приходу детей! Это необходимо для гигиены! Я не хочу, чтобы мои дети получили болезнь легких! Дети поели? Патрисия! Это нарушает их режим! Я не хочу, чтобы мои дети получили болезнь желудка! Пусть садятся за стол, как только я положу трубку. Позови к телефону Эсперансу.

Эсперанса? У тебя все в порядке, моя радость? Perfecto! (прекрасно) Эсперанса, ты уже взрослая, и я хочу дать тебе поручение: проследи, чтобы Патрисия накормила вас, как только я закончу разговор. Вечером расскажешь мне, когда вы поели. Я очень люблю тебя, моя милая, позови брата. Даниель? У тебя все в порядке, моя радость? Как твоя химия? Запомни, что если ты сдашь ее на «D», то не поедешь на Рождество в Колумбию. Я очень люблю тебя, мой милый, скоро приеду.

Сеньора Надя положила трубку с полным удовлетворением на лице.

— Дети должны видеть, что мать о них заботится, Хулия, заботится даже тогда, когда у нее на это нет времени. Вспомните об этом, когда у вас будут собственные дети... Кстати, Хулия, я вижу, наш бухгалтер чем-то расстроена. Пригласите ее поговорить.

— Разумеется, Таня, вы не обязаны рассказывать мне о своих проблемах только потому, что я ваша начальница, но если вы о них расскажете, вам станет легче. Когда я бываю сильно огорчена, я всегда стараюсь кому-нибудь об этом рассказать. Я знаю, что после этого успокоюсь и смогу найти правильное решение проблемы. Какая у вас проблема, Таня?

Танины проблемы были мне, в общем, известны: развод, пустая квартира, зимние вечера, тридцать лет — бабий век, а тридцать пять стукнет завтра. В преддверии юбилея — обострение тоски. Именно это требовалось излить перед сеньорой Надей.

— Ничего, сеньора (всхлип), спасибо, у меня все в порядке...

Сеньора Надя с неумолимой улыбкой покачала головой:

— Когда у человека все в порядке, он не плачет, а когда он плачет, у него не все в порядке, это логично, не правда ли? Вы можете поделиться со мной вашей печалью — у меня есть еще полчаса до переговоров с АОЗТ «Восторг».

Сеньора Надя радостно сложила руки на столе перед собой и приготовилась слушать.

Таня безрадостно смотрела в стену. Вернее, на картину заката, украшенного лошадьми. Убийственно резкое сочетание оранжевого, красного и черного ее, видимо, доконало. Она попыталась выговорить «извините», вскочила и успела донести слезы до кухни.

Сеньора Надя оглянулась на картину и пожала плечами.

— *(Удовлетворенно)* Видите, Хулия, сейчас Таня будет плакать, а потом она выпьет холодной воды и успокоится. Ее настроение улучшится, и весь оставшийся день она сможет работать более плодотворно, чем до разговора со мной. Если у вас, Хулия, будет какая-нибудь проблема, обязательно поделитесь ею с начальством!

Особенно в начале рабочего дня...

Сеньора Надя предалась воспоминаниям:

— Руководство нашей фирмы в Колумбии всегда вызывает к себе сотрудников и беседует с ними, если видит, что у них плохое настроение. Это рекомендует наш штатный психолог. Люди бывают очень благодарны оказанному им вниманию. Помнишь, Педро, когда у тебя были проблемы с женой, наш коммерческий директор беседовал с тобой целых 35 минут! А ты тогда был просто рядовым сотрудником...

Взгляд, которым Педро ответил сеньоре Наде, был почему-то послан исподлобья.

... Пару дней спустя под вечер наш телефон зазвонил с какими-то болезненными содроганиями. Я собиралась уходить домой, но, испугавшись, бросилась к трубке.

— *(Безжизненно)* Это я, Петя...

— Это он, Петя, — перевела я.

Педро отреагировал, не размышляя:

— Хулия, скажите ему, что судно уже шло в Петербург, но по ошибке взяло не тот курс и село на мель в Северном море.

Финиш! Я прикрыла трубку рукой и спокойно предложила:

— Лучше знаешь что скажем, Педро? Что судно затерло льдами в Финском заливе.

Думаю, несчастный кандидат наук поверил бы даже в эту версию, но Педро перепугался:

— *(Заискиваяще)* Хулия, придумайте что-нибудь... правдоподобное, будьте добры!

— Что я, писатель, чтобы выдумывать?

— Вы сотрудник фирмы! Мы все должны соблюдать интересы фирмы! Интересы нашего дела превыше всего! — Педро в волнении начал заговариваться. — Небольшая уловка! Судно будет в Петербурге через две недели, это правда!!! А пока нужно что-нибудь придумать!

Вся в муках совести я открыла трубку для вранья:

— Петя, дело в том, что у капитана белая горячка, и куда сейчас идет судно, неизвестно. Однако через две недели оно ожидается в Петербурге.

— Белая горячка? — озадаченно произнес Петя, — а что, судно наше?

— Их это судно, — злобно глянув на Педро, сказала я.

— Понятно... Понятно... И там бывает... Будем ждать... Правда, мои клиенты почти все уже затарились зерном...

— Почему же вы не брали кофе у других фирм?! — я постепенно приходила в отчаяние.

— А вы были моими единственными крупными поставщиками... Теперь у всех моих булочных есть товар, а после Нового года в торговле будет спад... Ну хорошо, Юля, спасибо за информацию, до свидания!

В повествовании Пети, как и в пьесах Шекспира,

было больше философии, чем трагизма. Бедный Йорик! То бишь, бедный историк!..

Сеньора Надя наблюдала за разговором с интересом естествоиспытателя.

— Что сказал Петя, Хулия?

Я перевела. Педро фыркнул. Сеньора Надя усмехнулась.

— *(Жестко)* Он не коммерсант, Хулия! К сожалению, Петя сам разоряет себя неумением вести дела. А что касается судна, то в России сейчас слишком низкие цены на кофе; но через пару недель, перед Новым годом, они взлетят. К этому времени и должен прийти кофе из Колумбии.

— Но почему было не сказать Пете прямо, как обстоят дела?!

— Цены могли начать подниматься раньше, и тогда нам в одну неделю доставили бы кофе со складов в Гамбурге или Гданьске. Жаль, что мы лишаемся Пети как клиента, но на всю приходящую партию у нас и без него найдутся покупатели. Кстати, Хулия, надо напомнить ему о долгах. У нашего руководства в Колумбии очень большое терпение, но перед Новым годом оно должно кончиться.

В течение последующих двух недель фирма «Эспидан» радостно извещала своих клиентов о том, что прибывает новая партия кофе. Судно «La Plata» не было унесено от русских берегов Гольфстримом, не столкнулось с айсбергом в устье Невы, а благополучно бухнуло в воду якоря в порту С.-Петербург. На десяток привезенных контейнеров были мигом подписаны контракты, а оставшиеся тонны мы раскидывали по случайным клиентам на предновогодней ярмарке.

Международные ярмарки — самая яркая и солнечная сторона бизнеса. Всем они приносят одну выгоду или по крайней мере радость. Ярмарки обладают даром очаровывать, выбирая для каждого строго индивидуальный подход. Стендисткам — фантастический шанс познакомиться! Посетителям-зевакам — небывалая возможность поглазеть и наполучать сувениров! Педро Хименесу-Пахареро — немеряное количество длин-

ных женских ног! Мужу сеньоры Нади, прибывшему из Петербурга, — море халявного пива в розлив!

Среди великолепия стендов и сияния разнообразных товаров суетливо бегают сеньора Надя.

— Хулия! Мы должны найти стенд петербургской фирмы «Держава». С ее директором встречался в Петербурге мой муж. Возможно, они закупают у нас остатки кофе.

Вперед, на поиски «Державы»! Разнообразие ярмарки радует глаз: надрываются музыканты в национальных костюмах, ящерицами снуют журналисты, мощными волнами накатывают тетки с сумками — охотницы за сувенирами, давно не видевшиеся предприниматели братаются в слезах. Павел Сергеевич Бухалин, генеральный директор «Державы», обнаруживается на стенде водочной фирмы «Лепесткофф» за употреблением ее продукции.

В момент обнаружения Павла Сергеевича глава «Лепесткоффа» Илья Николаевич обнимал старого друга за плечи и подсовывал ему кусочек австралийского грибного пая — закусить. Павел Сергеевич упрямо качал головой, шарил рукой в развалах еды на столе и выуживал из банки маринованный помидорчик. Потом Павел Сергеевич принимался облизывать с пальцев текущий по ним рассол, а помидорчик, раздумав закусывать, бросал обратно в банку.

— Давай, Илья, чтоб не в последний раз!

— Buenas tardes, senores! (Добрый день, господа!)

Оба бизнесмена попытались привстать, но поняли, что надежнее снова присесть. Павлу Сергеевичу говорить уже было трудно, а Илья Николаевич сделал широкий хозяйский жест в сторону стола:

— Пр-рошу!

— Гильермо Капдевилла? Помню, пили, — обобщил Павел Сергеевич.

Сеньора Надя обрадовалась и этому:

— Господин Бухалин, мой муж говорил мне, что вас интересует несколько десятков тонн кофе. Мы могли бы вам его предоставить. В Петербург только что пришло наше судно.

— Кофе? Интересовало! — Павел Сергеевич под-

тверждающе кивнул, едва удержав голову от падения на стол. — Интересовало... Да у меня тут племяш — у него тоже кофейная фирма — взял да и затарился зеленым кофе. Теперь придется брать у племяша...

Бухалин говорил так невнятно, что сначала к нему заботливо наклонялся Лепестков, улавливал, о чем порывается сказать его друг, и передавал это мне. А сеньора Надя получала от меня уже вторую производную перевода.

— Черт его знает, что за кофе Сашка привез! Зерна хорошие, крупные, а запах, как у мандарина. Я понимаю, чай с добавками... но может, на западе и кофе с ними пьют? У вас там пьют кофе с мандарином, а, мадам?

— Он плохо просушен! — возбужденно воскликнула сеньора Надя.

Павел Сергеевич бессловесно уставился на нее, требуя разъяснений.

— Когда кофе плохо просушен, у него специфический гниловатый запах; такой кофе никто не купит. И фермеры, чтобы обмануть скупщиков, кладут под настил, где сушится кофе, листья от мандарина. Кофе очень хорошо впитывает запахи, и запах гнили заглушается. Но если обжарить такой кофе, у него будет — я прошу прощения у сеньоров — запах мочи.

Илья Николаевич захохотал и похлопал Бухалина по плечу:

— Да ты едва не обмочился, милый! Давай, бери кофе у мадам, у нее наверняка все стерильно!

— Мы могли бы прямо сейчас заключить с вами контракт...

— У племяша буду брать! — с вызовом глядя на Лепесткова, выкрикнул Павел Сергеевич. — Кто ему поможет раскидать этот вонючий кофе, кроме меня? А вдвоем как-нибудь выкрутимся!

Моя начальница нервно подалась вперед за переводом, как борзая на коротком поводке. При всем моем сочувствии к ней, я передала содержание бухалинского выкрика.

Выпитая залпом рюмка водки едва ли адекватно отразила всю степень потрясения сеньоры Нади.

...При возвращении с ярмарки сеньора Надя была безмолвна. Когда мы проезжали по Бородинскому мосту, она скороговоркой произнесла: «Как душно, меня укачало», — и вышла на свежий воздух. Я верила, что ей действительно нехорошо.

Сеньора Надя подошла к перилам моста и оперлась о них, безнадежно глядя вниз. В Москве-реке дурашливо плескались цветные огни.

Когда сеньора Надя вызвала меня к себе на следующее утро, я поняла, что наверняка придется отправить факс в Колумбию с просьбой прислать нам штатного психолога фирмы. Однако на переговоры был вызван всего лишь Петя-«дельфин».

— Петя, — сказала сеньора, облаченная, как в латы, в стального цвета костюм, — вчера руководство нашей фирмы в Колумбии прислало мне факс. Московский филиал просят рассчитаться за долги фирмы «Дельфин». Мне придется это сделать, поскольку как руководитель фирмы я отвечаю за всех московских клиентов. Я уверена, что вы, Петя, обязательно рассчитаетесь с фирмой «Эспидан». Но, пока этого не произошло, наше руководство в Колумбии просит вас заложить нам свою квартиру. Учитывая цены на жилье в Москве, ее стоимость и будет равняться сумме вашего долга.

В Петину сторону лучше было не смотреть. Спираль истории в это время закручивалась вокруг его шеи.

— И... вы будете иметь право забрать у меня квартиру?

— Нет-нет! — бодрящим хором заверили Надя и Педро. — Мы хотим просто подстраховаться.

— У нас должна быть гарантия на всякий случай.

— Мы не допускаем и мысли, что ваши долги не будут выплачены!

— (*Озабоченно*) Хулия, надо проконсультироваться у юриста. Говорят, в этой стране невозможно забрать у человека заложенную им квартиру.

— (*Вкрадчиво*) Подожди, Педро! Не забывай, что наша фирма — на юридическом обеспечении сеньоров Рината и Марата. Видите ли, Хулия, мы вовсе не со-

бираемся снимать у Пети квартиру, тем более что в России такая практика еще не разработана. В Колумбии, например, заложить квартиру — обычное дело, и часто случается, что незаплатившего должника выселяет из нее полиция. Но... здесь другая страна.

— Я поступаю с Петей так, как поступаю и со своими детьми, Хулия. Даниель должен знать, что не поедет в Колумбию на Рождество, если сдаст химию на «D». Петя должен знать, что лишится квартиры, если не выплатит долги, только и всего!

Сеньора Надя радостно развела руками.

Телефонный звонок:

— Эсперанса? Что случилось, моя милая? Володя еще не забрал вас из школы? На сколько же он опоздал? (*Яростный взгляд на часы*) 15 минут! Не волнуйся, Эсперанса, Володя обязательно придет, а если нет, он будет уволен с работы! Мама вас очень любит, мои милые, ждите и не переживайте!

Возмущенно:

— И Володя еще будет требовать повышения зарплаты! Как хорошо, что Эсперанса звонит мне каждый раз, когда он опаздывает! В конце месяца, когда Володя начинает ныть, что ему не хватает денег, я всегда говорю ему: «Володя, такого-то и такого-то числа ты опоздал на столько-то минут. Посмотри, сколько времени, которое мои дети могли бы потратить с пользой, они потеряли. Ты еще хочешь о чем-нибудь попросить меня, Володя?». И он не может обижаться на меня, потому что я с ним абсолютно справедлива.

В отличие от Володи, на наших юридических консультантов, то бишь на «крышу», педагогические приемы сеньоры Нади подействовали своеобразно. Заехав в очередной раз, чтобы повысить налог на свое содержание, они услышали опечаленный голос о том, что денег нет. Ринат и Марат не попытались посмотреть на свое капризное поведение с колумбийской точки зрения. Они безмолвно ушли, а со склада фирмы «Эспидан» ушла за компанию фура с кофе и, благоухая на все окрестности железной дороги, отправилась в Западную Сибирь.

Так, разумеется, не стоило поступать с такой спра-

ведливой и ответственной воспитательницей, как сеньора Надя, но, поскольку долги с Пети-«дельфина» теперь не могли быть собраны, мафия предстала передо мной в нехарактерном для нее робингудовском свете. Мне от души хотелось пожелать Виталику приятных бесед с конкурентами за чашечкой дымящегося колумбийского кофе.

После этого сеньора Надя могла бы с чистой совестью известить колумбийское руководство о том, что у фирмы «Эспидан» на русской почве уехала крыша. Она могла бы попросить отправить в Россию выписанные из Сальвадора отряды смерти для отеческого внушения должникам. Но, видимо, сеньора постеснялась объявить о своей несостоятельности в качестве воспитателя. В отличие от нее, Петя объявил о банкротстве «Дельфина» в полный голос и не мог отказать себе в удовольствии сообщить о нем в сотый и тысячный раз. Он напоминал человека из анекдота, сутками звонившего в КГБ и без усталости выслушивавшего, что оно сторело. Дельфин наконец-то вынырнул из пучины большого бизнеса и не мог надышаться воздухом свободы.

— Юля, вы слышали? Я теперь — банкрот!

Я это не только уже слышала, но и переводила, и видела при этом лицо сеньоры Нади.

— А я думал, вы еще не знаете. Да, обанкротился и поступил в докторантуру!

Было очевидно, что Петя сделал это совсем недавно, потому что у него еще оставались средства к существованию. Дельфин бродил по небольшому рынку в районе метро «Университет» и делал покупки, не торгуясь и не пересчитывая сдачу. Продавцам доставляло истинное наслаждение обвешивать такого классически рассеянного ученого, счастливо ушедшего в себя.

— Возьмите яблочко, Юля! Боюсь, что хорошим кофе я вас уже не смогу угостить... Берите из тех, что сверху — они покраснее. Я читаю спецкурс по походам Эрнандо Кортеса: исторически сложившаяся точка зрения и современный подход. Приходите! Я думаю, вы сможете это оценить...

...— Хулия, — грозно объявил Педро, заглядывая на кухню и отравляя мне обеденный перерыв, — мы едем на переговоры в «Меркурий», они сильно просрочили платеж.

— Тут от них какой-то факс пришел, — подала голос бухгалтер Таня.

Факс оказался ни много ни мало копией претензии, которую фирма «Меркурий» обещала направить в наш адрес с курьером. В претензии сообщалось, что в связи с неудовлетворительным качеством продукции, поставленной фирмой «Эспидан» такого-то числа, согласно такому-то контракту, фирма «Меркурий» не может осуществить проплату установленной суммы и требует значительного снижения цены, для чего предлагает провести дополнительные переговоры.

— Хулия, вы же помните... — беспомощно бормотал Педро (в этот момент он владел испанским гораздо хуже меня), — вы же помните... качество... удовлетворяло...

— Я-то все помню, Педро. Удовлетворяло. Но на словах. Это нигде не зафиксировано.

— Что скажет сеньора? — в ужасе спросил меня Педро. — Ведь это моя ошибка, Хулия... Наша с вами ошибка.

Стоп!

— Педро! — крикнула я, непозволительным для сотрудника образом гневаясь на начальство, — когда эта ошибка успела стать нашей общей?

— Мы ездили на переговоры вместе, — объяснил мой менеджер с радостью. Вот и нашелся тот, с кем он разделит ответственность!

— Педро, я не говорю во время переговоров! Я не закрываю рта, но не говорю. Я переводчик, я пропускаю информацию из одного языка в другой, но общий язык находить должна не я. За этим явился из Колумбии ты, моя радость!

— Уф, Хулия, я все понимаю, но отвечать придется нам вместе.

Отвечать не пришлось. Мы просто изложили сеньоре Наде суть дела и оставили ее сидеть в окаменении. Рассчитывать на помощь штатного психолога не приходилось.

...Мы дожили почти до Рождества. Утром 23-го числа сеньора Надя собиралась улетать в Колумбию, и 22-го вечером она решила отметить грядущий праздник в кругу сотрудников. Гильермо Капдевилла в паре с бухгалтером Таней друженнько украшали офис ветками остролиста; Максим и Костя, наши коммерческие агенты, сбегали за шампанским и закусками; Володя ходил из комнаты в комнату, поглядывая на начальство, как Илья Муромец на Змея Горыныча, и помахивая монтировкой; сеньора Надя сосредоточенно набирала на компьютере последние строки для отчета в Колумбию; а я под руководством Педро звонила в «Меркурий» и кричала, что если господин Волков не хочет платить деньгами, то пусть расплатится хотя бы своими картинами, которые фирма «Эспидан» могла бы выставить на аукционе «Сотби».

В 5 часов вечера мы выпили по поводу и пожелали сеньоре Наде счастливого пути и приятного отдыха на родине. Муж Гильермо в поездку не был взят и остался на воле — присматривать за парой офисов, а также за всеми симпатичными дамами Москвы и Петербурга.

Мы осушили бокалы. Бухгалтер Таня стала робко кушать шоколад, а Гильермо отламывал еще и еще, деловито напоминая, что любит полных женщин. Сеньора Надя торопливо пересчитала сотрудников и раздала подарки — декоративные джутовые мешочки с кофе. Следом за ней шел Педро, конвейерным методом пожимал руки и говорил по-русски: «Всего хорошего!». В ответ хотелось крикнуть «ура!».

За этим последовал звонок из Колумбии. Генеральный директор фирмы Хорхе Перейра поздравлял весь московский филиал, и в особенности свою сестру, Надю Лейлу Капдевиллу.

— Значит, у вас семейное предприятие? — спросил Максим, из вежливости проявлявший интерес к начальству.

— Да-да! — сеньора Надя энергично закивала. — Его основал мой отец, Луис Видаль Перейра. Он часто шутил, что, хотя его фамилия и означает грушевое дерево, делом его жизни стало кофе. Когда мы с братьями выросли, мы не представляли другого пути, кроме как продолжать отцовское дело. Потом мои братья женились, я вышла замуж, но нам удалось сделать так, что наши супруги посвятили жизнь тому же, чему и мы.

Сеньора Надя гордо выбросила руку в сторону Гильермо.

— Когда мы познакомились, Гильермо был военным. Но я сказала ему: «Гильермо! Лучшая семья та, где у мужа и жены одно общее дело». С тех пор мы работаем вместе; и если интересы дела требуют различия, мы стараемся не скучать, верно, Гильермо?

— Разумеется, — подтвердил Гильермо, уже год благополучно живший в Петербурге.

— У нас семейное предприятие, — заканчивала свою эпохальную речь сеньора Надя, — поэтому и руководство, и подчиненные, и даже наши клиенты — одна семья. Все мы связаны общим делом.

По улице с воем носился мокрый снег. Педро поставил кассету с темпераментными колумбийскими напевами: сотрудники фирмы, несмотря ни на что, должны были чувствовать себя одной веселящейся семьей. А Гильермо со спокойной душой подсел к бухгалтеру Тане, удостоверившись, что сеньора Надя занята рассказом о Колумбии.

— Конечно, там сейчас лето, это ведь южное полушарие... Но и зима у нас не такая, как у вас, — просто сезон дождей. Я устала от холодной погоды... *(поспешно)* хотя мне очень нравится в России! Но нужно немного отдохнуть. Когда я вернусь из Колумбии, туда поедет Гильермо. Нет, Гильермо, ты это сделаешь обязательно для блага фирмы. Если ты не отдохнешь, у тебя не хватит сил работать в следующем году так, как требуют интересы дела.

В стекло ошалело впечатался мокрый ошметок снега, и сеньора Надя с опаской посмотрела за окно: Россия была в своем репертуаре — бесшабашная и непредсказуемая.

— Я очень волнуюсь, будут ли завтра летать самолеты...

— У нас про такую погоду говорят: хозяин собаку на улице не выгонит.

Этой фразой Костя автоматически переключил застольную беседу на домашних животных. Всем нашлось, что рассказать, и битые полчаса я переводила теплые воспоминания о проделках любимых кошечек, собачек, птичек и рыбок. Сеньора Надя поднатужилась и вспомнила ответную историю:

— Мы тоже держали дома животное, когда Даниель

и Эсперанса были помладше. Дедушка подарил им крольчонка. Целых полгода дома не было покоя: дети бегали за кроликом, кролик убежал от детей, они носились по всему дому и парку...

Сеньора Надя с улыбкой воспоминаний покачала головой.

— Потом кролик вырос, растолстел. Дети перестали с ним забавляться. Он теперь все время сидел в парке и... он почему-то предпочитал есть декоративные растения. Тогда я сказала детям: «Вам уже не интересно играть с кроликом, вы на него больше не обращаете внимания, давайте подумаем, что с ним можно сделать».

Я предложила приготовить из кролика рагу. Мы готовили всей семьей, я считаю, что родители и дети как можно чаще должны делать какое-нибудь дело вместе. Получилось очень вкусно. Дети сразу после ужина стали звонить дедушке и наперебой говорили ему спасибо за такого вкусного кролика.

Правда, потом, когда я беседовала с нашим штатным психологом — все сотрудники фирмы должны проходить с ним беседу раз в год, — я рассказала про этот случай, и сеньор Каррерас посчитал, что не следовало съедать кролика после того, как дети так долго играли с ним. «Вы совершили небольшую ошибку, сеньора Капдевилла, — сказал он мне, — но на то и существуем мы, психологи, чтобы помогать людям разбираться в своих ошибках».

Когда «Эспидан» станет крупной фирмой, мы обязательно возьмем психолога в штат! — на бодрой ноте завершила сеньора Надя. — Тогда нам не нужен будет даже переводчик, чтобы находить общий язык. И я надеюсь, что начиная с нового года у всех появится стимул работать плодотворнее, чтобы мы смогли выделить из прибыли средства для зарплаты психологу!

Словно дождавшись финала, разразился звонком телефон.

— Эсперанса? Да, моя радость? Даниель сдал химию на «В»? *Dios mio! Que felicidad!* (Бог мой! Какое счастье!)

Можно ехать в Колумбию.

Сеньора Надя, Гильермо и Педро засобирались уходить.

— Ребята, — сказал Костя, поднимаясь, — я сбегаю за «Абсолютом». Давайте помянем кролика!

КРАЙНЯЯ ПЛОТЬ

После долгого перерыва снова берусь за перо, а избавиться от ощущения, что что-то об этом уже писал где-то, — не могу. Утверждать не берусь, но очень может быть, что даже я сам. Однако где и когда, — сказать затрудняюсь. Не думаю, что до 1983 года, то есть пятнадцать лет назад. Нет, вру! Писал я и до 1983 года, но исключительно стихи, а это, во-первых, не-серьезно, а во-вторых, для меня лично имело скорее терапевтическое, нежели какое иное значение. Дело в том, что в тот период я довольно болезненно переживал свой разрыв с одной особой двадцати четырех лет, с родинкой на шее, и изливал свои эмоции в совершенно нелепых стихах, одно из которых приведу здесь по памяти для примера:

Человек средних лет рубит жинку свою топором,
Его сердце бьется от стука.
Он кричит: «Ах ты, сука!»
Жена же падает в крови вчетвером.

В этом месте мои немногочисленные слушатели неизменно перебивали меня вопросом: «А как это — вчетвером?», — ну а я разъяснял им терпеливо, что жена в стихотворении была разрублена на четыре части.

Эта страшная картина у меня в голове.
Я ли ее выдумал, Шопенгауэр ли — второстепенно.
Бурчит себе что-то под нос человек,
Мысли одна за другой, как у Пруста, — попеременно.

При чем тут Пруст, не говоря уже о Шопенгауэре, не спрашивайте, — я же сказал, что все это было не-серьезно. Ну и, наконец, в финале — неуклюжая вариация на давно уже всем приевшуюся тему Hegel monumentum:

Пруст-шмуст, «Решерше там пердю» и т. д.
А на кой? Всё ж забудется и сгорит в кострах,
Только я один — туда-сюда, кое-где
Буду жить в отдельных местах.

Таким образом, можно смело утверждать, что серьезно я стал писать только в 1983 году, и поэтому боюсь, что черновик истории, о которой пойдет речь дальше, все-таки был мной потерян, поскольку в 1985 году я переезжал в другой штат на постоянное место жительства и при переезде не досчитался двух ящиков: в одном была посуда, купленная на распродаже в магазине «Мейсис», что в Сан-Франциско, на Юнион-Сквер, а в другом — белье и рукописи. Ну, кое-какую посуду я докупил уже здесь, в Нью-Йорке, в магазине «Конран», что на 3-й авеню, а белье и рукописи жалко.

Но даже если рукопись истории, которая произошла с моим другом П. Л., и не была утеряна, то, перерывив все свои бумаги раз пять, не меньше, я окончательно прихожу к выводу, что рукописи этой у меня нет.

Итак, заканчивая это объяснение, быть может и излишнее, считаю все же необходимым сказать вот что: даже если я и писал где-то об этом, то рукопись этой истории, на мой взгляд занимательной, если и не затерялась при переезде, то, вероятно, была мною уничтожена. Почему я так поступил? Точно не знаю. Могу лишь предполагать. Дело в том, что сперва я относился к своей прозе гораздо более требовательно, чем сейчас. Писал со скрипом. Называйте это как хотите: самодисциплиной, неуверенностью в себе, слишком активной работой левого полушария головного мозга — как хотите, так это и называйте. Сейчас пишу намного легче, не боюсь ничего, знаю, что сколько мне таланта отпущено, столько и отпущено, и за то большое спасибо. В великие не лезу, над каждой строкой не трясутся — как пишется, так и пишется. Даже если грубость где проскользнет или чувство меры и приличия вдруг

изменит, — не вычеркиваю ничего, а оставляю неприличное место у всех на виду, ибо писатель, что хочу, то и описываю, даже если оно и нелицеприятно. Ведь и у вас, читатели и читательницы, есть нечто похожее, и я даже могу сказать где. Не может быть, чтобы не было, — у всех есть. Так что глазами эти места не пробегайте: это жизнь, это природа, это болит после операции.

И последнее: даже если и не писал я ничего подобного и, стало быть, не терял и не уничтожал никогда, а пишу это все впервые, в чем очень сомневаюсь, то могу высказать вот какую догадку: кажется мне, что нечто подобное я уже писал однажды, оттого, наверное, что вынашивал эту историю долго: так долго, что кажется мне, будто все это я уже писал однажды.

Хотя прочитать об этом — не об операции, а о треугольнике, ибо с него все началось и им же все завершилось, — можно было бы у того же Проспера Мериме: один маркиз, фамилию его сейчас уже не припомню, был по уши влюблен в свою супругу, а она, видите ли, вспылала страстью к одному кавалеристу на пленном жеребце. Сюжет тривиальный, но краски на холст французом наложены бойко, персонажи выписаны мастерски, в этом ему, Мериме, не откажешь.

В кино эту тему неплохо, по-моему, разрабатывал англичанин А. Хичкок. В одной его ленте, не помню названия, Бергман вскружила голову и впоследствии вышла замуж за одного слабовольного нациста, а Кэри Грант, в роли американского разведчика, руководил всей этой операцией. Естественно, что и сам Грант тоже в конце концов не смог устоять против чар Бергман, и ситуация в результате возникла довольно шекотливая, особенно когда выяснилось, что у себя в подвале нацист хранил в бутылках вина не что-нибудь, а урановую руду.

Таким образом, становится понятно, что не я классический треугольник придумал, не мне за него отвечать. Герой же моего рассказа П. Л. познал свойства этой геометрической фигуры довольно рано, а затем и сам стал, можно сказать, во главе ее угла. Дело в том, что когда-то, еще до Нью-Йорка, он жил в Одессе, на улице К. Либкнехта, и встречался с одной симпатичной девочкой из приличной семьи. Их родные дружили

домами. Более того, папа девочки был без ума от мамы П. Л. И она его тоже очень любила. Как-то они вместе завтракали, а потом вместе же легли под стол. Это было около двенадцати. Вдруг в прихожей послышались шаги. Мама П. Л. проворно встала из-под стола и стала поправлять прическу, а папа девочки быстрым шагом направился в ванную освежиться. Тут в комнату вошел папа П. Л. Их в тот день отпустили раньше со службы в связи со смертью начальника. Он подозрительно взглянул на жену, прищурился, несколько раз громко втянул носом воздух, а потом решительно последовал в ванную. Боже, что тут началось! Какой Мериме, тут уж соседям милицию пришлось к ним вызывать...

Надо ли объяснять, что в результате этой истории мама П. Л. разошлась с мужем, папа девочки разошелся с женой, а сам П. Л. порвал свои отношения с девочкой? Думаю, что не надо.

Через год после этого случая П. Л. оказался в Нью-Йорке. Ах, Соединенные Штаты, родина картофеля! Господи, сколько же тут разнообразнейших консервов в магазинах! А автомобили какие тут! «Форд ЛТД», «Бьюик Лесабр», «Форд Мустанг»... Нет, всех их не перечислить, глупая это затея.

Мы познакомились с П. Л. в «Квинс-Колледже», где той весной слушали курс по истории искусств. Были мы однолетки, из одного города, одинаково растерянные, чтобы не сказать потерянные, в новой стране, вдали от старых друзей. Сошлись мы с ним довольно быстро и вцепились друг в дружку, как двое утопающих, каждый из которых полагает, что другой — более опытный пловец. Да, были мы неразлучны: вместе готовились к тестам, вместе бегали вечерами на Таймс Сквер удовлетворять юношеское любопытство в кинотеатриках на 42-й Стрит, вместе обедали в перерывах между лекциями.

Однажды сидим в буфете и доедаем наши бутерброды с ветчиной и сыром, как вдруг П. Л. решил разоткровенничаться.

— Ты скажешь, поторопился, наверное, — начал он. — Ты ведь осторожнее меня. Ты б, я думаю, не торопился. А я поторопился. Никогда толком не знал: еще разок Рильке декламировать или уже можно шептать: «Сними лифчик, глупенькая, я не кусаюсь». А тут

поторопился и сказал эти слова. Нет, не «что вы делаете сегодня вечером?» — это было бы еще в порядке вещей...

Итак, она была врач с дырками в шерстяных носках. Это я потом выяснил. Длиннонога, голубоглаза, хирург. Я лежал перед ней как на ладони, и она уже кончала меня штопать. Я был, правда, под местным наркозом, но в голове у меня гудело как под общим. Через недели две, когда я декламировал Рильке, она призналась, что в операционной решила, будто я ей подмигиваю. Вечно из-за моего тика у меня осложнения. Ей очень шла маска, ну а мне — кислород. Обрезанием я остался удовлетворен, вот только мочиться первое время трудно было. Обрезание. Слово до чего ж емкое. Она на Онассис была похожа. Нет, не на Жаклин. На мать миллионера. В общем, не красавица, но жутко породистая. Даже когда прошел наркоз, я не раскаялся в сказанном. А сказал я вот что... Нет, рано еще. Сначала — предыстория.

Я, как тебе известно, вечерами таксистом ишачу, так? Под ногтями у меня нехорошо, это есть, но лошадку свою после каждой смены пылесосю исправно. Мой напарник тоже парень аккуратный. Среди индусов попадаются очень чистоплотные. Я его Джо зову, хотя настоящее его имя не Джо, но я не могу его выговорить, я уже пробовал: Рахтанахбапал Сингх, не Рахтанахбапал Сингх, ну не могу я его выговорить, и все тут. Поэтому я его Джо зову. Он не обижается, он и меня не Павлом зовет, как матушка нарекла, а тоже Джо, ему так легче. Короче, у нас с Джо общая тачка, он на дневной смене, я на ночной, а хозяин такси — один израильтянин, Иегуда Шлома, не помню, как его дальше, что-то там типа Бенвнир, но только не Бенвнир. Ну, не помню я. Так вот мы его с моим индусом тоже Джо стали называть, но не в глаза, — он очень вспыльчив, — а за глаза. Зачем нам с Джо нарываться?

Теперь — как я решился на обрезание. Меня на это дело Джо подбил, но не индус, а израильтянин, и даже не столько он, сколько одна подруга из Харькова, они здесь года два уже. Джо-израильтянин меня давно доставал: что, мол, я за еврей такой — и в синагоге не бываю, и в Бога не очень верю, и т. д. А прошлым летом встречался я с одной религиозной харьковчан-

кой. И вот, как-то в субботу, у кого-то на дне рождения, она, взяв в рот мой член, насторожилась: «Хм, ты что, Павел, необрезанный?». — «С какой это радости?» — пожал плечами я и снова предложил ей свой орган. Она заупрямилась, одела трусы и сказала с чувством: «Павел, мы — евреи. Крайняя плоть — не про нас». — «Ах ты!.. — расстроился я. — Что же ты мне, такая-сякая, весь кайф ломаешь?!» — «Закрой пасть, Паша, — отрезала она. — Сделаешь обрезание — звони, не сделаешь — сам у себя бери...»

Тут в комнату заглянули гости именинника, и я счел нужным беседу нашу прервать.

На следующий день я спросил у Джо-израильтянина, где здесь делают обрезания подешевле. «Наконец-то!» — расцвел он и бросился меня обнимать, а потом добавил что-то на иврите. Оказалось, что есть места, где их делают вообще бесплатно. Я взял у него телефон больницы и договорился с ними, кажется, на четверг. Джо-индус вызвался меня подвезти. Я предложил ему заплатить за простой, но от денег он отказался и даже пообещал забрать меня после операции. «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», — сказал я ему по-русски, потом сделал вольный перевод на английский, и он оживленно закивал. Оказалось, что на хинди тоже есть аналогичная поговорка.

Утром в четверг мы подъехали в Бенсонхёрст, оставили нашу тачку на стоянке при больнице и, захватив счетчик, направились к серому четырехэтажному зданию.

«Что вас беспокоит?» — спросили у меня в приемной.

«Крайняя плоть», — ответил я и стал заполнять анкету.

В приемной сидело человек шесть: мальчуган лет восьми с заплаканными глазами, его родители, о чем-то раздраженно спорящие, старик с бабочкой и в белоснежных теннисных тапочках на босу ногу, толстый неопрятный юноша с книжкой раннего Пинчона в руках и еще кто-то. Джо-индус посидел со мной минут пять для приличия, а затем удалился, напоследок пожелав мне удачи и посоветовав следить, чтоб слишком много не отрезали.

«Что там вообще резать?» — вяло ответил я. Пред-

стоящая операция мало-помалу начинала меня беспокоить. Однако как пролетел час с небольшим и подошла моя очередь — я даже не заметил. Уж очень я увлекся беседой со стариком в тапках. Он оказался уличным фокусником с сорокапятилетним стажем, и там же, в приемной, вызвался развлекать нас такими фокусами, каких мне и в цирке не доводилось видеть. Начал он с обычных исчезающих и появляющихся непонятно откуда платочков, которые то оказывались связанными, то развязанными, а закончил он вот как: попросил родителей мальчугана связать три платка в один узел, затем запихал эти платки себе в рот, а потом жестами стал просить мальчика расстегнуть ему ширинку, и когда тот, смущаясь, согласился, старик достал оттуда серого голубка. Испуганная птаха сделала два-три круга под потолком приемной, уронила несколько капель на раннего Пинчона, к великому неудовольствию толстого юноши, и уселась на плечо фокусника. Причем никаких платков во рту у него к тому моменту уже не было. Мы все дружно зааплодировали старику, он несколько раз поклонился, после чего застегнул ширинку, сел на место и завел со мной неторопливый разговор о законах сохранения материи. Оказалось, что фокусник всерьез их не воспринимал. Сначала я пытался вежливо возражать, потом стал немного горячиться и даже пробовал ссылаться на своего отчима, который когда-то преподавал физику в средней школе. Мама вышла за него незадолго до нашего отъезда. «А чем твой отчим занимается сейчас?» — любопытствовал старик. «У него свой бизнес», — отвечал я. «Какой, если не секрет?» — «Не секрет, конечно. Сосиски продает на Лексингтон и 41-й...» — «Вопросов больше не имею», — самодовольно улыбнулся старик. Я уже хотел было спросить, как это следует понимать и при чем тут сохранение энергии, но в этот момент дверь отворилась и в операционную пригласили меня.

Не хочу тебя шокировать подробным описанием операции, не буду заострять твое внимание ни на моем окровавленном половом органе, ни на каком-то, я бы даже сказал, мазохистском любопытстве, с которым я наблюдал за точными движениями хирурга. Перейду лучше сразу к тем словам, что слетели с моих пересо-

хших губ и так поразили воображение молодого врача. Вот они: «Простите, — сказал я, — я знаю, что моя просьба вам может показаться несколько странной, но не могли бы вы вернуть мне на память после операции, то есть после благополучного ее исхода, мою крайнюю плоть?» Лиза, так звали хирурга, чуть не выронила скальпель. Голубые глаза ее округлились. «Вы не ослышались, — продолжал я, — мне очень хотелось бы сохранить хоть что-нибудь на память о нашей встрече». Она ничего не ответила; не знаю даже, улыбнулась ли она, — маска скрывала нижнюю часть ее лица.

Операция окончилась. Ассистент Лизы дал мне выпить полстакана сладкого вина, сказал что-то на идиш и похлопал по плечу.

Часа два я приходил в себя в палате под крики и плач того самого мальчугана, что помогал фокуснику, — его оперировали до меня. Когда прошел наркоз, у меня началась такая боль, что я уже не рад был, что живу, что приехал в эту страну, что меня не обрезали на седьмой день, как всех порядочных евреев, что харьковчанка моя оказалась такой привередливой, и т. д. и т. п. Еще через полчаса в палату заглянул Джо-индус. Он помог мне встать с кровати, одеться и, поддерживая под руку, медленно повел к выходу, приговаривая: «Так, Джо, хорошо, Джо, еще чуть-чуть, Джо...». В приемной меня уже ждала симпатичная сестра-негритянка с небольшой баночкой в руках. В баночке я увидел мою бывшую крайнюю плоть, плавающую в мутноватом растворе. Она была похожа на водоросли или какое-то диковинное морское существо. Я поблагодарил сестру.

Такси, к моему облегчению, ждало меня прямо у входа в больницу. За рулем сидел Джо-израильтянин. Увидев меня, он выскочил из машины, открыл дверь и помог мне вползти на заднее сиденье.

По дороге домой в Квинс я просто не мог оторваться от содержимого баночки. Моя крайняя плоть теперь представлялась мне небольшим мозгом посланника внеземной цивилизации, и этот мозг, казалось, был готов мне что-то сообщить. Я даже, помнится, прижал баночку к уху в надежде получить какие-то важные сведения, но, увы, плоть молчала. Мы уже свернули на бульвар Киссена, как взгляд мой упал на крышку

баночки. На ней было торопливо написано вот что: «Таких придурков я еще не оперировала. Позвони, когда почувствуешь себя лучше». Дальше следовал номер домашнего телефона и подпись: доктор Лиза Льюис.

Что тебе сказать? Через четыре дня я снял бинты, еще через два снова сел за руль, а в субботу, набравшись духу, позвонил Лизе. Звонку моему она была рада, и мы договорились пообедать в японском ресторане на 46-й.

Она оказалась удивительно милым человеком, тактичным, образованным, очень любила поэзию, особенно Рильке. Просьба моя во время операции показалась ей настолько идиотской, что, по ее словам, она минут пять не могла прийти в себя, и от смеха у нее в самый неподходящий момент дрожали руки. Сам понимаешь, чем для меня это было чревато... Мы стали встречаться. Харьковчанке моей я не звонил, но к концу лета она объявилась сама и стала спрашивать, куда это я исчез. Я отвечал, что много работаю, а тут еще колледж, и времени у меня в обрез, но она и слышать ничего не хотела. Напросившись в гости, она сразу же взяла быка за рога: «Обрезание сделал?». Я стал отнекиваться, но она почему-то не поверила и потребовала доказательств. Я нехотя уступил. Уличив меня во лжи, она рассвирепела, стукнула кулаком по столу и потребовала имя своей соперницы. Я отвечал, что соперницы у нее нет никакой, что после операции я стараюсь избегать общения, особенно с женщинами, особенно с такими, что приходят в гости и начинают стучать кулаками по мебели, и вообще я сегодня ночью работаю, поэтому мне сейчас необходим отдых. «Понимаю», — сказала она, а затем, оглянувшись, резко встала со стула и стала ходить по комнате; будто что-то искала. Тут внимание ее привлекла баночка с моей крайней плотью, которую я, по своей неосмотрительности, оставил на пианино рядом с вазой из богемского стекла. Она взяла в руки баночку, прочитала надпись, сделанную Лизой в день моей операции, и залилась театральным хохотом. Я попросил ее поставить баночку на место и не устраивать концерты, но в ответ она высунула язык, потом, как будто этого было мало, показала

мне фигу и выбежала из моей квартиры, хлопнув дверью.

Надо ли говорить, что через день ко мне заходит Лиза и сообщает, что ей вот уже третий день звонит какой-то мужчина и на ломаном английском грозитя направить жалобу по месту работы и обвиняет ее в непрофессиональном поведении, в нарушении этических норм и тому подобное. Я посоветовал Лизе не обращать внимания на эти звонки и сказал, что догадываюсь, кто стоит за всем этим.

«Как не обращать внимания? — спросила Лиза. — Звонят-то мне в первом часу ночи. И неприятности на работе мне ни к чему. Это безобразие должно быть прекращено!» Тут она впервые за время нашего общения повысила голос, и я понял, что Лизу, человека сдержанного и уравновешенного, тут уж действительно достали.

На следующий день я уже был в Бронксе у своей бывшей харьковчанки и требовал, чтобы она оставила свои домогательства, и не накручивала каких-то мужиков приставать по ночам к достойным людям, и отдала мою крайнюю плоть, и, вообще, перестала дурью маяться. Сначала она отнекивалась, потом расплакалась. Я стал ее утешать, похлопывать по плечу, она расплакалась еще сильнее.

«Господи, ну что ты во мне нашла, ну стоит ли из-за меня расстраиваться так? Ну посмотри на меня: ни кожи, ни рожи...» Неожиданно этот аргумент подействовал на девушку. Она взглянула на меня своими заплаканными глазами, всхлипнула разок и сказала: «Ты прав. Кому такой сдался? Забирай свою шкурку — она в холодильнике — и катись к своей американской суке...»

Тут П. Л. прервал свой рассказ, поскольку мы и так уже несколько запаздывали на лекцию по истории искусства XX века. Извинившись, мы на цыпочках вошли в аудиторию, но лектор даже не обратил на нас внимания — настолько он был увлечен своей лекцией о Марселе Дюшане и его знаменитом «Фонтане», вызвавшем такой ажиотаж у парижской публики.

Чем закончилась эта история? Мой друг П. Л. женился на Лизе, и вскоре они перебрались в Коннектикут, в дом, принадлежащий ее деду. П. Л. защитил

диссертацию и недавно получил работу в престижном Колумбийском университете, где он сейчас читает курс «Негация автономности искусства и постулаты транспост-модернизма». Джо-индус три года назад стал очередной жертвой своей опасной профессии: ночью при попытке ограбления он был застрелен в упор за рулем такси, которое незадолго до того выкупил у Джо-израильянина. Сам израильянин купил небольшой магазин деликатесов в Сохо и бизнесом вроде доволен. Девушка из Харькова выучилась на программистку и сейчас заведует отделом в одном нью-йоркском банке, а я вот уже второй год — сам не знаю почему — все откладываю свой визит к П. Л. и Лизе, несмотря на их настойчивые приглашения. Господи, ну когда уже затянутся мои раны от разрыва с той двадцатичетырехлетней особой с родинкой на шее? Когда я уже не только смогу спокойно и доброжелательно смотреть на чужое семейное счастье, но и начну подумывать о своем? В треугольнике ли, в ромбе ли, в квадрате — где угодно, элементом какой угодно фигуры дай стать мне! Сил больше нет торчать одиноким перпендикуляром к неизвестно чему, непонятно на кой, а главное, к какой плоскости принадлежу и с какой пересекаюсь? В какой точке? Где она? Где эта точка, а?

КОРОТКАЯ ЖИЗНЬ БЕЗРУКОГО

Надеюсь, что рассказ этот, равно как и другие мои рассказы, а у меня их, по неточным подсчетам, уже более пятидесяти, найдет своего читателя. А то фигня какая-то получается. Я как фраер это все пишу, а успеха никакого. Для кого же, спрашивается, я все это пишу? Но я же не Вася, я так не могу. И потому надеюсь, что кто-то это уже читает и ждет, что же будет дальше.

А дальше будет правда о моем друге Васе Безруком, которого знал я как свои пять пальцев.

Не знаю, сможем ли мы, столпившись у смертного одра Безрукого, воскликнуть, подобно Нерону: «Какой великий художник погибает!» — но парня все равно жалко.

Те, кто знали Васины песенки, сейчас поговаривают о преобладании в них дионисийского начала, но так ли это?

Вася не вдруг порвал со своим прошлым заядлого онаниста. Связь уплотнения естества с изобразительными искусствами он рано нащупал. Как-то на большой перемене Вася нарисовал голую женщину на двойном листке в клетку и вдруг почувствовал движение плоти: у Васи встал член.

А это, как ни крути, было делом рук Васи через посредство искусства.

Как говаривал его репетитор по математике, чем-то напоминавший Васе Сократа, любая собака знает, что такое прямая линия, — она по ней бежит, почуяв кусок мяса. И правда: скоро Вася стал обходиться и без рисования — путь до естества оказался короче, чем он полагал.

Онанировал Безрукий до конца первого курса пединститута с неизменным воодушевлением. А на втором курсе он целых три дня домогался взаимности пышнотелой Лики, и только к концу сентября, когда их поток вывезли в подшефный совхоз на картошку, Вася, улучив момент, оседлал-таки строптивного комсорга в складском помещении. Это было под Овидиополем. Как они рычали на мешках, как целовались! Результатом этой ночи, полной неги, явился мягкий шанкр (Лику клялась, что не от нее; «Значит, от картошки», — неуклюже шутил Вася), а также следующая песня, написанная им по возвращении в город:

Расцветают органы внутренней секреции,
Тонкий запах девушек кажется слышной.
Вот бы снова оказаться в старой доброй Греции,
Греться у костра бы там с милою моей.
Легкими копытцами бойко бы отплясывать
Танец плодородия: в жилах кровь журчит.
В темных виноградниках будет листья сбрасывать
Ветер. В небе куксится месяц-инвалид...

На смертном одре Васе снова почудится тонкий запах комсорга Лики, ее волосатые подмышки, блеск ее удивительных глаз. Они даже чуть было не расписались на третьем курсе, но ее родители и слышать не хотели о зяте-еврее, да и Васина мама, тетя Циля, была в ужасе от этой «хозерыны» из Первомайска.

Потом Вася на «Боинге» улетел в Америку, чтобы там, по его же словам, реализовать свой потенциал, но на второй год их пребывания в Нью-Йорке Васю смертельно ранил ножом в сердце один ненормальный пурториканец. Вот нелепая смерть!

В самолете «Москва — Нью-Йорк» показывали комедии с Лайзой Минелли, Вася смеялся каждые пять минут, хотя не понимал ни полслова. Но как об этом признаться родным, вложившим в его репетиторов такие деньги? Васина мама была убеждена, что сын ее знает английский в совершенстве и даже иногда думает на этом языке. «За кого-за кого, а за моего Васю я не волнуюсь, — говорила тетя Циля. — Мой Вася в Америке не пропадет».

Вася и сам был высокого мнения о своих способностях и верил в скорый успех в Новом Свете.

— Мама, — говорил он тете Циле, когда «Боинг» стал идти на посадку. — Чтоб ты знала: историю Соединенных Штатов скоро будут делить на два периода: первый — до моего приезда сюда, а второй — уже после.

— Хвастун, — бурчал Васин папа, пристегивая ремень.

Аэропорт Кеннеди сверху показался Васе большой новогодней елкой с великим множеством разноцветных игрушек.

Васе без труда удалось найти работу в Нью-Йорке: он устроился подметать полы на фабрике, где делали бумажную посуду. Тетя Циля скрывала этот факт от знакомых. Ей было неудобно. Она всем говорила, что Вася работает в Организации Объединенных Наций переводчиком.

— Что же он там переводит, слепых через дорогу? — спрашивали ее знакомые.

— Не смешно, — парировала тетя Циля. — Кто вам, интересно, мешал ехать с языком? Вы бы тоже хорошо устроились.

Ночами она плакала, а Вася писал стихи. В них по-прежнему преобладало дионисийское начало, но было оно уже разбавлено не поймешь чем.

Временами он вспоминал о Лике, о собрании, на котором его исключали из комсомола, а Лика гневно обличала Безрукого за бесхребетность и требовала

впредь проявлять большую бдительность и не принимать в наши ряды тех, кому с нами не по пути. А после собрания, в общаге вечером они с Ликой дули «Биомицин», торчали на Тухманове и трахались до потери пульса.

На фабрике в Нью-Йорке Васей были довольны. Приходил он на работу вовремя, подметал чисто, с начальством был приветлив, а одна сослуживица-пурториканка все время строила ему глазки, обнажая при этом крупные зубы. Как-то раз в пятницу, получив зарплату, Вася пригласил ее в бар на 36-й и 7-й.

Они стали встречаться. По-английски Реджина, так звали девушку, говорила еще хуже Васи, а тщательно выбритый лобок ее украшала татуировка, изображающая распятие. Поначалу Вася принял это за букву «Х».

Как-то в субботу утром тетя Циля застала Васю и Реджину вдвоем под душем. Тетя Циля чуть в обморок не упала.

— Вон! — закричала она. — Аут! Но кам бэк!

Девушка неторопливо оделась и ушла, гордо покачиваясь на высоких каблуках.

— Лучше б ты уже на своей хозерыне женился, чем с неграми сношаться, — сказала тетя Циля устало.

— Не выражопывайся, мама, — отвечал Вася из ванной. — Она не негр. Она такая же эмигрантка, как и мы.

И он включил фен, чтобы не слышать мамин голос. Тете Циле стало обидно, она села на стул и расплакалась. Она последнее время часто плакала, видимо, что-то предчувствовала.

А после того как Васю похоронили, Реджина пригласила всех нас к себе в Джексон Хайте. Она угощала нас сладким, а потом взяла гитару и спела Васину песню про органы внутренней секреции и про девушек. Пела она на ломаном русском, но не коверкая слов, а просто иногда делая неверные ударения. Например, она пела не «күксится», а «куксйтся» и т. п.

Так Вася Безрукий и не реализовал свой потенциал в Америке, а жаль, потому что парень он был не без способностей, но знаете, как говорят: не всем нужно ехать. Гуманитарии должны сидеть на месте. Это людям технического склада ума, с хорошей профессией, инженерам там или биохимикам, это им надо

ехать, потому что им легче будет устроиться, найти себя в новых условиях и впоследствии купить свой домик с участком.

ВЗРЫВ НА БЕНЗОКОЛОНКЕ В МАЙАМИ

Это история о моей соученице Оле Рыбаковой, которой мы все здорово завидовали, когда узнали, что она устроилась на работу стюардессой в компании «Дельта». Теперь же — и вы, надеюсь, согласитесь со мной — завидовать Оле уже не приходится.

У одной миловидной женщины, социолога по профессии, родился сын. Мальчик при рождении весил семь с половиной фунтов. Его назвали Тревис. На имени настоял отец, любимыми фильмами которого и по сей день являются «Таксист» и «Париж, Техас». Я их сам не видел, однако знаю, что в этих фильмах так зовут главных героев. Одного играет Де Ниро, другого — актер Гарри Дин Стентон.

И вот, когда парню исполнилось шестнадцать лет, он попадает в Москву. Зима, холод жуткий, у власти непонятно кто, но наблюдается замедление спада в экономике, и на каждом углу — «Пицца Хат». Тревис ловит на себе любопытные взгляды бойких москвичек, многие хотели бы с ним дружить, но незнание языка мешает Тревису войти с ними в контакт, и он отправляется осматривать Новодевичий монастырь и кладбище, сопровождаемый стюардессой Олей Рыбаковой, неплохо владеющей языком. С ней Тревис сблизился на борту «Боинга» компании «Дельта» во время перелета Майами — Москва. Тревис пришел в восторг, когда за тридцать пять минут до посадки в Шереметьево Оля пригласила рослого юношу в женский туалет и, чтобы расположить к себе, стала демонстрировать ему, как пользоваться каким-то краном. Они договорились снова встретиться.

На Новодевичьем девушка показала Тревису могилы Чехова, Гоголя и Утесова. Об Утесове Тревис не имел никакого представления. Впрочем, о Чехове и Гоголе тоже. Но это не смутило нашу стюардессу. Улу-

чив момент, она живо стянула с себя джинсы, трусики, засучила дубленку, а потом, повернувшись к Тревису спиной, взялась обеими руками за могильную ограду и стала насвистывать марш из «Веселых ребят». Тревис боязливо оглянулся, но увидев, что на кладбище — ни души, расстегнул ширинку и присоединился к озорнице.

В Москве они еще осмотрели множество других достопримечательностей, побывали в мавзолее Ленина, сходили в Большой. В Большом, во время второго акта «Щелкунчика», Оля при помощи футляра от бинокля стала быстро-быстро... Но нет, не хочу об этом, ведь мой рассказ может попасться на глаза несовершеннолетним.

Словом, Тревису так понравилась девушка, что он пригласил Олю навестить его в Майами, где он заканчивал школу, а вечерами подрабатывал в магазине при бензоколонке. Девушка приняла приглашение и буквально через два месяца отправилась в Майами в гости к Тревису, но уже не как стюардесса, а как заправская туристка. В подарок Тревису она везла компакт-диск «Неизвестный Утесов».

Однако случилось непоправимое: их самолет, идя на посадку, неожиданно потерял управление и врезался в ту самую бензоколонку, на которой подрабатывал Тревис. Раздался оглушительный взрыв. Пожар на бензоколонке бушевал около суток. Хорошо еще, что в тот день Тревис задержался после занятий в школе — он был страстный баскетболист, — а то бы и он погиб вместе с Олей и еще девяносто шестью жертвами этой катастрофы, восемьдесят три из которых были пассажирами «Боинга», семеро — обслуживающим персоналом самолета, включая пилота, а четверо погибли на бензоколонке «Тексако». Два трупа обнаружить так и не удалось.

СРЕДИ КАМНЕЙ

Один мужчина, далеко не старый еще, любил вести беседы с растениями. Другой, ему в противовес, находил интересных собеседников в камнях. Там он и услышал эту историю.

У смешливой девушки Марты не было указательного пальца. Летом она хотела ребенка, зимой — чистой любви, а как это — чистой? Это без прикосновений, это одними глазами, дыханием, телефонными звонками, да? Она задумалась, снова улыбнулась, потом сняла чулки и заснула. Ей снился ее папа. Он бежал по стадиону, зрители свистели.

Ее разбудило дыхание весны.

Вчера она с одним парнем направлялась к аквариуму в глубь парка, там рыбы шевелили плавниками, старушка сидела, уткнувшись в газету. Типичный, словом, городской пейзаж: пыль, голубое небо, листва молодая, рыба пугливая. По дороге к аквариуму парень обнял Марту за талию. Они сели на скамейку, рыбы шевелили плавниками, она прикрыла глаза, он поцеловал ее в сухие губы, она откинула голову. Интересно, как у них сложится дальше? Неужели мелкие обиды, ссоры, ревность, слезы? Надеюсь, что нет.

Смешливая девушка почесала плечо. Она была золот. Была суббота. Ей нездоровилось. Вчера она промокла до нитки. Была половина девятого.

Марта нашарила бычок с марихуаной в пепельнице, зажигалку в ящике, шелкнула зажигалкой и затаилась. Она любила курить марихуану натошак. Смешливая девушка одела наушники и врубил «Стили Дэн». Комната поехала. Стулья жались по стенам. Потолок был не в себе. Следы на запястьях смешливой Марты белели. Она понятия не имела, что делать дальше, и сняла наушники. Это происходило во Франкфурте, в середине 80-х годов, в двухэтажном особняке неподалеку от университета. Смешливая Марта изучала орнитологию. Ее конек был жаворонок. Папа ее был неонацист, мама — вдова неонациста.

Марта направилась в ванную комнату. Из зеркала в ванной на нее строго глянуло лицо. Кто это еще? Орнитолог Марта Ш., девушка без указательного пальца, с большой белой грудью, дочь покойного неонациста. На кровати в комнате заворочался ее парень. Марта выглянула из ванной. С парня сползло одеяло, девушка улыбнулась. Потом она пошла под душ и долго терлась мочалкой. Было десять. Она любила выходные.

Ее парень был неплохой любовник, у него был довольно крупный член, девушке он нравился. Член она

величала «Mein Führer», а свои любовные утехы называла «Mein Kampf». Ее парень был безработный с наголо остриженной головой и татуировкой на левой ягодице. Сама Марта сносно играла в шашки; ее мама преподавала в начальной школе, хотя в молодости мечтала о карьере философа.

Этот рассказ был бы неполным, если б я умолчал вот о чем: парня Марты звали Карлом, он к ней хорошо относился, уважал. Марта вскоре помогла ему устроиться лаборантом при университете. Сначала он мыл пробирки и колбы, потом ему стали доверять работу ассистента в экспериментах над птицами и млекопитающими. В 1986 году Карл женился на Марте, а через год у них родился чудный мальчик. Ребенка в честь деда назвали Стефан.

Эту историю услышал среди камней мой старый приятель Джозеф Вайнтрауб и пересказал ее мне под большим секретом, поскольку прекрасно понимал, что далеко не каждый верит в то, что камни умеют говорить, а быть посмешищем у всего города в его годы ему не очень-то хотелось. Я нарушил данное ему слово и готов нести за это полную ответственность.

Дорогой Джозеф, если ты читаешь эти строки, знай, что, решившись опубликовать этот рассказ, я и сам косвенно как бы разделяю твои убеждения в том, что камни могут говорить. Тем не менее, еще раз прошу прощения за нарушенное слово чести и надеюсь, что наши с тобой отношения от этого не пострадают.

ВЕНЯ «ЛАСТОЧКА»

Веня по прозвищу «Ласточка» имел сомнительную репутацию. И дело тут было вовсе не в его неспособности правильно предсказывать погоду.

Однажды он переоделся женщиной и надел парик. Но все его тут же узнали и разоблачили его обман. Все недоумевали: «За кого он нас принимает?». Одна Л., фармацевт, не узнала Веню в новом обличье и угостила его сливочным мороженым с вареньем и орехами. Веня был тронут вниманием девушки. Он снял парик, и тут

Л., фармацевт, мгновенно признала хитреца. «Веня, а Веня, предскажи погоду на завтра», — попросила она мальчика и подмигнула всем. Веня на минуту задумался, встал со стула (он сидел на стуле) и затараторил: «Небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха +14° С».

— Ой, врешь, — сказала Л., фармацевт, и снова напятила на Веню парик. Веня обиделся и ушел, хлопнув дверью.

На следующий день выпал снег. «Он неисправим», — нежно думала о Вене Л., фармацевт, по дороге на работу. Навстречу ей шли все и улыбались своим мыслям. А вечером Веня пришел к ней в гости. На нем был строгий костюм, в руках у мальчика были гвоздики. «Это тебе», — смущенно сказал Веня. Л. так и вспыхнула.

Потом они пили чай на кухне. А потом Л. показала Вене «Ласточке» фотографии своих родных. «Это папин дядя, он тоже был фармацевт», — говорила девушка скучающему Вене. А в четверть первого они занимались любовью прямо на паркетном полу в гостиной, и при этом ягодицы Л., фармацевта, симпатично подрагивали. И все это не выдумка, а так оно и было в жизни.

А наутро холодно было — страшное дело. Температура —3° С, ветер северный, гололед, но солнечно, и на небе — ни облачка. Веня проснулся в 8.30 утра, выглянул в окно, и вдруг до него дошло, что теперь он уже никогда не будет предсказывать, какая завтра будет погода. Не его это дело. Но зато теперь он будет встречаться с фармацевтом Л., пить с ней чай на кухне, ходить в кино и в гости, и все теперь уже не будут над ним подтрунивать и строить ему рожи и петь ему вслед дурацкие частушки типа:

Если Веня высоко — значит, буря далеко,
Если Веня низко — значит, буря близко.

Рядом с Веней тихо похрапывала Л., фармацевт. Под левым соском у нее была небольшая родинка. Веня вдруг почувствовал, как член его увеличивается в размерах, — и улыбнулся.

ТАКТИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕРРОРА

1

Титов открыл глаза. Полежал еще пару минут, ожидая, когда зазвенит будильник. Тот зазвенел. Титов встал и пошел на кухню. Поставил чайник. Зашел в туалет, пописал и умылся.

Выпил чашку чая, съел бутерброд и немного посмотрел в окно. Включил радио, послушал куранты, гимн и выключил. Вернулся в комнату, достал из-под дивана гантели и стал ими махать, затем дрыгал ногами и отжимался.

Закончив зарядку, прикурил папиросу.

Слегка помутилось в голове, и Титов открыл форточку. Сел за стол, достал фотографии. Немного посмотрел. Слишком сильно дуло из форточки.

Титов встал и пошел на кухню. По дороге захотелось в туалет. Покакал. Оказалось, что нечем подтереться. Он добрался до комнаты, нашел газету и вернулся в туалет. Подтерся, вымыл руки, пришел на кухню и включил радио. «Заявил председатель комитета...» Выключил. Немного подумал и снова включил. «Немедленное освобождение...» Выключил и посмотрел в окно. От остановки отъезжал троллейбус. Мимо окна пролетел голубь. А, может, не голубь.

Титов открыл холодильник и достал коньяк. Налил пятьдесят граммов и выпил. Потом пошел в комнату, надел джинсы, рубашку и свитер, взял книгу и сел на

диван. В книге лежала фотография. Немного посмотрел, затем начал читать:

«Крокодилы в Ниле плещутся, со слезами меня дожидаются, отпусти меня к деточкам, Ванечка, я за то подарю тебе пряничка. Отвечал ему Ваня Васильчиков...»

Взглянул на часы. Без двадцати семь. Встал, пригладил волосы, посмотрел в зеркало, пошел в прихожую, достал кроссовки и надел их. Взял прут и вышел.

Добрался на автобусе до метро, постоял на солнышке и покурил. Спустился в метро, доехал до «Третьяковской». Переходя, попал сначала на еще одну «Третьяковскую», но затем нашел что нужно. Вышел на «Автозаводской», направо, потом еще раз направо. По улице, дальше дворами. Нашел подъезд, вернулся немного назад и удостоверился, что не ошибся.

Сел на скамейку возле подъезда. Оставалось еще десять минут. Закурил, но сразу почувствовал себя хуже и бросил папиросу.

Мимо пробежала кошка. «Ладно», — подумал Титов, встал и зашел в подъезд, хотя было еще рано. На четвертом этаже остановился около окна и положил прут на подоконник. Хлопнула дверь наверху, сбежал по лестнице подросток. Титов взглянул на часы. Еще минут восемь.

Опять хлопнула дверь, повернулся замок, затем, кажется, еще один. И вдруг с пятого этажа стал спускаться *ублюдок*. Титов на пару секунд оцепенел, потом быстро нащупал за спиной прут и начал подниматься. Прут задел за стекло, раздался скрип. Ублюдок внимательно посмотрел на Титова.

«Понял, за что?» — сказал Титов, сверля глазами лицо ублюдка. Тот замер на мгновение, затем сгруппировался и выбросил вперед и вверх ногу. Титов взмахнул прутом.

Удар ноги пришелся по пруту рядом с пальцами. Прут чиркнул по стене. Титов крепче сжал его в руке, увидел летящий кулак ублюдка и быстро махнул прутом, целясь в голову.

Кулак коснулся лица, и в тот же момент Титов почувствовал, что прут встретил мягкое препятствие. Он с силой вел железку дальше, одновременно отводя свою голову от кулака. Все же врезался затылком в

окно, услышал звон стекла, но движение кулака прекратилось. Титов оттолкнулся задом от подоконника и, опять поднимая прут, осмотрелся.

Ублюдок сажился на пол. На его горле виднелась розовая дыра, но крови почему-то не было; ноги подгибались и разъезжались, словно бы сминаясь, как пластилиновые.

Титов поднял прут повыше, схватил его обеими руками и с силой опустил на голову ублюдка. Голова разошлась, пропуская металл. Из раны на горле полилась кровь, Титов выпустил прут из рук, ублюдок окончательно сел на пол и пригнул голову с торчащим из нее прутом. Железка вывалилась и звякнула о пол.

Титов перешагнул через ублюдка и двинулся вниз по лестнице. Вышел из подъезда и остановился. Солнце уже припекало. Он подумал, что можно снять свитер, но было лень. Прикурил и направился к метро. По дороге попил «Фанты» из автомата.

В метро оказалось холодно. Титов с трудом попал монетой в щель — тряслись руки. Он вспомнил, что вроде бы снимал свитер, но тут же обнаружил его на себе. Отовсюду дуло — сквозняки.

Он доехал до «Коломенской», вышел из вагона, перешел на другую сторону и поехал обратно. На пересадке, однако, на сей раз не ошибся.

Выбравшись из метро, остановился у газетного стенда и достал папиросу. Было холодно, хотя солнце светило вовсю. Почитал программу телевидения. Подъехал автобус, но не тот; потом тот.

Выходя на своей остановке, споткнулся и упал на четвереньки. Долго не мог подняться. Какая-то слабость в руках и ногах. «Наверно, заболел», — предположил Титов.

Наконец встал и пошел к дому. Войдя в квартиру, присел в прихожей на пол и немного отдохнул. Потом добрался до кухни и сел около холодильника. Еще отдохнул, открыл холодильник, достал коньяк и стал пить. Потемнело, после чего захотелось спать. Титов попробовал добраться до дивана, но не получилось. Тогда он подложил под голову локоть и уснул.

...Звонил телефон. Это было чем-то приятно. Титов сначала долго слушал звон, затем решил все-таки взять трубку. Открыл глаза и увидел, что лежит на кухне.

Болела шея. Он сел на полу и осторожно повертел головой, телефон в это время смолк. Поднялся на ноги и увидел стоящую около стены бутылку. Коньяка там было чуть меньше половины.

Опять зазвенел телефон. Титов убрал бутылку в холодильник, пошел в комнату и сел к столу. Взял трубку и приложил к уху.

— Игорь Тимофеевич? Алло! — сказала завуч.

— Алло... — ответил Титов.

— Вы дома? Сегодня же педсовет, и уже половина третьего...

Титов дунул в трубку.

— Алло. Алло! — Она тоже подула в трубку.

— Я слышу вас, Ольга Станиславовна, — произнес Титов и замолчал.

Она тоже молчала. Через минуту Титов сказал:

— Я не смогу быть.

— Я все... я все понимаю... Но ведь... Вы не смогли бы все же быть?

— Извините, Ольга Станиславовна. До свидания. — Титов аккуратно положил трубку.

Затем открыл ящик стола, достал фотографии и начал медленно раскладывать перед собой. Мальчик с отцом, мальчик с отцом и матерью, мальчик один, мать с мальчиком, мальчик на трехколесном велосипеде, отец и мальчик выглядывают из машины, мальчик в пионерском галстуке...

Заболела голова. Титов взял папиросу, прикурил и несколько раз сильно затянулся. Поднялся из-за стола, дошел до кухни, достал коньяк и отхлебнул. Свело горло, но через секунду отпустило, и он осторожно поставил бутылку среди фотографий. Отец и мальчик играют в шахматы, отец в гамаке, мальчик у отца на плечах...

Опять свело горло. Титов сглотнул, закрыл глаза, положил на лицо руки, прижав пальцами веки, а ладонями подбородок, и напрягся.

Когда отпустило, он собрал фотографии и сунул их в стол. Откинулся на спинку стула и опять закурил. Затем достал записную книжку, открыл на последней странице и поставил напротив слова «ублюдок» маленький крестик, а рядом написал: «27.08». Отодвинул книжку, придвинул перекидной календарь, перелист-

нул на три дня вперед и написал: «подонок». Откинулся на стуле, два раза глубоко затянулся и бросил окуроч в форточку.

2

Шашлычная была заперта изнутри. Титов обошел строение, остановился у служебного входа и достал папиросу. Продул ее, но прикуривать не стал. Через некоторое время в дверях показалась тетка с картонной коробкой, набитой мусором. Она бросила коробку на землю и что-то буркнула себе под нос, затем взглянула на Титова.

— Как дела? — сказал он.

— Нормально, — с неясной интонацией произнесла тетка, немного помедлила, как бы для приличия, и вошла обратно. Титов вошел за ней.

За дверью был коридор. Тетка заковыляла по нему, прихрамывая, Титов двинулся следом, намеренно отставая и поглядывая по сторонам. Увидел дверь с надписью «Моечная», толкнул ее, дверь открылась. Среди тарелок и стаканов сидели две женщины и курили.

— Как дела, девушки? — сказал им Титов и сунул в рот папиросу. — Спичками не угостите?

Одна из них молча протянула зажигалку, он прикурив и сказал:

— Премного благодарен! — и улыбнулся.

Женщины переглянулись и одновременно произнесли:

— Не за что! — и: — Кушайте на здоровье! — после чего опять переглянулись и засмеялись.

Титов широко улыбнулся им и молча направился к дальней двери, приоткрыл ее и заглянул. Это была раздаточная — как раз то, что нужно.

Он осторожно вошел. Здесь был полумрак, а в банкетном зале, отделенном от раздаточной двухметровой перегородкой, горел яркий свет и негромко гудели голоса. Перегородка имела несколько декоративных отверстий размером с ладонь — можно было посмотреть в зал.

Титов бросил на пол папиросу, раздавил ее ногой, выбрал отверстие поудобнее и стал изучать застолье. Во главе стола сидели женщина в темном платье и

лысый урод. Всего присутствовало человек двадцать — двадцать пять. Титов поискал глазами *подонка*. Нашел, хотя и не сразу, и удовлетворенно сплюнул через отверстие. Никто этого не заметил.

Затем вернулся в моечную. Там была уже только одна женщина. Титов сел около нее и спросил:

— Моих покурим? — и достал пачку «Винстона».

— Давайте, — слегка сурово ответила женщина и взяла сигарету.

— Вот что, подружка, — сказал Титов. — Сделай милость, пока не прикурила — сходи, позови дружка моего, он там на поминках в зале, а мне неудобно... Пожалуйста, девонька... — добавил он нежно, уловив сердитый отблеск в ее глазах. — Дружок нужен, а мне без мазы... Пятый с края сидит, по левой стороне, Юркой зовут...

— Ладно, уговорил, красноречивый, — прервала его женщина и пошла, качая бедрами, к раздаточной. — Бутылка с тебя, — и нарочито засмеялась.

— Умница, — нежно сказал Титов ей вдогонку.

Как только она скрылась за дверью, он встал и прошелся по моечной, осматриваясь. На одном из столов лежали большие ножи. Титов выбрал самый большой, взвесил его в руке, махнул пару раз туда-сюда, потрогал лезвие. Покачивая ножом, постоял и подумал. Сделал два полуприседания, проверяя упругость ног. Покосился на дверь.

Подонок заставлял себя ждать. Титов подошел к широкому баку у стены, заглянул в него и увидел свое отражение в воде. И удивился: глаза выпучены, нос торчит, щеки совсем черные... «Ты кто?» — усмехнулся сам себе Титов и тут услышал, что дверь открывается. С той же усмешкой на лице он повернулся к двери, одновременно опуская нож в бак (острием — в дно, рукоятку — к стенке).

В дверях показалась женщина. Титов вынул руку из воды и сказал строго:

— Спасибо, доченька! — Тряхнул мокрой рукой, достал пачку «Винстона» и кинул в ее сторону. — Держи, кошечка!

Пачка пролетела у нее над головой и стукнула в лоб подонка, который вошел следом.

— Шо, бля?! — произнес подонок и посмотрел на Титова.

— Иди сюда, — ответил ему Титов.

Женщина с некоторой тревогой взглянула на подонка, затем на Титова и, оценив ситуацию как опасную, сразу пошла к двери, ведущей в коридор.

— Сигареты... — начал Титов и замолк. Подонок стремительно приближался.

— Шо, бля?! — повторил он и резко выбросил вперед кулак.

Титов непроизвольно подался назад, и в то же мгновение в носу у него что-то взорвалось, а во рту появился вкус железа. В лицо обильно хлынула вода. Он сделал было вдох, но воздух в легкие не пошел. В глазах потемнело. С трудом соображая, он подтянул колени к груди и задвигал руками. Рукам что-то мешало, он старался шевелить ими как можно энергичнее, напрягался изо всех сил и быстро слабел... Вдруг почувствовал спиной какую-то опору, дотянулся до нее руками, затем ногами и оттолкнулся. И услышал, как в горло, булькая, вошел воздух. Стало светлеть в глазах.

Вскоре он увидел подонка. Тот стоял рядом и курил.

— Ну, козел, искупался, бля?! — поприветствовал он Титова и стряхнул пепел в бак.

Титов тупо наблюдал, как пепел тонет в воде, попробовал подняться в полный рост, но ноги плохо держали; он встал на колени, опираясь руками о стенки.

— Не мути воду, е...ный крокодил! — сказал подонок и громко засмеялся.

Титов ощутил растущую ярость, заморгал, тряхнул не вполне еще ясной головой и тут вспомнил про нож, скосил глаза и сразу его увидел. Нож лежал на дне бака.

Титов опустил правую руку под воду и взялся за рукоятку. Сжал ее покрепче и стал осторожно поднимать руку с ножом — так, чтобы не было видно подонку.

— Ты что, бля, дрочишь там, что ли? — усмехнулся подонок.

Когда рука вышла на поверхность, а лезвие ножа было еще в воде, Титов плюнул в подонка и попал ему в глаз. В тот же момент, ухватившись левой рукой за край бака и резко выпрямляя ноги, взмахнул ножом. Нож описал дугу, ударил подонка в шею и прошел

насквозь. Шея скрипнула, голова глухо стукнулась о бетонный пол и брызнула кровью. Титова по инерции повлекло влево, но он устоял. Затем опустился на колени, чтобы отдохнуть.

Подонок лежал рядом с баком, из его шеи густо лилась кровь. Титов толкнул его, и подонок раскинул руки. У него из куртки выпал пистолет, Титов поднял его и сунул к себе за пояс. Затем наклонился к голове и перевернул ее лицом вверх. На лице была ярость. Титов сполоснул руку и двинулся к выходу.

В коридоре услышал: «Подтирай тут за ними...» и вышел на улицу.

Был сильный дождь. Титов спрятался под дерево и достал из кармана фляжку. Отпил половину. Немного постоял и сделал еще пару глотков. Достал папиросы, но они были совершенно мокрые, и он кинул пачку в лужу. Затем не спеша допил оставшееся. По телу нежными волнами расходилось тепло.

Он увидел такси и поднял руку. Машина остановилась, и Титов спросил: «Водка есть?». Таксист отрицательно мотнул головой.

— Тогда открывай, — сказал Титов.

Таксист приоткрыл дверцу, обвел его взглядом, собрался что-то сказать, но вдруг округлил глаза и схватился обеими руками за руль. Титов влез на переднее сиденье и спросил:

— Не замочу? Извини — дождь.

— Да... уж... — проговорил таксист и рванул машину с места.

— Авторучка есть? — немного помолчав, попросил Титов.

Таксист суетливо покопался в кармане и протянул стержень. Титов достал записную книжку, поставил крестик и дату.

— Куда едем? — поинтересовался таксист, не поворачивая головы.

— Ах, да... К Рижскому.

Дальше ехали молча. Время от времени Титов ощущал жжение в глазах, опускал веки и проводил ладонями по лицу, стирая капли. Лицо было горячим, а ладони холодными.

Подъехали, Титов дал таксисту пятерку и спросил:

— Хватит?

Таксист быстро кивнул, сунул деньги в карман и опять уцепился за руль.

Вылезая из машины, Титов выронил на сиденье пистолет и только тогда вспомнил о нем. Таксист покосился и сразу отвел глаза. Титов взял пистолет, повертел его в руках и сказал:

— Не ссы...

Захлопнул дверцу и повторил:

— Не ссы!

3

Он потянулся и откинул одеяло, чтобы немного охладиться. Сnilась женщина: он взял ее за задницу. Задница была очень круглая и приятная... Лицо у женщины тоже было приятное и незнакомое. Брюнетка.

Титов сел в постели и почувствовал головную боль. Но несильную, к тому же он сразу вспомнил, что оставил вчера целую бутылку пива — как раз на этот случай. Он встал и зашагал голый по прохладному полу.

Бутылка стояла на кухонном столе. Титов открыл ее и вылил в себя половину. Постоял, ощущая, как пиво стекает в желудок. Затем пошел принимать душ. Сделал очень горячую воду, потом очень холодную, потом нормальную, после чего повторил то же.

Хорошо взбодрился. Стряхнул с себя капли и пошлепал в комнату, за полотенцем. Открыв шкаф, увидел себя в зеркале и остался доволен. Если не считать некоторую покатошь плеч, то фигуру можно принять как вполне классическую. Бицепсы, пресс и все такое — на месте и в положенном объеме. Половые достоинства тоже в норме. А возможно, и сверх...

Зазвонил телефон.

— Кому там! — сказал Титов, достал полотенце и стал вытираться. Вытерся, надел трусы и наконец подошел к телефону.

— Игорь Тимофеевич! — закричала завуч.

— На х...! — сказал Титов то ли ей, то ли себе и положил трубку. Взял со стола пистолет и примерил его к руке. Вернулся к шкафу и посмотрел в зеркало на себя и пистолет. Выглядело неплохо.

Пошел с пистолетом на кухню и сделал несколько глотков из бутылки. Снова зазвонил телефон. Титов

присел к кухонному столу. «Может, сделать из него зажигалку?» — подумал он и положил пистолет перед собой. Прикурил папиросу. «А может, это и есть зажигалка?» Взял пистолет и осторожно опустил палец на курок. Телефон все звонил. Титов отхлебнул еще пива, пошел в комнату и снял трубку.

— Игорь Тимофеевич!!!

Он кинул трубку и направился обратно. Телефон опять зазвенел. Титов остановился, поднял пистолет, прицелился и нажал на курок. Раздался грохот, телефон подскочил, распался на части и посыпался за стол. Титов немного постоял в той же позе, подумал: «Не зажигалка» — и пошел на кухню.

Допил пиво, открыл холодильник и осмотрел его. В комнате вдруг снова зазвонило, он захлопнул холодильник и сжал в руке пистолет. Затем сообразил: «А, это будильник...» Достал из холодильника сыр и колбасу, отрезал по куску, сложил вместе и сунул в рот, после чего отправился в комнату.

Включил телевизор, нашел чистую рубашку и стал одеваться. «День знаний. Заслуженный учитель российской...» — прогрелся телевизор. Титов быстро протянул руку и щелкнул кнопкой, вышел в прихожую, надел куртку и положил в правый карман пистолет. Затем причесался и покинул квартиру.

Доехав до Сретенки, он купил в мясном магазине три маленькие бутылочки коньяка и зашел в чебуречную. Выпил сто граммов и проглотил четыре чебурека, потом вышел в сквер и сел на скамейку. Покурил и опорожнил третью бутылочку.

Вечер был теплый и довольно приятный. Титов побродил вокруг метро, дожидаясь восьми часов; коньяк подействовал мягко и ненавязчиво, краски вокруг стали чуть-чуть ярче, шум машин на Садовом обрел некоторую гармонию. Обоняние, правда, тоже обострилось, а бензиновых паров в воздухе хватало. Да еще школьники шлялись повсюду по случаю начала учебного года... Титов старался не вспоминать о работе и отводил от них взгляд.

Без пятнадцати восемь он спустился в метро, без пяти был на месте. Минут через десять появилась *паскуда*. Титов вслед за ней вошел в подъезд, и они остановились перед лифтом. Паскуда мельком взглянула

на него и отвернулась. Он осмотрел ее ноги и зад в короткой юбке. Приехал лифт, они вошли. Титов нажал на шестой этаж и сразу сказал:

— Привет, паскуда.

Резко и внимательно посмотрев на него, она сунула вдруг руку в сумочку и крикнула:

— Ты что, козел!..

Титов быстро вынул пистолет и поднес к ее лицу.

— Смирно, — сказал он тихо. — Заткнись. Про поминки слыхала? Это я вашего подонка разделал...

Он упер дуло ей в нос и заметил, что ее лицо крайне побледнело и явно обозначилось, где грим, а где просто кожа.

— Сейчас пойдем к тебе, — сообщил он и немного отвел пистолет. — И чтоб без... как его...

Лифт открылся, он пропустил паскуду вперед и ткнул ее в зад пистолетом:

— Быстрее.

С минуту она возилась с замками, наконец вошли. Титов захлопнул дверь и прислушался, затем приставил пистолет к ее спине, подтолкнул, и вошли в комнату. Он огляделся, зачем-то понюхал воздух и сказал:

— Ладно, отдыхай пока.

Паскуда присела на стул и, напряженно глядя на Титова, молчала. Губы ее подрагивали, лицо стало совсем серым. Грим чуть ли не отваливался.

— Отдыхай, говорю, — повторил Титов и уселся в кресло.

— Что ты хочешь? — проговорила она хрипло.

— Ни х... Пива принеси, — подумав, ответил Титов и убрал пистолет в карман.

Она неуверенно поднялась со стула и двинулась на кухню.

— И чтоб там без блядства! — напутствовал он паскуду и рассмеялся.

Она быстро вернулась с двумя банками пива.

— Ваше здоровье, — сказал Титов, взял у нее одну банку, вскрыл, разинул рот и плеснул туда пива. — М-м... — И еще отпил. — Ты почему не пьешь?.. Ладно, к делу. — Он отставил банку и прикурил. Посмотрел на нее и засмеялся. — Ты что, обосралась? Сильно не переживай: мне в основном урод этот ваш

нужен... — И отдельно произнес: — А тебя — могу — не — убивать.

На последнем слове она заметно напряглась. Титов вылил в рот остатки пива и сильно затянулся папиросой. Потом кивнул на люстру и спросил:

— Где такой фонарь наблудила?

— В магазине... — помедлив, выговорила паскуда. — Где же...

— Тебе что, банку открыть?

Она посмотрела на банку в своих руках и помотала головой. Поковырялась, открыла банку, припала к дырке и с некоторым трудом стала глотать пиво. Титов немного понаблюдал за сокращениями ее горла и покачивающимися серьгами, затем спросил:

— Сколько здесь комнат?

— Две, — сказала паскуда и как-то по-собачьи взглянула на него. Потом взяла сигарету и начала ее мять. Сломала. Взяла другую...

«Надо ж так испугаться!» — подумал вдруг Титов, и его неожиданно передернуло. Он зажмурился, сделал глубокий вдох, задержал дыхание, потом открыл глаза и выдохнул:

— Еще!

Она сразу вышла и вернулась с тремя банками. Титов откупорил одну и присосался.

Пиво мягко и прохладно, слегка пощипывая, гладило рот и струилось через горло... Он опустошил банку и бросил ее на ковер рядом с первой, взял следующую и сделал несколько глотков. Почувствовал на себе ее взгляд, оторвался от банки и рассеянно провел глазами по ее фигуре, слегка задерживаясь на выпуклостях и впадинах, дошел до лица и остановился. Бледность почти пропала, но губы дрожали, вытягивая из сигареты дым. Она настороженно глядела на него и о чем-то усиленно думала.

— Я буду у тебя сидеть, пока урод здесь не появится, — заговорил Титов спокойно. — Крайний срок — завтрашнее утро. Бери телефон и звони. Он должен прийти один. Если к восьми часам его не будет, я тебя убью. — Паскуда закашляла. — Если он придет не один, я тоже тебя убью. — Он развалился в кресле и стал небольшими глотками отпивать из банки.

Она прокашлялась и спросила:

— Можно мне в туалет выйти?

— Вы совершенно свободны, мадемуазель! — засмеялся Титов. — Только в толчке топиться не надо — а все остальное можно делать! Писать, какать, пить пиво, водку, жрать икру и ананасы, онанировать и разлагаться... Морально, я имею в виду...

Она боком вышла из комнаты. Титов вздохнул и закрыл глаза. Потрогал в кармане пистолет. «Славное приспособление. С тобой мы их всех повыведем. Паскуду эту можно оставить... Баба...»

Он услышал ее шаги, приоткрыл глаза и спросил:

— А как тебя зовут?

— Наталья, — чуть поколебавшись, ответила паскуда.

У нее в руках был небольшой поднос, она помялась, поставила его перед Титовым и сказала: — Перекусим?

Титов осмотрел поднос. Водка ноль семьдесят пять, лимон, колбаса копченая, сыр.

— И это все?! А где же ананасы с рябчиками?

— Не жру я ананасов, — с обидой произнесла паскуда. — Налейте лучше...

— А-а, мы до сих пор на вы?.. — усмехнулся Титов, открывая бутылку. — Кстати, за это и выпьем. — Он разлил по рюмкам. — Будем на ты!

Она сразу взяла рюмку и выпила. Надкусила, морщась, дольку лимона. Титов проследил за ее действиями, после чего тоже выпил, закусил сыром. Помолчали. Он снова налил в рюмки, тут же выпил свою, положил в рот кусок колбасы и откинулся в кресле.

— А теперь неси сюда телефон. Можешь еще рюмку хлопнуть, а потом звони. Чем скорее он сюда прибудет, тем лучше. В твоих интересах. Но не позже восьми часов утра — потом я занят. Я ж человек трудящийся... на ниве... — Он улыбнулся одной стороной рта.

Паскуда задумчиво посмотрела на Титова и тоже слабо улыбнулась. Выпила рюмку. Принесла телефон, села на диван и положила ногу на ногу. Затем прикурила и сказала:

— У него ж там жена... — И погладила себя по колену.

— Насрать на жену! — сразу разозлился Титов. — Через двенадцать часов она будет уже вдовой! Или ты — с дыркой за пазухой! На х...!

— Ладно, ладно... — Наталья с готовностью схватилась за трубку. Сильно затянулась сигаретой, морщась то ли от дыма, то ли от своих мыслей, и набрала номер.

— Здравствуйте! А можно Николая Аркадьевича к телефону? — Она опустила веки и слегка скривилась. Потом уселась поудобнее, придвинула пепельницу и кокетливо улыбнулась. — Алло... Николай Аркадьич? Здравствуй, Коленька, как твои говенные дела? А как же? Послушай, я тут... скоро е...нусь с тоски — приехал бы, сколько не виделись!.. Вот и я о том же... Ну так давай сюда — прое... за милую душу... О-ой, Колюш, или ты... А дождешься — заведу себе... мужика, а ты, б..., и не узнаешь... Завтра? Ты все завтраками кормишь? С утра? А... Ты завтра... служишь? — Она коротко взглянула на Титова. — Да я согласная! Х... с тобой, говорю!.. Всегда со мной. Я поняла... Ну, приезжай!

Она опустила трубку, Титов налил в рюмки водку и спросил:

— Ну?

— Завтра утром. Часов... в семь — ему к восьми дежурить. Она вздохнула, выпила, сильно сморщившись, рюмку, вынула из пачки сигарету и отвернулась к окну.

Титов тоже выпил, опять наполнил рюмки и сразу еще раз выпил. Засунул в рот два куска колбасы и стал жевать. Запил пивом. Достал папиросу, щелкнул зажигалкой и протянул Наталье прикурить. Она прикурила, кивнула и сказала:

— Открой мне пиво.

Титов открыл банку.

— Я сейчас... — Она встала с дивана, взяла у него банку и вышла из комнаты.

Он прикурил папиросу. Послышался шум воды в ванной. От папиросы мозги быстро мутнели, и Титов с удивлением понял, что его развезло, и всего от двухсот граммов водки — хотя бы и поверх пива... Затем он вспомнил, что пил еще и коньяк... Веки неудержимо слипались, голова клонилась, он бросил папиросу в пепельницу, попытался проморгаться, потряс головой, но добился лишь того, что все вокруг закачалось...

В ванной шумела вода, он силился проснуться и

одновременно хотел посмотреть сон, как мальчик с отцом у воды строят дом из песка, но необходимо было срочно просыпаться, чтобы подготовиться к сегодняшнему дню — сегодня у него контрольная, и мама сейчас будет ругаться, что он соня и лентяй, — вот она уже выходит из ванной, чтобы стаскивать с него одеяло, но ее опережает жена — обнимает, гладит по груди и по животу, шарит, лезет, он старается не пустить ее руку, загораживается коленями, но рука все лезет и лезет, и шарит — он хватается за руку: «Ты что — там же пистолет!».

Открыв глаза, он еще пару секунд ничего не видел, уже, однако, зная, что держит за руку Наталью. Она начала вырываться и что-то кричать — не то жалобно, не то агрессивно. Он резко крутнул ее руку и с силой оттолкнул, затем проверил, по-прежнему ли пистолет в кармане, и произнес:

— Сейчас, паскуда, пришибу!

Паскуда упала боком на ковер и замолкла. На ней был желтый халат, он распахнулся, обнажив правую ногу до самых трусов и левую грудь.

Титов вылез из кресла и встал перед ней, не зная, что предпринять.

— Прости меня... — вдруг сказала Наталья.

Титов шагнул через нее (она дернула рукой, загораживая лицо) и направился в туалет.

Опорожнившись, он зачем-то взвесил пенис на ладони, затем вытащил пистолет и сделал с ним то же самое. Пистолет оказался тяжелее. Несколько удивленный своими действиями, он зашел в ванную, вымыл пенис, руки, лицо, посмотрелся в зеркало и не очень-то себе понравился, но решил, что неплохо бы выпить. Достал носовой платок, вытерся и пошел обратно.

Паскуда сидела на полу, закутавшись в халат и уткнув лицо в колени. Титов налил себе рюмку, стоя выпил и куснул лимон. Она судорожно вздохнула. Он наполнил обе рюмки, подумал и сказал:

— Выпей.

Сам еще раз выпил, обошел паскуду, сел на диван и развалился, весело и спокойно себя чувствуя. Оглядел ее сжавшуюся в комок фигуру и сказал:

— Не ссы, Наталья, прорвемся...

Она качнулась, отняла лицо от коленей и осторож-

но и внимательно посмотрела на него. Титов провел рукой по волосам, почесал щеку и повторил:

— Выпей.

Она, будто только этого и ожидала, быстро и изяшно поднялась, взяла рюмку и, запрокинув голову, выпила водку. Уже выпив, на несколько мгновений задержалась в этой позе. И Титов мог ее рассмотреть — ногу, выставленную из халата, проем меж грудей в разошедшемся вороте, выгнутую шею, беспорядочно упавшие волосы, полузакрытые глаза и приоткрытый рот. Затем она, вскользь глянув на Титова, поставила рюмку, взяла со стола сумочку, порылась, достала пудреницу и торопливо захлопотала над своим лицом. Вернула пудреницу в сумочку, после чего взяла бутылку и разлила по рюмкам. Титов понаблюдал за ее манипуляциями, хлопнул ладонью по дивану и пригласил:

— Садись, сволочь! Будь как дома, — и криво улыбнулся. Она сразу же села; подняли рюмки и чокнулись.

— Ты прости меня, ей-богу, — быстро заговорила Наталья. — Я просто ох...ла совсем, испугалась... — Она дотронулась пальцами до его колена. — Ты какой-то... страшный, б...

— Стой! Не п...ди! — оборвал ее Титов. — Выпьем, Наташка, и будем пьяные. Вот — тебе!

Он забросил в себя рюмку, громко выпустил отрыжку, строго взглянул на Наталью и жестом приказал пить. Она выпила, он взял ее за лицо, повернул к себе и обхватил губами ее рот. Наталья зашевелила пальцами у него на затылке, другой рукой поползла по животу и стала расстегивать брюки. Он пощупал ее за одну грудь, потом за другую, полез вниз, просунул руку между ног. Ноги раздвинулись, он провел там пару раз пальцами по коротким и жестким волосам, вернулся к грудям, почувствовал на пенисе ее ладонь, навалился и замычал. Она опрокинулась на спину, расставила ноги и, потянув за пенис, ввела его в себя и сразу же энергично заколыхалась. Ее влагалище было большим и влажным, пенис ходил легко и поначалу даже излишне свободно. Через некоторое время он стал доставать до дна (Наталья при этом охала), и влагалище стало уже. Захотелось увеличить темп, и она его поддержала. Вскоре он понял, что приближается конец, стал бить в нее со всего размаха (она вскрикивала), наконец по-

чувствовал, что уже — все! До упора — дальше — отвел — опять, сбросил сперму и закричал. Она закричала: «О-е-е-е-ей!», закрутила головой, впиалась ногтями в его задницу и вдвое быстрее замахала своей. Ему было уже достаточно, он высвободил пенис, расслабил руки и ноги, раздумывая, слезать ли (или так полежать)? Она обняла его за шею и спину и что-то пошептывала, он поудобнее пристроил голову у нее на груди, но в стороне от ее дыхания, и закрыл глаза.

Увидел перед собой высокую траву, за травой на голубом небе был отец, который улыбался и звал к себе, но путь преграждала трава, он путался в ней и падал на колени, поднимался и спешил опять к отцу, чтобы тот взял его на руки и подбрасывал вверх, и вдруг попал ногой в ямку и сильно упал лицом во влажную и щекотную траву, на шершавую землю, и в живот впиалась ветка, и ему показалось, что нет больше ни неба, ни отца, что он остался совсем один, и так сильно упал... так...

Он как только мог быстро открыл глаза, оторвал лицо от дивана и увидел паскуду, которая наклонившись стояла около него. Титов попытался сразу вскочить на ноги, но запутался в спущенных штанах и вынужден был встать на четвереньки. Он бросил руку к карману с пистолетом, однако не мог найти, где карман, поскольку куртка перекрутилась и съехала с плеч. Тогда он ухватил паскуду за волосы, потянул к себе и заорал:

— Ты, б..., что?!

Она без сопротивления подалась за его рукой и хрипло прошептала:

— Я ничего, б... ты что!..

Он прижал ее голову к своему животу, и тут же выяснилось, что пистолет — на месте: карман тяжело стукнул его по бедру. Титов отпустил ее волосы и удостоверился, что так оно и есть, после чего устало лег на бок, не вынимая руку из кармана, проложив другую руку между щекой и шершавой поверхностью дивана.

Наталья задержалась у него на животе, поерзала там и вдруг обхватила ртом пенис. Титов ощутил, как горячо у нее во рту, с минуту еще полежал не двигаясь, потом приподнял голову, взял бутылку и сделал глоток из горлышка, затем еще два. Наталья оставила пенис,

вынула молча у него из руки бутылку и выплеснула остатки водки себе в рот. Титов погладил ее по волосам и осторожно намотал их на пальцы. И некоторое время лежал, слегка сжимая кулаки и чувствуя в одном из них упругие влажные волосы, а в другом — рукоятку пистолета.

4

Наталья стала освобождать волосы, но Титов сопротивлялся: чтобы спокойно ее отпустить, нужно было сначала открыть глаза, а они не открывались.

— Колян, б... пришел, слышишь? — сказала Наталья.

— Слышу, — выговорил Титов, поднатужился и наконец разлепил веки. Разжал пальцы, выпустил Натальины волосы и проверил, на месте ли пистолет. Наталья села на диване, запахивая халат. Опять переливами зазвучал дверной звонок.

— Открывать? — спросила она, затем добавила как бы самой себе: — Он же меня ... на х...

Титов сел и начал застегивать штаны. Пальцы слушались плохо. Он, качнувшись, встал с дивана, добился, чтобы штаны все-таки не спадали, затем обследовал вчерашнее застолье. Из спиртного обнаружил полбанки пива, вылил его в себя и сел обратно на диван. В голове немного прояснилось.

— Открывай, твою мать! — сказал он Наталье, закинул ногу на ногу и взялся в кармане за пистолет.

Наталья прикурила сигарету, держа зажигалку обеими руками, и, слегка пригнув голову, направилась в прихожую. Титов проводил ее взглядом. Походка ему не очень понравилась, но волосы разлетались довольно красиво. Под халатом качалась круглая задница...

В комнату широким шагом вошел милиционер. Титов на мгновение оторопел, а затем усмехнулся.

— Здравия желаю, товарищ майор... твою мать! — произнес он весело и вытащил пистолет.

Урод резко остановился посреди комнаты и часто заморгал правым глазом. В левом глазу его появилась слеза и, поскольку ресниц там не было, сразу покати-лась на щеку, растекаясь по рубцам. Титов наставил на него пистолет и спросил:

— Молиться умеешь... твою мать?! Тогда молись. Тут твой п...ец!

— Ты что, б..., о...ел совсем? — крикнул урод сильным тенором.

Титов качнул пистолетом и нахмурился:

— Не люблю мата, на х...! Я ж учитель — чтоб ты знал. Разумное, доброе, вечное, на х...! — Он взял папиросу, увидел, что из прихожей показалась Наталья, и добавил: — Натулька, водки!

Урод опять заморгал и неуверенно обернулся к Наталье. Титов сильно дунул в папиросу, табак вылетел и просыпался ему на колени. Урод вздрогнул. Наталья, чуть поколебавшись, вышла, тут же вернулась с начатой бутылкой коньяка и налила в две рюмки.

— Кого это ты обделила? — спросил Титов и сразу выпил, не опуская пистолета. Поморщился, затем кивнул уроду: — Дамы с утра не пьют. Е...ни перед смертью...

Урод, задумчиво глядя на Титова, подошел к рюмке, поднял ее, понюхал и вылил остатки к себе в рот.

— Садись пока, — приказал Титов. — Раз уж ты мент...

Тот сразу сел на край ближайшего кресла и напряженно замер. Наталья снова наполнила рюмки.

— Короче так, на х..., — произнес Титов и два раза качнул пистолетом. — Два выродка уже там. Сегодня — ты, на х...! — Он вытянул ноги и покрутил ступнями. Урод внимательно следил за ним. Титов взял рюмку, посмотрел на свет коричневатую жидкость и залил в себя. Немного помолчал и сказал: — Тимоша будет доволен... — Еще помолчал. — Маринка тоже...

Внезапно ему захотелось плакать. Он глотнул и с трудом проговорил, неизвестно к кому обращаясь:

— Мариночку я так и не видел... Говорят — головешка... И тачка — на х...! Шашлычок...

Он закрыл и тут же открыл глаза, махнул пистолетом и стукнул себя по бедру...

...Мальчик упал и ушиб ногу, к нему подбежал папа и прохладно дул на ушибленное место, потом посадил на плечи и понес...

— Я же, б..., не трогал... твоего парня, — сказал вдруг урод. Титов навел на него пистолет. Урод, глядя

в дуло, торопливо добавил: — И Марину никакую не знаю, б...!

Титов стиснул пистолет так, что побелели пальцы, прицелился уроду в левый глаз и сказал:

— Мариночка, чтоб ты знал, — моя жена, которая в тачке сгорела. Тимошу, чтоб ты знал, вы ни за х... от...дили в кабаке, чтоб ты знал!

— Почему она горела-то? — суетливо вставила Наталья.

— Да ты, б..., что — ей поверил, что ли, этой паскуде?! — зашепшил урод. — Это ж, б..., она, пальцы ему ломала, твоему...

Титов перевел пистолет на паскуду и нажал курок. От выстрела его качнуло к спинке дивана, рука пошла вверх, и он еще успел увидеть, как урод выхватывает пистолет, направляет ему в живот и в дуле появляется огонь.

Удар горячей боли, разорвавший внутренности, немного напоминал ощущения от рюмки водки, выпитой натошак.

ЦВЕТ НОГ

Каждый субботний вечер все девушки Малаховки сильно выпивали. Они выходили к обочинам в клетчатых юбках, не пряча опухших ног. Они были на той стадии алкоголизма, когда начинаешь приятно сиренево опухать, и загар и грязь отливают в синь. Они одевали кто сандалии на босу красную ногу (бурую), кто туфли, довольно расшатанные, но черные, с природной чистой пылью, и было видно, что они перестают стирать джинсы с нарисованной старательно варенкой, не выводят уж пятен на куртках, причесываются не всегда и ноги моют в луже, а если и случится им оплескать ноги из ванны, м^оя *прижитого* ребенка — случайно залить, то полосы по форме обуви грязи распределятся по ступне, и они маленько только тряпочкой сгонят крупный песок и куски, и на гладкую черную кожу оденут тапочки из вельвета и пластмассы, разъединенные на подъеме и обведенные по разъединению кантом — коричневым, конечно.

Так они выходили, стараясь сделать вид ума, прямизны, достоинства. Иные были с перебитыми носами, а у одной девушки нос был всегда кривой, то ли она в детстве ...нулась где-то тихо — неизвестно. И поскольку не было принято мер — кость срослась неправильно, горбом и в сторону. Но подпухшие глаза свои девушки — как вмазанные винтом с морфином, так и выжравшие литру — глаза свои не забывали подмазывать и подводить чем-то засохшим из баночки пальцем. И кривой замусляканный карандаш имелся у всякой в

туеске, а как же — с помадкой и с кремом каким-то пахучим, чтобы размазывать грязь по рукам. Они провожали глазами счастливые семьи, как им казалось, чистых и трезвых людей с колясками и вдыхали, как им казалось, молоко всей этой семьи, озабоченной переходами. Из сумок у мужиков торчали полезные продукты: каша, морковь.

Девушки подергивались в пыли, не замечая этого, иные шатались и мотали головой, думая, что тихо и гордо гуляют, ждали кавалера. Подходили босые дедушки, у которых в штанах давно не кудахтало, говорили, что, мол, с красавицами пива попить, рассказывали свой день, как кормили голубей и что-то не удалось, иногда богатенький, в косынке, с перстнем, предлагал отойти в кусты двум разным девушкам с остановок, и чтоб разделись, потрогали друг друга, пишу язычком, одна чтоб так сидит на бревне, другая на коленочках. За это — штуку. Девушки нехотя шли, трогали обезвоженные руки — делово и сонно, потом притаскивались, но никак кончить не могли, тут появлялся какой-то заведенный кобель с отклонениями (у него хозяин был сумасшедший) — большой, белый, гладкий, с длинным хвостом. Ему было все равно: менстра, не менстра, он их долизывал более-менее.

Но девушки ждали кавалера. После снова шли на остановки, стоять уже не могли, сидели на картонке. Друг друга никогда не вспоминали, а там, одного, со свитером «ВОУ», одного и того же, с такими плечами, что удавиться. Он был уголовка, носил одной злыдне розы. Она, пустоглазая, редко ему давала, зато тянула бабки — штуками и на отлете так его держала, а он такой по жизни был, что будто каждой рад. Идет по шоссе — и там кому-чего, кому — сощурится, или спросит: «Мадам, водка у вас почему?». Та девушка, на которой он остановился, начинала притоптывать ногами, не могла вспомнить цены водки, хотя жрала ее цистернами, и так запрокидывала голову, что иногда просто падала, а мужику было досадно и боязливо: он не одного порезал, и пасло его много народу, и с уличным паданьем девушек можно схлопотать срочок — зацепки лучше нет. И так быстро уходил в, едрена мать, даль, а там еще одна потенциальная падаль стоит.

К вечеру начинали сильно квакать лягушки, холо-

дало, у иных девушек шел отход, иные догонялись — чем заваялось, иные туманно гадали: поссать что ль пойти? Кавалеры спали в рыжих окнах, девушки сходили с картонок и ссали рядышком. Пробирались домой малаховскими огородами, заводя сонных собак на базар. Одна спала на люке — с носом со кривым со своим — и там тепленький пар через дырочку ее согревал. А во сне — в яркой комнате — в кружевных, отчего-то, портках — она кружилась в белом танце, или это была южная ночь, танцплощадка, коллоквиум, 1975 год, она ходила между взрослыми — смугленькая, в белой футболочке и раздавала всем богатые южные цветы.

В домах у многих стелился поздний дым, дерево им питалось, и было слышно: завтра — отход, завтра — отход, а, пять косых есть, так надо *зажитое* отдать, не умереть надуть; а какой он горделивый, падла, я ...еваю, и медленно, медленно, медленно — проваливались в койках — ниже и ниже. Цвет ног в темноте виден не был.

Но пришел как-то раз экстрасенс в этот город Озеры — или как его там — Шахманов. Девушки побежали к нему гуськом, босенькие. Каждая думала, что идет за другим, чем другая. Они показали ему свои стихи:

Хочется шутить, хочется смеяться,
Хочется забыть и не извиняться.

Каждая велела ему приворожить ее к Столыпину.
Экстрасенс был строг.

Велел сказать:

— Так. Пьешь?

— Да.

— Часто?

— Как деньги...

— На игле?

— Угу.

— У Сашки-Кривого? Кубик — палка?

— А-а-а... откуда... вы...

— Молчать! Шас бесов выгонять буду! Встань ровно.

Девушка встала. Вскорости ее начало мотать, за-тошнило, как с большого праздника, захотелось в туалет по-большому, ...ться, смеяться, шутить, в ушах

слышался звон, в глазах зеленые медузы, и она робко попросилась:

— А сесть можно?

— Стоять! — гаркнул экстрасенс, как Илья Пророк в колеснице.

И в ту же минуту девушка ...нулась на пол, испустив газы.

— Стоять, падла! Надо платить за гулянки! Надо карму отрабатывать!

Девушка искривила рот для плача и смотрела с пола на грозного экстрасенса.

— Так. Даже лобок зачесался. Твое говно на себя взял. Чистить надо. У, пропасть! — Он яростно тер штаны.

Видя, как испугано нежное женское существо, он отпустил ее в туалет, дал водички, а потом нежно прижал к себе. Девушка доверчиво прижалась к его бороде, а он основательно потрогал ее грудь под видом леченья.

— Ну что, милая... Не пить, не трахаться, все мысли гнать, читать статьи в журналах, а иначе... убийство у тебя по жизни — и не хочу говорить, да не могу: плохо, совсем плохо будет все, если не исправишься. Нет, обычно я всем старым девам этим и советую заняться, но ты (и по фигуре видно) только этим и занимаешься. Небось в год сколько было-то? А? Не слышу! Не помнишь?! В отрубке когда?! Где ж упомянуть?! Ну вот! Вот! Платить надо. За все, милая. За все, хорошая. И мог бы я накачать тебя своей сексуальной энергией, да ведь небось не пролечилась? А? Не слышу ответа! Последний укол? Ну это не страшно. Готовить-то умеешь? А? Повар шестого разряда? Давай мясо достану из морозилки. А ты пока выпей, хорошая, да одень халат жены моей, игуменьи Анны. Вот виски, сделай хайбольчик.

— А как же не пить? — робко спросила она.

Но он уже чесал в ватерклозет. Так они подружились. Таня Х. живет хорошо, воспитывает толстых детей и никогда не вспоминает о былом. Лишь порою закатывается в придорожный шалман и так там надеется, что начинает двигать глазами стаканы, а экстрасенс ее пожурит бывало, да и пошлет в диспансер. Но все у них хорошо.

И другие девушки тоже вышли замуж, и только

взгрустнут порою о Том, с плечами, о картонках, о дыме, об отходе, и проглотят пачечку колес от печали. И ножки у них чистенькие, хорошенькие, с педикюром, но всегда они берегут старые туфли-сандалии, у которых лак слез от водки, всегда хранят порванные носки, чтобы заняться в них мастурбацией. А так все хорошо.

НА ГАСТРОЛЯХ

Я давно не была в том городе, где высокие каменные дома просвечены солнцем, благодаря зияющим пустотам окон — прострелами окон они зияли и, как во всякой провинции, улицы пустели рано. В этом городе у меня была удачная «гастроль», там же меня и взяли — с вылетающим сердцем и с колоссальной — я полагаю, до полуметра — амплитудой трясения рук.

Городишко был отличный. Кушать было нечего, и жалкие оркестранты нашего «джаз-бэнда» довольствовались крепкой грузинской дрянью («Колхида», что ли?), сухариками и всякими женскими пирожками (пока). Выступали все плохо (кроме меня, разумеется), по вечерам устраивали нищенские банкеты, напоминающие вечера в «двадцатикопеечных заведениях» у Куприна. Я нашла для себя шестипалого гида, косноязыкого, но смуглого со стертой южной родословной. Сначала он покупал мне ряженку вместо «Колхиды» просил не ругаться матом и варить кашу, но я быстро поставила его на место, и утром он терпеливо прижигал йодом ссадины, подметал осколки, приносил мне чаю в постель и похмелиться, выбрасывал пепельницу в раскрытое окно, а мне нравилось трогать его шестой пальчик на ноге; мне казалось, что он искусственный. Однако становился все прилипчивее. Шлялся на концерты, торчал за кулисами, и прогнать его было невозможно. Раз перед выступлением я спряталась за сценой, чтобы застегнуть пуговку на спине, — и вдруг услышала знакомое носовое пыхтение. С абсолютно дикими глазами Шкафчик (как я звала его) подскочил ко мне, обхватил и своими бедрами стал яростно об

меня тереться. Не было сил высвободиться. Мы дотерлись с ним до самого начала концерта, и когда открыли занавес, жуткая картина представилась этим провинциальным олухам: лектор-музыковед Гринфельд с дикой рожей, вся полурасстегнутая, совершает фрикции по направлению оркестровой ямы. Ничего, не прогнали, но и ставку не надбавили. Витольд сказал: «Как вы были хороши до начала вашей лекции!». Старый пес. Вечером притащился ко мне в номер с «висками» и банкой паштета. Я сказала для приличия, как задрочили меня развезды. «Лиечка, я сниму вам усталость моментом, — сказал он, — легкий массажик — ведь я кончал... (розовая лысина напряглась)... курсы целителей! (целколомов). — Ну давай, снимай, олух царя небесного. — А вам надо снять кофточку. — Очнулась я в тот момент, когда он нежно массировал мне грудь. — Витольд, вы меня сейчас так возбудите, что я всю ночь не буду спать. — Так я этого и добиваюсь».

Ах шакал, ах нелюдь! Ты забыл, мудака, что ты на гастролях со своей женой, с этой сраной певицей Сре-тенской, чей голосок похож на спуск унитаза?!

— А как же Ляля?

— Ах, ну зачем нам эти сложности, эти угрызения!

Ну е... Шкафчик на меня обиделся, я ему, кажется, отбила яички после этого сеанса с поднятием занавеса. Е...ся он неплохо, однако он поразил меня не этим, а генезисом своего вожделения. «Ты знаешь, когда я захотел тебя первый раз? — он доверительно вскинул брови и облизнулся. — Когда Ляля рассказала мне, как тебя трахали на крыше Большого театра осенью 196... года».

И стала вырисовываться забавная картина: все эти десять лет нашей с Лялей — не дружбы — а абстрактного ...дежа по телефону, она подробно информировала его о моей и вправду занимательной интимной жизни: преимущественно на ночь, дабы приправить хоть чем-то пресный супружеский секс. Неудивительно, что через какое-то время у него стояло только на рассказы обо мне. Я казалась ему невероятно сексуальной, плюс чердачная эстетика еврейского толка, да и Ляля — гениальная дура — подлила масла в огонь тем, что на его робкие лысые просьбы включить меня в их интим разразилась сентенцией такого содержания:

она на тебя даже не посмотрит, у нее мужики рангом повыше (это в смысле генералы или 26 сантиметров?). Таким образом, итожим: рассказы обо мне как о королеве секса, плюс ущемленное мужское самолюбие равняется тому, что Сретенская долго и упорно толкала его ко мне в койку.

Мне нравился тройной джин с черничным соком... Как страшно и сладко вспоминать все это теперь, среди вонючих татуированных товаров, под гомон Коми-поездов и неусыпный лай конвоя.

Кто донес? Доносят, дорогие мои дамы, сами мужья, это подкаблучное дерьмо, кушая из рук супруги яишенку с лучком и от сытости став откровенными. И мочить надо было его, а не ее.

В следующие пять дней в городе сильно похолодало. Обнаружились отбитые углы зданий, и пахло все больше горелым. В сентябре по непонятным причинам везде жгут костры. Жгут все, что попадет под руку. Я заболела длинной простудой с привычными хроническими ассонансами, перестала мыться, но каждый вечер с помощью «Колхиды» докорячивалась до зала, отговаривала свое (больше всего им нравился клубнично-неприличный импровиз: что-нибудь свеженькое и двусмысленное о хрестоматийном)¹ и нетвердым шагом двигалась в номер. Пару раз звонила Ляля, как всегда для перемывания костей (знает, не знает?), порывалась зайти, но фиг. Последний раз голос был настороженным. Но! Это вам не роскошеческие бревноподобные клуши, роль играет до конца (какого?!), и в тексте ошибок быть не может, потому что он залег в подсознание, равно и интонации. Может быть, что-то дрожало, двоилось, двоемыслилось. Плевать! Однако, как мелко! Когда эта примитивочка яростно позвонила мне в номер, я была уже очень хороша, пьяный Шкафчик упорно называл буриме «бурой», и две шантаночки, благодушно принятые мною, разделись до корсетов.

— Надо поговорить, — надсадно бляяла она, — надо поговорить!

¹ На мюнхенской сцене в знаменитую оперу был внесен авангардно-натуралистический элемент, и Онегин с чисто немецкой бесстрастностью производил попытку изнасилования Татьяны. Она бахлалась столь же бесстрастно.

Что за черт?! Кто?!

Поговорим. Никогда — такого тона и такой скоропалительности. Все ясно.

Я чувствовала, что зверею. Кто-то мне не дал (а, Серж!), устала от болезни, город весь стал веревочно-тинным, а контракт все длился. Умиление по поводу скошенных арок и выцветших вывесок сменилось тоскливым омерзением (и оба чувства были неяркие, вязкие, навязчивые). Иди, Ляля. Иди ко мне. У меня сегодня какой-то страшный пир горой.

Подвалили два офицера.

Кажется, меня выгнали из филармонии за запах. Да, кажется. И все время хотелось в туалет. Старый отель сотрясался от наших оргий.

И она пришла. Ей открыла распаленная одна из Кать, с мокрым пупочком, в полотенце. «Что, и Лия тоже в таком виде? — Да, и она тоже». (Я этой девочке мысленно аплодировала в тот момент.) Я хватанула остатную «румку» (но была одета: голой лаяться неприлично; голой — минус очко и заведомо унижительная позиция).

Эта зверюга, вылезшая из пай-девочки и «верной» жены, поволокла меня (в моем номере!) в кухню — эта полутораметровая плебейка, и — как же там: «Оставь нашу семью... и если ты... то я... найму (sic! кого она наймет?!)... мало того, что ты предлагаешь мужу свои услуги (говно на лопате), так еще и заражаешь его всякой дрянью». Pardon. А вот это уже — край. Сначала я била ее по щекам, но она заметно перебздела, потому что никогда не слышала моих криков и не видела моих аффектов: для нее я была вальжной заторможенной коллежанкой, не без блядства и не без винца, но безобидной — такой дающей сонной медведицей. Она уже пятилась к двери, но я не могла отпустить ее, не угостив досыта. Слабое теплое тельце ее сразу вызвало во мне судороги. Я потащила ее к входной двери, треская об углы. Где-то что-то начало кровяниться. Я вошла в раж. Я исходила матерными тирадами дивной архитектоники. Странно — она почти не сопротивлялась и — молчала.

Где взять силы, где мне взять силы для этой тоски?! Только сейчас я поняла, что звуки железа похожи на

звуки оркестра — настраивающегося, и неудивительно. Я скучаю по ним.

Она все же вырвалась и побежала, но я схватила ее у лестницы и стрелой (это сорок-то восемь кг!) метнула вниз. Говорят, старенький 70-летний профессор, спасаясь от разъяренного быка, прыгнул через двухметровый забор. Тут та же история. Я поняла, что она разбилась насмерть, по звукам. Треск ломаемых костей черепа ни с чем нельзя сравнить. Может быть, что-то у Шнитке подобное. Лезть в рояль и шипать струны, как брови. Ох, как я кончила с этим звуком — но как-то по-другому, чем всегда: с тихим восторгом Финала — эдакое внутреннее forte, что гораздо пронзительнее наружного. А далее — это было давно — открывались двери номеров, сонные горничные и кастелянши застывали, как у Гоголя: в уголках их глаз были серые свалявшиеся слезы от сна, но сами глаза успел расширить стресс... Что глаза! Я сказала: «Вызовите скорую... Тут... из какого-то номера... выпало... что-то...»

Я выглядела нормально.

РАССКАЗЫ ПИОНЕРОВ

(Из журнала «Юный следовод»)

1. Охота в складку

Однажды папа взял меня весной на охоту. «Сиди тихо, — сказал папа. — Сейчас у возбужденных глухарей нальются кровью брови, а мы будем в кустах». В кустах папа долго не мог открыть бутылку водки, потому что нож и все острые предметы остались на стойбище. Он шуршал, пыхтел. Катался по палым листьям. Тер бутылку о землю, ковырял ее сучком куста, грыз зубами.

Возбужденный глухарь подошел совсем близко. Красным глазом пристально посмотрел. Поздоровался.

— Издалека? — спросил глухарь.

— Из Москвы.

— Эх вы, горе-москвичи. Давай стеклотару, посо-

блю. Клювом мгновенно глухарь нашел язычок, потянул вверх. Коварная крышка поддалась.

— А я здесь живу. Скучно, но воздух здоровый.

На прощанье папа и глухарь поклялись приезжать к друг другу в отпуска. А пустую бутылку глухарь бережно прислонил к сосне. «Сдам на станции, — пояснил он. — В лесу сорить — себе вредить».

2. Вечер встречи

Недавно в нашем отряде проходил сбор, посвященный нашей боевой памяти. К нам пришел ветеран Алексей Александрович, звеня боевыми наградами. Оказалось, он — и дважды ветеран труда, и доярка, и кружкист-отличник клуба при нашей Партии «Боевой цветок Подмосковья». Он начал вынимать из карманов грамоты, оплавленный кусок свинца, гранаты. Каждый получил свое.

— А это что? — спросили мы.

— Это паталет, — с грустью ответил ветеран.

— Что? — не поняли мы.

— Макий паталет. Зализается так — и пух! пух! И ласатка — иго-го! Пописить у меня не работает — чинить надо.

И Алексей Александрович пулей вылетел из класса.

— Галсок... — повторил он задумчиво, — канесна...

Еще много нам рассказал о боях и походах этот уже немолодой, блестящий защитник Родины. Мы узнали и увидели много нового о людях былого.

Как он протер Звезды Кремля портянкой, и они засветились, как снимал чехлы с них и памятников Подмосковья. Как горел в огне. С каждой минутой мы больше и больше любили и уважали бойца 7-й стрелковой дивизии им. Бревна, которое В. И. Ленин в 1919 году нес на коммунистическом субботнике. Наконец Нюра Потапова бросилась к нему на шею руками, обняла ногами за предполагаемую талию и заплакала. Все заплодировали. Заплодировал с Нюрой и Алексей Александрович. Наша учительница плакала. Ей тоже хотелось потрогать партизана. Скоро все стихло.

— А теперь — частушки, — сказал этот немолодой, но и не старый пограничник. И понеслось так хорошо всем знакомое, но с новой заветной силой звучавшее

из человека — очевидца тех лет. Тихим, глухим, приятного тембра баритоном он начал: «Сидит Гитлер на березе...» И все радостно подхватили: «А береза гнется...» Эта тихая и ласковая ночь запомнилась нам надолго, и долго еще не смолкали частушки.

Петя спросил:

— А разве эта военная — про цветочки какие-то?..

— А помнишь, Петя, что писал Гайдар в своей повести «Судьба барабанщика»: всякая песня до некоторой степени военная. И в этой частушке тема измены Родине, родным размерам и полям.

Стихал ветер. Стихли и песни. Напоследок Алексей Александрович показал нам школьный подвал-укрытие, где со времен войны чьей-то торопливой рукой было написано:

«Е...ТЬСЯ В БОМБОУБЕЖИЩЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ».

НАШ АНОНС:

В следующих номерах Юного Следовода читайте:

Как удить рыбку в пределах Кавказа
Как удивить цветовода (цветком)
Как извлечь из сумки припас
Когда ягоды — страх вызывают
Синий цвет ревности
Сено и сенные жители
Девушки в походе
Как есть чахлые растения
Сублимируй на полянах
Выкройка сачка
Гиперсексуализм и банка кофе с молоком
Морилка
Выделения в походе (разметка граждан)
Как расправить крылья дохлой бабочке
Лесные пожары и как их организовать
(мастурбация в сухом рогозе)
Как ничего не бояться и зачем это
Как прийти домой без следов укусов
Беременность у сусликов: навечно?
Как ехать в метро с отвычки
Какие слова говорить при прощаньи
Засушивание гусениц
Как никого не узнавать
Васильки — в гербарий!
До следующего лета!

3. День рождения

У Ньюши Суваевой сегодня день рождения. К ней в гости пришли пионеры. Все чистые, помытые, с выглаженными пионерскими галстуками, в новых хрустящих сапогах, с цветами и подарками. И только одна Эркелей Токтогулова не прибралась. Не вычесала кос, не сменила платье, не почистила валенки и даже платка с собой не взяла. Говорит грубым, низким и хриплым голосом: «Ой, Ньюша, с днем рождения, а подарка у меня нет. Дай пожрать!». Все удивились, но из скромности промолчали, а Эркелей вытерла нос рукавом и запела: «Ой, Катунь моя, Катунь, а я в шапочке нацанальной, сидю-сидю, думаю, где бы мне подзаправиття!». Это такой алтайский фольклор: петь свои мысли ненормированно под музыку. «Пора уж оставить тебе свои степные привычки, — говорит Эркелей Костя Шкандыбов, староста звена, отличник. — Почему ты не прибралась к празднику, не подарила имениннице хотя б лоскуток кумача, хотя б, однако, веточку тополя! Я вона хозяйственным мылом помылся, сменил сорочку и даже одел папины подвязки, а от тебя пахнет конем». Но не слушала его Эркелей, а села нескромно на стул, открыла зубами бутылку с яблочной водой, взяла в другую руку кусок мясного пирога и стала, чавкая, есть и запивать из бутылки. «Непутевая ты, Эркелей, — сказала ей Настя Покатова. — Не соблюдаешь правил, в пионеры вот не вступила, сочинение списала, в класс ежа принесла и положила его к учительнице на стул, а учительница сидела на еже, сидела, а потом говорит: — Дети, откуда это ежами пахнет? — оказывается, это еж обписался от тяжести учительницы. И все время ты так: чулки не штопаешь, руки не моешь, не готовишься к слету. Если б увидел бы тебя дедушка Ленин, он бы сказал: — Это не наша смена!». Эркелей ела пирог, чесала где-то под юбкой и плакала от горя. Потом перевернула стол, схватила шубу и валенки и с криком «Туу-Эззи!»¹ выбежала из квартиры. Пионеры недолго горевали и вскоре начали весело

¹ Алтайское ругательство.

справлять день рождения, читать стихи и играть в Партию.

А Эркелей вышла на набережную, сунула мокрые ноги в валенки и спустилась к самой воде. «Вот бы все они превратились в мелкие серые камни и Катунь унесла бы их», — думала она. В правом кармане она нашла недоеденный пирог, в левом — самокрутку, украденную у дедушки Токтогула. Она доела пирог, закурила после сытного ужина, села на ступеньку и увидела, что начинается вечер. «Ах ты ж мой эзен-торбаган, — всполошилась она, — мне ж назначил встречу калмык-таксист — Узунбек Гасыров! Он меня гладил по голове, «хорошая» говорил. Побегу к площади, он мне анаши сулил и отметки в дневнике подделать с помощью особенной жидкости». «Би-би!» — раздалось на шоссе. Эркелей обернулась. У машины стоял джигит и ласково ей махал.

— Узунбек-джан! Гасырушка! Как ты здесь?

— За тобой приехал, кызым! Бери шапку, да поедem в ресторан «Арбат».

— Не могу, Узунбек, чулок изорвался совсем, ек его в сырчик!

— Ну так пойдem ко мне, краля. У меня колонка, ванна есть, вино «Тройка». Апельсинов хочешь?

— Хочу, Гасырушка. Анаши дашь?

— Полный ящик есть, кызым-чечек!

— Ну так покатили!

Поехали они по набережной. Едут, гудят, кругом огни мерцают; проехали мост, у светофора развернулись. Загрустила Эркелей. Говорит:

— У Сувайки сейчас в фанты играют, поют «Три танкиста», целуются в туалете...

— Что грустишь, кызым, — отвечает Узунбек, — грустить — плохо, веселиться надо. Кругом хорошо. Гляди, небо какое!

— Как у нас в Насыране, — удивилась Эркелей, — такое же чистое и темное.

— И то, — говорит Узунбек, — зайти разве в гастроном сайку купить? Да ветчины грамм сто. Да огурчиков.

Так ехали они и говорили, а на площади в тумане открывался светлый шпиль университета.

СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ

Я вывалилась из машины в темноту. «Э! — сказал он. — Э!» И ни слова по-русски. Выскочил из высокой машины с постелью, с салфеткой и одеколоном, чтобы протереть меня. Там были остатки плова, в железных кружках «раки» — турецкая водка.

Снова улеглись в постель. Старый турок Махмуд мудр. Он делит мир на число утр и умножает на десять таблеток-пудр от головы. Рядом — напарница Адилля; он подносит к ней зажигалку и гладит курчавую горку. Два язычка — внизу живота; он с неудовольствием отмечает растяжки, тазовую кость и жилку. «Некарашооо». На опаленные губы кладет салфетку с одеколоном. Шипит: xxxxxxxx. Aaaaaaaa! A.A.A. Салфетка шипит. Утро ясное. Солнце в стекло занавески. Мне кажется, что я задыхаюсь, но я засыпаю.

В среду Адилля пришла меня возбуждать. Вай-май! (5-е число.) Что делает с людьми женитьба и проституция! Трясущееся существо, брюки в пятнах, редкие, редко мытые волосы спутаны — будто перекасти-поле попало на камень, и сквозь его паутину видна каменная серо-розовая прохладная голова. Камень ведь был прежде участницей (активной) школьного хора.

Руки и голова в пляске; носки съедены псом Лужком, и дыры размером с кружку (дыры больше носка, и сквозь них просвечивают желтые ноги). Казалось, что это не возбуждает. Но только казалось.

Прочно скрепленное голодное тело, пухлые изшрамленные глаза, руки в рыбе, которые она вытирает о брюки, — все это говорило о томительном миге блаженства прикосновения к обнаженной селедке, то есть к короткой шее.

О, как она пленительно вульгарна. Ведь есть ведь шармная вульгарность (не шарманная). Vulgar — как Charmant. Ведь есть же? Отвратность жеста — как его (и мой) приворот. То есть все наоборот. Такая миленькая, пере...нная такая всем на свете и везде, всюду — она невыносимо прекрасна.

У нее онемели колени. Она сползла с сального дырчатого дивана и загрохотала по полу, заскрипела, голосом показывая, как хорошо ей жить. И такая нега и

такой покой был во всем: в открытом окне и размножающихся сумерках (вегетативно), и так сладко повторять: Лионелла, Лиомпа, люминька, ловеласы, Ривьеры, Лимпопо (сладко стало, да?). Она нюхала жвачечную упаковку. Выспрашивала, что чем пахнет. Лимонном ли? — и снова гладила себя по бедрам. И просто так хорошо было, что казалось — от одного вида Ея — живешь, учишься, набираешься силы, свежей мысли, тепла, здоровья; и перекрестный огонь — минует, блин, тебя, и хочется встать под окном, крикнуть в зеркало окна и солнца (а асфальт мокрый): «Выходи в резиночки прыга-а-а-ать! Э! В натуре! Ты кто! Шмарик! Ваню! Кам хиа! Все уже просохло. Погода, бля, отличная...»

И она прыгнет на тебя, как сплошное солнце.

Мы поедem с нею по шоссе: вперед, на работу.

И СОЛНЦУ ВСХОДИТЬ ПОМОГЛИ ЕГИПТЯНЕ СВОЕЮ МОЛИТВОЮ.

Работа моя — нежная.

НИИстыда, Podzarsky motel, every night — it's my work.

Голубые по утрам (спят) высокие корпуса (по утрам) исполнены солнца. В придорожной пыли по обочинам дорог валяются пластмассовые и жестяные бутылки от колы, стеклянные — от водки, узорчатые салфетки с просохшим под первыми лучами солнца одеколоном — обязательно сладким, разные пакетики; в кюветах мальчики Пожарска, беленькие и хорошенькие, чуть еще подпорченные ранним траханьем в задницу — с таким целящимся взором, — собирают бутылки в длинные мешки. Я сижу на раскладной полосатой скамеечке на обочине и говорю, то есть кричу:

— Э! Мальчик! — и тоже даю ему бутылку.

В жестяном подносе, тщательно промытом водой из канистры, я режу помидоры, и если бы мне быть чуть-чуть-чуть (и немало) потрезвее, мне пришел бы на ум Олеша со своим — ах, ну как же — Матисс — импрессионизмом пуантилистического толка. То есть импрессионизм при дискретности мышления. Но этих слов я уже не знаю. Я знаю одно (один ряд): шлафн, дринкин, кола, виски, ресторан, сандук, ярак, баш, чин-чин, араба́, 15 ... 20 ... 30 ... или «ни х... не вышло».

Умываться нужно в густых зарослях бересклета, рябины, бузины, берез, где звонкие птички шепчутся между собой, сочная зелень манит, специально возвращенная, да ходят проститутки 50-х годов, ставшие уборщицами территории, но по-прежнему сохранившие разбросанность редких волос по синему халату. Они ходят в калошах и причудливо и ласково улыбаются молодым. А ты, с кувшином на голове, идешь в кусты.

Помидоры политы майонезом, разложена халва на откидном столике, чай в националистических стаканчиках формы восьми and something to drink. Звучит turkish music. «Сколько детей у тебя, Али? — 25, кызым, + 15 жен. Ты будешь 16-я?» Стамбул — Дринкин (рейс). Порядковые номера детей путаются с номерами телефонов, протупают пуантилистически лица изрезанных и прожженных жен. У них ожоги животов, шеи в шрамах, на руки вообще нельзя смотреть. И тотчас по приезде кончатся услужливость и бисквиты в золотых пакетиках — в шоколаде, и я отлечу после сильной пощечины прямо к дувалу, кажется мне, и стукнусь головой о многовековую плиту с узорами, чадра намокнет, а солнце будет припекать. Он жжет зажигалкой плохо выбритые причинные места молодых жен, а старые только и делают, что валяются по двору и воруют виски, потому что ведь старым — 40, и ...ться хочется гораздо сильнее, чем мести двор. Толстые жены в черных халатах ритмично трясутся над метлами, мешалками, у тамдыров, у ванн, и — нет-нет — чин-чин — да и займутся рукоблудием.

И я запеваю танго.
Как услышу слово Родина —
сразу в памяти встает.

И вот уж еду я мимо толстого тополя, мимо железной галочки МОСКВА, все конструкции меня радуют, и сладкими пальцами я тяну бумажку помельче, чтобы не задушил меня на Мичуринском проспекте мудреный таксист — пожилой говнюк, молодой разведчик денег, а впрочем — почему бы меня не задушить? А? А? А?!!!

В машине — свое солнце.

ЗАБОР И ГОРЫ

Монахини рассказ
О прежней жизни при дворе.
Кругом глубокий снег.

Басё

За длинным каменным забором была необозримая, бесконечная свалка, как другой мир, и из щелей в заборе часто выходили наши алкоголики, разыскав там достаточное количество бутылок. Я никогда не была *по ту сторону* наяву, но теперь я была там. Огромный пустырь, весь состоящий из ненужного: композиции из тряпок, старых шпал, бревен — в преддверии киевской железной дороги; там можно было сесть на пустое ведро и смотреть на засохшее дерево. Я не знаю, откуда у меня взялось это сочетание: 11 апреля — день Великого Сухого Дерева. Там были камни, доски, трава, явственный запах земли и миллионы запахов той жизни. Еще — пакля, которая вьется на ветру, что-то вьющееся и на дереве. Я ждала большого черного пса, он приходил, мы разговаривали, потом он начинал скулить, и я понимала, что ему нужно. За этим занятием нас заставлял алкоголик, развевающийся на ветру тем, что было шарфом, гнал пса, и начиналось все сначала: на двух бревнах, близко к земле.

— Папа, папа, папа. — Я ищу цинковые белила: ищу и не нахожу.

Занудную песню об изнасиловании заглушал ветер:
«Во-гау-у-у! Во-гау-у-у!»

Отдалась ему не по-доброму —
Разорвал он на мне бельце...

«Ууууу — Вогаууууу!»

И, смеясь над тошшими ребрами,
Изувечил нагайкой лицо.

Песня была шарманная, наша, и пелась от стола к столу шарманщиком Рублевым Петром и девкой без имени, но в шляпе с угасшими маргаритками. Песне

этой верили все, хотя было ясно, что никакого бельца на девке не было и не могло быть, а было две кофты, поданные порты, ботинки-ковылялки, юбка без крахмалу и сборок, об которую она вытирала пальцы, когда ее кормили в уплату масляным пирожком, но это было редко, а больше потчевали угрозами сдать и участок, если она не уберется из номера — утром, быстро, в дождь.

Она сходила по деревянной лестнице, делая пред половым счастливое лицо и будто бы шурша бумажками, уложенными на груди. Ей разрешали посидеть на кухне, где рано утром выставлялись противни с сырыми пирожками, начинали разжигать плиты, поэтому было дымно, искусственно полусветло и полусонно-добро. Наконец находилась бутылка по имени Вчерашняя, все испивали и двигались уже бессмысленно быстро: опрометью стригли капусту, проверяли пирожки, стремительно тыкали бритвенно-острым ножом мясо. Она мешала здесь одна со своей папиросой и двойной заботой: как прикинуться веселой и куда пойти.

Она ходила стирать ветхие кальсоны к солдатам, но не сдержалась и отдалась почти целому батальону. С тех пор они ждали ее, чтобы выдумать еще какую-нибудь каверзу, вроде всеобщего мочеиспускания на бедняжку: она не в силах была встать с пола.

Сырые вокзалы и неотопленные сапожные будки были похожи на цветы ее шляпы, а цветы были похожи на старую композицию одного художника, которую он не мог разобрать 15 лет: каменный бублик, деревенская крынка с отколотым краем и бронхиально шуршащие астры — черные у начала лепестков и высветляющиеся постепенно к краю до белизны — от света и пепла.

В сапожной будке ей подали кофе.

В каждой таверне она спрашивала себе горькой селедки с черным хлебом и пива низшего качества: без наклейки вовсе или с остаточным безымянным клочком. Поедая пятую за утро порцию селедки, она удивилась, что все еще голодна. Закашлявшись от крепчайшей Ambassador'ы, она почувствовала по сторонам брюха напряженную маленькую боль и осознала, что опять в положении. Чтоб вы провалились все — Пьер, Поль, Сезанн, Лотрек, Кружкин, Шварц и Негер! На серой от сельди газете она считала циклы. Двадцать

пятого брюмера был аншлаг и также второго термидора, и в промежутках — плыли, плыли, плыли. Кто-то из них имел сперму с запахом дорогого одеколона. За 32 года — 5 детей, а ты попробуй ухитрись за 23 — троих. Мир полон спермы и шуток.

Сарра Бергман, очень худенькая, с небольшими серыми глазами, когда ей прожигали сигаретой колготки, переходила на идиш и советовала девке вылить (влисть) бутылку водки вагинально. «Уж лучше я ее выпью, — думала она. — Закажу и выпью. А Саррочке-курице — пива, продам обои, пойду к старухе, и она вынет вымытой в лохани кочергой все, чего у меня там на...лось. А потом я завяжу, пойду на курсы шитья, заведу книгу о пище и буду мешать ее ложкой...»

Среди местных разговоров: «У меня папка моряк», «А у меня — военный» — странно звучало мое хвастовство: «А мы с папкой ...емся».

Он разыскался поздно, после смерти, позвонил по пьяни, как бывало, вызвал меня через девочку (а их у него было очень много); он был веселенький, длинно-волосый, широкогрудый, с намеченной уютной лысинкой. Ожидал увидеть тоненькую девочку с куклой, с мольбертом, но увидел шляпу с угасшими маргаритками и затих, протрезвел.

— Что это с тобой?

— Это от радиации.

С родным и понятным мазохизмом он выслушивал про гарнизоны, гостиницы, подъезды, и перебиваниями своими сюжетно усугублял ситуацию. Мы смеялись, медленно раздвигая руками хлам кровати, он понял, что мне уже можно налить, и немало. Я смотрела навзрыд картины и трогала вещи, пропитанные его чувством. Он посомневался, нельзя ли чем-нибудь от меня заразиться, но счел это вторичным. Нежные и теплые ночи сменяли одна другую. Утром же, одинаково злые и похмельные, мы шли в разные стороны, но вскоре он огибал забор и возвращался, когда я была уже достаточно далеко, и шел тем же путем.

...Потом я увидела у него своих братьев: Ваню и Вову. Мы так же сладко потрахались. Они были красивые — такие же широкогрудые, с родными кургузыми пальчиками, и матери их не смогли размыть родной романовской породы. Папа подпрыгивал в летних хлопчатобумажных трусах с выцветшими парусами, держа в одной руке бокал с водкой, а в другой — кусок сахара, и говорил: «Ну, детка, кто сегодня первый — я?». Я старалась оставить ребят на потом, чтобы успеть исцеловать этот немислимой мягкости смуглый живот и то волшебство, что покоилось за выцветшей резинкой. Но вскоре их увезли куда-то, а я продолжала ходить за бетонный забор, беременная и сентиментальная, и видела там то туманный пейзаж Кутаиси, то горы, сосредоточенно резала стеклами руки, залезала на бетонные круги, стараясь разглядеть номер проходящего поезда, стала много читать. Потом прогнала Салавата, Тимура, Дато, Савву Шапкина, защитила диссертацию, стала профессором, а папа больше не приходил, ибо понял, что сделал для меня все возможное.

— Кем была монахиня до подорожания? — часто спрашивали меня в Институте мировой литературы.

— Проституткой, — скромно отвечала я.

— Но почему же?

— Это великая сила искусства — видеть и знать, как душный пар размывает силуэты и углубляет ранние тени, как пылятся по обочинам розы, продаваемые в бутылках «Алазанской долины» — старых и широких оплетенных пластмассовой вязью бутылках, как густеет вечер и пенится молодость, и вместе с серпантинном — каплями виноградного сока в пыли — уходит жизнь.

ВАННАЯ

— А! Мы, кажется, переборщили — градусов пятьдесят, не меньше. Спиртус-спиртус. Ты ешь капусту? Это метафора? Ешь. — Скажи: еще. Еще-е-е? Эротика — плохо пахнет. А? Не то? Это метафора? Я не хочу скомпрометировать тебя, но ты полное говно. Особен-

но, когда говоришь о любви. — Орга-а-а-зм? Что такое? — Скажи — да, я хочу кофе, мерзкого растворимого кофе десятилетней давности — с *комками*. Что ты шепчешь, малыш? Узкие бедра, узкое, непроходимое, годами стонущее влагалище. Первый седой волос — там. Самый большой осколок — там.

А лет мне было двадцать шесть, когда я подорвалась на mine. Во все дожди болела изувеченная нога — «распаханный пах», я видела себя по-прежнему с висящей на сухожилии рукой (тогда она еще не действовала) — я видела отчетливо все: вплоть до пороховых синих точек, плотно укрепившихся под кожей; я знаю, где лежал мой серый глаз: он лежал под желтым карандашом. И когда осколок из скулы полез через глаз, и утром лицо было затоплено кровью, надо было держаться нормально и пройти до госпиталя так, чтобы никто не заметил, что с каждым шагом ты слепнешь. Профессор Сахей Ямагути сказал мне: вы будете мною довольны. Он оставил мне только странность взгляда и второй глаз. Русские врачи говорили что-то о воспалении головного мозга и трех месяцах жизни. Утренние перевязки стали моей косметикой. Моему жениху, Леве Бруштейну, я написала земляными чернилами: «Лев, я вышла замуж». Не надо ничего. — Он бросился под танк в тоскливом ужасе, даже никого не убив. — Нет! Он подбил танк! Трусливый волчонок скулил, пока ему не принесли спирту. Все они казались мне лёвами. Сволочи-фашисты, заботливо оставив кучу еды, уходили. — Нет! Они ее бросили! Еду! — Они изолировали сыпнотифозных. — Нет! Бросили в лесу! Все вирусные лисы метались, прижимая термометры костлявыми подмышками. Их огненные задние ноги — круг и палка — были вскинута ружьями. Вот и кончилась война. — Как я узнаю вас? — В каждом костыле у меня будет воткнуто по ромашке. Длинными весенними утрами в лаборатории я кропотливо делала посевы из внутренних органов животных, и что-то сладко дрожало у меня там: там. Пустота ждала своего наполнителя. Сначала мне было трудно чувствовать что-либо, кроме боли. Утром я в своей комнате-лаборатории промакивала лицо тряпкой, брала сигарету и шоколад, потом — почти до четырех — опыты, записи, папки. Все эти туалеты, кудри, букли, — как мне было

вспомнить все это — со своим мятым черепом и избирательно отрастающими волосами. Сквозь плотные байковые шаровары нельзя было почувствовать запаха — это я знаю точно. Странное воспоминание пронзало меня, когда я надевала прорезиненную маску: где был этот жест — скрежет резины и натягивание... В немецком фильме. Итак, я работала, шаровары прели, от сигарет я потела. Новый штамм! О, эти плоскости новых структур. Лаборатория связывалась с кабинетом стеклянным окошечком. Одичав в своем противогазе, я заглянула в него однажды, думая о формулировке. В кабинете стоял человек, страшно похожий на Леву, — это порода, я знаю — не говори — ведь есть порода равных соотношений крови, скажем так. Квотеры, кворумы. Я думала: ну вот. Есть чашки Петри, есть шоколад, завивать мне нечего, есть цветочная тушь, какие-то каблучные старорежимные лапти, бирюзовое платье, трофейные чулки, одеколон «Чумичка», ногти я обкусую все, а на большом пальце — подпилю, пластинка будет «Чардеш» — ВЕДЬ Я МОГУ ОТОРВАТЬСЯ, МАЛЫШ?! Только бы он не оказался дистрофической галлюцинацией. И я сняла маску, протерла не только руки, но и зачем-то лицо спиртом и, стараясь не хромать, вышла в кабинет. Я вспомнила о китайской рисовой пудре и помаде «Подруга». Вот и шрамы запудрю. Злым и хриплым от сердцебиения голосом я сказала:

— Кто вы?

— Профессор Завьялов, директор Ропчинского института.

Седой, красивый, ты такой же Завьялов, как я Плисецкая. Неважно. Это было двойное чудо: я мечтала об этом институте. Как? Что? Это счастье? Ноги подмокли с внутренней стороны. Из подмышек просто лило. Нос дергался. Руки отнимались. «Господи, дай мне силы, — сказала я, — я никому не только не делала, но и не желала зла; когда кидаешь западло, ведь не думаешь, что это грех. Ну пришила я четырех мудаков, что они два часа пилили дрова, так ведь это — шевелиться надо — война!» Война. И бог послушал меня — с тех

пор я верю. Не знаю во что — но верю. Может быть, это солнце.

— Кто вы?

— Профессор Завьялов.

Только у нас может быть такое: нашел, вошел, стал просматривать книги. Профессор — и ша, бубенчики. От меня очень пахло спиртом. Мне показалось, что он покраснел нижней частью лица. И вдруг глаза у него увеличились вдвое — из безучастных щелочек в желтых веках они стали огромными, темными и вспыхнули. Это была вспышка, смысл которой был мною уже забыт.

— Да? — Да.

— Подождите, я должна принять душ.

В залепленном пыльном зеркале я рассмотрела свои малиновые шрамы, выпуклости, вогнутости, умело сочетаемые, ключицы, непонятный мягко-треугольный пирожок живота между торчащими костями таза. Я кинулась в тазы, как парашютист. Я даже воспалилась от мытья; английским припасаемым мылом терла здоровую ногу, подбривала ненужные волосы и подмышки, бритвой сняла ороговевшую кожу ступней, зачем-то проспирцевалась клизмочкой для поносных собак, прикинула, что он будет потолще клизмочки, решила, как возбудиться, наплескала на плечи одеколон (сколько я мылась? за все эти восемь лет — первый раз нормально — час? два?), залезала мыльным пальцем в пупок, думала, как высохнуть волосам, била, била себя для румянца; подняла за соски отвисшую грудь: соски остались стоять, а грудь упала; смочила водой наиболее сальные волосы, плюхнула на пробор одеколону, и все твердила:

Жить надо легче
жить надо проще
и почему я такая косая
воť потому обалдев над Ропшей
презерватив отовсюду свисает.

Сверху одеколону на волосы я набросала пудры, ибо они продолжали быть сальными, потом сбрила все волосы совсем — там (чего там осталось-то?) — я думала, это по-светски. Нет, не ожидала я увидеть у себя такого пухлого лобка и приятно загордилась его пухлотой. Я до того была чистая, что даже шуршала. Того,

что меня обычно возбуждало, не стало. Я завершила туалет пудрой, тушью, помадой и крепкой одеколонной оплеухой. Волнение не прекращалось. — Что же я стою, как шлюха! Надо выпить одеколону! — И я сделала это. Портянки я спрятала в отдушину ванны, на предмет если он захочет помыться, влезла в валенки розовыми ногами (забыла, забыла про каблуки, и все то платье, и чулки были в кабинете), надела постылые сырые шаровары (и кое-что теперь почуяла) и единственную полукружевную сорочку, сохнущую символом, заправила в них; лифчик давно стал синим под мышками. Я расстегнула мыслимое число пуговиц, надела задымленный китель. Грудь плачевно встряхивалась при каждом движении. Я стояла у ванной двери, спиной к зеркалу; за мной был пар, капель, сплошная одеколонность, холостое расплющенное каторжное десятилетие (только пленный березовый немец-дровокол, которому я завязала яйца веревочкой и пихалась с ним целый день, от этого умер), там где-то разорвалась мина, там я была голодной сутками, там я каждый день наматывала по 40 — 50 километров в рваных сапогах, и вот все кончилось. Ровный свет, мой суженый, спирт, вдоволь шоколаду, детки мои, ученая степень. За дверью ванны была новая жизнь. И я скинула крючок.

В руках у суженого была толстая книга по микробиологии, в которой я прятала свои исследовательские протоколы. Он пошел на меня, и облако злости тащилось за ним, как пар шницеля. «Это что ж такое?! В военные годы — такой эксперимент — это под ревтрибунал подойдет! Это лихачество в науке! У вас что, научный порыв? Дура!»

Одеколон, портянки, слова любви и вода для спирта. Я снова облачилась в грязный тюремный панцирь и, глядя в пол, принялась криво излагать цель эксперимента. Одеколон этому способствовал.

— Все нетипично, — говорила я, — субординация вопросов, несколько косвенных невкусных намеков, углый протест, пасквилянты отмечают полвека подвига.

— Хорошо, — он приятно пожелтел. — Вы будете работать в моем институте в экспериментальной группе. Ваши материалы я заберу и после войны зачислю вас в штат.

Видимо, я никогда не нравилась ему как женщина. Ну что, капусты или чаю?

Я вспоминаю себя в маленьких темных подвалах его института. Три раза по его распоряжению я искусственно была заражена чумой. Бог любит троицу. Три раза я должна была сдохнуть (там; а вообще — тридцать три) и не сдохла. Они не лечили меня, держали в сырости и темноте, питание было плохое, завелись вши, но мой организм после мины сделался железным. Был проект опыта «Итоги совокупления с зараженной собакой». Мне довольно логично объяснили смысл эксперимента, и я согласилась. Но я ушла оттуда в 46-м году, как по звонку: ведь он меня хотел отправить на тот свет, мой Левушка, и я почувствовала, что он мне заворачивает очередную поганку. Странно, за что я его любила? За эти ли узкие глаза, за эту ли великую нацию (что теперь проблематично), за высокий рост, за цепкий злой ум, или просто именно с его появлением я снова почувствовала себя женщиной и не могла забыть этого счастья сборов и мытья, которое причинил мне он? Ну ладно, уже поздно, то есть это не то слово; теперь мне близок образ Бабы Яги; во-первых, Яго — это, это каждый из нас, старая каторжанка, уже вольная, шебуршит по мокрому делу потихоньку, но сколько в ней такта!

Я закончу, уже пора. Левушка мой был очень непрост. После войны я получила от него телеграмму: «Ваши материалы погибли при эвакуации». Нормально. У меня всегда было материалов — за...ись. Я подумала: может быть, он просит прощения? Может быть, он придет жить ко мне? Но нет. Я защитилась на другом материале — безусловно, худшем. А через десять лет в Москве профессор Завьялов защитил диссертацию на моем старом «погибшем» материале¹.

Не помню именной, но в твоей звукописи это зна-

¹ Твой вопрос: зачем профессору защищать диссертацию. Да. Он не был профессором. Он был пустынным сусликом; мусорщиком в опустевшем Тун-Ляо, и в огромные коробки, вырываемые из рук ветром, сгребал кости, а его родители, бежавшие в 18-м году от тульской очаговой чумы, умерли от нее же в Китае. Всегда один, он слонялся между веревками с бумажными цветами, так и не зная ни слова по-китайски, пока цветочник Мао не показал ему знаками: убери мусор, получишь пожрать. Потом он ел немислимо острый рис руками и вспоминал маму. Цветочник, думая, что слезы — от приправы, прибежал с миской белейшего, неиспакощенного риса. Так он остался там.

чило бы: «Чума в Китае». А как еще он мог поступить, если я выжила даже после введения десятикратной дозы? Я не виновата. В огромном московском конференц-зале мы встретились через пятнадцать лет. Я подошла после защиты, поздравила, вся в орденах и прочих аксельбантах. Он меня не узнал: я была седая, накачала грудь капустой, появились шмотки и книги (мои) — он не узнал.

— Извините, — сказала я, — а кто из животных хранитель чумы в Китае?

Глаза его вскрылись на минуту, как рана — кровавая, черная:

— Если я не ошибаюсь — страусы, — сказал он.

СОЧИНЕНИЕ

**ученика 10-го класса «Б» 91-й школы АПН
Королькова Саши на тему «Как я провел лето»**

В саду ростральных колонн — тыща. Они пригибаются к земле. Сад — глухой, островной, совсем не острый, а — теплый, протертый, суповой.

Есть несколько таких садов, много есть: один у пневмонического отхаркивающего диспансера, другой — у Люблино: меж мебельным и сладким магазином «Саллах». Я — мальчик в черном, у меня украли штаны. Я ходил по саду, думал про Олешу, думал про Градскую. Знал: это будет сегодня; с самого утра: проснулся, как всегда, с жуткой эрекцией: я иногда боюсь моего джокера в стоячем положении: он поворачивается ко мне лицом, как короткий змей, требует чего-то, заставляет меня ходить без трусов, целыми днями лежать в постели и покачиваться вперед-назад, он сделал мои бедра негритянки-подвижными. Я танцую, борюсь с ним — мне кажется, он не устает никогда и не падает полностью никогда; пару раз я увидел вместо него что-то женское, как увядший кактус — когда была температура. Я думаю, что весь я не умру: сразу весь; он проживет дольше всех: только побледнеет. Или как у Платонова: убили красноармейца, а у него — поллюция. Возможно, я его распустил, но мне не хотелось

бы чернышевского варианта. Мне вообще хотелось бы покоя; не знаю, что мне выбрать: старческий профиль семнадцатилетнего Мандельштама или младенческий фас (ан фас) — потенциально-пузырепускательный — сорокалетнего. И у меня так; поэтому в моем внутреннем сорокалетье я выбрал себе сорокалетнюю Градскую: чуткую работницу больницы. Она долго таскала меня за нос, лечила, неоправданно долго водила ваткой по попе, изъязвилась вся по поводу моей мнительности, но были моменты — она обмякала; эта сорокалетняя растерянность ей так к лицу: «Не знаешь, что заварить от поноса?». Я осторожно осведомился, давно ли это у нее, и тут же был смят бессвязной (по-женски) тирадой об отсутствии воспитания и, как следствие, наличии многих болезней. Эх, ворона ты крашенная, медсестра ты вокзальная, наладчица шин, любительница зайти в общественный туалет. Зол я бываю на всех и всегда: не по годам зол, не по средствам, не по положению.

Что до логики — я и сам ею никогда не обладал в полном объеме: в пределах петтинга — да, не более. Оттого я и зол на всех, что — на себя (по нарцисстическому типу). Поэтому я сильно отклонился. Итак, утро — зеленое, солнечное, х... знает какое. Я иду за рецептами к Градской — я, семнадцатилетний мокрый Мандельштам, со всем набором давно не стриженного волчонка: черная футболка, глаза, волосы повились от болотной воды, крест облез и тошнит от предчувствия, что сегодня я лишу ее сорокалетней целки. Люблю ее и ее коммунистические брошюрки¹; жар полыхает прямо из футболки, ну и так далее — наколки, креолки, картины, корзины — вся пыльная снедь у мебельного магазина окружает своих хозяев.

А какой все же стандарт! Есть интонации желаяния, на которые не провибрировать мог только Чернышевский. Есть множители: время, дразнилки, ее постепенное распечатывание, и вот мы повязаны... да кто был повязан?! Я что ли? Ха! Письку в рот! Предрассудки! И еще: чем больше патологии, тем крепче (какой-то ее анамнестический афоризм). Она — с ярко выраженным мужским началом, я — с неярко выраженным

¹ Уже полгода.

женским (типичным для неврастеника). Итак, шахматность положения очевидна.

Случилось же по дороге вот что. Я решил на дороге в больницу скупнуться в гадкой люблинской реке, ибо вышел о...ительно рано, ибо знал — вы...ся! Ну и, значит, снял, значит, штаны и, значит, сумку, и поболтался у буйка, и вылез, и, кладку одежд оставив у кромки, вошел в тот Сад в трусах в мокрых. Я сразу понял, что он непотребно волшебный, и знал другим ухом, что сейчас у меня одежду ...дят, но выйти из сада не мог. Как хорошо было в саду одному! Я сразу вспомнил синие груши Олеси (не подумайте плохого!), волшебство густого воздуха, летающих тигров, и все озарилось для меня тем многоцветьем любви, которое там описано. И так я задыхался, смеялся, вдыхал, садился, катался и все такое делал приятное и тихо, про себя, говорил слова. Наконец вышел из зарослей, ибо захолодало. Глядь — одежонка — ёк, сумка — ёк, ни ключей, ни бабок. Какой х... польстился на железный рубль и рваные штаны? Наш, советский. Ну, и я как-то почему-то думаю: вот класс! Трусы у меня сошли за шорты, футболка черная, мокрая, опорки оставили (наверно, у них были валенки), и я вышел на шоссе. Мне это было в пику: теперь Градская будет носиться по отделению мне за штанами, а я прикинусь мокрым и холодным сиротой — любимый имидж! — и, конечно, от жалости до любви — один шаг.

Но обманулся. Она мне не поверила и начала мне рассказывать, как я тащился в трусах из самого дома, а потом обвалился в луже и придумал эту историю — «благо фигура у тебя хорошая, девушки смотреть будут». Так, перемежая комплименты с оскорблениями, она меня начинала медленно хотеть (или быстро). Потому что она меня уже ...ла в словесном эквиваленте — это понятно каждому: там поласкает, там укусит.

— Значит, вы не дадите мне штанов (мандавошка дряхлая)?

— А ты думал, я приглашу тебя домой, в теплую ванночку, и спинку потру, и рюмку поднесу, и спать с собой уложу?

Под халатом у нее была мужская майка по случаю жары.

— Ну, тогда извините за беспокойство.

— Пстой! Вот рубль.

— На чай! — и бух его в кружку с кофе — и по руке — вверх — вверх — вверх — вверх — — — — нет, ей не больше двадцати...

Надо же — вкуса ее не помню. Помню, своим ключом открыла кабинет сестра и принесла ей торт с кулинарного конкурса медсестер. Я в это время был в шкафу — смотрел пособия.

— Что это вы, Лидия Павловна, безо всего?

— Жарко, милая.

Подростковая комплекция Градской причудливо соседствовала с тремором рук и головы, седые вихры — с медными, обезьянья юношеская гибкость со старческим шарканьем при далеко отставленной (отставной) заднице; все было зыбко, взбалмошно, то сливочно, то говенно, то глупо, то умно — как погода Подмосковья.

Несколько постоянных качеств:

— уважить всех, а потом всех обложить

— спазмы сосудов горла

— стремление пересказывать научно популярные передачи, придавая им заостренно-детективную или событийно-психологическую форму содержания плюс пару эпизодов из своей жизни, ласково вкрапленных (каплями масла) в биографию Сирано де Бержерака (причем интересно, что потом так и оказывалось: фантазии становились малоизвестными научными фактами, а то и теориями с крупными названиями), и изо всей этой цепи малоуловимых превращений (фантазия — факт — фантазия' — факт' — etc.) можно было понять только одно: она обладала даром пророка-спринтера, если включала то, что надо и когда надо. Постоянной чертой ее было также непостоянство, столь филигранно исполненное, что казалось постоянством.

Через сутки я от нее вышел в голубых брюках медбрата: глупым, безмозглым суперменом. Счастлив был бессловесно — как бабочка, стебелек какой, как глухонемой крот — ворсистый несколько.

А ночью меня настиг мандельштамовский приступ астмы и понял: повязан уже по рукам и ногам. Хоть на месяц — а — скручен. Пока чувство не переросло в поединок, надо сворачивать декорации. И свернул, ко-

нечно, через какое-то время. Счастье — бесцветное и безмозглое, в нем вырубашься, и оно не для настоящего мужика. Для меня, например, остался Сад — предчувствие, радость обокражи; любовь — средство, а не цель, и это, как его, красиво кидать баб по всему свету, где индонезийку, где черненькую, где монголочку — как бусы, чтоб они остались в плане планеты. Я ратую за масштаб, экологию и популяцию. Она тогда сказала мне: если ты *сейчас* такой — что же будет лет через десять — и вытерлась мужским клетчатым платком.

КАПИТАН

1

Я... любил капитана Снегирева.

Да, я любил капитана Снегирева.

Между этими равнозначными утверждениями обычно умещается стремительный хоровод воспоминаний, сомнений, уточнений, чем-то напоминающий неразбериху и сумбурность первого, карантинного месяца пребывания в армии, каким он остался в памяти.

Мое сопротивление новому образу жизни было весьма пассивным с самого начала и, к счастью, довольно скоро угасло, но перешло в свою противоположность не сразу — между ними легла мертвая зона безразличия, из которого меня и вывело появление командира нашей роты гвардии капитана Снегирева, вернувшегося в часть после продолжительного лечения.

Задолго до его возвращения нас часто — будь то отправка в караул или вечерняя проверка — пугали им наши прапорщики: мол, ничего-ничего, все это только цветочки, вот вернется командир роты, тогда-то вы вззоете. Старослужащие вздохами да размеренными кивками подтверждали реальность угрозы, и я, помнится, как и все замордованные «салаги», внутренне сжимался, трепетал при одном только упоминании фамилии. Убирая ночами туалет, я опять-таки нередко слышал, как в смежной курилке «деды» перед сном устало матерят капитана, жалуясь друг другу, что это

не человек, а автомат, что устав для него дороже матери и т. д.

У меня был хороший почерк, не красивый, а просто четкий, разборчивый — хороший, и если я не был в тот день в карауле, то после завтрака, минуя развод на работы или строевые занятия, шел в каптерку к старшине, где до самого вечера, с перерывом на обед, переписывал ведомости, надписывал таблички и заполнял какие-то карточки. В один из таких дней и прибыл наконец капитан Снегирев. Помню, как он первый раз вошел в каптерку и старшина бросился навстречу; кажется, они даже обнялись. «Ну вот, — улыбаясь говорил он, когда мы вновь остались вдвоем, — теперь в роте будет порядку...»

Через неделю я покинул пропахшую кожей, мылом и гуталином кладовую и перебрался в канцелярию, где получил задание переписывать конспекты для политзанятий и где мог теперь каждый день на протяжении полутора лет видеть капитана Снегирева.

Среднего роста (почти одного со мной), совершенно невыразительной наружности (на гражданке такие лица с трудом запоминаются), всегда подтянутый, всегда в одном и том же, ровном расположении духа (я ни разу не видел его смеющимся: лишь едва подрагивали тонкие губы), он резко отличался не только от всех наших ротных начальников: замполита, прапорщиков и сержантской шушеры, но и от прочих офицеров батальона. Впрочем, был один человек подстать моему капитану — упомянутый старшина. Мне не хочется называть его настоящей фамилии, как и фамилии капитана, а придумать другую, похожую на его азиатскую, я не берусь. Между ними не было абсолютно никакого сходства, ни внутреннего (старшина был себе на уме, плутоват), ни тем более внешнего, но некий отсвет вневременности, что ли, печать которой носил на себе капитан Снегирев, этот, возможно, нечаянный, заблудившийся рефлекс вечности, лежал на темном скуластом лице старшины, и если нам случалось оказываться втроем — а такие восхитительные мгновения были! — я ощущал столь непоколебимую полноту бытия, что за самую мизерную долю подобной минуты, не раздумывая, отдал бы всю свою жизнь (цена, как теперь выясняется, совсем невысокая). И еще одно

дополнение несколько мистического свойства касательно старшины: позже мне казалось, что в первые, самые трудные недели его грубая заземленность служила как бы твердым обещанием скорого появления капитана, и обещание это не только помогало переносить нескончаемые наряды, недосыпания, издевательства и побои «стариков», но и узнать в капитане Снегиреве капитана Снегирева.

2

Сказать, что он был «установником», значит не сказать ничего, но только за такового его все и принимали, в своем безумном, губительном опьянении хаосом не желая понять, что капитан прежде всего был хоть и основной, но все-таки частью упраздняющего время порядка. Кстати говоря, никакого ужесточения с его прибытием не появилось, все шло по-старому, но, видимо, в самый воздух от него исходило нечто такое, что помимо воли заставляло подтягиваться окружающих, а потом его же ругать за собственную неспособность сопротивляться. «Шкура», «сволочь», — не один раз слышал я и от солдат, и от офицеров гарнизона, и только поражался глупости сквернословов.

Да что уж там говорить о других, если даже для меня капитан Снегирев довольно продолжительное время оставался всего лишь образцовым офицером и мне по неопытности представлялось: достаточно лишь стать образцовым рядовым, чтобы сделаться причастным тому, в чем я еще не отдавал себе отчета. Руководимый именно этим нехитрым умозаключением, я в один из дней начала первой весны, будучи дневальным, доложил капитану, что нынешней ночью шестеро старослужащих находились в самовольной отлучке — поступок (не сам по себе, а в силу побудивших к нему причин) наивный и довольно рискованный. Всем шестерым были объявлены наряды вне очереди, которые они, разумеется, и не думали отрабатывать, что опять же опровергает выдумки насчет строгости. Ночью меня подняли с кровати и отвели в курилку — обычное место для экзекуций, — где долго и жестоко били. И напрасно, заливаясь кровью, я говорил им, что они сами лишают себя возможности, может быть единственной,

неповторимой, хоть раз в жизни прочувствовать эту жизнь, — они были отвратительно бесчувственны и глухи к моим взываниям. Утром я в надлежащей форме все изложил капитану, и еще раз крутанулось то же колесо: наряды вне очереди, ярко освещенная ночная курилка, доклад капитану; наряды вне очереди... В роте меня и раньше считали немного помешанным (как и капитана!), а тут и вовсе стали избегать, кое-кто даже побаивался, но мне было в высшей степени наплевать на этот негласный бойкот. Еще меньше переживаний у меня вызывало презрение, которое частенько выказывали мне офицеры (о, если бы я был заурядным стукачом, тогда другое дело...), — я-то невзлюбил их гораздо раньше и всего-навсего за нелепо характерные морды, с которыми место скорее на сцене, на экране, в обыденной жизни, наконец, — но никак уж не в армии. Только капитан Снегирев продолжал сохранять прежнее, то есть уставное, отношение ко мне, за что я и был ему безмерно благодарен, хотя, если говорить начистоту, до самого последнего дня службы не смог избавиться от приступов слабости, во время которых его показное безразличие ввергало меня в весьма горькое уныние.

Ни разу больше я не прибегал к столь сильнодействующим средствам, и упомянутое происшествие, пожалуй, единственное, поддающееся более или менее связному описанию. И все же именно оно помогло мне понять поверхностность и тщету подобных предприятий, и главное — повернуло лицом к себе.

3

Вероятно, в самой природе блаженства заключена невозможность пересказа, мучительная тугая немота, и утверждение «мысль изреченная есть ложь», может быть, более всего подходит для этого случая.

Мне достаточно вспомнить: грузные чешуйчатые шишки над четырехзвездным плечом.

Мне — достаточно.

Можно прибавить сюда: капитанскую голубовато-серую шапку в тонкой искрящейся пыли, свеваемой ветерком с веток; обширное черное небо над нами; дорожку в снегу, протоптанную моим хождением по

посту; круг света, сломанный углом склада; красными аршинными буквами по белому кирпичу надпись на стене под зарешеченными окнами «НЕ КУРИТЬ!»; вереницу уходящих в лес рыжих лампочек вдоль колючей проволоки... — и еще что-нибудь, и еще, но — приближаюсь я или удаляюсь от того, что хотел бы передать?..

Каждому служившему в армии известны утренние безрадостные минуты возвращения в опостылевшую обыденность из окунувшего с головой в счастье сна. Ничего подобного за все полтора года я ни разу не испытал, потому что действительность — можете верить, можете нет — ни в чем не уступала самому обольстительному видению, а порой превосходила его. И все-таки меня, как и всякого неофита, едва ли не до самого увольнения в запас часто томило ощущение собственной недостаточности, нудило выискивать все новые и новые доказательства родственности с окружающим; бывало, окинув взглядом казарму, я с сожалением отмечал, что еще недостаточно слит с этой обстановкой, что голос мой по-прежнему фальшивит, выбивается из гармоничной переключки примет сурового армейского быта: темно-зеленые панели, до блеска натертый мастикой пол, по нитке выровненные кровати, с помощью табуреток отбитые рубчики на одеялах, еловые лапы за окнами, аккуратно нагруженные снегом, — все казалось крупнее меня, значительней, достойней... Одной из попыток к сближению были мои косметические упражнения. У меня довольно бледный цвет лица, который, как мне представлялось, диссонировал с общим настроением, и поэтому по утрам, перед завтраком, я натирал щеки снегом или жесткой полкой шинели. Позже стал использовать для этой цели купленную в гарнизонном универмаге губную помаду. Помню свою радость, когда через некоторое время я обнаружил, что у моего капитана едва-едва, но достаточно для взыскательного взгляда, подведены глаза. Признаюсь, не сразу сообразил, что это не только знак участия ко мне и подтверждение нашей связанности, но и предупреждение — я, кажется, немного пережал в своем рвении, и капитан Снегирев со свойственным ему безошибочным чутьем и тактом не только заметил

и восстановил нарушенное равновесие, но и предостерег от возможных переборов в дальнейшем.

Еще до этого по батальону поползли отвратительные сплетни, на свой, особый лад толковавшие наши отношения с капитаном. Совершенно пустым занятием было бы опровергать их: любому непредвзятому, свободному от предрассудков, более или менее тонко чувствующему очевидцу, которого, конечно, не существовало, бросилось бы в глаза ритуальное значение происходящего (строгость лиц участников, сухая отчетливость команд), являвшего собой кульминацию отношений командир — подчиненный. А того, о чем трепались после отбоя, что имели в виду, брезгливо косясь в мою сторону, и над чем ржали в курилках, разумеется, не было.

Слава Богу, я так никогда и не узнал, каким был капитан Снегирев в быту (говорили: женат, двое детей) и вообще вне службы, а когда однажды меня отправили оповестить его по тревоге, я больше всего на свете боялся, что вот сейчас приоткроется какая-то ненужная мне несовершенная изнанка его жизни. На третьем этаже подъезда, чистота которого вполне могла соперничать с казарменной, я остановился, одернул шинель, поправил шапку, подтянул ремень, окинул взглядом начищенные сапоги в снежных мысках и крепких, будто впаянных в кирзу каплях влаги, и только тогда позвонил. Каков же был мой восторг, когда тотчас же распахнулась дверь и на выложенную двухцветной плиткой площадку шагнул в полевой форме мой кумир.

— Здравия желаю, товарищ капитан! — пружинисто вскинул я к виску ладонь.

Он, в свою очередь, отдал честь и сказал:

— Докладывайте, что у вас.

— Рота поднята по тревоге, товарищ капитан.

— Понял. Буду через десять минут. Отправляйтесь в казарму.

— Есть.

Можно возразить, мол, конечно, он просто знал, ваш капитан, о тревоге заранее, потому и был готов. Ну, разумеется, знал, тревоги-то учебные, но мне что за дело до этого!.. Какое мне дело, что мой капитан был, например, скверно образован, недалеко, нередко при мне с серьезной похвалой отзывался о каких-то

пошлейших фильмах и книгах, — все это мелочи, не имеющие никакого самостоятельного значения, некий довесок, брошенный ему природой, а может быть, и жирная черта, подчеркивающая его главные достоинства.

4

Вот уже четвертый год я работаю в этой котельной при филармонии. Распорядок — «сутки через трое» — отдаленно напоминает армейский: через день на ремешок; да и в самом интерьере, в коленчатых трубах, в многочисленных инструкциях на случай пожара, ядерной бомбардировки и прочего, которыми увешаны стены, есть что-то казарменное. Я не искал работы с таким расчетом, так получилось.

Ночь и одиночество, как известно, идеальные условия для воспоминаний, и, перебирая их, я всякий раз убеждаюсь в том, что одинаковая значительность и невыразимость служат лишним доказательством их бесценности. К великому сожалению, моя бедная память не удержала тех переходных минут, часов или дней, когда зарождалось и становилось мое блаженное мироощущение, и мне приходится вести отсчет с того, также пожелавшего остаться неизвестным, декабрьского утра в набитой особенным войлочным светом канцелярии, обставленной уставной нехитрой мебелью со смиренными тенями, когда я впервые отчетливо обнаружил, что с самого детства неиспытанные мною чувства полноты, нераздельности с окружающим и надежной защищенности наконец вновь сошлись вместе в одно состояние счастья, и не покинет оно меня до тех пор, пока рядом будет, в ту минуту сидевший за тем же столом, капитан Снегирев. Только его присутствие, явное или незримое, вытягивало из раздробленного, убийственно мельтешащего существования, ставило как бы над ним или в неподвижном центре его, сообщало отвратительной стихийности происходящего неслучайность и тот внутренний непреходящий смысл, которым завораживают предметы на сезанновских картинах или на желто-зелено-коричневых наглядных пособиях к уставу. И поэтому, когда я говорю, что любил капитана Снегирева, меня в первую секунду пугает

опасность снизить, сузить пережитое, но когда я вспоминаю, как ждал каждого появления капитана, как радовался его приездам с проверками на посты, как отчаянно тосковал последние дни из-за невозможности повидаться (за две недели до этого — случайно ли? — он ушел в отпуск)... — тогда только и понимаю, что любовь была единственным ключом к моему короткому счастью.

Смерть и Время царят на земле,
Ты владыками их не зови;
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце Любви.

Я терпеть не могу поэзию: независимо от содержания, она слишком безжалостно напоминает нам об утратах, но вот, как-то не остерегся, наткнулся случайно на эти строки, до слез трогающие несмелостью интонации, пробивающейся сквозь декларативность. Может быть, они толкнули меня в далекое путешествие, бессмысленность которого я окончательно понял, уже подходя к КПП. Меня, разумеется, не пустили, да и сам я особенно не настаивал. Проваливаясь по колону в снег, я двинулся вдоль каменного забора и не менее трех часов шел вокруг своей бывшей части. Вернувшись к воротам КПП с противоположной стороны, долго еще стоял на остановке, но так и не дождавшись автобуса, отправился на вокзал пешком. Мне повезло: в ту же ночь я уехал.

Что ж, как всего лишь однажды за обычную человеческую жизнь комета Галлея приближается к Земле и оставляет после себя долгий перечень несчастий, так всего один раз в жизни появляется тот, кто уходя уносит с собой твою душу...

Я понимаю это, я все прекрасно понимаю, но что же мне делать с моим пустым неприкаянным сердцем в этой холодной, хлюпающей, стремительно расползающейся во все стороны вселенной?

ВИОЛОНЧЕЛЬ

Однажды Новотный ехал в трамвае и вез виолончель. Почему — неизвестно. Он на виолончели не играл, и не было у него в то время знакомых виолончелистов, которые бы просили подвезти их громоздкий инструмент в деревянном чехле, обитом черным дерматином. В то же время он вез и свою «атташатку» с документами и ужасно боялся где-то оставить и потерять эти вещи. Он поминутно озирался, нет ли где воров, особенно на вокзале, куда он зачем-то зашел. Зачем? Видимо, должен был куда-то ехать в поезде. Он и сам толком не знал, что он тут делал на вокзале. Знал только, что ему предстоит важная поездка и что потеря вещей была бы катастрофой. По вокзалу бродили толпы людей, и было опасно оставлять вещи хотя бы ненадолго. В то же время он не мог взять их с собой в очередь у кассы. Пришлось встать в очередь и издали следить за виолончелью, что было нелегко из-за ее высоты. Чемоданчик был виден хуже, тем более что его без конца заслоняли сновавшие или торчавшие люди.

На какое-то время Новотный прекратил наблюдение за вещами, потому что подошла его очередь и он отвлекся для разговора с кассиршей и покупки билета, а также выяснения вопроса, где стоит поезд. Затем он бросился к своим вещам. Виолончель торчала по-прежнему, а атташатка, конечно, исчезла. Но вор не успел далеко уйти: он быстро пробирався в толпе по

проходу, шагах в двадцати впереди, держа в руке знакомый чемоданчик. Новотный, естественно, бросился за ним, как сделал бы каждый. Но незнакомец бесследно исчез в толпе. Виолончель очень замедляла продвижение: ее без конца толкали со всех сторон, многие просто откровенно отпихивали ее руками, плечом или даже ударом ноги. Инструмент крутился и без конца менял положение в руках Новотного, так что через пять минут он уже совершенно взмок и остановился перевести дыхание у подоконника высокого вокзального окна. Слава Богу! На подоконнике лежала его раскрытая и перевернутая атташатка. Вор перепотрошил ее внутренности, ничего не нашел ценного и бросил. Новотный стал судорожно перебирать содержимое атташатки. Уф, кажется, все на месте...

Он вышел на заснеженный перрон и погрузился в последний вагон, так как тащиться дальше просто не было ни сил, ни желания. В купе были две подружки, стрелявшие в него глазами. Он попросил их посмотреть за вещами и поспешил в вагон-ресторан, который был пятым или шестым от конца.

В ресторане царила оживленная, веселая атмосфера. За одним из столиков у окна сидела интересная молодая женщина. Его внимание привлек черный лакированный чемоданчик, стоявший возле ее стройных высоких ног в изящных туфлях на шпильке. Не потому, что был похож на его атташатку, а скорее потому, что вызывал смутную симпатию к интеллигентности этой женщины. Новотный, как понимаете, подсел к столику, для виду вежливо испросив разрешения у дамы. В ее быстрых взглядах, которые она украдкой бросала на него, горел живой интерес к нему, чуть ли не страсть. Было уже не так важно, о чем они говорили. Но неожиданная страсть этой женщины, пораженной какой-то загадкой в лице или в глазах Новотного, вызвала ответный взрыв чувства. Сразу активизировались спавшие где-то — в каком-то закутке одинокой, заблудшей и одичавшей души — мечты о необычайной романтической любви. Новотный тут же загорелся сам, и их роман стал развиваться поистине стремительными темпами. Они жадно торопились узнать все о другом, вер-

нее, о его душе, о его тоске. Подробности жизни были тоже интересны, но главное было ясно: они нашли друг друга. Новотного даже не смущали такие трудности, как то, что она была замужем и у нее был шестилетний ребенок, с которым, правда, сейчас сидела бабушка, и был вполне живой муж, который, к счастью, уехал куда-то недели на две сдавать какие-то военные экзамены. То, что этот живой муж должен был вернуться, совершенно не смущало Новотного, потому что предстоящие две недели вдвоем казались ему совершенно бесконечным объемом времени. Оказывается, муж не вернется, он уехал на их новое местожительство, где-то на границе, куда его перебросили как военного. Женщина — назовем ее Марианной (почему Марианной? Не знаю, видимо, ее так звали) — должна была через две недели ехать к мужу. Тут же выяснилось, что можно было отложить поездку на две-три недели из-за ее болезни глаз: в таком состоянии она не могла трястись в поезде, нужно было переждать, пока болезнь успокоится.

Эти детали о ее болезни глаз были трогательны для Новотного. Было какое-то чувство ее хрупкости, нежности. Тогда ему в голову не пришла циничная мысль о том, что болезнь глаз как раз и могла быть причиной того, что эта женщина увидела в его лице что-то необычайное и вспыхнула страстью, как спичка.

Но какой ужас: допив кофе и бросив случайно взгляд в заднее стекло, Новотный увидел, что они едут в последнем вагоне! Он не сразу даже осознал всю глубину происшедшей катастрофы: виолончель и атташатка остались в отцепленных вагонах на вокзале. Он тут же объяснил ситуацию Марианне. Оказалось, она знала, что те вагоны не едут: на них было написано мелом, что они пойдут в другом направлении. Она еще долго рассматривала надпись сквозь очки. Они договорились встретиться вечером, а теперь Новотный должен был сойти на первой же остановке и ехать обратно на вокзал: может быть, вагоны еще не уехали и ему удастся спасти свои вещи. Они начали целоваться на прощание, не стесняясь присутствующих, и Новотный

еле успел выскочить из поезда на остановке, а во рту его еще горела жадность неудовлетворенного желания.

На обратном пути случилась еще задержка. Сев в поезд, Новотный вдруг к своему ужасу и стыду обнаружил, что он без штанов и даже без трусов. Он всячески пытался натягивать короткую рубашку, чтобы прикрыться, но ничего не получалось. Впрочем, люди вокруг, кажется, ничего не замечали, хотя наш герой сторал от стыда. Теперь он вспомнил, что заходил в туалет на станции и, видимо, по какой-то непонятной рассеянности забыл там свои брюки. Теперь нужно было срочно возвращаться на ту станцию и найти свою одежду. Так что поездка за виолончелью и чемоданчиком откладывалась. А ведь вагоны могут уехать, пока он здесь возится. Может, уже давно уехали или просто его беспризорные вещи кто-то забрал. Брюки, слава Богу, нашлись, и как будто никто не заметил позора, случившегося с Новотным. Немного успокоенный, он ехал в обратном поезде на вокзал, а за окнами уже смеркалось, догорала какая-то узкая, последняя полоска зари. Приближалось уже время свидания с Марианной, а Новотный никак не мог распутаться со взбунтовавшимися вещами.

Новотный задремал. Когда поезд остановился на станции имени первого космонавта Гагарина, он вдруг вспомнил, что здесь недалеко у него в гараже стоит автомашина и будет быстрее на ней доехать до вокзала. Однако за рулем своей автомашины Новотный попал в пробку в каком-то туннеле с низким потолком. Горел яркий свет, колонна машин была блокирована потоками людей, шедших в двух направлениях; с правой стороны — вперед, с левой — назад. Новотный понял, что каким-то образом заехал в подземный переход метро и что выехать отсюда невозможно. Впереди был вообще тупик и поезда метро. Он запарковал машину у стены перехода, как сделали и другие, — то есть широкий коридор здесь разделялся на два туннеля, между которыми была толстая стена, — и бросился в подошедший электропоезд. Оказалось, что он сел не в ту сторону и вынужден был вернуться обратно на ту же станцию. Его машина была уже сплющена и лежала в штабеле других сплюсненных, как будто раздавленных прессом машин. Новотный хотел кричать, звать на по-

мощь. Но к кому обратиться? Люди были заняты своими делами, никого не интересовали искореженные (видимо, толпой) машины.

Новотный, наверно, спал, потому что он вдруг очутился на перроне вокзала, перед вагоном, где он оставил виолончель и атташатку. Как ни странно, они были на месте. Новотный с облегчением вздохнул. Все как будто налаживалось. И машина, видимо, не раздавлена, это ему приснилось. Он на всякий случай позвонил из автомата в гараж (но там удивились, напомнив ему, что он час назад сам забрал машину). «Что за чертовщина!» — возмутился Новотный, не понимая, куда же пропала машина. Пришлось тащиться в метро с этим контрабасом, то есть виолончелью, и с чемоданчиком.

Под вой вагона метро, несущегося, казалось, с космической скоростью по подземным переходам, может, уже по одному из кругов ада, Новотный задумался. И тут его взял за руку Огненный Ангел (ОА — так закодировал его для себя Новотный). Он был похож на огромный огненный столп и уходил далеко за крышу вагона. Всегда, когда ОА общался с ним, у Новотного было чувство, что тот пришел проведать, как у него идут дела на земле и не пора ли его забирать в иной мир. Поэтому в эти минуты Новотный не знал, живет ли он еще, или уже перешел в другой мир, или болтается где-то между двумя мирами. Вернее, он чувствовал себя сразу в двух мирах. Несмотря на близость огненного столпа, ему становилось холодно, как в подземелье, какие-то начинали дуть холодные и сырые сквозняки, наполнявшие душу тоской и чувством собственной нереальности. «Зачем он пришел сегодня, что ему нужно?» — думал Новотный. «Или мне предстоят какие-то важные решения? Неужели это по поводу встречи с Марианной?»

Ангел обычно ничего не говорил, но наполнял Новотного страхом, тоскливой болью в солнечном сплетении или вокруг сердца — когда говорят, что «на серд-

це кошки скребут», — на самом деле, никаких кошек конечно же нет, просто уши наполняются страхом от шепота какого-нибудь Ангела или Мефистофеля, а то и леденящим призывом Смерти. Я, кстати, не знаю, писать ли слово «смерть» с большой или с маленькой буквы, можно ли олицетворять это явление (или отсутствие явлений) в каком-либо лице, или же оно безлично (опять же — оно, или она, или он?). Но ОА явно не был смертью, он хотел добра Новотному, поддерживал его в тяжелые минуты и во всяком случае свидетельствовал о том, что за его судьбой (Новотного) внимательно следят в высших сферах и возлагают на него определенные надежды. Не исключено, что возьмут на какое-нибудь высокое место. Но все равно его наполняла тоска оттого, что он больше не увидит эту жизнь, не будет знать, что дальше произошло с людьми, как те, кого он знал, будут жить без него — быстро забудут, он останется только впечатлением, оттиснутым, спрятанным где-то в глубинах памяти, которое изредка всплывает, вспыхивает, вспархивает на поверхность и в общем-то не имеет почти никакого значения для живых, а потом и совсем стирается из памяти... Возможно, что встреча с Марианной считается Там очень важной. Но Ангел исчез, значит, меня благословили на дальнейший путь, мне дали отсрочку и свободу — ведь Там, наверное, свободы не будет, раз Там все уже решено и известно... Так думал Новотный в полусонных грезах.

Он очнулся от снов наяву и увидел, что уже подъехал к нужной станции. Встреча с ОА его, в конечном счете, оживила, дала ему новые силы и надежды, новый вкус к жизни. Но какой ужас, он уже опаздывал! А вдруг она не дождетя, решит, как это часто бывает, что она ему не нужна, что он лишь притворялся заинтересованным, а теперь забыл о ней, — обидится, гордость ее восстанет, и она уйдет, сожалея, страдая, но уйдет. Эта мысль ошпарила его страхом, и он побежал бегом, спотыкаясь из-за виолончели. Инструмент ему невероятно мешал. Он пробежал мимо какой-то пустынной стройки: одиноко повесили головы краны, в грязи стояли штабеля плит, мокли горы паркета. Но-

вотный сбросил виолончель в первую подвернувшуюся яму, накрыл листом стали и побежал дальше, решив, что потом за ней вернется.

Марианна тоже опаздывала и бежала, размахивая чемоданчиком, почти сбивая людей. Так что они встретились запыхавшиеся, и Марианна первая призналась, что она бежала в испуге, что он ее не дождетя и уйдет. (Между прочим, мне перестало нравиться имя Марианна — кажется, женщину звали по-другому. Попробую называть ее Марией.) Так вот, Мария и Новотный пошли в ресторан, там заказали еду, которую почти не тронули. Они танцевали обнявшись и целовались, не стесняясь присутствующих и обращенных на них взглядов. Другие для них не существовали, вернее, им казалось, что все другие радовались и переживали вместе с ними их счастье. Таксист, который вез их на квартиру Новотного, тоже их прекрасно понимал и не мешал. Таксисты и не к тому привыкли, — подумал Новотный.

В постели Мария вначале стыдливо сопротивлялась, а потом вдруг призналась, что не может больше ждать и умоляла его, осыпая поцелуями, скорее с ней соединиться. В постели она почти сходила с ума от счастья, но потом быстро одевалась, смотрела на часы, спохватывалась, что она опаздывает, что ее ждет ребенок и какая-то сидевшая с ним родственница — скажем, тетя Фекла. Новотный ее подвозил, но она умоляла не провожать ее до дома — вдруг кто-то увидит. Так они встречались каждый день, пока две недели не подошли к концу. И тут случилась катастрофа. Мария перестала подходить к телефону, куда-то исчезла. Тетя Фекла тоже отказывалась разговаривать с неизвестным ей Новотным, вернее, она что-то знала, но не хотела разрушить семью и благополучную жизнь Марии. Почему Мария? Не нравится мне опять это имя. Пусть она будет Лиля. Новотный почти сошел с ума от этой загадки: Лиля была еще в Москве, лечила свои глаза (кажется, хрусталик), но не хотела больше видеть его. Почему она отказалась еще от двух-трех недель счас-

тъя, то есть почти от бесконечности, которая теперь тянулась скучно, нудно, мучительно. Новотный часами бродил, пытаясь найти дом Лили или случайно ее встретить, но безуспешно. Виолончели тоже не оказались в той яме на стройке, куда он ее бросил, накрыв листом стали, то есть железа.

Лист, успевший уже заржаветь, был отодвинут, а яма была пуста. Зато нашлась автомашина, которая почему-то стояла в своем стойле в гараже. Она представлялась Новотному лошадейю — почему? Наверное, потому, что лошадь может сама вернуться в стойло. А если не лошадейю, то каким-то живым, думающим существом. В конце концов Новотный решил уехать из этой страны, в которой происходят такие непонятные происшестввия. Позднее он узнал, что виолончель вернулась к своей хозяйке-виолончелистке — он увидел их на одном из концертов по телевидению, уже находясь в другой стране. Ему показалось, что виолончель его узнала и заговорщически тоскливо завывает для него, как брошенная хозяином ржущая лошадь в гараже. На этом лучше было бы закончить рассказ — вернее, эпизод из жизни Новотного, — а то он никогда не кончится.

Впрочем, история закончилась сама собой, и совершенно неожиданно. Новотный проснулся и увидел, что он находится в Германии, а не в Советском Союзе, из которого он уже уехал много лет назад. Но тем не менее ему без конца снились сны о покинутой им России. Любопытно, что тоска по родине, которую считают врожденной чертой всякого русского, у Новотного почему-то переселилась в сны. Надо было бы спросить психоаналитика, да Новотный терпеть их не мог. Он почему-то считал их всех шарлатанами, хотя сам знал, что это не так. Скорее всего, он был слишком горд и самонадеян и считал, что сам разберется в своих психологических проблемах лучше всякого аналитика. В общем, не хотел подкармливать этих бездельников. Но я отвлекся от сути дела. Сон очень взволновал Новотного. Так было жалко, что он не досмотрел его, что так и не раскрылась загадка этой женщины. Но он надеялся, что сон еще раз приснится и тогда он сможет досмотреть его до конца.

КРАЙНИЙ ПОДЪЕЗД СЛЕВА

Сегодня стемнело так же быстро, как вчера. День был в меру удачен: в моем внутреннем кармане грелась чекушка, в почти новом пакете лежала огромная, чуть-чуть надкусанная груша, копченая толстенная сосиска и длинная, наполовину торчащая из пакета французская булка.

Я зашел в свой подъезд, подставил пятку под размашистый удар двери, поднялся на второй этаж и из почтового ящика квартиры номер тридцать семь вынул газету «Известия» вместе с невзрачной, немного желтоватой по углам открыткой. В открытке Елену Анатольевну Дрожжевую поздравлял с днем рождения Витя Тимербулатов и желал ей обилия здоровья, счастья и любви. Я недолго разглядывал вялые тюльпаны, выдавленные в картоне, — бросил открытку назад в ящик и зашагал по ступенькам вверх.

Между девятым и десятым этажами мне встретился незлой жилец квартиры номер девяносто пять, пытающийся пропихнуть в мусоропровод большой полиэтиленовый мешок с опилками.

— Не лезет?

— Залезет — куда денется.

— Тогда, наверное, мусоропровод забьет.

— Может, и забьет, а может, и не забьет.

— Ну ладно.

Я поднялся еще на один лестничный пролет, но жилец из девяносто пятой окликнул меня:

— Петрович!

- Чего?
- Ты на отдых, что ли?
- Да как получится.
- Скоро домофон поставят.
- Угу.
- Всем жильцам ключи дадут от входной двери.
- Угу.
- А ты как же?
- Посмотрим.
- Ну давай.
- Угу.

В лифтовой комнате я поставил в ряд три хлипких ящика, бросил на них телогрейку, сел, налил себе в мятый пластмассовый стаканчик водки, откусил хрустящий кончик булки и развернул газетку.

Водку я выпил быстро, опьянел слабо и долго, с расстановкой и чувством громким шепотом читал «Известия». После чтения я вытер слезящиеся глаза рукавом, вывернул из цоколя на пол-оборота тусклую лампочку, лег калачиком на ящики и, умеренно переживая мировые новости, уснул.

- Вам какой этаж?
- Седьмой.
- Мне пятый.

Миша Смирнов знал, что очаровательно раскосая Люда живет на седьмом этаже, но также знал, что у нее придурковатый абрикосовый пудель Атос, папа, постоянно ремонтирующий под окнами «Москвич» с пробитым глушителем, и мама, которой очень хочется видеть в женихах Люды соседа-летчика, всегда благоухающего коньяком «Белый аист». Люда тоже знала, что Миша живет на пятом этаже и учится в технологическом институте на специалиста по холодильным установкам, кроме того, к нему иногда приходит высокая белокурая двоюродная сестра Катя, которую Миша, загадочно улыбаясь на расспросы знакомых, молчаливо выдает за свою подружку.

С первого этажа по пятый Миша интенсивно думал о том, как бы непринужденно заговорить с Людой так, чтобы она, с одной стороны, восхитилась его остроумием, а с другой — прониклась уважением к его се-

рьезному жизненному настрою. А Люда теребила черненькую пуговичку на маминой старенькой желтенькой кофточке и очень старалась не покраснеть.

На пятом этаже двери лифта открылись, Миша вышел, обернулся и сказал:

— Завтра дождь обещали.

— Да? — удивилась Люда и быстро нажала на кнопку седьмого этажа.

Лифт уехал, а Миша живо представил, как он, обгоняя лифт, легко взбегаёт на седьмой этаж, встречает Люду и приглашает ее куда-нибудь, где тихо играет музыка, журчат фонтанчики, красивые люди красиво разговаривают друг с другом, официанты в смокингах предупредительны и корректны, мягкий свет располагает к душевной беседе, нежная ладошка тает в мужественных руках, розовое прозрачное ушко внимает горячему шепоту, и все укладывается в остатки стипендии за апрель.

Анатолий Григорьевич Щепко вдохнул в себя аромат пяти белых розочек, оглядел глянец начищенных туфель, изящно отстранил от себя коробку с тортом и, заметно волнуясь, позвонил в квартиру сорок пять.

— Проходите, Николай Григорьевич!

— Анатолий Григорьевич.

— Да, да, конечно. Не обращайтесь внимания — у нас кругом беспорядок, — Антонина Васильевна повела рукой, показывая на аккуратные, закрытые на ключик шкафчики, выровненные по одной линии ряды обуви и натертый до блеска паркетный пол.

— Ну что вы — у вас так замечательно, — сказал Анатолий Григорьевич и испугался, что его попросят снять обувь взамен на какие-нибудь меховые шлепанцы.

— Какие чудные розочки, Леночка будет очень рада.

Анатолий Григорьевич немного растерялся, потому что зам. главбуха Вера Станиславовна говорила, что единственную дочь очень приличных родителей, красавицу и умницу, не оцененную сверстниками, зовут Викой.

— Вера Станиславовна сказала, что это любимые цветы Ви... Лены.

— Верка всегда все перепутает, я хотела сказать...
Э-э... Вы проходите, пожалуйста, в зал.

Антонина Васильевна унесла цветы на кухню, чтобы несдержанная на язычок Леночка не прошла по поводу банальности подарка. А Анатолий Григорьевич кашлянул в кулачок и зашел в зал, где по телевизору показывали захватывающую мыльную оперу, но никто ее почему-то не смотрел.

В лифте Петухов Дима забеспокоился еще больше:

— Костик, а они ничего?

— Да ничего.

— А вдруг я им не понравлюсь?

— Понравишься.

— А если у них там кто-нибудь есть?

— Видно будет.

— А ты презервативы взял?

— Взял.

— А вдруг они не будут пить белебеевскую водку?

— Они все пьют.

На восьмом этаже, полностью отведенном под общежитие кондитерской фабрики номер два, Петухов Дима с Костиком вышли из лифта и, толкнув незапертую обшарпанную дверь, окунулись в коктейль коллективных запахов.

— Костик, чего теперь?

— Спокойно.

Из комнаты 234 выплыла плотненькая девушка в застиранном халатике, бигудях и с тлеющей сигареткой во рту. Девушка волнуяще близко подошла к Диме и пустила ему в лицо облачко дыма:

— Чего надо?!

Дима оглянулся за поддержкой к многоопытному Костик, но Костик исчез в комнате 235 и как будто кого-то там уже щекотал.

— Я с Костиком.

— А мне хоть с Майклом Джексонном.

— Да?

— Чего надо?!

— Костик! — нервно позвал Дима и сделал шаг к выходу. В пакете Димы легонько звякнули бутылки,

Дима покраснел, а девушка вдруг пустила струйку дыма в направлении пакета:

— Ты в гости, что ли?

— Нет, то есть да.

— Угощаешь, что ли?

— Угощаю.

— А чего стоишь, мнешься?

— Да как-то так.

— Проходи, там Снежанка и Валька, я сейчас.

Дима робко вошел в комнату и сказал: «Здрасьте». В комнате было душновато и грязновато, на тумбочках валялся хлам дамских сумочек, на бельевой веревке висели выстиранные полиэтиленовые пакеты, а на холодных батареях призывно белели предметы женского туалета, будоража кровь и вселяя надежду, что, возможно, вечер будет убит не зря.

Валька подняла голову с подушки и сказала: «Снежанка, к тебе».

Снежанка надула из жевательной резинки шарик и спросила: «Юрик, а чего ты сбежал в прошлый раз?».

Вернулась плотненькая девушка без сигаретки, но со свежевзбитой прической, равнодушно скинула халатик, натянула джинсы и футболку:

— Девчонки! Нас Валерик угощает! Снежанка, вымой стаканы.

— Я Дима.

— Я не буду пить, меня Гоги на дискотеку пригласил.

— Валька, ты вечно от компании откальываешься, а твой Гоги, между прочим, уже со всеми перескакал на дискотеке в соседней комнате.

— Да ладно!

Снежана принесла стаканы и, взъерошив Петухову Диме волосы, ласково приказала:

— Разливай, Юрик.

Дима суетливо открыл бутылку и, произвольно выдерживая дозировку, разлил по стаканам.

— Что-то у тебя плохо с глазомером, Валерик.

— Ничего! За знакомство, девчонки!

— Димон! А ты чего здесь? Я тебя, как дурак, в соседней комнате жду — а ты здесь!

...Тетя Соня долго рассматривала в глазок Лену и Женю, а потом спросила тоненьким голоском:

— Кто там?

— Квартира пятьдесят три?

— Ну и что?

— Мы по объявлению.

— Какому объявлению?

— Вы комнату сдаете?

— Ну и что, что сдаю?

Женя с Леной переглянулись, и оба разом прыснули, потом Лена вытянула губки, а Женя чмокнул их и нежно обнял Лену.

— Ты с ума сошел!

Тетя Соня приоткрыла дверь и высунула свою маленькую, прилизанную головку:

— Вы комнату пришли снимать или разворотом заниматься?

— Сначала комнату.

Лена ткнула Женю в бок и опять прыснула.

— Дети есть?

— Пока нет.

— Нет, не дам — не успеешь глазом моргнуть, как настрогаете и будут кругом пеленки висеть да карапузы ваши по ночам орать.

— А комнату можно посмотреть?

— Смотрите, за просмотр денег не берут, хотя зря, что не берут.

Лена и Женя зашли в просторную, светлую, чистенькую комнату с накрахмаленными тюлевыми занавесками и огромным мягким ковром на полу.

Лена ущипнула Женю под лопатку, и Женя сказал:

— Нам нравится комната, и мы готовы платить за нее сногшибательные деньги.

Тетя Соня нахмурилась, но почему-то вдруг вспомнила своего бравого сержанта Володю, ушедшего на фронт в конце апреля сорок пятого и вернувшегося через неделю в конверте с фиолетовым штампом, смахнула с ресниц слезинку и сказала:

— Ладно, живите.

Павел Крендельков стряхнул со шляпы возможную влагу и передал шляпу жене Свете:

— Опять в глазок не смотришь!

— Я тебя в окно видела.

— Все равно надо смотреть. Как Мосюсечка? Чего делает?

— Днем немного болел живот, сейчас кушает.

Павел снял плащ, посмотрел, не забрызган ли он сзади, и протянул Свете:

— Может быть, надо было вызвать «Скорую помощь»?

Света забросила шляпу на верхнюю полку, а плащ сложила пополам и положила на нижнюю полку:

— У него уже все прошло — наверно, притворялся.

— Плащ лучше повесить на вешалку, а то он изомнется.

Света развернула плащ и повесила на плечики под лежащую наверху шляпу.

— Как будто ты спиной стоишь.

Павел недовольно шмыгнул носом и строго сказал:

— По-моему, ты несколько халатно относишься к здоровью нашего Мосюсечки.

Света вытерла руки о передник и ушла на кухню. Павел переоделся в тренировочный костюм, тщательно вымыл руки, выдавил на лбу прыщик и тоже прошел на кухню, где очень широко улыбнулся сыну, поедающему гречневую кашу с молоком.

— Ах ты мой Мосюсечка!

Мосюсечка открыл такой же, как у отца, непропорционально большой рот и отправил в него столовую ложку каши. Половина каши вывалилась обратно, и Мосюсечка стряхнул ее маленькой ручкой на пол.

— Дай шоколадку!

Павел опять расплылся и погладил сына по голове:

— Сегодня тебе нельзя шоколадку — у тебя живот болел.

— Дай шоколадку!

— Ну потом, сначала кашу доешь.

— Дай шоколадку!

Павел вздохнул, поцеловал Мосюсечку в двойную макушку — явный признак высокого предназначения сына — и протянул ему шоколадку.

— Только чур сразу не разворачивать.

Мосюсечка бросил ложку в тарелку с кашей, разодрал блестящую фольгу шоколадки и, сильно пачкая руки и щеки, стал ее быстро есть.

...Валентина глубоко набрала в грудь воздух и, заметно перевирая мотив, затянула протяжную татарскую песню о несчастной любви. Тагир Микхатович уронил тяжелый мужественный подбородок на широкую грудь и заплакал. Станислав Ковров с шестой попытки подцепил скользкий опенок на вилку, выпил пузатую рюмку водки, закусил грибочком и сказал:

— Плачь, Тагир, плачь — настоящие мужчины всегда плачут.

Тагир Микхатович высморкался в салфетку и обнял Станислава:

— Стас, ты один меня понимаешь!

— Брось его, Стас, он сейчас будет реветь до утра.

— Заткнись, дура!

— Это я дура?! Ах ты козел! Я весь день пашу на работе, потом дома, кормлю, обстирываю — и я же дура! Стас, ты только глянь на него!

Станислав Ковров протянул Валентине тарелку и попросил положить ему холодец.

— За козла ответишь, мымра!

Станислав Ковров поднял рюмку водки, влил ее из своих рук в готовности открытый рот Тагира Микхатовича, промокнул его губы салфеткой, подцепил добрый навильник квашеной капусты и настойчиво предложил Тагиру Микхатовичу ее сжевать.

— А за мымру я тебе знаешь что сделаю?!

— Ну хватит, Валь, чего вы ругаетесь? Такой вечер хороший.

— Ну и чего ты мне сделаешь?!

— Тагир, возьми себя в руки. Валь, спой еще песенку, а?

— Только для тебя, Стас. Этот пусть заткнет уши.

Валентина опять запела протяжную татарскую песню о несчастной любви. На третьем куплете Тагир Микхатович захлюпал носом и ткнулся лбом в плечо Станислава Коврова.

Все передачи закончились, телевизор зашипел и стал показывать зигзаги черных и серых полос, а Игорь все смотрел на экран и крутил в пальцах спичечный коробок. Его жена Ирина несколько раз раздраженно

прошла мимо Игоря, потом встала перед ним и спросила:

— Очень интересно?!

— Да, очень.

Игорь достал из брошенной на пол пачки сигарету и закурил.

— Не кури в комнате!

Игорь выключил телевизор, накинул на плечи за-саленный на локтях пиджак и вышел на лестничную площадку. Ирина открыла форточки, расстелила постель и ушла в ванную чистить зубы.

Абрикосовый пудель Атос резво взбежал по ступенькам, остановился около Игоря и тщательно того обнюхал.

— Атос, ко мне!

Атос услышал голос хозяина, уверенно завилял хвостиком и заливисто облаял Игоря.

Игорь равнодушно стряхнул на пуделя пепел и тихо сказал:

— Пошел ты!

Вынырнувший из темноты нижних этажей папа Люды прикрикнул на пса:

— А ну тихо! Мерзавец! — и замахнулся коротким кожаным ремешком на поджавшего уши и хвост Атоса.

Ирина распахнула дверь и, сжимая в побелевшем кулачке ворот халатика, попыталась спокойно сказать:

— Имей совесть — кругом все спят!

— Да ваш муж тут ни при чем — это мой дурак, — папа Люды жизнерадостно улыбнулся Ирине и показал ремешком на притихшего Атоса.

— А я думала мой! — зыбкое самообладание покинуло Ирину, и она со всей силы впечатала входную дверь в косяки.

Игорь сплюнул на пол, швырнул окурочек к мусоропроводу и зашевелил губами, тихо рождая короткие, емкие слова.

— А вот мусорить, молодой человек, не стоит, какое бы настроение у вас ни было.

— Пошел ты!

Атос зарычал и опять звонко залаял на Игоря, папа Люды вздохнул, цыкнул на пса, крепко взял его за ошейник и потащил по лестнице вверх. Игорь подошел к захлопнутой на замок двери и стал гулко стучать в нее кулаком.

...За Людой зашли два Виталика, Юсупчик, Антон и Фазлыахметов, чтобы вместе пойти к классному руководителю Дим Димычу, который должен дать всем последние инструкции перед однодневным организованным походом на озеро Кандрыкуль.

Антон сказал, что лифт не выдержит шести человек и обязательно застрянет. Юсупчик сказал, что надо подпрыгнуть в лифте и только тогда он застрянет наверняка. Два Виталика тут же стали изображать прыжки. Люда сказала им, что они дураки, и ребята дружно загоготали. Люда тоже усмехнулась сверстникам и многозначительно загрустила — какие они глупые, незрелые, бестолковые и дурашливые, в отличие от загадочного, умного, уверенного, надежного и немного строгого студента Миши с пятого этажа.

Миша Смирнов отложил в сторону недостроенную модель самолета «F22» — настроение творить пропало. Он видел из окна своей комнаты, как очаровательно раскосая Люда с веселой, шумной ватагой одноклассников вышла из подъезда и куда-то отправилась. Миша быстро убедил себя в том, что эти молокососы обманом заманили Люду на вечеринку, где накачают ее шампанским, в которое — подонки! — чего-нибудь непременно подсыпят, и будут потом, плотно прижимаясь, по очереди танцевать с ней, а когда она бессиленно обмякнет на руках главного зачинщика и беспомощно захлопает глазами, полными слез, тот затащит Люду в спальню и на пошлой прокуренной тахте начнет срывать с нее вещи. Миша так долго, в подробных деталях представлял, как негодяй срывает с Люды вещи, как трогает ее нежное тело грубыми руками, что чуть не забыл представить свою месть главному мерзавцу и всем другим мерзавцам, которые, наверно, тоже воспользовались бы ситуацией, если бы Мишу не позвала мама пить чай с блинчиками и свежим медом, привезенным гостившим у них вторую неделю внука-племянником двоюродного брата папы.

— Располагайтесь, Анатолий Григорьевич. Леночка сейчас выйдет.

Антонина Васильевна исчезла за двустворчатой дверью в спальню, оставив Анатолия Григорьевича с

кипой журналов «Cosmopolitan» на коленях и недовольно зыркающим Барсиком в кресле напротив. Анатолий Григорьевич вытер вспотевшие ладони о брюки, вяло полистал журнальчики, задерживаясь на страницах с загорелыми девушками в белом кружевном белье, сказал Барсику: «Пыс-с!» — и немного заскучал. Барсик с отвращением зевнул, спрыгнул с кресла и с достоинством полновластного хозяина вразвалку прошел на кухню погрызть Kitiket из пластмассовой мисочки.

Анатолий Григорьевич отметил, что большие старинные часы на стене идут на пять минут быстрее его тайландского «Ролекса», нащупал большим пальцем правой ноги в новой туфле остренький камешек, сосредоточенно погонял его там, потом, здраво рассудив, что Леночка с Антониной Васильевной выйдут нескоро, развязал шнурки, вытряхнул камешек и обнаружил, что на пятке только что купленного носка уже образовалась маленькая дырочка. Анатолий Григорьевич сказал:

— Черт!

В это время зашли Леночка с Антониной Васильевной и попытались сделать вид, что не замечают, как зарумянившийся Анатолий Григорьевич пытается быстро впихнуть ногу обратно в туфлю. Барсик же, вдруг почувствовав новые волнующие запахи, подбежал к ноге Анатолия Григорьевича, призывно мурлыкнул и стал недвусмысленно тереться об нее своей мордой. Антонина Васильевна вежливо оттащила Барсика от пятки Анатолия Григорьевича, взяла на руки и с укоризной погладила:

— Барсик, как тебе не стыдно — ты порвал Анатолию Григорьевичу носок.

Поджавшая было губы Леночка неожиданно встрепенулась и тут же заботливо предложила Анатолию Григорьевичу снять носок и отдать ей с мамой в починку. Анатолий Григорьевич растерялся, зарумянился еще больше и на всякий случай сказал:

— Я сам...

Тогда Леночка пожала плечами:

— Ну, как хотите, Григорий Анатольевич, — посмотрела в программу ТВ, отметила карандашом какую-то передачу и вышла из зала. Барсик с удовольствием расцарапал ладонь Антонине Васильевне, она

попросила кота не нервничать и вместе с ним вышла вслед за дочкой. Сквозь неплотно прикрытые двери Анатолий Григорьевич отчетливо слышал громкий шепот:

— Мама, кого ты ко мне привела?! Неужели мои дела настолько дрянь?!

— Леночка, он совсем не так плох, как тебе показалось, — первое впечатление всегда обманчиво.

Костик протанцевал с Викторией Кучумовой вокруг стола, мимо тумбочки и самопроизвольно раскрывающегося шкафа к скрипучей кровати, где нечаянно споткнулся и упал вместе с партнершей в пыльные объятия свалявшихся подушек и одеял. Пружинный матрас крикнул, Вика, воспитанно взвизгнув, захихикала, Костя скользнул рукой по гладкой спине Вики и после небольших усилий протолкнул пятерню за тугой ремень ее шифонных брюк.

Вика осуждающе сказала:

— У-у...

Костик спросил шепотом:

— Дай животик поцелую?

— Не-а.

Костик нежно пригрозил:

— Я убью тебя, сука!

— Убивай.

Пережатая тугим ремнем, рука Костика затекла, он почувствовал, как по ней поползли неприятные мурашки, и вдруг вспомнил, что обещал сегодня встретить на вокзале сестру Риту с кучей тяжелых сумок, чемоданов и двойняшками Сеней и Маришкой. Костик расстроился, перестал мять упругие ягодицы Вики Кучумовой, вытянул руку из-под ремня и спросил:

— Сколько время?!

— Какая разница.

Костик некоторое время поразмышлял, потом, решив, что в ответе Вики присутствует здравый смысл, снова протолкнул пятерню за Викин ремень и бархатно шепнул:

— Я убью тебя, сука, то есть дай животик поцелую?

...Лена осталась у подъезда караулить бабушкин торшер, этажерку, швейную машинку «Зингер» и пузатый желтый чемодан на колесиках. Взмокший Женя в третий раз забил лифт вещами, втиснулся сам и по упрямому настоянию тети Сони проехал на этаж выше, чем нужно. Тетя Соня встретила Женю, приложила палец к губам и суетливо зашептала:

— Скорее давай!

— Да что такое?

— Соседи заметят и донесут в милицию — вот что!

— Так вы же через агентство официально сдаете.

— Много ты понимаешь! Неси скорее.

Женя, чертыхаясь, перенес вещи в квартиру и, отказавшись от глоточка тети Сониного чая с заговоренными травами, опять сбежал вниз к ожидающей Лене.

— Хозяйка совсем спятила — заставляет от соседей конспирироваться.

— Ладно, она же старенькая.

— Старенькая, конечно, но тащить барахло лишний этаж удовольствие тоже небольшое.

— Ничего, я потом тебя покормлю, сделаю китайский массаж, уложу спать и расскажу сказку со счастливым концом.

— А супружеский долг?!

— Какой ты хулиган, — Лена увернулась от поцелуя Жени и всучила ему в руки этажерку.

Женя занес в лифт этажерку, швейную машинку, чемодан на колесиках, торшер, хотел занести и Лену, но она сказала, что Женя балбес.

Тетя Соня вытащила из лифта этажерку и сказала, что пойдет первая. Женя надул щеки, встал на цыпочки и, ступая по-журавлиному, зашагал за тетей Соней. Лена спряталась за спину Жени и, чтобы не рассмеяться, зажала рот ладошкой.

Соседка тети Сони, Клавдия Ивановна, не снимая цепочку, открыла дверь и улыбнулась в щелку:

— Что, Софья Афанасьевна, новых жильцов впускаете?

Тетя Соня что-то забурчала под нос, Женя округлил глаза и громко вздохнул:

— Застукали.

Лена легонько ударила Женю торшером по затылку:

— Перестань.

...Павел Крендельков выключил на кухне телевизор, выпил согретый до комнатной температуры ежевечерний кефир, чуть не вымыл за собой стакан, но, вовремя вспомнив о разделении семейных обязанностей, бодро прошагал в ванную комнату. В ванной комнате Павел почистил зубы, умылся, высморкался, тщательно расчесал волосы перед зеркалом и расстроился заметному прогрессу залысин, несмотря на постоянные втирания корней лопуха, хлебного мякиша с какой-то загадочной вонючей голубоватой жидкостью из таинственного Китая. После ванной Павел позвонил маме, спросил о здоровье, настроении и впечатлениях от прожитого дня. Покивав пятнадцать минут в телефонную трубку, Павел сказал: «Непременно», зашел в спальню и заставил себя нахмуриться:

— Завтра утром позвони моей маме — она расскажет, как лечить Мосюсечку.

Света закатила глаза и тихонько вздохнула:

— От чего лечить?

— Что значит — от чего?!

Света замолчала, а Павел поменял махровый халат на теплую байковую пижаму.

— Паш...

— Чего?

— Ты Мосюсечку забыл поцеловать.

— Да? Извини, то есть ничего я не забыл.

Павел шумно прокрался в детскую и слюняво чмокнул диатезную щечку по-взрослому похрапывающего Мосюсечки. Мосюсечка заворочался, выпустил из правой руки огромный пластмассовый пистолет, а левой плотнее сжал горло плюшевому медведю. Павел подоткнул Мосюсечке одеяло и с хорошим настроением выполненного долга заботливого отца вернулся в спальню.

Павел лег под одеяло, включил со своей стороны бра и взял с тумбочки увесистую книгу «Учет и анализ финансовых активов».

— Читать будешь?

— Да, надо.

— Я соскучилась...

— Сегодня тяжелый день был, а завтра будет еще тяжелее.

— Да, конечно...

— Что конечно?! Я что, плохо забочусь о семье? Если бы не я, между прочим!..

— Я ничего тебе не говорю.

Настроение у Павла испортилось, он без удовольствия прочитал главу «Анализ финансового состояния эмитента по данным бухгалтерского баланса», громко захлопнул книгу, выключил свет и, отвернувшись от жены, обиженно засопел.

Тагир Микхатович тяжело встал из-за стола и предложил Станиславу Коврову покурить на кухне.

— Стас! Да курите в комнате — вон пепельница.

— Жена! У нас мужской разговор — отстань!

Станислав Ковров подмигнул Валентине и, отгаликиваясь от стен, двинулся с Тагиром Микхатовичем на кухню.

— Представляешь, Стас, на прошлой неделе вернулся из командировки.

— Не представляю, Тагир.

— погоди, Стас, не отвлекай меня. Вернулся я из командировки, выпил рюмку водки и стал из карманов всякие бумажки вытаскивать.

— Для этого не надо было ездить в командировку.

— Стас, слушай дальше. Выложил деньги, квитанции, талончики всякие и, представляешь, абсолютно целую упаковку презервативов.

— Не может быть.

— Клянусь, Стас. И знаешь, так грустно стало.

— Да ладно.

— Неужели прошла жизнь, а?

— Ну что ты, впереди еще глубокая вторая молодость.

— Я серьезно, Стас, а ты!

— Да брось, Тагир!

Тагир Микхатович грустно икнул и плюнул в любимый кактус жены:

— Что-то с Валькой тоже ничего не ладится.

Стас настороженно вскинул левую бровь:

— А что такое?

— Да, понимаешь, как-то все не так. Вчера, например, захожу в ванную, а она моей бритвой подмышки бреет. Сказал, конечно, что думаю по этому поводу,

она тоже, конечно. Пойми, мне не жалко, но я же щеки там, подбородок, понимаешь, а она подмышки, понимаешь!

— Ну, с ее стороны это, конечно, свинство. Есть же правила гигиены, в конце концов.

— Я то же самое ей и сказал. Говорю: это негигиенично, шлюха кривоногая, тварь подзаборная, шалава небритая!

— Тихо-тихо, Тагир, успокойся, что ты прямо как маленький ругаешься.

Игорь резко открыл дверь на кухню:

— Ну и чего, и кому ты хочешь этим доказать?

Ирина безразлично отвернулась к окну и нарисовала на стекле ежика:

— Ничего и никому.

Игорь сел за стол напротив Ирины, взял из вазочки кружок лимона, макнул его в сахар и бросил себе в рот:

— Хорошо, давай поиграем и в эту игру.

— Давай поиграем.

— Только не забывай, что по правилам переигровки не бывает.

— Дверь закрой, пожалуйста.

— Ты думаешь, что только ты способна на это?

— Если не трудно, заткни тряпкой щель внизу.

— Чего ты там рассматриваешь за окном?

— Ничего.

Игорь взял с подоконника тряпку и стер с запотевшего стекла Ирениного ежика.

— Сегодня полнолуние.

— Да.

— Все врут — ни черта оно не действует на людей.

— Если ты имеешь в виду половую активность, то тебе тоненького месяца с запасом хватило бы.

— А тебе и Юпитера было бы мало.

— Чего тебе от меня нужно?! Оставь меня! Чего ты здесь сидишь — иди погуляй!

Игорь вытряхнул из пачки последнюю сигарету, немного помял ее и понюхал:

— Жалко, курить нельзя.

- Ирина закрыла глаза.
— Может быть, все-таки?..
— Нет...

Миша Смирнов вытряхнул ведро с пищевыми отходами в мусоропровод и, беспечно посвистывая, спустился к настезь открытой двери в свою квартиру, где совершенно неожиданно увидел испуганную Люду. Люда тоже увидела Мишу и покраснела, а Миша, пряча помойное ведро за спину, растерянно сказал:

- Вам кого?
— Ой! Извините, к вам мой Атоска забежал.
— Зачем?
— Я не знаю.

Миша немного подумал и решил, что будет вполне уместно предложить Люде зайти в квартиру и поискать там своего пуделя.

- Так его надо поймать, наверное?
— Наверное...
— Проходите, пожалуйста.

Люда робко зашла и громко крикнула из коридора:

- Атос! Атос!

Атос не откликнулся, и Люда, следуя за Мишей, прошла в его комнату, заглянула под диван и пожалала плечами:

- Не знаю, куда он спрятался.

Миша шмыгнул носом:

- Сейчас чего-нибудь придумаем.

Люда, ожидая, когда Миша чего-нибудь придумает, с большим интересом оглядела комнату:

- Сколько у вас самолетов! Вы их сами собираете?!
— Сам, конечно.
— Наверно, трудно?

Миша хотел как-нибудь сострить, но прибежал Атос, сожравший на кухне все, что можно было найти, и тут же попытался мокрым носом определить, к какому полу принадлежит Миша. Миша смущенно закрылся бомбардировщиком «В-52», а Люда схватила Атоса за ухо и повернула к себе:

- Где ты был, бандит?! Как тебе не стыдно?!

Атос крутанул головой в обратную сторону и откусил бомбардировщику «В-52» хвост.

Люда в ужасе сказала: «Ой!». Миша снисходительно решил не обижаться и соврал, что модель устарела, была неудачной и что он сам хотел ее разломать при случае. Люда упавшим голоском сказала, что ей все равно очень неудобно и неловко за себя и за этого лохматого гангстера. Тогда Миша достал с полки книгу по дрессировке собак и предложил Люде ее почитать. Люда не стала говорить Мише, что ее тошнит от таких книг, наоборот, она горячо его поблагодарила и пообещала очень быстро прочесть и вернуть.

Анатолий Григорьевич отказался от коньяка, но не стал отказываться от сухого белого вина. Леночка же, напротив, потребовала налить ей коньяк, и не в маленький хрустальный столбик, а в большую сферическую рюмку. Анатолий Григорьевич не смог сдержать улыбки и попытался замаскировать ее бокалом с апельсиновым соком.

— Да, Анатолий Григорьевич, это очень смешно, когда девушка пьет коньяк.

— Лена! Я и не думал смеяться. Если есть желание выпить коньяку, то почему бы его и не выпить.

— То есть вам нравятся пьющие женщины? С ними проще, не правда ли?

— Я не говорил, что мне нравятся пьющие женщины, а относительно простоты, то ее привлекательность, по-моему, достаточно спорная.

— Так вам надо, чтобы было все непонятно, запутанно, чтобы каждый подразумевал что-то совсем отличное от высказанного, чтобы все шло на сплошном подтексте, чтобы...

— Я не знаю, почему вы все стараетесь меня спровоцировать. Если я вам настолько противен, скажите — я уйду и не буду отравлять вам вечер.

— Анатолий Григорьевич! Лена! Перестаньте, пожалуйста. Я сейчас пирог принесу.

Леночка стала молча складывать салфетки в аккуратные треугольники, а Анатолий Григорьевич задумчиво забарабанил пальцами по своей коленке.

— Извините, Анатолий Григорьевич, я не хотела вас обидеть.

— Я не обиделся, Лена, все в порядке.

Антонина Васильевна сказала, что так гораздо лучше, и ушла на кухню за своей кулинарной гордостью — пирогом с рыбой. Леночка встала из-за стола и подошла к магнитофону.

— Какую музыку вам поставить, Анатолий Григорьевич?

— Поставьте, какая вам нравится.

— Я люблю джаз.

— Я тоже люблю джаз.

— Правда?

— Да, у меня большая фонотека дома.

Антонина Васильевна торжественно внесла пирог и поставила на середину стола:

— Уж не обессудьте — какой уж получился у бес-толковой стряпухи.

Анатолий Григорьевич съел три больших куска, съел бы и четвертый, но подумал, что это будет неприлично, и искренне сказал:

— Антонина Васильевна, такого пирога я еще не ел.

— Ну уж, Анатолий Григорьевич! Вы мне льстите.

Антонина Васильевна зарделась и на радостях за пирог взяла вместо своего бокала бокал Анатолия Григорьевича и залпом выпила. Анатолий Григорьевич с Леночкой дружно рассмеялись, и Анатолий Григорьевич посчитал момент очень удобным, чтобы пригласить Леночку на концерт приезжающего на один день саксофониста Киреева. Леночка развернула конфетку «Красная Шапочка» и многообещающе сказала:

— Я подумаю.

Дима Петухов крепко поцеловал плотненькую девушку в губы. Плотненькая девушка просунула язык между зубов Димы и лизнула его в небо. Дима был не совсем готов к такому акробатическому упражнению и в тревоге попытался загодя распознать бескомпромиссные позы в рвотного рефлекса.

— Подожди!

— Проблемы?

— Нет, то есть да, в смысле нет.

— Тогда помоги мне.

Дима судорожно задергал застежку бюстгальтера дрожащими пальцами, но потайные крючочки крепко сидели в потайных петельках и никак не выдергивались. Дима тяжело дышал, стал делать глотательные движения и быстро шептать: «Щас — щас — щас», но плотненькая девушка раздраженно отвела его руки, хмыкнула и стянула бюстгальтер через голову.

— Чехлы есть?

— А?!

— Ага! Иди домой!

— В смысле... Вот...

Лифт мягко раздвинул двери: «Вам на какой этаж?» — «Мне последний». Лифт стремительно понесся вверх, готовый разнести вдребезги чердак.

Вызвали с первого этажа — лифт полетел вниз и чуть не вылетел в подвал.

Лифт поехал опять на последний.

Лифт снова вернулся на первый.

Опять последний.

Снова первый.

Последний.

Первый.

Девятый — второй, восьмой — третий, седьмой — четвертый, шестой — пятый, седьмой — четвертый.

Между седьмым и четвертым лифт заметался надолго, потом плавно пошел на десятый этаж, плавно на первый, потом так же, но несколько быстрее, затем еще быстрее и, наконец, очень быстро.

Лифт ткнулся в потолок десятого, судорожно дернулся и распахнул двери, выпустив нетерпеливую веселую гурьбу мальчиков и девочек, которые ринулись звонить и стучать во все двери и которым никто не захотел их открыть.

— Как тебя зовут?

— Сольвейг.

— Как?!

— Мамаша-дура, когда беременная была, книжек обчиталась — зови Олей.

— Ну почему — очень красивое имя.

- Правда?..
- Правда, Сольвейг.
- Поцелуй меня...

— Я не хочу, чтобы письменный стол стоял у окна.

— Но, Женя, все ставят стол к окну.

— А я не хочу быть, как все.

— Тебя никто и не заставляет быть, как все, но индивидуальность, я думаю, надо проявлять не в расстановке поперек комнаты столов, а в чем-то более значимом.

— Какая ты умная! И как я этого не замечал раньше!

— Ты, наверно, был слишком занят собой.

— Даже так! А я-то, дурак, думал, что я все время занят тобой, но, оказывается, чертежи, задачи, магазины — это все я делал для себя!

— Перестань! Если тебе все это настолько в тягость, мог бы и не делать!

Лена вдруг сморщила подбородок, опустила вниз уголки своего ротика и жалобно захныкала.

— Да, конечно, сейчас мы будем реветь, потому что муж достался мерзавец и негодяй и совсем не принц!

— Имей хоть капельку совести!

Женя в ярости пододвинул письменный стол к окну и стал вышагивать из угла в угол комнаты, мечая по стенам возмущенный взгляд и сводя и разводя ноздри своего вздернутого носа.

Тетя Соня легонько стукнула кулачком в дверь, просунула свою прилизанную головку и приветливо усмехнулась:

— Чего, милые, не поладили? Хотите котеночка подарю? Ну-ка, иди-ка обнюхай их.

Тетя Соня просунула в щелку малюсенького котеночка на дрожащих ножках и осторожно притворила за собой дверь.

— Какая прелесть!

Лена подбежала к котеночку, подняла на руки и прижала к груди.

— Женька, какая прелесть!

— Не задуши животное.

— Женька, какой он мякенький и тепленький!

— Он, наверное, голодный.

- А мне кажется, что это девочка.
- Да уж девочка. Надо молока ему дать.
- Достань, пожалуйста, из сумки пакет с молоком.

Женя налил блюдечко молока, а Лена поднесла мордочку котенка к белой, возможно, еще незнакомой жидкости. Котенок понюхал блюдце, макнул лапу в молоко, мяукнул и попытался опять закопаться в складках мехеровой кофточки Лены.

- Он сытый.
- Она просто еще не умеет пить из блюда.
- Давай назовем его как-нибудь.
- Ксения.
- Почему Ксения?
- Красиво же.
- Ну ладно, дай я его тоже поглажу.
- Только осторожно — она такая хрупкая.
- Да ладно.

Света осторожно, чтобы не скрипнула кровать, встала, укрыла всегда мерзнувшие ноги мужа пледом, тихонько вышла из спальни на кухню, плотно прикрыла дверь, включила мощный вентилятор, вделанный в форточку, достала из потайного местечка в шкафу с посудой длинную папироску, сладковато пахнущую марихуаной, включила телевизор с видеомэгнитофоном и, откинувшись на спинку плетеного кресла и положив ноги на стол, стала смотреть фильм про жизнь мужественных героев в коварном мире заокеанских мегаполисов и медленно втягивать в себя дым, уносящий далеко от Павла Кренделькова, его мамы с получасовыми звонками добрых советов о правильном ведении домашнего хозяйства, сопливого и капризного Мосюсечки, осточертевшей манной каши с борщом, ежедневного реактивного гула пылесоса, сложно программируемой стиральной машины, изматывающих магазинов и всего прочего, сопутствующего счастливой семейной жизни.

- Погоди, — сказал Стас и отстранил Валентину.
- Ну ты чего?
- Не видишь что ли: Тагирка не спит?

- Как же не спит, Стас, когда он храпит?
- Дура ты, Валька, я же вижу, что он притворяется.
- Стас, ты опять напился до галлюцинаций!
- Валентина, ты сильно преувеличиваешь.

Стас ткнулся оттопыренными губами в шею Валентины, крепко сжал ее левую грудь, но опять ему показалось, что Тагир Микхатович, пускающий слюни на подушку соседнего дивана, моргает.

- Погоди.
- Ну что, Стас?
- Давай поговорим.
- О чем?
- У вас что, совсем нелады с Тагиркой?

— Да как обычно все. Вчера, представляешь, ворвался в ванную комнату и стал орать, что я его дрянной бритвой брею подмышки, ну я послала его, конечно, козла этого. Нет, ты только представь — пожалел одноразовую бритву, дешевку эту, которую я же, между прочим, и покупаю, — козел!

- Да, с его стороны это, конечно, свинство.
- Ну его, обними меня.

Стас опять обнял Валентину, лизнул безвкусное округлое плечо и взбил вверх ее плиссированную юбку. Ноги Валентины были белые, полные и гладкие, Стас хотел спросить, бреет ли она их тоже Тагиркиной бритвой, но решил, что это будет некорректно. Валентина тяжело прерывисто задышала, Стас стал возиться с пряжкой собственного ремня и когда наконец расстегнул его, ему показалось, что Тагир Микхатович снова ему подмигивает.

- Стас...
- Погоди!

Холодильник мелко затрясся и загудел, погудев несколько минут, он опять затрясся и отключился.

Тяжелая капля медленно вбирала в себя воду, потом сползала на краешек крана, плавно срывалась и летела вниз.

Большой рыжий таракан стремительно пробежал по стене, около полотенца, висящего на гвоздике, остановился, поводит усами и побежал дальше к маленькому вентиляционному отверстию под потолком.

Левая рука Игоря свисала со стола, голова лежала около тарелки с черствым хлебом, несколько крошек впились ему в щеку.

Ирина упала с табурета и, некрасиво раскинув ноги, лежала на полу.

Четыре конфорки безостановочно гнали в комнату легкий бесцветный газ.

Я плотно скрутил телогрейку, обвязал ее шпагатом и закинул за левое плечо, немного пораздумывал над пахнущими сосной ящиками, но не решился взять их с собой.

На шестом этаже мне встретился запыхавшийся незлой жилец квартиры номер девяносто пять.

— Пешком поднимаюсь — пора уже и о будущем подумывать.

— Угу.

— А ты что же, Петрович, переезжаешь, что ли?

— Угу.

— И куда ты теперь, Петрович?

— В коллектор.

— Ну давай, Петрович.

— Угу.

На втором этаже я протолкнул в почтовый ящик квартиры тридцать семь аккуратно сложенную газету «Известия», а на первом хлопнул входной дверью. Маленькая красная лампочка домофона загорелась, потом погасла.

РУССКИЙ ПИРОГ

Прохладным майским вечером 1919 года необычный пассажир вылез из поезда Берлин — Москва на Брестском вокзале. Высокий, худой, в черном пальто до пят. Длинный нос, золотое пенсне да шарф через плечо, — вот и все его приметы. Нес он докторский саквояж, а других пожитков у него не было. На улице взял он извозчика и приказал: «Отель!». Путь пролегал по сумеречной Тверской. Витрины были выбиты и вдобавок не заколочены досками. Над вывеской «Гржимайло и К°» написано было мелом «Долой саботеров!», в полуразобранном доме копошились тени.

— Издалека пожаловали? — спросил извозчик.

— Издалека, — был ответ.

— Плохо снарядился ты, барин, — сказал извозчик, — вот тебе тулуп.

Иностранец что-то твякнул и надвинул шляпу на нос. Совсем стемнело. Фонари не горели.

— В интересное время мы живем, — вздохнул извозчик, — охренительное по бесподобию своему. Голодно, холодно, а ведь говорят, через десять лет всего будет досыта. Царство разума, говорят.

— Что?

— Какой отель прикажете?

— Вези куда знаешь. Лишь бы чище да лучше.

В «Метрополе» все было занято, в «Национале» тоже. Извозчик хлестнул лошадь, и они въехали в Невалаяжный переулок. На поблекшем фасаде пансиона «Иверни» висел плакат: «Деникину в морду красным

сапогом вдарь!». Заспанный вахмейстер вышел, придерживая свечку:

— Надолго?

— На ночь.

Дверь закрылась.

— Занесло тебя, барин, — сплюнул извозчик и покати прочь.

В темном номере на третьем этаже иностранец залез в ледяную постель и попытался уснуть. За перегородкой стонала дама, на улице лаяли собаки, время от времени хлопали выстрелы. Иностранец задумался.

Что общего между французским атеизмом и русским мессианизмом? Вероятно, связь есть. Барон Ленорман — живое тому подтверждение. Жильбер К. барон Ленорман происходил из древнего бретонского рода. Детство провел в родительском поместье, был отдан в иезуитский колледж. В 17 лет порвал с религией и отчим домом, стал шляться по парижскому дну. Идеи анархизма и безбожия овладели юным сердцем. В этом, как и во всем прочем, барон преуспел. В 1908 году вместе с другом, беспутным русским графом Посадским, Жильбер гулял по Монмартру. Обсудили политику, выпили пива. За соседним столиком кто-то высказал христианский лозунг. Жильбер вздрогнул, встал и двинул речь. Он яростно атаковал, ссылаясь на Дидро, Лео Таксиля и современную науку: «Бога нет! Лишь безбрежная материя и отчаянная борьба клеток. Все остальное мистика и дурь!» Противник был разбит. Из собравшейся толпы вылетел человек с бородкой, в шляпе, и, картавя, представился: «Рачковский! Весьма покорен. Путаницы много, но и сермяга несомненная. Приходите к нам на чай!». Так Ленорман сблизился с большевиками. Ходил к ним беседовать, выучил русский язык, поверил в миссию Восточной Европы. Позже, в разгар войны, сидя в окопах Арраса, узнал он о революции в Петрограде и подумал: «Пора туда».

Поклонник Сада и Аполлинера, сторонник классовой борьбы, левак и фантазер, барон Ленорман демобилизовался в ноябре 18-го и начал активные сборы в Россию. Блестящий породистый интеллигент вылез на Брестском вокзале. Русская авантюра началась.

Наутро Ленорман умылся, побрился и пошел по адресу: Настасьинский переулок, № 5. Лопоухий сол-

датик провел его на 2-й этаж, где помещался кабинет предкама Центрагита, председателя Комитета по религии и атеизму Ан. А. Рачковского. Посидев с полчаса, Ленорман был допущен внутрь. Громадная карта России занимала всю стену. Красные стрелки атеистической пропаганды шли на Тамбов, Калугу, Киев. Стол был уставлен телефонами. Рачковский кричал в две трубки:

— Какие мощи? Какой Радонежский? Направить в Лавру операторов, лучше Дзигу Вертова, вскрыть мощи, снять фильм и демонстрировать, демонстрировать и еще раз демонстрировать по всей России на пасхальной неделе! Это вы, барон? — Рачковский вылез из-за стола и бросился ему навстречу. — Садитесь! Пейте чай! Берите сахар! Прибыли весьма ко двору! Обстановка — архитрудненькая! Разная сволочь прет на нашу молодую республику. Помещики, фабриканты и клирос всякого рода. Товарищ Ленорман! Засиживаться не время! Вы — ценный интеркадр! Прямо в бой! Завтра в 8.00 с Казанского вокзала отходит в агитрейс бронепоезд «Красный безбожник». Провырнемся по южной Орловщине. Во главе — ваш верный слуга. Будут спецы по религии, естествознанию и исткомдвижу. Листовки, плакаты, наглядные схемы. Ваш козырь — разоблачение библейских мифов. Безбожие, аморализм и просвещение. Только про Сада — ни гу-гу, — подмигнул, прощаясь, Рачковский. — Мы ценим его роль в борьбе с тиранией, однако при социализме ему делать нечего. Это — исторически обреченный экземпляр. Да-с. Получите у Маши пайку, а завтра извольте быть как штык. Прощайте, милостисдарь!

На улице было пусто, от голода живот сводило. Не зная, где приткнуться с пайком, барон сошел в подвал с надписью «Жар-птица. Клуб унижамбистов».

Там было пусто, царил полумрак, а на освещенной эстраде стоял поэт в цилиндре:

Я — полу-голо,	Когда я чучу
Я — недо-сдача,	Свою ласкаю,
Я — пери-кола,	Чуть-чуть урлычу,
Я — кукарача.	Чуть-чуть икаю.
Я очень чистый,	В России голод,
Я очень грязный,	В России пьянство,
Чуть-чуть речистый,	Но рухнет город
Чуть-чуть развязный.	В пучине хамства.

И полуголый
Пойдет по нивам
С сумой гугольей
Певец России.

— Не так! — крикнул другой поэт, —

И с туском березовым по склонам
Своей России милой я пойду,
Склоняя долу лик свой воспаленный,
Дудя в подпaska Леля нежную дуду.

Сосед-матрос затопал ногами: «Прочь!» Поклонница вышла на эстраду, встала на колени, поцеловала бледные пальцы поэта.

— Ну как тебе наша Россия? — произнес кто-то сбоку. Ленорман поперхнулся: жирный тип с волосами до плеч тянул из кружки фирменный напиток «Русь»: самогонка с сахарином и квасом. — Любуешься на судороги русской души? Но ничего! Скоро проскачут монгольские лошадки наши по притихшим городам вашим, скоро раздастся истошный азиатский крик над бургерскими норами. И поймете вы, что такое космический ужас и холод во всех членах.

— Чего пристал к нему, Бегемот? — матрос подвинулся, положил маузер на стол. — Иван Вольный! Балтиец. Брал Зимний. Ученик Бакунина с Кропоткиным, гроза московских проституток. С кем имею честь?

— Барон Ленорман.

— Какими судьбами?

— Добровольно.

— И с какой целью?

— Читать лекции по атеизму.

— Был у вас удивительный мужик, маркиз де Сад. Идею воли двигал он до точки. Но пал жертвой бездушной бюрократии.

— Донасьен Альфонс Франсуа, граф де Сад, более известный под именем маркиза де Сада, — важная тема моих исследований.

— Тогда иди за мной, браток! Покажу тебе здешний садизм, — сверкая штиблетами, играя маузером, матрос пошел вперед, за ним — барон. Прошли по коридорчику, поднялись по скрипучей лестнице. Комнатка с зелеными обоями, полупущены жалюзи, широкое

канапе. На нем сидели Варя с Галей. Варя, в чем мать родила, играла на гитаре; Галя, в исподней юбке, подпевала:

Что ты, миленький, заносишься собой?
Ты хорош, так не гоняюсь за тобой.
С тобой, миленький, не зиму зимовать,
Расхорошенький, не два года гулять.

— А ну-ка, Галка, — сказал Вольный, — позови подруг! У нас гость. А вы садитесь, барон!

Вольный велел дамам замолчать, положил маузер на стол и зажег свечу:

— Начинаются пляски плоти! Вакханалия чувств, анархия половых явлений!

Он приказал им развернуться и стал переходить от одной к другой, поочередно выкрикивая имена:

— Це Варя, це Галя, залеточка Даша, Парасковья-дролечка, а с Лушечкой не спорится, — потом пошел по новой.

Ленорман подумал: «Французы говорят, а русские доводят до конца».

— Прощаюсь с девочками! — крикнул Вольный, подходя к Варе. — Пора на юг! Альянс с большевизмом пошел вкось. Напрасно брал я Зимний. Ильич велел отдать столицу напрочь! Давай, барон! Покажь размах Европы.

Придя в отель, ошарашенный Ленорман достал бумагу, карандаш и начал излагать удивительную историю маркиза де Сада по спецпросьбе анархиста Вани Вольного.

...Есть люди, жизнь которых отдана идее. Идея подчиняет тело, которое летит, подобно метеору, самовластно. Таков де Сад (1740 — 1814), борец и фантазер. О детских годах его ничего не известно. Юношей принял он участие в семилетней войне, затем вернулся в Париж, там женился он на девушке из знатного дома, которую вскоре бросил. В 1767 году он получил все титулы отца, дипломата Жана-Батиста-Франсуа-Жозефа, и подал в отставку. Спокойная жизнь уготована была ему, но недолго пробыл он в родном поместье. И вот — Эльзас. Он ехал по проселочной дороге с денщиком, когда взору его предстала девица легкого поведения, некая Марта Келлер. Сидя на обочине, кушала она вишни: губки ее, все в вишневом соку, при-

влекли внимание экс-офицера. Он спешился и пригласил ее в таверну. Де Саду не было еще тридцати, но ветеранский шрам рассекал его щеку, а правый глаз все время дергался. Представьте себе харчевню того времени, грязный антураж, очаг, жаровню, стулья, и молодой философ, опередивший время лет на двести, решает, что бы натворить, как трансцендировать устои? Приходит вдохновение, ведет он даму наверх, но не имеет, а сечет. По странной логике людей, это преступление большее, чем убийство тысяч на войне, но граф знает твердо: 1770-й на пороге, префекты короля теряют силу, ничто не сдержит натиска безумной воли одиночек. Его хватают, кидают в замок Сомюр, затем в Пьер-Энсиз. Там он скребет на листках свои эссе, но вскоре их сжигает. Досрочная свобода. Неугомонный дух толкает его в новую проказу.

Что такое кантариды? Если выварить брюшко нескольких тысяч так называемых «шпанских мушек», гнездящихся в кустарниках Пиренейского полуострова, то получается варево, приятное на вкус, но необычное по своим эффектам. В малых дозах оно лечит радикулит, в больших, если принимать вовнутрь, вызывает необузданную похоть и раздражение конечностей. Недолго думая, маркиз набивает мушками конфеты и все это несет в публичный дом. Мотивы его действия осознанны: это последовательный атеизм. Раз бога нет, то все дозволено, говорит он на сто лет раньше Достоевского. И вот — финал: окраина Марселя, лупанарий мадам Тюрбо. Объевшиеся мушек проститутки рвут на себе одежды, сигают на панель в чем мать родила. Многие ломают себе ноги. «Теперь-то я повешу тебя, разнузданный милоч!» — клянется марсельский префект. Маркиз бежит на Апеннины. В Италии его хватают. Король сардинский швыряет его в крепость Милоано, откуда он бежит опять. В 1777-м де Сад схвачен под Парижем, брошен в замок Винсенн, переведен в Экс, где начинается процесс. Доводы его о вседозволенности и тотальной воле обозляют суд. Двенадцать лет маркиз сидит в Бастилии, Винсенне, Шарантоне. В застенке создает он романы беспримерной дерзости и гениального предвосхищения. «Жюстина», «Жюльетта», многие другие. Был ли хоть один тогда, кто не

покрутил бы пальцем у виска? Сейчас мы судим иначе. 20-й век раскрыл величие Сада — пророка и анархиста.

Мысль его такова: системы человека и космоса расходятся и застывают в перпендикулярной связи. Человек вышел из повиновения богу, но назад пути нет. На нем теперь замкнулись иные силы. Последовательный эгоцентрик совершает преступления. Сила перемен влечет его от спорта к сексу и от страсти к богу. Все в жизни есть игра и миф. Любовь — игра, и творчество — игра, и садизм — игра, и революция — тоже. Надо видеть дистанцию и знать искусство, а главное — предвосхищать собственную смерть. Так думает и действует де Сад, так резонирует его герой-бандит, прежде чем бросить даму в кратер Этны.

Интересно, что искушенные добрее к людям. Освобожденный революцией маркиз работает в ревкоме в Сен-Дени, где избегает жертв, тогда как якобинцы рубят головы. Он публикуется, его сажают. В одно из кратких пребываний на свободе де Сад подносит на блюде Бонапарту «Жюльетту, или Превратности греха». Иллюстрации достойны текста. И что же? Великий фантазер Наполеон ведет себя как пошлый буржуа: маркиза бросают в сумасшедший дом. И по сей день так называемые прогрессисты — по большей части стыдливые, двуличные создания. Так мне сказал мой друг, анархист Иван Вольный. Секс — пробный камень всех революций. Но вернемся к де Саду. Годы заключения в Шарантоне — возвышенный финал неподчиненья. Маркиз пишет романы, ухаживает за душевнобольными, ставит с ними спектакли. Он сдержан, вежлив, требователен к себе и к тем, в ком, как он считает, соединились две души. Он носит серые чулки, лакированные туфли с пряжками, следит за париком и парфюмерией. Его любовнице — 13 лет, дочь прачки обожает старика, который с ясным взором идет навстречу смерти.

В 1814 году, в возрасте 74 лет, де Сад засыпает вечным сном. Его череп вскрывают, но фенологи не находят отклонений: мозг чист и извилист. Мюссе считает, что Сад и Байрон — главные, кто возвестил новую эпоху нашего сознания.

...Барон поставил точку и поспешил на Казанский вокзал. «Красный безбожник» стоял у перрона, пуская

мощные клубы дыма. Во время мировой войны он относился к штабу русской армии и назывался «Архангел Гавриил», теперь он был приписан к Центрагиту. «Красбез», как называли его свойски, состоял из пяти вагонов: трех купейных, одного салона и броневоза, на случай атаки. Купе были просторные, с душем, обшитые красным деревом, салон в багровом плюше приспособлен для показа кинофильмов. Посередине стоял рояль. Рачковский, с красным бантом на желтом френче, открыл летучку:

— Товарищи! Нашими руками закладывается фундамент грядущего строя, основанного на расширенном производстве и разумном потреблении. Мы мозгляки, и кстати! Мы трудолюбивые люди, но мы переделываем мир. Все есть материя, и мы кроим материю. У нас присутствуют: французский атеист барон Ленорман, венгерский писатель Кош, путиловский рабочий Мордовой и латышский стрелок Хрупиньш. В программе летучки: закрытая лекция о маркизе де Саде, читает барон Ленорман, «Лунная соната» — играет Маша, «Варшавянка» — поем все хором. Затем — диспут на религиозную тему и выборы местных органов пропаганды.

После летучки Рачковский пригласил Ленормана к себе в купе пить чай. Ложечка звенела в стакане, Жильбер любовался серебряным подстаканником с царским вензелем. Поезд мчался в охрентельную глушь срединной России. Временами паровоз гудел, в салоне пели хором «Вихри враждебные». Ленорман почувствовал неотразимую силу бреда, наивную страстность религии братства.

— Вот, — сказал Рачковский, — они будут жить хорошо. Я не увижу, но Машенька увидит победу всемирной коммуны. Им будет счастье, будет труд, будет свобода. Прежняя история человечества покажется им жутким, непроходимым мраком. А мы, барон, оба из старого мира. Моя мать — тульская дворянка, отец — местечковый еврей. Они встретились в Женеве и произвели меня на свет. Кто мог предполагать! А вы...

— Один из Ленорманов был гильотинирован в 93-м, но я за перемены...

— Такие вот неслыханные метаморфозы... взгляните на поля: здесь все будет иначе... А ваш маркиз,

кстати, был неглупый парень, хоть и страшный подонок. Если спишь с женщиной, зачем ее стегать? А теперь — прощайте. Мне надо писать отчет самому Войцеховичу. Распорядок дня — в агитсалоне.

День прошел незаметно: в диспутах, чаепитиях, разговорах о братстве. В полночь разошлись. Ленорман закурил, задумался под стук колес.

Тук-тук,

Тук-тук,

Тук-тук, — стучали они... Он задремал. Привиделся ему божественный маркиз, бежавший в Россию от абсолютизма и устроившийся лектором к Рачковскому за пайку хлеба и кусочек сахара. За связь с комсомолкой де Сад был судим и исключен. Сидя в харьковской психушке, он понял корни трагической неустойчивости порядка на ледяных просторах этой страны... Тут кто-то заскребся в дверь. Ленорман отворил. Перед ним стоял молодой моряк:

— Браток, за мной погоня! Пойми ты, Ленорман Иваныч, — зашептал Вольный, — в Москве анархии хана. Пришлось тикать. В Серпухове забрался в ваш бронепоезд. Лишь бы до Курска. А там — зажжем пламя освободительной борьбы. Большевики коварно захватили власть. Трагедия русской революции — в том, что ничтожнейшая фракция оседлала могучее движение. Они губят его, а что делать? С большевиками? Ни за что! С белыми? Ни в коем разе! Выход — один: народная война с красным и белым хищником. Это — гиблое дело. Мы умрем. Победят негодяи, но ненадолго. Лет на сто. Великое дело анархии с нами не кончится. Последуют годы террора и замешательства, но карму духа нельзя прижать к ногтю.

Ленорман залюбовался им: невысокий, плотный, Вольный был по-кошачьи гибок, убеждал страстно, рассекая воздух ладонью. Тельняшка прилипла к мощной груди, смоляная прядь упала на один глаз. То, что он говорил, не было в новинку барону, специалисту по вольнодумию.

— Вот вам текст о маркизе, — сказал он, — пользуйтесь.

— Спасибо! Мировая анархия не забудет вас, — матрос отдал честь и был таков.

...Полгода спустя Иван Вольный сидел перед печью, пил чай и сушил портянки.

— Садистам — низкий поклон, — приветствовал он исхудавшего барона. — Марья, сажай гостя за стол, — обратился он к румяной девке в кожане и португее. Та нарезала хлеба-сала, плеснула в стакан сивухи, пододвинула барону...

То — после, а пока что, пыхтя и сигнала, «Красный безбожник» подходил к платформе уездного городка Глухова. Их встретили «Интернационалом» и повели в собор, на митинг. Программа была обычна: вступительное слово — Мордовой, соната Листа — Марья Зайончковская, творчество Лео Таксиля — товарищ Ленорман и подведение черты — Рачковский. На амвон взобрался Мордовой:

— Товарищи! Восемь лет назад на станции Потапово скончался Лев Толстой, борец с авторитетом церкви, титан и гражданин. Чем почтим его память, товарищи? Одним: безудержным пропагандистским залпом из всех орудий! Дадим пли по телу церкви! Откроем эру атеистического мышления! Нам все нипочем, и на всем мы ставим гигантский вопросительный знак, а рядом с ним — кукиш!

— Ближе к теме, — подсказал Рачковский.

— Совершается могучее центростремительное движение, братцы, — вымолвил тогда Мордовой. — Все упрощается до предела, товарищи! Одна власть, одна башка, одно дело. Все остальное — к черту. Хватит с нас столетий шатаний и разброда.

Рачковский ерзал крайне недовольный, а затем поднял руку:

— Позвольте! Это несерьезно, товарищи! При чем тут Лев Толстой? Получена шифровка: в Берлине совершено злодейское убийство! Кровавая собака Носке велела расправиться с Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург. Товарищи! Мужики уездных городов! Ростки нового пробиваются и в этой гнусной глуши! Дают трещины устои вековых традиций! Все выше и выше, шире и шире катятся валы очистительной бури, все больше набирает скорость локомотив истории. Мы живем в удивительное время, товарищи! Даже ребенку ясно, что бога нет, что пролетарий — двигатель прогресса, что главное — борьба классов и созидательная активность. Так давайте же за работу, то-ва-ри-щи!

Выметайте к черту всю нечисть и хлам: из сознания, из жизни! Бодрым шагом шагайте к лучезарному царству коммунизма, раю на земле! Дерзайте, пойте, стучайтесь! Кровь наших мучеников не пролита зря!

Раздались аплодисменты. Все дружно запели «Марсельезу». Этюд Листа был пропущен, лекция о Таксиле тоже. На амвон вылез Хрупиньш.

— Я выступаю с почином, товарищи! Даешь рейд под знаменем безбожия! Беру обязательство прочесть лекцию по комтруду в глухой деревне Мартыновке. Кто больше?

Рачковский встал с уточнением:

— В нашем списке — деревни Мартыновка, Шалымовка и Лобановка. Кто встречный?

Барон почувствовал веление судьбы и поднял руку:

— Даешь Шалымовку!

...Село Шалымовка, о сотне душ и небольшой усадьбе, лежало в сорока верстах от Глухова. Здешняя церковь была лишена реликвий стараниями местного актива, усадьба взята под охрану государства. В телегу с Ленорманом сел бывший пастушонок Федька, теперь секретарь шалымовской комячейки. Мужик Кондрат натянул поводья, ругнулся на коня, и они поехали. Грязи было предостаточно, суровые ели стояли по краям дороги. Барон увидел, как далеко его заносит.

Приехали. На Ленормана смотрели с десятков деревенских баб, пара подпасков, два солдата-инвалида да графская горничная Параша, временно назначенная хранителем музея русского феодализма.

— Французский социалист, барон Ленорман, — представил его Федька.

— Монтестье, — начал Ленорман и осекся. Стоя в телеге, перешел на французский. — Ничего, друзья! Такова природа. Мы все уничтожаемся и выстраиваемся в новые цепи элементов. Живительное, вечное начало!

Одобрительный ропот прошел среди мужиков. Полуслепой Никифор подошел к барину и поцеловал ему руку:

— Ишь, барон, да ты и вправду барин, — бормотал он, — щас мы тебе баньку растопим, щас я Парашу кликну.

Мужики долго еще стояли на лужайке, о чем-то судачили. Никифор затопил баню, Параша отстегала

барона веником, накинула на него халат Ильи Степаныча, с войны 1812 года, и отвела в опочивальню, на кровать с балдахинном. Жильбер заснул непробудным сном в объятиях этой мягкой коровушки.

Настало утро. Прокричал петух.

— Товарищ Ленорман, — рыдал смятенный Федька, — агитпоезда нема! Казаки окружили город. Спасая жизнь товарища Рачковского, эшелон с боем ушел на север. Приказ оставшимся: окопаться, уйти в подполье и ждать сигналов центра.

Так настала долгая шалымовская ссылка. Постепенно все забыли, что Жильбер — агитатор, а помнили одно: что он барон.

Он вставал поздно, часов в десять, распахивал балдахин, сладко тянулся. Надев шелковый халат Ильи Степаныча, в войлочных пантуфлях шаркал по комнате. Смотрел, как петухи во дворе спорят, как мальчишки на дерево залезают, как бабы промеж собой ругаются. Гонял шары в старинной бильярдной, думал о своем. Попив кофию, поев кашки, садился он у печки и принимался за чтение. Полюбил Пушкина, Тургенева. Это были офранцузенные бары... Париж отсюда воспринимался как некий бред, тянуло на покой. Днем спал, иногда с Парашей. По вечерам раскладывал пасьянс. Когда наступил июнь и подсохла грязь, он начал совершать прогулки. Вооружившись тростью, надев барские галоши, он выходил на опушку леса, вдыхал воздух с полей. Этот период он запомнил как счастливейший в жизни. Он был свободен и спокоен: прибыло сил. В моменты некоего прозрения просек он разницу укладов, великую несовместимость Запада с Востоком, жертвой которой пали русские дворяне. Оценил он размах здешнего безрассудства: идти до дна, пока не зарябит тебе в очи. Вот так. Точка.

В июне ребята взяли его по ягоды. Пришла вся лихая компания: Лушка, Мишка и Антошка. Босоногие, белобрысые, встали они под окном.

— Мусью Ленорман, айда по ягоды!

Параша дала ему лукошко, обмотал он шею шарфом, надвинул шляпу и пошел вслед. Тропинка вилась в густой траве, среди берез и елей. Нечто дикое, тайное он ощутил в глухом лесу, в компании милых дикарей. В траве попадались там и сям земляничины, в сосновых иглах водилась черника. Ребята потешались над под-

слеповатым барином, вынимали ягоды прямо из-под ног его. «Зря, — подумал Ленорман, — не пошел один из предков моих на службу к царю и не осел в одной из этих Шалымовок... А может, и не зря, с учетом поворота дел». Проходив часа два по лесу, вышли они к излучине Ворсклы. Ленорман лег на солнышке, положил шляпу на лицо, задремал.

В далекой голодной Москве засел штаб неутомимых атеистов и слал депеши фронтам гражданки. «Демократия — выдуманное начало, — решил он, — она выражает некую наклонность души, да и то — определенных народов. Если у народа нет такой потребности, зачем она ему? И вообще, все, что они здесь имеют, — выдуманное, ибо привозное». В этот момент аэроплан показался над лесом. Сделал несколько кругов и исчез. Не понял Ленорман: белый это или красный. Однако это напомнило ему, что здешняя идиллия имеет свои пределы.

Действительно, через пару дней спокойная жизнь была нарушена. Сперва раздалась стрельба, потом конское ржание. Несколько всадников въехало во двор. Дверь в горницу раскрылась. Это был постаревший, обветренный, старый знакомый, граф Посадский, в нелепом одеянии подпоручика.

— Вы, подпоручик? Почему? — спросил Ленорман.

— По кочану! Ши мои хлебаешь? С Парашей спишь?

— Послушайте, граф ...

— Не надо. Не иначе как пакости Федора. Придется повесить. Идемте, — сказал Посадский, — я покажу вам интересный вид.

Они вышли на дорогу, ведущую в поле. За спиной доносились истошные вопли Федьки. Отмахнув версты две, поднялись они на древний холм и сели.

— Курите! — Посадский предложил барону турецкую сигарету.

Солнце стояло уже высоко. Жучки-паучки бегали в траве, жаворонки кувыркались в небе. В низине белели стены Игнатьевского монастыря. Видно было за десятки верст. Массивные, вековые леса и холмистые, бесконечные дали.

— Мои предки, — молвил Посадский, — били татар на этих рубежах. Здесь был форпост русской нации. Но что вы знаете про это? У вас — худосочная Европа, у нас — Россия, загадка святая. Вон на том маленьком

кладбище, у монастырской стены, похоронены мои предки. Поместье это даровано нам при царе Алексее Михайловиче. Здесь жили мы, худо-бедно ли, почти три века, вместе с народом своим. Но вот настало безумное время. Все мы подготовили его. Все мы подпевали новаторам, политикам, горлопанам. А что теперь? Царство фраз, кровавой истерии. Свора хищников набросилась на отчизну и стала рвать ее не по годам разросшееся тело. Иноземцы спелись с чернью, а мы должны исчезнуть. Но не лучше ли исчезнуть по-дворянски, испытывая смерть?

Лежа небрежно, нога на ногу, он достал револьвер, повернул патрон, подал Ленорману:

— Ну как, барон?

«Увольте», — хотел сказать Ленорман, но сдержался.

— Стреляйте, барон, если есть в вас хоть доля чести.

— Все дело в предрассудке чести? Ну что ж... — барон приложил револьвер к виску и спустил курок. Щелчок раздался: он сидел как ни в чем не бывало.

— Мой черед, — сказал Посадский. Взял револьвер, подмигнул, и, как был, нога на ногу, выстрелил себе в ухо. Эхо отдалось в полях, подпоручик испустил дух. Румяный, в белом кителе, лежал он на холме с застывшим взором. «Вот и свиделись! — подумал французский гость. — На великих просторах русской возвышенности. Граф П. и барон Л. Ну да что там! Историю не остановишь!» — он поцеловал Посадского, положил ему фуражку на лицо и пошел, не оглядываясь, на Запад, где носилась без устали по деревням бригада Ивана Вольного.

Вот что рассказал потом перед расстрелом один из бандитов Вольного, взятый в плен спецгруппой Хрупиныша:

— ...Пришел он в наш отряд поздно. Встретил его командир как друга. Посадил чай пить. Потом залезли они на одну полоть с Марьей-наездницей и вышло у них нечто вроде равноправного сожительства.

— Тотальное тройное братство? — уточнил следователь.

— Да нет, хозяйство, что ли, совместное у них было. Так и сражались они втроем, пока не напоролись на превосходящие силы противника. Засели они в крайней избе, обнялись на прощанье и стояли насмерть, пока не кончились все патроны ...

ЭЛЕГИЯ

С. Б.

Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов.

Новый Завет

Суровцев вынул из обгоревшего почтового ящика письмо.

«Милый друг, — писал Войцеховский, — путевки выкуплены, я жду тебя».

Они познакомились в армии. С тех пор прошло много лет. Они изредка встречались, переписывались.

Один находил в прошлом рай, другой — ад. Один, конвульсируя, бежал назад, другой, конвульсируя, бежал вперед. Иногда их орбиты пересекались, и тогда они находили друг друга. Их бег был печален.

Суровцев собрался, поехал.

Войцеховский жил в столице. Из окон его коммунальной квартиры была видна рубиновая звезда знаменитой башни.

Дверь открыл Войцеховский. Они обнялись. Под глазами Войцеховского были темные круги, его лицо было печально: болела младшая дочь.

— Проходи, раздевайся, обедать будешь.

Суровцев снял шубу и шапку и вошел в комнату с ширмой.

Там было сумрачно. В высокое окно с облупленной

краской смотрел бледный морозный день. Уличный гул едва долетал. Тут была и столовая, и детская.

Войцеховский прошел за ширму, опустился на колени, прислушался к дыханию уснувшей дочери и погладил ее бледную руку.

— Наверное, ты поедешь один, — сказал он, выходя из-за ширмы.

Суровцев пожал плечами.

Войцеховский был на хозяйстве. Жена его была на работе, старшая дочь — на занятиях.

Он разогрел и подал обед. Его движения были быстры и судорожны, но он ничего не пролил, не уронил.

— У меня есть водка, — сказал Суровцев.

— Хорошо, но не сейчас, — ответил Войцеховский.

Суровцев нахмурился и приступил к обеду.

Ел он скованно, соблюдая этикет.

— Да бери руками, — сказал Войцеховский по поводу его затруднений с курицей.

Суровцев ел, Войцеховский печально смотрел. Темные круги под его глазами казались кольцами давно спиленного дерева.

— Как живешь? Как жена, дети? — спросил он.

— Все ничего... все ничего, только не бывать уже мне в кукурузе! — в порыве неожиданной откровенности, с надрывом воскликнул вдруг Суровцев.

— В кукурузе? — удивился Войцеховский.

— Да, в кукурузе! — с вызовом ответил Суровцев.

— Хорошо, мы еще поговорим об этом, а сейчас ты можешь прилечь.

Войцеховский знал слабость Суровцева к послеобеденному отдыху.

Уязвленный тем, что его не стали расспрашивать о кукурузе, Суровцев сухо поблагодарил за угощение, сходил в туалет и по узкому коридору прошел в другую комнату.

Там было сумрачно. Пахло книгами и мебелью, подобранной Войцеховским на свалке в годы нищеты и скитаний. В высоком окне с облупленной краской бледно сияла рубиновая звезда. Город сверху казался гигантским замороженным тортом.

«Конечно, он в столице живет, в центре, с профессорами знается, а что я ему? Даже водки не захотел со мной выпить», — подумал Суровцев и лег на диван.

Войцеховский вымыл посуду, согласно графику подмел общую кухню и заглянул к Суровцеву. Тот спал. Прикрыл его пледом, вышел. Соседка в коридоре спросила, не его ли это гость так неаккуратно посетил туалет. Ответил:

— Это исключено. Человек он интеллигентный.

Заварил лист эвкалипта. Прошел за ширму, опустился на колени, прислушался к дыханию дочери. Быстро оделся, сбегал за продпайком. Прибежал: дочь в слезах.

— Что с тобой?

— Мне приснилось, что тебя сбила машина.

Успокаивал, отвлекал, вслух читал «Мертвые души».

Полоскали горло, пили лекарства.

Позвонила жена — задержится на работе. Позвонила старшая дочь — после занятий зайдет к подруге.

Мрачно вещал за стеной по радио известный писатель, намекая на какой-то всемирный заговор.

Пришел сантехник, осмотрел слив и сказал, что нужно менять, но менять нечем, но если...

Дал пятерку — ушел за новым сливом.

Пришел за ширму — дочь в слезах.

— Что случилось?

— Почему так долго нет мамы?

— Она задержится на работе.

— А вдруг на нее упадет сосулька с крыши?

— Мама знает, что под сосульками ходить нельзя.

— А Вика где? Почему ее так долго нет?

— Вика зашла к подруге.

— А вдруг на нее напали люберы?

Успокаивал, отвлекал, читал из фольклора: «...и стал медведь мужика ломать и коверкать, и жопу ему выел». Дочь тут же зашлась от смеха.

— Так и написано?

— Вот, смотри, только маме не говори, что я тебе это читал!

Суровцев проснулся, сходил в туалет, услышал хохот, заглянул: Войцеховский и дочь в обнимку хохочут за ширмой. «Странные люди: то умирают, то смеются», — подумал он, отправляясь снова на диван.

Странного ничего не было: дочь болела — умирал Войцеховский, выздоравливала — с нею воскресал.

Сантехник принес новый слив и попросил помочь совместить фланцы. Помог. Пришел за ширму — дочь дрожит.

— В чем дело?

— А он тебе ничего плохого не сделает?

— Кто?

— Ну, этот, что сейчас заглядывал.

— Сантехник? Ну что ты? Добродушный человек!

Он мне занятную историю рассказал, только маме не рассказывай!

Стал на ходу сочинять скабресную историю, и чем скабресней она становилась, тем звонче заливалась дочь. Все снова кончилось обоюдным хохотом.

Сантехник ушел, но тут же вернулся: оставил в ванной часы. Все обыскали — часов нет.

— Часы я оставил здесь! Без часов не уйду!

— Хорошо, какие?

— Ну, это... «Ракета»...

— Сколько стоят?

— Ну, не новые... червонец...

Дал червонец — ушел.

Дочь дрожала за ширмой. Суровцев спал, за окном мерзло пустое небо.

Пришел старший брат, пообедал, закурил и сказал:

— Мне противно у тебя бывать. Твои конвульсии вызывают у меня отвращение. Жизнь зря потратила на тебя свои клетки. Лучше бы я прожил дважды.

Поезд у них был ночной. Войцеховский колебался до последней минуты. Наконец, уговариваемой женой и старшей дочерью, стал собираться. Сборы его походили на бегство. Вещи в беспорядке швырялись в чемодан. Жена и старшая дочь, не смея вмешиваться, стояли в стороне. Говорили шепотом. Его отъезд держался от младшей дочери в глубокой тайне. Собрался он в считанные минуты. Прижав коленом крышку вздувшегося чемодана и закрыв замки, он дал жене последние наставления и облачился в совершенно неприглядный, в заплатках и в пятнах, тулуп. Длинный ярко-зеленый шарф он повязал сверху, что неожиданно придало его облику странную экстравагантность.

«К чему этот маскарад?» — подумал Суровцев.

Он никогда не рискнул бы в таком наряде выйти на улицу.

На нем были опрятная искусственная шуба и новая нутриевая шапка, его брюки были тщательно выглажены, а подбитые подковками ботинки сияли.

— А ты одет прилично... как покойник, — сказал Войцеховский.

Суровцев, не найдя контрвыпада, пожал плечами и нахмурился.

С чемоданами потащились к подземному переходу. К ночи мороз усилился, на улице было пусто, лишь у «Националя» мерз букет не разобранных еще прости-туток.

Проходя мимо них, Суровцев подумал о своей новой нутриевой шапке.

— Шапка у тебя, конечно, замечательная, но здесь абсолютно бесперспективная, — сказал Войцеховский.

Он часто угадывал желания и мысли Суровцева.

В поезде Суровцев, положив шапку рядом с собой, сразу же уснул, а Войцеховский почти до утра жуировал с попутчицей.

Суровцев просыпался, слышал их шепот и думал: «О чем можно так долго шептаться?».

В Ленинград прибыли утром.

Перед выходом Суровцев впустил мохеровый шарф, причесал шапку и газетой протер ботинки.

— Ты меня умиляешь, — сказал Войцеховский.

Суровцев не ответил.

Войцеховский тепло простился с попутчицей, поклонился встречавшему ее офицеру и вдруг метнулся в сторону и скрылся в толпе. Через минуту он появился с мешком на плечах, за ним, шамкая благодарности, семенила старуха-оборванка.

— Возьми-ка мой чемодан! — крикнул он Суровцеву и потащил мешок к вокзалу.

Мешок был грязный, из него что-то сочилось. Тащил его Войцеховский с зычными криками «побегись-посторонись».

«К чему этот балаган?» — подумал Суровцев.

Тяжесть двух чемоданов сводила на нет все его торжественные приготовления к встрече с Ленинградом.

Поведение Войцеховского шокировало и пугало его. Ему казалось, что тот слишком опасно бравивирует

в хмурой утренней толпе и что это может привести к эксцессам.

Старуха была посажена в трамвай.

Мешок оставил на тулупе Войцеховского жирное пятно.

— Хрен с ним, пойдем! — ответил он на предложение Суровцева оттереть пятно снегом.

— Давай перекусим? — предложил Суровцев.

— Где?

— На вокзале.

— На вокзале воняет. Форвертс!

Войцеховский быстро лавировал в толпе. Суровцев едва за ним поспевал. Не нравилась ему эта спешка.

— Форвертс, форвертс! — подгонял его Войцеховский. Вышли на Невский. Суровцев остановился.

— В чем дело? — спросил Войцеховский.

— Но это же — Невский! — с надрывом воскликнул Суровцев.

— Ладно, постой, осмотрись, — сказал Войцеховский и тут же с каким-то вопросом обратился к прохожей девушке-азиатке, за вопросом последовали комплименты, остроты — глаза азиатки заблестели, утренний бутон лица раскрылся.

Невский проспект не произвел на Суровцева впечатления, он ожидал большего и был разочарован.

— Ах, эти девушки, будь они неладны! — воскликнул Войцеховский, подходя к Суровцеву и забрасывая конец размотавшегося шарфа. — Что мне с ними делать, куда мне от них бежать! А как твои дела, мой друг? Готов ли ты двигаться дальше?

— А она так и не взглянула в мою сторону, — сказал Суровцев.

— Кто? Азиатка? А зачем ей смотреть на покойника! — захохотал Войцеховский. — Пойдем!

— Что же во мне покойнического? — хмуро спросил Суровцев.

— Да все: лицо, одежда, мысли! Но и я, мой друг, тоже покойник! Мы оба с тобой покойники, только я еще дергаюсь, конвульсирую, а ты уже вытянулся и остыл. Пойдем! — По просьбе Суровцева спустились в подвальное кафе. Уборщица домывала выщербленный цементный пол, буфетчица резала хлеб. Суровцев

взял пельмени, сметану, чай и коржик, Войцеховский ограничился стаканом минеральной воды.

— Этот подвал поразительно похож на подвал, в котором мне когда-то доводилось пить портвейн, — сказал Суровцев, запивая пельмени сметаной. — Хорошее все-таки было время!

— Может быть, если не учитывать маэрзма и вырождения, — ответил Войцеховский. — Жуй, шевелись!

— И время было другое, и я был другой, — будто во сне продолжал Суровцев. — Зайдешь, бывало, в подвал, возьмешь стаканчик портвейна и ведешь с кем-нибудь трансцендентальные беседы...

— И тут подъезжала спецмашина, вас брали за штаны и штабелями везли в вытрезвитель, — сказал Войцеховский.

Суровцев нахмурился, его вилка взвизгнула по тарелке.

— Я был бы тебе признателен, если бы ты оборвал мой жалкий жизненный путь этой кривой вилкой в этом кривом подвале, — сказал Войцеховский. — Жуй, пей, шевелись.

С Невского свернули налево и вышли на безлюдную площадь в надолбах грязного льда и снега. Дул сырой ветер, дома, будто скалы, мрачно нависали над площадью и терялись в холодном тумане. Автобуса не было. Войцеховский, подняв воротник тулупа и привалившись к газетному киоску, насвистывал румбы и блюзы, Суровцев молча стоял рядом.

— У тебя, кажется, водка есть? — вдруг спросил Войцеховский.

— Да, — ответил Суровцев.

— Дай-ка.

Суровцев достал из чемодана бутылку водки и протянул Войцеховскому.

Войцеховский, порезав палец, содрал пробку и сделал несколько глотков.

— Так-то оно лучше будет, — сказал он, возвращая бутылку и еще глубже уходя в свой могильный тулуп.

«Сам выпил, а мне ничего не говорит», — оскорбился Суровцев и стал скручивать из газеты пробку и затыкать бутылку.

Пробка то проваливалась, то не лезла.

— Лучше выпей, — отозвался из тулупа Войцеховский. Суровцев сделал пару глотков, заткнул бутылку, спрятал ее в чемодан и сказал:

— И все-таки я с тобой не согласен в том плане, что раньше ничего хорошего не было. Было, было! Вспомни хорошо! Вспомни хотя бы...

— Не физдипли, — отозвался из тулупа Войцеховский, и Суровцев замолчал.

Пришел автобус, стали садиться, но Войцеховский вдруг дернулся, выбежал на площадь и замахал руками, останавливая такси.

Город развернулся коротким веером и скрылся в туманной измороси. За пригородом дорога шла среди заснеженных полей, лесов и сонных селений, потом справа надвинулся крутой склон с дачными коттеджами среди прямых высоких сосен, а слева открылся скованный льдом и присыпанный снегом залив.

Вышли.

— Тишина, белое безмолвие! — торжественно сказал Суровцев.

— Саван и могила, если долго стоять и смотреть, — ответил Войцеховский.

Вошли в дачу.

Там было сумрачно.

Войцеховский швырнул чемодан и прошел в гостиную.

Суровцев остался в прихожей, продолжая держать чемодан.

Войцеховский раздернул и тут же задернул шторы, развернул телевизор экраном к стене и сказал, обращаясь к себе: «Ну что ж, друг мой, попробуем еще здесь проползти очередную пустыню».

Освоившись с сумраком, Суровцев увидел в зеркале свое хмурое лицо и еще более нахмурился.

Войцеховский сел в кресло, закурил и сказал:

— Телевизор и радио не включать, газетами не шуршать! Во всем остальном — полная свобода. Женщин можешь приводить сколько угодно и каких угодно. Перепадет и мне что-нибудь — буду тебе признателен... Где ты там? Проходи, садись, кури.

Суровцев не сдвинулся с места. Оцепенение скова-

ло его. Войцеховский вскочил, вышел в прихожую, вырвал из рук Суровцева чемодан, швырнул его и крикнул:

— Иди и сядь!

Суровцев вошел в гостиную и сел на стул.

— В кресло, в кресло — крикнул Войцеховский. Суровцев сел в кресло.

— Плохо, плохо! — крикнул Войцеховский. — Так лакеи сидят! Расслабься! Нога за ногу! Твой час грядет, а ты дебилом прикидываешься!

— А я... и есть дебил! — с вызовом ответил Суровцев. — Провинциальный дебил и лакей! Да! А ты... а ты в Москве живешь, в центре! С профессорами знаешься!

— Да ты действительно дебил! — сказал Войцеховский, и темные круги под его глазами обозначились еще резче. Суровцев сник, замолчал.

Войцеховский вдруг расхохотался и спросил:

— Слушай, а может, ты антисемит? Может, все твои проблемы — в этом?

— Меня это вообще не интересует, — мрачно ответил Суровцев. — Я знаю одно — моя весна прошла и больше не вернется!

Голос Суровцева задрожал, лицо сморщилось.

— Нарцисс! — захохотал Войцеховский. — Сморщенный нарцисс в собачьей шапке! Заткнись со своей вонючей весной! — Войцеховский вдруг опустил на колени перед Суровцевым, взял его руку и сказал:

— Кому ты лапшу вешаешь, скотина? Разве я не выполз из той же норы, что и ты? Разве ты не знаешь, откуда я выполз и как полз? И разве ты не видишь, как ползу дальше? Так что теперь — бежать крысами с тонущего корабля? Нам ли с тобой заниматься медитацией и впадать в ностальгический столбняк? Нам ли играть в бисер?

Суровцев, закрыв лицо руками, молчал.

Войцеховский вскочил и вдруг заорал дурным голосом их армейского командира:

— Прекратить разброд и шатания! Молчать! Руки на вытянутую грудь ставь! Левое ухо выше правого! Молчать! Смотреть помещение! — с этими словами Войцеховский распахнул дверь в спальню и воскликнул:

— О, да тут альков! Друг мой, ты только взгляни! Шелк, шпалеры, бронза! Нет, это явная провокация! Возможно ли при таком алькове хранить супружескую верность? А ложе, ложе! — Войцеховский прыгнул на пышную двуспальную кровать и стал кататься по ней в своем гнилом тулупе и хохотать.

Суровцев стоял на пороге и с вымученной улыбкой смотрел на друга.

— А посмотри вторую спальню! — крикнул Войцеховский.

Суровцев посмотрел — эта была поуже, попроще.

— Ну, что? Тоже альков? — спросил Войцеховский.

— Нет, — ответил Суровцев.

— Там и будешь жить! А приведешь женщину — альков твой! — Войцеховский вдруг вытянулся, сложил на груди руки, закрыл глаза и сказал:

— Все, кондец. Гнида Войцеховский улетает в аэродинамическую трубу.

Суровцев смотрел с порога, ощущая усталость, разбитость и желание поскорее уединиться, лечь и забыться во сне.

— Что же ты молчишь? — крикнул Войцеховский. — Крикни же мне что-нибудь в трубу! Неужели тебе нечего крикнуть мне на прощанье? Начни торжественно и печально, а кончи отборной бранью и плевком! Молчишь? Ну и хрен с тобой! Прощай, мой друг! Люби меня, как я тебя! — и Войцеховский загудел и завыл, изображая свой прощальный отлет в трубу...

...один конвульсировал, блефуя перед очередной пустыней, другой все более мертвел, тоскуя по дням прошедшим и желая одного — бесконечного сна и покоя...

Выпили по рюмке и разошлись по комнатам.

За окном, словно на нитях, медленно спускались крупные снежинки, спускались, зависали, будто раздумывая, нужно ли спускаться дальше, скользили вдоль сосновых колонн, украшали пушистую ель, планировали на обгоревшую кабельную катушку, бесследно исчезали в темном обводе колодца теплотрассы...

Суровцев лег и подумал, что здесь, конечно, очень красиво, только уже ничто не согревает душу, все ос-

талось там, в прошлом, возврата к нему не будет, Войцеховский отказывается его выслушать и понять, а новая нутриевая шапка — фикция и обман»...

Он быстро уснул, а Войцеховский еще долго ворочался, вскакивал, бродил и бормотал, продолжая конвульсировать в одиночестве...

...и было Суровцеву видение: лежит под палящими лучами солнца безжизненная пустыня, и ползет по этой пустыне весь изодранный, в струпьях и свежих ранах Войцеховский, гноятся и слезятся его глаза, ползет он, останавливается, плачет и дальше ползет, ползет и что-то бормочет, что-то непонятное, что-то Ib...l...Elo...SchmaS...abo...mo.., а по сторонам, под этим палящим солнцем — сочные луга, и жируют в этих лугах люди в борцовских трико, в большом количестве поедая сочную траву и оставляя после себя дымящиеся кучи, устраивая турниры и отдыхая, гоняясь за бабочками и вырывая им крылья, и из крыльев этих делаю свои портреты.

Войцеховский разбудил Суровцева и предложил взглянуть в окно. Суровцев посмотрел и увидел людей в спортивном снаряжении, расположившихся лагерем между дачей и глухой стеной хозблока: одни сидели у костра, другие раскачивались на привязанной к сосне веревке и с визгом плюхались в снег, третьи, чуть в стороне, сосредоточенно упражнялись в стрельбе из винтовок по мишеням, трое упитанных мужиков гонялись за хохочущей грудастой девкой, валили ее в снег, распинали и с хохотом лапали. Среди взрослых сновали подростки и дети.

— Они визжат уже третий час! — сказал Войцеховский. — Кто они? И почему они с оружием? И почему среди них — дети?

Темные круги под его глазами копировали обводы глаз и тоже казались глазами.

— Не нам же их воспитывать, — ответил Суровцев, с нарастающим возбуждением наблюдая сцену с девкой и мужиками: после короткой передышки гон возобновился, они настигли ее за обгоревшей кабельной катушкой и снова распяли на снегу.

— Но так начинается самое худшее! — воскликнул

Войцеховский, и темные круги под его глазами набрякли и запульсировали. — Так начинается фашизм! Одни визжат, другие созерцают! Спыхватываются, да поздно — печи уже гудят!

— Преувеличиваешь ты, — ответил Суровцев, не отрываясь от инсценировки группового изнасилования и испытывая крайнее возбуждение. — Пошумят и уйдут.

— А твое место — там! С ними! — крикнул Войцеховский, и судорога исказила его лицо.

Он набросил тулуп и пошел к сборищу.

«Еще убьют», — с тревогой и раздражением подумал Суровцев и стал одеваться.

Одевался он медленно, надеясь, что события разрешатся сами собой, без его участия.

Надевая ботинки, он обнаружил, что один из шурупов подковки правого ботинка расшатался и нуждается в подтяжке.

Дверь распахнулась, вошел Войцеховский, сбросил на пол тулуп, захохотал и сказал:

— Меня не убили! Мне подали самогону, и я его выпил!

С ним случился припадок.

После припадка он был тих и печален, просил Суровцева присесть к нему на кровать и взять его руку, тот присаживался, брал его горячую руку, слушал его сбивчивый, жалобный монолог, смотрел в окно и думал о шурупе подковки правого ботинка, о недавнем гоне и распятии на снегу, о слишком теплой погоде, мешавшей максимально оценить достоинство новой шапки, а потом просто наблюдал сонное падение снега, марлевыми слоями прикрывавшего глубокие раны пейзажа после дневного буйства странного сборища... Толстая веревка так и осталась свисать с сосны, и в этом ее свисании среди порхающих снежинок талось нечто мрачное, угрожающее и мерзкое...

Вышли к заливу...

Мутный горизонт был подведен тушью, в изломанных соснах жалобно подвывал ветер.

— Воет, как хор невостребованных женщин, — сказал Войцеховский.

— Любил я раньше ветер, — задумчиво отозвался Суровцев.

— Когда? — спросил Войцеховский.

— Когда? Давно... в юности...

— Лучше бы ты в юности девушек любил. Пойдем отсюда, в ширинку дует, — сказал Войцеховский и поднял воротник тулупа.

— А вон что-то круглое, темное, — сказал Суровцев, указывая рукой на темное пятно среди серых то-росов.

— Полынья, наверное...

— Полынья? Что-то не похоже на полынью... а вдруг это не полынья?

— Ну, не полынья, а кусок какого-нибудь промышленного дерьма, солярка, солидол, автомобильная шина! Пойдем!

— Ну, я не совсем согласен с такой... версией, — продолжая пристально всматриваться в наступающих сумерках в пятно, сказал Суровцев, — и вообще я против односторонне-волевых оценок явлений природы и низведения их тайн до нигилистически-бытового уровня... Конечно, много всяких ординарных пятен, не заслуживающих особого внимания, но в данном случае...

— Ты серьезно или дурака валяешь? Пойдем, Се-нека, чай лучше пить, — перебил его Войцеховский и повернулся уходить.

— А давай сходим, посмотрим! — возбужденно предложил Суровцев. — Тут ведь недалеко, метров двести, не больше, а? Сходим, посмотрим, проверим наши версии!

— Да иди ты в ж... со своими пятнами и версиями! Самые замечательные пятна — это два пятна груди официантки Нины! Лучше к ней сходи!

Войцеховский ушел.

«Пойду один!» — решительно подумал Суровцев, но, потоптавшись на берегу, решил отложить до следующего раза.

Шли дни. Войцеховский, бормоча и конвульсируя, вползал в пустыню нового опуса, Суровцев спал днем и ночью, скучал, томился, прислушивался к своему

организму и жаловался на некоторые перебои, присматривался к своему лицу и жаловался на слишком ранние морщины и седину, до блеска надраивал ботинки, рассматривал подковки, впусшивал шарф, расчесывал шапку, скучал по телевизору, радио, газетам и т. д.

— Здесь, конечно, очень красиво, и я тебе очень признателен за то, что ты взял меня с собой, а все-таки мне грустно, что я уже не могу в полной степени ощущать красоту пейзажа, что наблюдается интенсивное притупление чувств и ощущений снега, сумерек, ветра, елей и всяких других деревьев, утреннего солнца и ночного неба, птиц и животных, — пожаловался Суровцев за вечерним чаем.

— А людей? — спросил Войцеховский.

Суровцев задумался, не ответил.

— Делом займись, — посоветовал Войцеховский. — Ведь у тебя были какие-то планы, идеи — вот и займись ими. А то часами рассматриваешь свою шапку, а потом на что-то жалуешься.

— Пусто в душе...

— Так и у меня через край не хлещет. Начни, а там с божьей помощью и проткнется что-нибудь... Нет такого пустыря, на котором, при желании, невозможно помочь проткнуться какому-нибудь, пусть самому невзрачному, цветку и этим самым цветком хоть в какой-то степени скрасить общую картину мрака, холода и запустения...

— Может, ты и прав, только моя песенка уже спета! — с надрывом воскликнул Суровцев, и лицо его сморщилось. — Все мертво! Все там осталось!

— В кукурузе? — усмехнулся Войцеховский.

— Да, именно в кукурузе! — с вызовом воскликнул Суровцев и сузил глаза.

— И что же осталось там, в этой твоей кукурузе? — не обращая внимания на свирепый вид Суровцева, с усмешкой спросил Войцеховский.

Суровцев сник, задумался...

...зной летнего полдня. Горит серебристый ковыль. Шуршат, испуская дурман, пересохшие цветы и травы. Страшной стеной стоит кукуруза. Страшно торчат по-

чатки из разноцветных волос. Зной и звон. Прилип к жаровне неба самолет-кукурузник. Попал в кукурузные испарения, не может сдвинуться с места, задыхается летчик, горит. Тронет кукурузу сухой, страшно зашумит, и снова тишина, зной и звон. Оглянешься по сторонам, войдешь в кукурузу, присядешь у берега. Тихо и страшно на дне кукурузного моря. Мертво лежат зеленые тени. Обступают со всех сторон зеленые кукурузные кости. Могильным холодом и мраком веет из трещины земли. Дрожит на краю трещины от подземного ветра мертвая бабочка-кукурузница. Высовывается из трещины паучья лапа, слепо шарит, нащупывает бабочку, подцепляет крючком, утаскивает в трещину. Когда же начнется? Бежать, бежать отсюда! Тихо осыпается сверху страшная кукурузная парша. В сетке и в точках пыли палец ноги. Желтая вершина нарыва у ногтя. Ползет куда-то мимо пальца изумрудное насекомое. Возьмешь палочку, направишь насекомое к нарыву — пусть пощекочет. Повернет насекомое голову, пронзит страшным взглядом — выронишь палочку, закроешь глаза... но вот первая дрожь пробегает по телу, испарина, пот, толчок потрясает с головы до ног, еще толчок, гудит под ногами земля, разверзается трещина, на страшной глубине что-то ворочается, бьется под кипящей грязью и пузырями, самолет отлипает от неба, с воем падает, взрывается — очередной толчок потрясает организм, все вокруг теряет свои очертания, и начинается падение в сладкую тьму... Но вот все кончилось, зной и звон, изумрудное насекомое уже ползет по зеленой кости к жаровне неба, оглянись, посмотришь — рядом со вчерашней, уже потемневшей и засохшей горкой возвышается свежая, пар клубится над нею, вершина ее украшена арбузным семечком, помидорные прожилки вьются серпантинном, уходят к вершине, теряются в дымке пара, из зноя и звона на свежую горку пикирует первая зеленая муха, за нею — другие...

...но Суровцев не стал об этом рассказывать. Стыдное и сокровенное, в отличие от Войцеховского, он предпочитал держать в тайне.

А Войцеховский рассказывал о себе Суровцеву много, с самыми интимными подробностями, его от-

кровения зачастую носили исповедальный характер и взывали к сердцу понимающему и милосердному.

«Я становлюсь твоим заложником», — пошутил однажды Войцеховский.

В другой раз, в туалете Ленинградского вокзала, он предложил Суровцеву стать его биографом.

Один, сдирая с себя одежду, грим и кожу, бежит навстречу смертельным протуберанцам, другой день за днем, без отдыха, тщательно, стык в стык, огораживается толстыми плитами и никак не поймет, почему с каждым днем холод усиливается, мрак уплотняется, а дышать все труднее...

Шли дни. Войцеховский полз по пустыне, Суровцев продолжал спать днем и ночью, ностальгировать, скучать, томиться и жаловаться на пустоту внутри и вокруг.

— Можешь считать меня маньяком, кем угодно, но мне кажется, что тебе нужно обратиться за помощью к женщине, — сказал Войцеховский.

— Женщина? А что — женщина? — усмехнулся Суровцев, глядя в окно.

— Ну, тогда даже не знаю, что тебе сказать... Великие люди, не чета нам с тобой, в трудную минуту обращались за помощью к женщине... Мне уже страшно давать тебе какие-либо советы, еще придушишь ночью, и все же мне кажется, что сейчас лишь женщина сможет сдвинуть тебя с мертвой точки. Попробуй, рискни, вдруг получится. Что скажешь? Нужна моя помощь, консультация — пожалуйста.

— Не знаю... может быть... не знаю, — отвечал Суровцев, продолжая смотреть в окно.

— Боишься?

— Не знаю... может быть...

— Последствий боишься? Не дай бог, конечно, но уж лучше любые последствия, чем это твое нынешнее состояние. Греха боишься? А не грех ли ходить мертвым? А бог... бог поможет, простит, будем надеяться, что он не похож на мыслителя с волчьим прищуром. Боишься нарушить супружескую верность? Но я очень сомневаюсь, что в таком виде ты мил своей жене. Рискни, попробуй! Я вовсе не призываю тебя к тому, что в

обиходе называется развратом! Надеюсь, ты понимаешь, что в этом я никакой не орел. Видит бог — не орел я, а лишь жалкая мошка, льнущая к женскому теплу. Для меня лишь женщины и дети придают этому миру хоть какой-то смысл. Все остальное — сплошное надругательство и уродство. Мужчины — деформаторы мира, служители идеям, и даже не будучи фактически импотентами, они все же — импотенты, потерявшие естественную ответственность перед жизнью... Мне скучно и тоскливо в их обществе, самом, как говорится, блестящем... Есть, конечно, исключения, и ты — одно из них.... Может быть, я глубоко заблуждаюсь, пытаюсь тебе что-то советовать... не знаю... Я вовсе не претендую на абсолютную истину, и все же мне кажется, что в этой ситуации лишь женщина может тебя вывести, спасти... Я вовсе не посягаю на твою святыню, на то, что ты с таким надрывом и многозначительностью называешь «кукурузой», но, кажется, ты там засиделся, в этой своей...

Войцеховский продолжал возбужденно говорить, и чем более возбужденно он говорил, тем большее оцепенение охватывало Суровцева. Он уже не понимал, о чем идет речь, голос Войцеховского стал куском стекла, звенящим среди стекол, и все вокруг стало стеклянным: комната, подоконник, деревья за окном, снег и залив, мертво блестевший под стеклянной луной...

День был туманный.

Суровцев сидел в кресле и смотрел в окно.

Вошел Войцеховский.

— Полежу у тебя немного, — сказал он, ложась на диван.

Назначив Суровцеву комнату похуже, он все свободное время проводил в этой узкой, прокуренной спальне, иногда и ночью.

— Туман... любил я когда-то такие дни, — сказал Суровцев и напрягся в ожидании обычного антиностальгического выпада, но Войцеховский почему-то молчал.

«Странно... может, не расслышал?» — подумал Суровцев, зная особенности своего голоса.

Голос его иногда был так слаб и тускл, что его не слышали рядом.

Когда-то, прочитав о Демосфене, он пытался тренировать свой голос, но успеха не добился.

«Шире рот», — советовал ему Войцеховский.

— Туманный сегодня день! — усиливая голос и шире открывая рот, сказал Суровцев.

— Ты прав, — отозвался Войцеховский. — Туман такой, что выть хочется. Уже который день ползу в тумане — и никакого просвета.

Суровцев встал из кресла, прошелся по комнате и сказал:

— А я пятном решил заняться, но туман мне сегодня мешает... Что-то в этом пятне есть, чем-то оно меня интригует. Попробую через него определиться.

— О каком пятне идет речь? — спросил Войцеховский.

— Да о том, которое ты полыньей назвал.

— Что ж, попробуй, — зевнув, сказал Войцеховский.

— Да, попробую! — заметив зевок, с вызовом ответил Суровцев. — Попробую! Только туман мне мешает!

— Ничего, разойдется... прикрой меня, пожалуйста, тулупом, — попросил Войцеховский. — Что-то болен я, друг мой, очень и очень болен...

Суровцев прикрыл его тулупом и снова сел к окну. Все было в тумане.

Один сидел у окна и тоскливо смотрел на туман, другой тяжело вздыхал и что-то бормотал под тулупом...

«Бормочет, — подумал Суровцев, — о пятне спрашивать не стал. Неужели и он теряет ко мне интерес? Неужели это конец?»

Ему стало страшно.

Безжизненная пустыня наконец-то откликнулась на гул сердца, и Войцеховский лихорадочно дописывал финал, а Суровцев все чаще выходил к заливу смотреть на темное пятно среди торосов.

— Ну, что там у тебя с этим... пятном? — спросил однажды Войцеховский, отдыхая на диване в комнате Суровцева.

— Версии есть, но определиться пока не могу, — ответил Суровцев. — Надо бы поближе к нему подойти, посмотреть... может, сходим?

— Нет уж, уволь, сам иди! Лед крепкий, рыбаки ходят, женщина вчера по заливу шла—чего боишься?

— С чего ты взял, что я боюсь? Мне, может, ботинок жалко, лед их порежет, а они мне с большой переплатой достались!

— Иди в моих!

— Я и в своих пойду! — крикнул Суровцев и побледнел.

— Пойдешь и увидишь, что твое драгоценное пятно—не более чем самая банальная полынья, к тому же образованная фекальными стоками.

— Я... я протестую! — крикнул Суровцев, вскакивая из кресла. — Прошу не говорить так о пятне!

— Мне до фени твое пятно, мне тебя жаль. Можешь меня придушить, но мне кажется, что не к пятну тебе нужно идти, а к психотерапевту. Может, он поможет тебе выйти из столбняка.

Суровцев прошелся по комнате, подошел к окну и сказал:

— Я не нуждаюсь в медицинской помощи. Я трезво мыслю и могу ответить на любой вопрос.

— Хорошо, вопрос первый: что ты испытываешь, стоя на берегу и глядя на это пятно?

Суровцев задумался.

Войцеховский вдруг вскочил, выбежал, принес из своей комнаты флакон одеколона, вытряхнул его по фужерам, подал Суровцеву фужер и кусок хлеба и сказал:

— Давай! Давай освежимся!

— Но... у нас есть коньяк, — нерешительно беря фужер, ответил Суровцев.

— Да е... я этот коньяк! — воскликнул Войцеховский, махом выпил, занюхал хлебом и лег на диван.

Суровцев поставил свой фужер на подоконник, отрезал кусок колбасы, подумал, разрезал кусок более тонко и протянул Войцеховскому.

— Да е... я твою колбасу! — ответил Войцеховский.

Суровцев нахмурился, пожал плечами, взял фужер, понюхал, сморщился, закрыл глаза, выпил и стал лихорадочно закусывать.

Войцеховский курил, насмешливо наблюдая сквозь дым.

— Ну что, будем продолжать говорить о твоём пятне или пошлём его на х...? — спросил он.

— Нет, давай, давай поговорим! — оживляясь, воскликнул Суровцев. — Но с условием, что ты изменишь к нему своё отношение! Я давно хочу поговорить о нём с тобой!

— Хорошо, считай, что моё отношение к нему изменилось. Говори!

Суровцев закурил, прошёлся по комнате, взглянул в окно и сказал:

— Итак, пятно на заливе. Что я могу сказать о нём? А сказать я могу, и заявляю об этом со всей ответственностью, что пятно — не простое! Всякие могут быть пятна, простые и сложные, случайные и закономерные, но это — особенное! — Суровцев взглянул на Войцеховского и, не заметив на его лице какой-либо иронии и насмешки, с пафосом продолжал. — Для меня совершенно очевидно, что пятно это не относится к разряду ординарных, нет! Много дней я смотрел на него и пришёл к выводу, что подобного рода пятен в мире не так уж и много! Более того — оно, может быть, единственное в своём роде! Я не зря обратил на него внимание! Ты помнишь — в первый же день нашего здесь пребывания!

— Да, помню, продолжай, — сказал Войцеховский.

— И сейчас у меня нет никаких сомнений в том, что это пятно относится к уникальным явлениям природы! Да, к уникальным! Более того — оно трансцендентно и имеет универсальный смысл! Это знак, символ, исполненный глубочайшего философского смысла, могущего пролить и обосновать, так сказать...

— Извини, перебыю — можно вопрос? — сказал Войцеховский.

— Да, пожалуйста.

— Лед на заливе гладок или же не совсем гладок, торосист?

— Торосист.

— Скажи, пожалуйста, не могут ли эти торосы быть складками тела?

— Складками тела? Какого тела?

— Тела залива.

— Твоя версия интересна, но она уводит нас в сторону от пятна, а мы...

— Минуточку, — вскакивая с дивана, сказал Войцеховский. — Давай предположим, что залив — это живое существо, лед — его кожа, торосы — складки кожи, а пятно — орган залива.

— Орган? Какой орган? — спросил Суровцев, хмурясь и напрягаясь.

— Скажем, глаз или ухо.

— Не понимаю, к чему ты клонишь?

Войцеховский приблизился к Суровцеву и, глядя ему в глаза, сказал:

— А теперь быстро ответь: не кажется ли тебе это пятно женским пахом?

— Женским пахом? — переспросил Суровцев, отводя взгляд.

— Да, именно! — крикнул Войцеховский. — Быстро отвечай!

Суровцев отвернулся к окну и закрыл лицо руками.

— Да, — глухо произнес он.

— Сидеть и никуда не выходить! Впрочем, я тебя закрою, — крикнул Войцеховский, набросил тулуп и шапку, закрыл дачу, выбежал на шоссе и, замахав руками, остановил «Жигули».

Появился он вечером, весь залепленный мокрым снегом, с двумя женщинами.

«Худые», — подумал Суровцев, лежа на диване и глядя из темной спальни в прихожую.

У него был свой стандарт, и все, что хотя бы чуть-чуть выходило за его пределы, казалось ему некрасивым и не заслуживающим никакого внимания.

Войцеховский, что-то оживленно рассказывая, принял у женщин пальто, вошел к Суровцеву и сказал:

— Выйди и постарайся не быть мертвецом!

Суровцев сделал усилие, выдавил улыбку и вышел из спальни.

— Мой друг — Суровцев, — сказал Войцеховский, — очень талантливый человек. Сейчас он в некоторой депрессии, но это пройдет.

Суровцев нахмурился и изобразил попытку поклона.

Войцеховский подтолкнул его вперед, и Суровцев мертвыми губами коснулся женских рук.

Пригласив женщин в гостиную, Войцеховский подошел к Суровцеву и сказал:

— Ты занимаешь дам, я быстро готовлю стол!

— Может, наоборот?

— Иди к ним!

Гости сидели в креслах, курили. По их одежде, жестам и репликам Суровцев заключил, что обе они — интеллектуалки.

Он побаивался таких людей и чувствовал себя в их обществе скованно и напряженно.

Постояв на пороге, он вошел в гостиную, сел в кресло, закурил и сказал:

— С утра был туман, а сейчас — мокрый снег... таким вот образом...

Взглянул — иронии, насмешки нет, слушают внимательно — и продолжал уже более смело:

— А я, вообще-то, из провинции, но в столице бываю часто... И вот какую интересную закономерность я выявил! Сажусь я в поезд и еду. И вот, чем ближе поезд подъезжает к столице, тем мой начальник Орефьев становится меньше, а ирландский писатель Джеймс Джойс — больше, — и Суровцев пальцами показал процесс уменьшения Орефьева и увеличения Джойса. — А теперь картина обратная: сажусь я в поезд и возвращаюсь домой. И вот, чем дальше поезд отходит от столицы, тем мой начальник Орефьев становится больше, а ирландский писатель Джеймс Джойс — меньше, — и Суровцев снова прибег к помощи пальцев. — Конечно, столица есть столица, но и в провинции жить можно, не так ли?

— Конечно, конечно, — охотно согласились женщины.

— Кстати, — оказал Суровцев, выпуская дым и закидывая ногу на ногу, — ведь всемирно известный режиссер Федерико Феллини — тоже из провинции!

— Да, конечно, — согласились женщины.

— Да и Бергман, кажется, тоже из провинции! — воскликнул Суровцев и с опаской посмотрел на дверь, но Войцеховский был занят на кухне: открывал, резал, укладывал — не слышал.

— А мы вот здесь, значит, с моим другом Войце-

ховским, — продолжал Суровцев. — Он часто берет меня с собой, платит за меня, как бы на иждивении я у него... Конечно, сознавать и сознаваться в этом не совсем приятно, конечно, в связи с этим я испытываю некоторые неудобства, но это вовсе не значит, что я лишь приживальщик и не смею сказать своего слова! Вовсе нет! И там, где вопрос касается кардинальных проблем, — там я проявляю принципиальность и отстаиваю свое до конца! Например, вопрос времени! Что есть время? Время есть одна из крупнейших философских категорий, и тут у нас с Войцеховским диаметрально противоположные взгляды, и дело у нас иногда доходит до настоящей конфронтации! И я вовсе не намерен поступаться своими принципами! Я стоял, стою и буду стоять на том, что прошлое в моей личной жизни есть самая ценная категория, а все остальное не имеет никакого значения, есть фикция и обман, и я...

Тут с закусками вошел Войцеховский, и Суровцев сник и замолчал.

Сервировав стол и наполнив рюмки, Войцеховский предложил Суровцеву сказать тост.

Суровцев надолго задумался.

— Тогда позвольте мне, — после гнетущей паузы сказал Войцеховский. — Мой друг, которого я очень люблю, находится сейчас, как я уже сказал, в некоторой депрессии, и только этим можно объяснить его временные затруднения. Мне очень хочется, чтобы эта его депрессия побыстрее прошла, в чем, я не сомневаюсь, могут поспособствовать наши очаровательные женщины, а посему и предлагаю выпить за вас, мои хорошие!

Все дальнейшие тосты говорил Войцеховский, и каждый раз — в честь Суровцева.

— Мой друг — очень талантливый и вообще замечательный человек, — говорил Войцеховский. — Он еще скажет свое слово, и это слово всколыхнет мир!

Суровцеву льстили эти грубоватые тосты и то внимание, с которым они воспринимались женщинами, но на всякий случай он либо хмурился, либо иронически усмехался.

А Войцеховский с каждой рюмкой все более возбуждался, рассказывал анекдоты, каламбурил, подсаживался то к одной женщине, то к другой, поглаживал

их, садился между ними и поглаживал обеих сразу, опускался перед ними на колени, припадал к их ногам, поглаживал и целовал их ноги, пил на брудершафт, и чем более возбуждался Войцеховский, тем более мертвел Суровцев.

Бурные ухаживания Войцеховского принимались женщинами спокойно, без пошлого кокетства, и лишь по нервной дрожи их тонких рук можно было предположить, что такие вечера в их жизни не часты.

В двенадцатом часу они сказали, что им пора домой, на что Войцеховский ответил, что об этом не может быть и речи: час поздний, погода скверная, автобусы уже не ходят. Они согласились остаться с условием, что позвонят домой. Вышли звонить, шел мокрый снег, было тепло, Войцеховский вдруг с хохотом прыгнул в сугроб, барахтался в сугробе, женщины подали ему руки — он и их увлек туда.

Втроем они барахтались в сугробе, хохотали, Суровцев мрачно наблюдал эту сцену, понимая, что все более выпадает из игры и что изменить ситуацию, к сожалению, уже вряд ли возможно...

Женщины вошли в телефонную кабину, и Войцеховский сказал:

— Берешь Лену.

Суровцеву это не понравилось: из двух худых ему подсовывали наиболее худую.

Все вместе вышли к заливу, постояли на берегу, вернулись, допили водку.

Женщины спросили, в какой комнате они могут переночевать.

— Друг мой, что мы сможем ответить на этот непростой вопрос? — обратился Войцеховский к Суровцеву.

Суровцев молчал, женщины молчали, табачный дым слоями висел над завершившимся пиром, за окном шуршал снегопад...

Войцеховский вдруг вскочил и закричал дурным голосом их армейского командира:

— Прекратить разброд и шатания! Руки на вытянутую грудь ставь! Левое ухо выше правого! Дамы переходят к водным процедурам, замудонец Суровцев производит уборку стола и проветривание помещения!

После водных процедур Лена идет в комнату направо, Наташа — налево! Молчать! Форвертс!

И Войцеховский, продолжая отдавать команды и трубя армейский марш, отправил женщин в ванную, а Суровцев стал убирать со стола.

— Брось, оставь до завтра, — сказал Войцеховский. — Ты, кажется, хотел быть с Наташей — будь с нею...

Лицо и голос его были печальны, он посидел в кресле, потом слил остатки водки, выпил, вышел, опустился на колени перед ванной дверью и стал петь неаполитанские песни.

Он пел, вода шумела, женщины смеялись.

Вышли они из ванной мокрые, завернутые в простыни, влажная грудь проявилась темными пятнами, и Суровцев впервые за весь вечер ощутил эротическое напряжение.

Войцеховский раскинулся на полу крестом, женщины подали ему руки — он увлек их к себе: барахтались, хохотали.

«Да они красавицы», — подумал Суровцев, выглядывая из гостиной и едва сдерживаясь, чтобы не прилечь к ним.

Войцеховский развел женщин по комнатам, подошел к Суровцеву и сказал:

— Ваша дама готова и ждет вас, не извольте уклоняться.

Он подтолкнул Суровцева к его комнате и ушел в свою, откуда тут же раздался взрыв хохота.

«Не надо мной ли смеются?» — подумал Суровцев, стоя перед дверью.

Он испытывал дрожь и желание, но страх был выше, и он ушел в гостиную и лег на диван.

Дважды он подходил к двери и уходил в гостиную.

Лежал во тьме на диване, сердце бешено билось, мысли путались.

Дверь вдруг открылась, к дивану стремительно подошла женщина в простыне и стала грубо и нервно срывать с Суровцева одежду, он попытался что-то сказать, но попытка его была придушена таким глубоким и долгим поцелуем, что он едва не задохнулся...

Безропотно отдался он во власть нервных, дрожащих и необычайно сильных рук, ног, губ...

«Я... сирота...» — попытался он снова что-то сказать в короткой паузе, и снова его монолог был придушен впившимися губами...

Женщина, не давая опомниться, властвовала до рассвета.

Утром она исчезла, и Суровцев разрыдался.

Он корчился на измятой постели, стонал, мычал, плакал; наконец, совершенно обессиленный, затих и спал почти до самого вечера.

Войцеховский его не будил.

Проснулся он с блаженной улыбкой на помолодевшем лице, глаза его блестели, ему хотелось петь, говорить, смеяться, и он смеялся, пел, хохотал, рассказывал анекдоты, каламбурил, обнимал Войцеховского, прыгал в сугроб...

Войцеховский ни о чем не расспрашивал, находил поведение друга естественным, сам же был тих и печален...

Эйфория длилась два дня, а на третий Суровцев снова скис и стал мертвець...

— Завтра домой, — мрачно сказал он накануне отъезда.

— Да, завтра домой, а в чем дело? — спросил Войцеховский, — у тебя замечательная жена, дети — что тебе нужно?

— Ничего мне не нужно! Для меня уже ничто не имеет значения! Все осталось там! — с надрывом сказал Суровцев.

— Я этого там не понимаю и понимать не хочу! — ответил Войцеховский. — Да, и я могу вспомнить какие-то свои детские и юношеские слезы и сопли, но есть еще и настоящее, и будущее, но есть еще и любовь, и сострадание, и ответственность! Я не понимаю и не хочу понимать ностальгического мычания! Есть либо жизнь, либо смерть!

Войцеховский ушел в свою комнату и вернулся с раскрытой книгой.

— Вот вчера ночью читал и подумал о тебе, — сказал он, протягивая книгу. — Вот здесь читай вслух!

Это было известное изречение из Послания Павла римлянам:

Ибо заповеди: «не прелюбодействуй», «не убий», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чу-

жого», и все другие заключаются в сем слове: «люби ближнего твоего, как самого себя».

Суровцев механически пробежал глазами, вслух читать не стал.

— Что скажешь? — спросил Войцеховский.

Суровцев молчал, смотрел в сторону.

— В таком случае мне предложить тебе больше нечего!

— А мне ничего и не нужно! — ответил Суровцев, выбежал в прихожую и стал лихорадочно одеваться.

— Я вполне допускаю, что могу тебя чем-то раздражать и даже вызвать желание убить, но не во мне же, в конце концов, дело! — сказал Войцеховский, стоя с раскрытой книгой на пороге гостиной. — Не мной же исчерпываются твои контакты с миром и не должны мной исчерпываться!

Суровцев оделся и хлопнул дверью.

Войцеховский выбежал на веранду и крикнул ему вслед:

— На «да» я отвечаю «да», на «нет» я тоже отвечаю «да», но есть этому «нет» предел, и тогда я тоже говорю «нет»!

Суровцев, не оглядываясь, быстрым шагом уходил по аллее в сторону залива.

День, как и вчера, был солнечным и теплым, залив сверкал, но пятно сегодня выглядело мрачно и казалось пятном крови сквозь свежий бинт. Вокруг было пусто, лишь далеко впереди, почти под самым горизонтом, виднелись неподвижные точки рыбаков. Было тихо, лишь ветер подвывал в сосне, да из сонного царства обсыпанных снегом деревьев на склоне с тупой последовательностью интервалов и ритма доносился стук дятла...

Суровцев прошелся по берегу и вернулся к сосне.

Стоял, смотрел в сторону пятна.

Ветер и солнце играли ворсом его шапки, и она казалась живой над его неживым лицом.

Дважды он ступал на бугристый лед залива, делал несколько шагов и возвращался на берег.

Стоял, смотрел.

Оглянулся: женщина в капроновом пальто, вязаной шапочке, с хозяйственной сумкой — стоит, смотрит...

Подошел, спросил — не ответила, лишь улыбается...

Не расслышала, глухая? Усилил голос, шире открыл рот, снова спросил, уже с раздражением:

— Что, спрашиваю, смотрите? Заливом любуетесь?

— Да так просто, в овощной иду, да рано вышла — перерыв еще, — ответила женщина. — А вы — с дач, отдыхающий?

— Да, только завтра уже уезжаем, — ответил Суровцев, всматриваясь в дачные аллеи.

— Не хочется? — спросила женщина.

— Что? — спросил Суровцев, продолжая смотреть в аллеи.

— Не хочется, наверное, уезжать?

— Не знаю... здесь, конечно, красиво, только меня сейчас это мало трогает, — Суровцев отвернулся от аллеи, скользнул взглядом по лицу женщины и устоялся в свои надраенные, сверкавшие под солнцем ботинки.

— Наверное, неприятности у вас какие-то? — ласково спросила женщина.

— Неприятности? Нет у меня никаких неприятностей, — ответил Суровцев, и голос его задрожал, а лицо сморщилось.

— Ничего, все наладится, перемелется — мука будет, — с улыбкой сказала женщина.

— Дежурные слова, а на самом деле никто никому не нужен, — усмехнулся Суровцев.

— Да и то так, — согласилась женщина, продолжая улыбаться.

— Что вы улыбаетесь? — с раздражением спросил Суровцев. — Что-то не так во мне?

— Что вы, боже упаси, я и не думала над вами улыбаться! Так просто, по привычке... солнышко, весна скоро... то смеешься, то плачешь — жизнь, а в жизни всякое бывает...

— Моя весна прошла и больше не вернется! — с надрывом сказал Суровцев.

— Ну, вам еще рано об этом говорить, вам еще жить да жить, — оказала женщина. — Жить, женщин любить, — добавила она и засмеялась.

— В таком случае давайте прогуляемся! — вдруг решительно заявил Суровцев.

— Со мной? — удивилась женщина. — Со старухой?

— Вы еще не старуха, и в данный момент это не имеет значения. Только я не люблю под руку гулять. Согласны?

— Хорошо, а куда пойдём? — спросила женщина.

— Прогуляемся по заливу, вон туда и обратно, — ответил Суровцев, указывая на пятно.

Женщина согласилась, и они пошли по льду в сторону пятна...

Войцеховский вышел, запер дверь и быстро пошел по аллее. От резкого света глаза его слезились. Он вышел к заливу, поднял воротник, прислонился к сосне.

Суровцев оглянулся, увидел Войцеховского и помахал ему рукой, но тот не ответил.

— Вон мой друг стоит, Войцеховский, — сказал Суровцев женщине. — Дальше со мной идти не нужно, а лучше идите к нему и скажите... скажите... — Лицо Суровцева обезобразилось судорогой, он резко повернулся и стал удаляться по льду...

Поздним весенним вечером Войцеховский вышел из ресторана и побрел по улице.

Час назад отзвучала премьера его сочинения «Памяти друга», прошла она с успехом, и после изнурительных организационных забот и неувязок Войцеховский забылся, расслабился, но после первой же рюмки он ощутил омерзение и к успеху премьеры, и к самому себе. Ему снова вспомнились залив, Суровцев и пятно, он налил полный фужер водки, выпил и покинул приглашенных на ужин.

В светлом пальто и нелепо длинном шарфе брел он по улице, шатался, приставал к девушкам, называл их «мадам», останавливался, бормотал, матерился, плевался, вытирал лицо шарфом и брел дальше.

Он не свернул в свою улицу, чувствуя, что вечер этот еще не исчерпан, и желая исчерпать его до конца, пусть даже самого неожиданного.

Выйдя на площадь, он увидел толпу и приблизился к ней.

Шел импровизированный митинг общества «Трез-

вость», ораторы, сменяя друг друга, с ожесточенным пафосом кричали в мегафон о пагубном влиянии алкоголя на народ, толпа была возбуждена, лица ближе к центру были исполнены ярости и желания немедленных действий.

Войцеховский прошелся вдоль толпы и подошел к девушке в красном пальто, стоявшей у памятника поэту и напряженно ловившей мегафонную речь.

— Мадам, — поклонившись, сказал Войцеховский. — Зачем вы здесь? Зачем вы здесь и почему вы спиной к Поэту? Вам не кажется странным стоять спиной к Александру Сергеевичу и внимать жалким речам этих жалких людей? Кстати, как вас зовут? Не Марина ли?

— Марина, — ответила девушка.

— Вот видите! — Войцеховский счастливо расхохотался. — Марина, Мэри! Пью за здоровье Мэри, милой Мэри моей! — Войцеховский погладил ее по лицу, забросил конец размотавшегося шарфа и вклинился в толпу.

Пробравшись к центру, он вырвал из рук оратора мегафон и крикнул:

— Пью за здоровье Мэри, милой Мэри моей!

Толпа негодуяще загудела.

— Вам не нравится это?! — крикнул Войцеховский, уворачиваясь от чьих-то рук, пытавшихся вырвать у него мегафон. — Пожалуйста, вот другое: мы пьем среди цветов и скал, гляжу — пустеет мой бокал!

Ладно скроенный бородач, владелец мегафона, дернул Войцеховского за шарф, и тот, уже падая, прохрипел:

— И вновь сверкнув из чаши винной...

Толпа чуть сместилась от упавшего Войцеховского, и митинг был продолжен...

Его подобрала милицейская машина...

Дежурный врач констатировал мгновенную смерть от перелома шейных позвонков...

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя	3
--------------------------	---

Айвар Валеев

Марина и Алексей	5
----------------------------	---

Игорь Клех

Иностранец	13
Инцидент с классиком	21

Александр Шарыпов

Клопы	25
Овдин	30
Штаны	32

Юрий Буйда

«НСЦДТЧНДСИ»	36
------------------------	----

Иван Макаров

День рождения	48
Жалобная книга	54
Письма пионеров и школьников председателю Мао	58

Андрей Бычков

ДСП	68
---------------	----

Михаил Смоляницкий

О! Детство!	92
Дети Фестивалей	109

Зуфар Гареев

Подражание лету 140

Елизавета Лавинская

Ошибка Александра Коханевича 150
Возвращено честное имя 153
Что хочет он 154
Накануне 157
Теория и практика относительности 158
Ванны Марины Кузиной 159
Своеобразие текущего момента 160

Александр Селин

Бронетранспортер Ивана Шолгатова 163

Александр Росляков

Игнатич 183

Михаил Новиков

Иньми словами 223
(Проклятые) вопросы 224
Женщина медной страны 226
В. К. 229
Дефект Лома 231
Множество искушений 234

Сергей Саканский

Анекдот про преферанс 235
Взбзд 252

Евгения Кайдалова

Дело кролика 262

Павел Лемберский

Крайняя плоть 291
Короткая жизнь Безрукого 301
Взрыв на бензоколонке в Майами 305
Среди камней 306
Веня «Ласточка» 308

Владимир Смирнов

Тактика индивидуального террора 310

Софья Купряшина

Цвет ног 330
На гастролях 334
Рассказы пионеров 338
Солнечные дни 343
Забор и горы 346
Ванная 349
Сочинение 355

Сергей Четвертков

Капитан 360

Николай Полянский

Виолончель 368

Юрий Горюхин

Крайний подъезд слева 376

Дмитрий Добродеев

Русский пирог 400

Анатолий Гагрилов

Элегия 414

Литературно-художественное издание

**АНТОЛОГИЯ
СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА,
ИЛИ
ИСТОРИИ КОНЦА ВЕКА**

Редактор П. Е. Бронер
Художественный редактор О. Н. Адашкина
Технический редактор Н. А. Сперанская
Корректор Рыбина Е. А.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 20.01.2000.
Формат 84×108^{1/32}. Бумага типографская. Печать офсетная.
Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 23,52. Тираж 3000 экз. Заказ 1153.

Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК-00-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

Гигиенический сертификат
№ 77.ЦС.01.952.П.01659.Т.98 от 01.09.98

ООО «Издательство Астрель»
Изд. лиц. ЛР № 066647 от 01.06.99
143900, Московская обл., г. Балашиха, пр-т Ленина, 81

ООО «Издательство «Олимп».
Изд. лиц. ЛР № 065910 от 18.05.98
123007, Москва, а/я 92.
E-mail: olimpus@dol.ru

ООО «Фирма «Издательство АСТ».
Изд. лиц. ЛР № 066236 от 22.12.98.
366720, РФ, Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Московская, 13а.
www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

При участии ООО «Харвест».
Лицензия ЛВ № 32 от 27.08.97.
220013, Минск, ул. Я. Коласа, 35 — 305.

Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика
в типографии издательства «Белорусский Дом печати».

220013, Минск, пр. Ф. Скорины, 79.

OCR Давид Титиевский. май 2020 г. Хайфа

ISBN 5-237-05596-6



9 785237 055962

ЛУЧШИЕ

КНИГИ

ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО

◆ **Любителям приключенческого жанра** — "Новая библиотека приключений и фантастики", где читатель встретится с героями произведений А.К. Дойла, А.Дюма, Г.Манна, Г.Сенкевича, Р.Желязны и Р.Шекли.

◆ **Популярнейшие многотомные детские энциклопедии:** "Всё обо всем", "Я познаю мир", "Всё обо всех".

◆ **Уникальные издания** "Современная энциклопедия для девочек", "Современная энциклопедия для мальчиков".

◆ **Лучшие серии для самых маленьких** — "Моя первая библиотека", "Русские народные сказки", "Фигурные книжки-игрушки", а также незаменимые "Азбука" и "Букварь".

◆ **Замечательные книги известных детских авторов:** Э.Успенского, А.Волкова, Н.Носова, Л.Толстого, С.Маршака, К.Чуковского, А.Барто, А.Линдгрена.

◆ **Школьникам и студентам** — книги и серии "Справочник школьника", "Школа классики", "Справочник абитуриента", "333 лучших школьных сочинения", "Все произведения школьной программы в кратком изложении".

◆ Богатый выбор учебников, словарей, справочников по решению задач, пособий для подготовки к экзаменам. А также разнообразная энциклопедическая и прикладная литература на любой вкус.

**Все эти и многие другие издания вы можете приобрести по почте, заказав
БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ**

По адресу: 107140, Москва, д/я 140. "Книги по почте".

Москвичей и гостей столицы приглашаем посетить московские фирменные магазины
издательской группы "АСТ" по адресам:

Кларетный ряд, д.5/10. Тел.: 299-6584, 209-6601.

Арбат, д.12. Тел. 291-6101.

Звездный бульвар, д.21. Тел. 232-1905.

Татарская, д.14. Тел. 959-2095.

Б.Факельный пер., д.3. Тел. 911-2107.

Луганская, д.7 Тел. 322-2822

2-я Владимирская, д.52. Тел. 306-1898.

УНИКАЛЬНАЯ УСЛУГА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ — «КНИГИ НА ДОМ».
Позвоните по тел.: 933-64-64, и вам их доставят!

Впервые под одной обложкой собраны рассказы
лучших молодых писателей конца столетия.

Их имена уже стали популярны,
многие являются обладателями престижных
литературных премий, у некоторых вышли
отдельные книги.

Не пропустите тех, кого в будущем, возможно,
назовут классиками.

Аннотация



32867

Антология современного рассказа

А

27.08.00